



**МАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ**



**Издательство «Прогресс»
Москва 1971**

МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ. ЯПОНИЯ

Редакционная коллегия:

**Засурский Я. Н., Затонский Д. В., Марков Д. Ф.,
Мицкевич Б. П., Мулярчик А. С., Палиевский П. В.,
Самарин Р. М. (председатель), Чельшев Е. П.**

ЯСУНАРИ КАВАБАТА

- **ТЫСЯЧЕКРЫЛЫЙ ЖУРАВЛЬ**
ПОВЕСТЬ
- **СНЕЖНАЯ СТРАНА**
ПОВЕСТЬ
- **НОВЕЛЛЫ, РАССКАЗЫ, ЭССЕ**
ПЕРЕВОД С ЯПОНСКОГО

Составление и предисловие К. Рево

Редактор П. Петров

Художник Г. Толстая

ЯСУНАРИ КАВАБАТА

Ясунари Кавабата — один из крупнейших японских писателей нашего времени, чье творчество ярко выделяется своей приверженностью к традициям многовековой национальной литературы. Наиболее известные произведения писателя, такие, как «Снежная страна» или «Тысячекрылый журавль», в которых выразилось классическое японское представление о прекрасном, неоднократно отмечались литературными премиями и прочно вошли в современную литературу Японии. Эти произведения переведены на многие языки мира.

В 1968 году Ясунари Кавабата становится лауреатом Нобелевской премии. До него этой награды был удостоен лишь один представитель восточных литератур — Рабиндранат Тагор. Эта премия присуждена Ясунари Кавабата за «писательское мастерство, которое с большим чувством выражает суть японского образа мышления». Речь идет о самобытном понимании прекрасного в произведениях японского писателя, о специфике его художественного видения мира, которые своими корнями уходят к истокам древней национальной культуры. Устойчивость традиции, эта природная особенность японской культуры, и есть та почва, которая питает самобытное творчество Ясунари Кавабаты, этого писателя своеобразной «японской Японии».

Ясунари Кавабата родился в 1899 году в семье врача. Рано потеряв родителей, мальчик жил вдвоем с дедом. Когда юноше исполнилось 16 лет, умер и дед. В тот год будущий писатель опубликовал свое первое произведение. Оно называлось «Дневник шестнадцатилетнего юноши». Это был рассказ о сиротливом детстве, об умирающем старике. Но грустное детство не только обострило рано пробудившееся чувство одиночества, в это время он познал и душевную чуткость окружающих.

Позже в «Литературной автобиографии» Кавабата писал: «С ранних лет я рос сиротой, но люди окружали меня заботой, и я стал одним из тех, кто не способен обижать или ненавидеть других».

Круг литературного чтения молодого Кавабаты был довольно широк: он увлеченно читает и русского Чехова, и шведа Стриндберга, и японцев Рюноске Акутагаву и Юрико Миямото. Но то очарование, которое он испытал от чтения классического японского романа «Гэндзи моногатари» (XI в.), имело решающее значение для эстетического формирования писателя. От этого литературного памятника он получал не только эстетическое наслаждение, это произведение стало основой для воспитания художественного вкуса в писателе и литературного чутья.

В 1920 г. Кавабата поступил на английское отделение Токийского университета, однако через год перешел на отделение японской филологии, и тогда же появился в журнале «Синтё» («Новое течение») его рассказ «Картины поминовения павших на войне». В 1924 г. по окончании университета Кавабата принимает участие в создании журнала «Бунгэй дзидай» («Литературная эпоха», 1924—1927), объединившего вокруг себя так называемых неосенсуалистов.

Группа неосенсуалистов не имела единой программы. Она объединила мелкобуржуазных интеллигентов, остро переживающих внутреннее смещение перед лицом грандиозных социальных потрясений 20-х годов. Стремясь выразить «тревогу времени», они обратили внимание на

модернистские течения в западной литературе, находя в них созвучные своему умонастроению струны.

Теоретической основой этого литературного направления послужила статья Рипти Екомицу «О неосенсуализме» (1925). Человек осмысляет не мир, заявлял Екомицу, а свое восприятие мира, следовательно, художественное творчество не отражает объективную реальность, оно является лишь актом от субъективных ощущений. Задача художника сводится лишь к регистрации непрерывно меняющихся внутренних состояний действующих лиц.

В этой эстетической концепции японских неосенсуалистов нетрудно усмотреть ее связь с литературной теорией западного модернизма. Пруст, Джойс, Фрейд, произведения которых усиленно переводились на японский язык в 20-х годах, оказали значительное влияние на японских неосенсуалистов.

Под влиянием романа Джойса «Улисс» Кавабата пишет рассказ «Кристаллическая фантазия» (1930). При помощи джойсовского метода «потока сознания» он воссоздает жизнь путем отрывочных воспоминаний одинокой женщины об ушедшем времени. В беспорядочном ходе ее воспоминаний реальная действительность не преломляется, внутренний мир героини представляет самодовлеющий интерес.

Ясунари Кавабата, хотя формально и принадлежал к группе неосенсуалистов, все же стоял особняком среди них. В отличие от Екомицу, главы неосенсуалистов, избравшего в качестве художественного объекта слепую силу машин и объявившего, по его словам, «кровавую войну против родного языка», чтобы конструировать, как он выражался, неизведанный стиль для выражения нового облика времени, Кавабата всегда подчеркивал неразрывную связь своего творчества с национальной художественной культурой, с классическим японским представлением о прекрасном. «Увлечшись современной литературой Запада,— пишет Кавабата,— я порой пытался подражать ее образцам. Но в корне я восточный человек и никогда не терил из виду своего собственного пути». Рассказ «Кристаллическая фантазия» остался незаконченным. Кавабата больше не возвращался к неудавшемуся эксперименту психоанализа, чуждого его художественной натуре. Одним из лучших его произведений в эту пору надо считать новеллу «Танцовщица из Идзу» — удивительно чистый лирический рассказ о первой юношеской любви, о первом соприкосновении с прекрасным.

В 1968 г., выступая в Стокгольме по случаю вручения ему Нобелевской премии, Кавабата начал свою речь со стихотворения дзэнского поэта Догэна (1200—1253):

Цветы — весной,
Кукушка — летом.
И осенью — луна.
Холодный чистый снег
Зимой.

«Здесь простые образы, простые слова незамысловато, даже подчеркнуто просто поставлены рядом, но они-то и передают сокровенную суть японской души,— говорит Кавабата. И, возвратившись на родину, он вновь повторяет: «Может быть, небольшое стихотворение Догэна покажется европейцу примитивным, банальным, даже просто неуклюжим набором образов времен года, но меня оно поражает тонкостью, глубиной и теплотой чувства».

Стихотворение Догэна называется «Изначальный образ». Особенности художественного мышления и осмысления природы поэтического слова, своеобразие мировосприятия Кавабаты тесно связаны с этим «изначальным образом» дзэнской поэзии.

Учение дзэн — одной из школ буддизма, сложившейся в Китае на рубеже V—VI вв. н. э., проникло в Японию в XII в. Этико-философские и эстетические системы дзэн, сочетаясь с местной художественной традицией, оказали глубокое воздействие на развитие японского искусства.

В книге «Дзэн и японская культура» (1940) Дайсэцу Судзуки пишет, что принцип сатори — «озарения» сокровенной сути вещей — заключается в том, что их истинную природу можно постигнуть внезапно, интуитивно, а не путем логического умозаключения. Мгновенное проникновение в сущность вещей противопоставляется рассудочным построениям рационального мудрствования. Это, по мнению Судзуки, лежит в основе японской культуры.

Поскольку, согласно дзэн, истина открывается мгновенно, то применительно к искусству творческий акт также носит характер мгновенности. Восприятие прекрасного в природе и создание произведения искусства — это как бы одно и то же, между ними стираются грани и нет места логическому мышлению, представляющему постепенное восхождение к истине. В искусстве дзэн словам должно быть не только тесно, истина лежит просто «вне слов»: важными художественными компонентами становятся молчание, недосказанность, намек. Наиболее полным выражением эстетического принципа дзэн является японское трехстишие хокку, которое не может быть воспринято вне контекста ассоциаций.

Отвергая рассудочное восприятие мира, эстетика дзэн утверждает, что безоблачная детскость и естественная простота являются теми свойствами, которые предопределяют путь истинного художника. Важным моментом творческого процесса является не заранее принятая стройная формула плана произведения, а безыскусность, полная непосредственность, как это выражено в стихах Догэна. Про свои «рассказы с ладонь величиной» Кавабата говорит, что они не создавались, а просто возникли.

Принцип естественности художественного образа, присущий эстетике дзэн и исходящий из восприятия природы как главного всеобщего начала, не отводит человеку какой-либо исключительной роли. Мир не рассматривается как арена человеческих деяний, в котором человек — герой и творец. В искусстве дзэн человек выступает как одно из явлений природы и находится с ней в нерасторжимом единстве. В эстетике дзэн доминирует взгляд на природу как на субстанцию, обладающую прежде всего эстетическим значением.

Таким образом, учение дзэн не только сковывает социальную активность человека, оно игнорирует классовое деление общества. А искусство дзэн, отвергая все инструменты анализа, не способствует раскрытию социальных причин тех зол, которые заключены в самой природе классового общества. Эта историческая ограниченность дзэн в какой-то степени сказывается и в творчестве Ясунари Кавабаты.

Но хотя дзэн не призывает к социальному преобразованию, его принцип естественности и простоты как неотъемлемых свойств духовной цельности, его признание природного равенства людей объективно направлены против существующих буржуазных общественных установ-

лений. Дзэнское презрение к внешним знакам славы и силы, ложной значительности легко согласуется с классическим японским представлением о прекрасном. Идеал японской красоты в ее существенных чертах выражен был уже в литературном памятнике IX в.— в «Повести о старике Такэтори», в котором был использован сюжет одной из старинных легенд. Старик Такэтори (буквально: собирающий бамбук) нашол в колечке бамбука крошечную девочку, красота которой оборочила всех юношей среди японской знати. В повести говорится: «Кагуяхимэ ростом в три сун¹ была прекрасна». Эстетизм японцев внешним знакам ложной значительности противопоставляет значительность слабого и малого. В японском языке слово «красота» («уцукуси») заимствовано из китайского. А китайский иероглиф «мэй» состоит из двух компонентов, которыми обозначаются «баран» и «большой». Вероятно, у древних китайцев представление о красоте было связано с понятием изобилия, силы и могущества, как это бросается в глаза в скульптуре и живописи европейской античности. Японцы же, заимствовав чужое слово, вложили в него свое понятие о прекрасном. Ооно Син, автор книги «Следы возраста японских слов», пишет: «Я думаю, что представление о прекрасном у японцев связано не с понятием добра и обилия, а, скорее всего, с понятиями чистоты, изящества, миниатюрности».

Развитие такого рода эстетических представлений привело в конечном итоге к противоречию с официальной идеологией «японизма», проповедующего величие Японии под эгидой императора — «сына неба» и самурайскую доблесть. Еще в XVIII в., в эпоху безраздельного господства самурайства, известный ученый и литератор Норинага Мотоори утверждал, что «сущность вещей — женственна», тем самым противопоставив гармоничную красоту жестокости.

В поисках «устойчивых ценностей», не подвластных закону времени, Кавабата обращает свои взоры не на средневековые военные злодеи вроде «Повести о доме Тайра» (XIII в.), созданные в период утверждения военно-феодального строя, а на национальную классику хэйанской эпохи (IX—XII вв.), проявившую внимание к существованию человеческой личности не в ложно героическом обличье, а в естественности своего индивидуального существования. Утверждая всеобщую гармонию и равновесие в этой изменчивой и недолговечной жизни, эта классика возвеличивала красоту мягкой женственности в противоположность грубой мужской силе. Она и была для Кавабаты постоянным источником творческого вдохновения. «Во время войны,— вспоминает писатель,— под тусклым светом лампы я продолжал читать «Гэндзи моногатари»... Это было моим протестом против духа времени».

Благодаря этой приверженности к национальной классике, утверждающей мир и гармонию, Кавабата смог сохранить свою творческую индивидуальность в душную пору милитаристского угара. В годы войны, когда многие японские писатели заняли позицию приспособления к реакции и примирились с идеологией милитаризма, Кавабата не изменил идеалам японской классики, идеалам прекрасного.

Позже он писал: «Мне была чужда слепая вера в божественную Японию, к ней не лежала моя любовь. Во мне жила печаль, и я грустил вместе с моими соотечественниками».

¹ Суи — мера длины, равная 3,03 см.

В произведениях Кавабаты нет образа героя-воина, в них отсутствует даже тенденция к героизации такого образа. Он рассматривает жизнь с другой точки зрения, он ищет лирику в самой обыденности. Трудно согласиться с некоторыми японскими критиками, которые видят в произведениях Кавабаты лишь некую иррациональную красоту. По признанию самого Кавабаты, для него «лирическое находится не в «серебряной» токийской улице Гинза, а в районе Асакуса, где ютятся обездоленные, не в фешенебельных кварталах Токио, а в ночлежках бедняков, не в беззаботных физиономиях гимназисток, а в изможденных лицах работниц табачной фабрики».

Конечно, писатель, отдающий дань эстетике дзэн, не создал скольнибудь полноценного образа рабочего, да он и не ставил себе такой задачи. Но, находя художественный материал везде, в самом обыденном, он писал и о горькой доле простых людей.

Доведенная до отчаяния деревенская женщина решила продать свою дочь в публичный дом. В холодный осенний день несчастная девушка отправилась в город, села в автобус рядом с шофером. Шоферу было жаль девушку, он привез ее обратно в деревню, пусть поживет здесь хоть до будущей весны («Аригато!»). А вот другой образ — бедная крестьянская девочка Оюки из рассказа «Гостиница на горячем источнике». В школу она ходила с маленьким братом за спиной, это было трудно и хлопотно, но все равно она была первой ученицей. Она старательно училась, любила ходить на «уроки морали» («сюсин»). Директор школы хлопотал перед городским начальством о похвальной грамоте для нее. Но после четвертого класса Оюки была вынуждена бросить школу, она так и не дождалась похвальной грамоты и пошла работать служашкой в полупубличный дом-гостиницу. Поначалу ей было стыдно, она еще помнила о школьных «уроках морали»...

Рассказы «Заплата» и «Кораблики» наполнены грустным лиризмом о японских женщинах, у которых юность совпала с мрачными годами войны. В «Камелии», написанной вскоре после войны, Кавабата говорит о своем желании вечного мира на земле. Он радуется, дав новорожденной соседской девочке имя Кадзуко, что значит «Дитя мира». В годы войны во время бомбежки соседка родила мертвого ребенка, который как бы перевоплотился в Кадзуко. «Моя жизнь тоже прошла во мраке военных лет. Возродятся ли эти потерянные годы и для меня?» — говорит писатель.

Важное место в творчестве Кавабаты занимает повесть «Снежная страна». В ней нашло яркое отражение своеобразие художественного стиля писателя. Повесть создавалась долго, с перерывами: начав в 1934 г., он завершил ее лишь в 1947 г. Сперва Кавабата не думал писать большое произведение, у него не было заранее такого намерения. В 1935 г. вышел его рассказ «Зеркало вечернего пейзажа». Недосказанное или, как это обозначается в японской поэтике, «послечувствование» («ёдзё»), вызываемое рассказом о прелести снежного края, зародило у писателя массу поэтических ассоциаций. Тогда он приступил к новой повеле в продолжение предыдущей. Так получилось несколько рассказов, связанных между собой не столько сюжетным единством, сколько поэтической ассоциацией.

Сюжет «Снежной страны» предельно прост. Симамура, мужчина средних лет, без определенных занятий, выросший в торговых районах Токио, приезжает на север страны любоваться природой. Холодный си-

бирский ветер приносил зимой в эти края обильные снега и холод. Встреча Симамуры с местной гейшей Комако и ее неразделенная любовь к нему — вся фабула.

Симамура не способен на большое чувство. Склонный к бесплодному умствованию, он ко всему относится несерьезно. Увлекался то музыкой, то национальными японскими танцами, он порой пытается привнести нечто новое в старое искусство, но, когда ему нужно от теории перейти к практике, он бросает это занятие. Теперь он пишет о европейском балете, которого никогда не видел, переводит статьи Валери и Аллана о русском балете и считается даже знатоком в этой области. Но он сам смеется над своей абсолютно бесполезной, по его словам, работой. Заметим, кстати, что критик Мицуо Накамура видит в образе Симамуры «карикатуру на японскую интеллигенцию 30-х годов».

В пустую душу Симамуры неожиданно врывается образ прекрасной японки. Комако поражает Симамуру скорее не красивой внешностью, а внутренней чистотой, что является первоэлементом японского представления о красоте. «Симамура посмотрел в ее сторону... Глубина зеркала была совершенно белой, зеркало отражало снег, и на этом белом фоне алело, пылало лицо женщины. Удивительная, невыразимо чистая красота». Изобразительная техника здесь напоминает нам знаменитую серию рисунков художника Утамаро (XVIII в.) «Семь женщин за туалетом». Стремясь выразить обаяние японки, художник дал черты ее лица и в фас и в профиль. Через отражение в зеркале, как и Утамаро, Кавабата не рисует лицо женщины, а стремится выразить его.

Но Комако — гейша. Не идеализирует ли писатель экзотическую гейшу, какая на разные лады склоняется в японских путеводителях для иностранных туристов? Симамуре стоило один раз взглянуть на нее, и он сразу понял, что «нет, не из таких она, очень уж чиста». Таким образом, обаяние Комако заключено в самой ее натуре. Ведь и гейшей она стала, пожертвовав собой ради спасения больного сына своей учительницы танца: она хотела заработать деньги для его лечения.

Симамуре, выросшему в расчетливом Токио, такой поступок Комако показался только банальным, на ум ему приходят слова «напрасный труд». Какой-то «нравственный барьер в его мышлении» мешает ему довериться искренности чувств Комако. А Комако, встретив Симамуру, всем своим существом полюбила его, а любить — значит доверить всего себя любимому человеку. Но эта «абсолютная искренность» была для Симамуры очень уж неожиданной. Все это «напрасный труд» — любить самозабвенно, когда это ни к чему не приведет, думал Симамура, подходя ко всему с утилитарной меркой.

Комако противопоставлена холодному практицизму Симамуры. Эти два начала несовместимы. Рано или поздно неизбежен разрыв, и он произошел.

Повесть уже окончена, по существу, однако Кавабата дописывает к ней еще две новеллы: «Млечный путь» и «Пожар в снегу», связанные с предыдущим повествованием опять-таки ассоциациями образов, а не последовательно развивающимся сюжетом. Без видимой логической связи здесь снова всплывает образ Йоко, изображенной с большой впечатляющей силой в начале повести. Симамура пришел в восторг тогда, в вечернем поезде, когда отраженный в стекле вагона глаз Йоко совместился с дальним огоньком в поле и ее зрачок вспыхнул и стал невыразимо прекрасным. И ее голос, окликнувший начальника станции,

был «до боли прекрасен. Казалось, он рассыпается эхом в снежной пустыне ночи». И в этой девушке была какая-то неправдоподобная простота. В ходе повествования Йоко теряется на страницах книги, не играет какой-либо особой роли. «Пронзительная красота» образа переносится в план возвышенного поэтического созерцания.

Повесть неожиданно кончается гибелью Йоко: во время ночного пожара со второго этажа горящего здания Йоко, потерявшая сознание, падает на землю. Но побудительную причину такого трагического конца писатель не раскрывает. Он только показывает лицо умирающей Йоко: «Несколько балок запылали прямо над лицом Йоко, освещая ее пронзительную красоту. Глядя на нее, Симamura, оказавшись на месте пожара, вспомнил тот поезд, отражение лица Йоко в оконном стекле и дальний огонек в поле...» В гибель красивой девушки писатель, по-видимому, вкладывает опять-таки японское представление о прекрасном — увидеть в недолговечности источник красоты. Японцев восхищает сакура, не знающая увядания, — она предпочитает опадать еще совсем свежей. Конечно, поэтизация недолговечности связана с дзенским миро-сознанием.

Повесть «Снежная страна» (в незаконченном виде она впервые была издана в 1937 г.) произвела глубокое впечатление на японских читателей. В 30-е годы, когда в Японии всячески превозносился как исконный японский дух самурайский кодекс чести «бусидо», лирическое воз-величение женской красоты в повести Кавабаты было воспринято как своего рода протест против официальных установлений.

Японские читатели увидели глубокую символику уже в начальных строках повести: «Поезд проехал длинный туннель на границе двух провинций и остановился на сигнальной станции. Отсюда начиналась «снежная страна». Красота этого края отгорожена длинным туннелем и противопоставлена тому миру, который находится за унылыми горами. Кроме того, образ снега также нес в себе символику. Снег — символ теплоты, а не холода, холодного чувства и отчуждения. Глядя на него, японцы восхищаются не только красотой вечного круговорота природы, но и думают о друзьях, о близких. Эстетические намеки повести не ускользнули от внимания японского читателя. Критик Хидэо Исогай пишет, что «появление каждой отдельной новеллы «Снежной страны» в журнале вызывало восторг у читателей. Безусловно, здесь сказалось то чувство спасения, которое испытывали читатели в душевной атмосфере, созданной в стране после начала агрессивной войны японских империалистов в Китае». Интересно и свидетельство самого Ясунари Кавабаты. «В годы войны, — вспоминает он, — как ни странно, я получал довольно часто письма от японских солдат, находящихся на чужбине. Мои книги, которые случайно попали к ним, вызвали у них великую тоску по родине. Они благодарили меня и выражали свое читательское одобрение. Кажется, мои произведения навевали им мысли о родной земле — Японии».

Двигаясь в русле классической традиции национальной литературы, Кавабата сохраняет своеобразие своей творческой манеры и в послевоенные годы. Размышляя о своем дальнейшем творческом пути, он пишет: «После войны я вновь и вновь возвращаюсь к исконной японской печали. Лучшие его произведения — «Тысячекрылый журавль» (1951), «Голоса гор» (1954), «Старая столица» (1962) — свидетельствуют, что он верен избранному пути.

В 1952 году повесть «Тысячекрылый журавль» удостоена премии японской Академии искусств. Она начинается со съезда гостей в чайный павильон в храме Энкакюдзи. Чайный обряд — древний обычай, возведенный коллективным комплексом эстетизма японцев в ранг высокого искусства, — лежит в основе книги. Обращение писателя к этой теме в послевоенном творчестве достаточно примечательно.

Еще в начале века Тэнсин Окакура (1862—1913), выдающийся деятель японского искусства, в «Книге о чае» (1906), вступая в диалог с зарубежными читателями, утверждал, что подлинный ключ к характеру японцев следует искать в эстетике чайного обряда, а не в «бусидо»¹. «Иностранцы обыватели называли нас варварами, пока мы целиком предавались мирному искусству, — говорит Окакура. — Но с тех пор, как Япония устроила кровавую бойню невиданного масштаба на полях Маньчжурии, они называют ее цивилизованной страной. В последнее время так много стали говорить о «бусидо», но почти никто не обращает внимания на «тядо»². «Бусидо» — это искусство смерти, оно учит наших солдат умирать в ложном воодушевлении. Искусством жизни является «тядо». Если цивилизованность зависит от успеха кровавых войн, мы скорее согласимся остаться варварами».

В душную пору шовинистического угара Окакура выступил убежденным противником войны и возвеличивал не «бусидо», этот самурайский кодекс чести, а мирный обряд, в котором проявилось обостренное чувство красоты у японцев. И кажется неслучайным, что Кавабата, остро переживавший военную катастрофу, посвятил чайной церемонии — «тядо» одно из лучших своих произведений, написанных после войны.

«Тядо» для японцев — это путь чистоты, путь достижения гармонического единства с окружающим миром. Семена чая, попавшие в Японию из Китая в XII в., дали стране не только ароматный напиток, из них родился целый ритуал поклонения красоте.

Небольшая комната погружена в полумрак. В ней нет ничего, что напоминает внешнюю роскошь. На неприметных предметах чайной утвари налет глубокой старины. В нише комнаты в старинной вазе стоит икэбана — единственный стебель лилии или иного полюбившегося хозяину цветка. Эта обстановка изящной простоты и изысканной бедности в сочетании с окружающей природой, которая непосредственно «входит» в чайный домик, создает эстетическую атмосферу, обозначаемую термином «ваби-саби» (печальная прелесть обыденного). Переступая порог чайной комнаты, человек возвращается к не замутненному житейской суетой первоначалу. Но в современном обществе сверхпотребления чайный обряд все больше опошляется, предается забвению его эстетическое начало.

Говоря о мотиве, побудившем написать повесть «Тысячекрылый журавль», Кавабата писал: «Кстати, если вы найдете в моей повести желание показать внешнюю красоту чайной церемонии, вы ошибаетесь. Я в ней скорее скептически настроен и решил поделиться своими опасениями и предостережениями против той вульгарности, в которую впадают нынешние чайные церемонии».

¹ Буквально: «Путь война-самурая».

² Буквально: «Путь чая».

Чайный обряд в повести «Тысячекрылый журавль» не просто повествовательный фон, на котором разворачиваются события. Это идея произведения.

Неприметная, обыденная чайная утварь — простая чашка с незатейливым рисунком молодого побега папоротника живет как бы своей самостоятельной жизнью, несет в себе сложную символику. У этой чашки своя история, своя судьба. Жизнь ее началась в эпоху момояма (XVI в.), когда еще жил знаменитый мастер чайного обряда и иkebана Рикю, притча о котором передается в Японии из поколения в поколение: желая вместить красоту в один-единственный стебель повилики, он срезал все цветы своего сада. Четыре века чашку бережно хранили ценители чайного обряда. Созерцая чашку, покрытую налетом времени, герои повести впадают в «эстетический транс». Чашка у очага будто оживает. Встреча с ней вызывает желание увидеть самого дорогого человека.

Но теперь чашка попала в недостойные руки. Вокруг нее разгораются мелкие человеческие страсти, на ее чистом «теле» отпечатались следы разврата. Но все это преходящее. То время, в течение которого чашка пребывала в нечистых руках, по сравнению с ее возрастом — «мгновенная тень».

«У этой чашки своя судьба и своя жизнь, — говорит один из героев повести. — И пусть она живет своей жизнью, без нас... Понимаешь, эта прекрасная чашка не может вызывать горьких мыслей и нездоровых чувств, и если у кого-либо возникает нечто подобное, виновата не она, а наши воспоминания. Мы смотрим на нее нехорошо, тяжелым взглядом... А ведь на протяжении столетий многие смотрели на нее ясным взглядом и радовались и берегли ее».

Так чашка становится критерием «устойчивых ценностей», неподвластных закону времени.

Примечательно, что положительная или отрицательная характеристика героев повести находится в зависимости от их эстетической сопричастности к чайному обряду. Тикако — учительница чайного обряда, но это крайне отрицательный образ, кажется, через нее писатель решил показать ту вульгарность, в которую впадает нынешний чайный обряд. Тут очень заметна презрительная интонация автора. Утилитаризм, душевная черствость, отсутствие тонкого вкуса у Тикако находятся в дисгармонии с древним обычаем. Больше всего раздражает в облике Тикако ее полная безвкусица, отсутствие мягкой женственности и эстетической образованности.

А вот красивая Юкико полна обаяния, она гармонично сливается с эстетикой чайного обряда, растворяется в нем. Интересно, что Кикудзи, пораженный красотой Юкико, не запомнил черты ее лица, в его памяти отпечатались лишь ее изящные движения во время чайной церемонии. Создавая образ Юкико, Кавабата, как и прежде, не идет путем раскрытия внутреннего мира героини, а наделяет ее национальными реалиями, которые несут определенную символику. Юкико направлялась в храм на чайный обряд. Кикудзи навсегда запомнил ее: девушка, которая держала в руке розовое фуросики с белоснежным тысячекрылым журавлем, была прекрасна.

Журавль — символ чистоты и счастья, вызывающий в душе японца эстетический отклик. Кто в Японии не помнит хиросимскую девочку Садако, заблужденную лучевой болезнью? Веря в чудесную птицу, которая, по японскому преданию, приносит людям надежду и счастье, она

вырезала бумажные журавлчки. Когда их будет тысяча, наступит чудесное исцеление от злой болезни. Но она не дожидая до того дня...

Белоснежный журавль на розовом фуросики Юкико тоже символ. Будущее Юкико должно быть счастливым. И повесть кончается счастливой развязкой: Юкико выходит замуж за человека, которого любит. Но все же в этом счастье слышатся какие-то тревожные нотки. Свадебное путешествие Юкико омрачено видом американских военных кораблей, «прогуливающихся» у японских берегов. Ее мирный сон прерывает грохот морских маневров. Разбуженная среди ночи, она вся дрожит от страха. Этот намек очень важен здесь, поскольку это связано с будущим счастьем Юкико. Нота этой тревоги вполне понятна в нынешней японской ситуации, и вместе с тем она звучит по-новому в творчестве Кавабаты. Не заключено ли в этом намеке ценное признание того, что Красоту надо защищать, так же как и независимость страны? Кстати, пробегая к эстетическим намекам, литература Востока предоставляет простор читателскому восприятию. Правда, реалистический штрих, воспроизводящий живую действительность, не попадает в фокус произведения Кавабаты, а присутствует в нем лишь косвенно.

Творчество современного писателя, прибегающего к эстетике дзэн, неизбежно будет страдать односторонностью художественного видения мира. Эстетическая программа, в основе которой лежит внутреннее созерцание, отказ от аналитического исследования общественной среды и связей человека с жизнью, где действует закон причинности, не раскрывает познавательные возможности искусства и литературы. В поисках «устойчивых ценностей» Кавабата ищет красоту, неподвластную закону времени, но это оборачивается тем, что носители прекрасного в его произведениях нередко выступают как отвлеченные внесоциальные личности, вращающиеся исключительно в эстетической сфере. В повести «Снежная страна», над которой Кавабата работал в течение богатых событиями 30-х годов и первых послевоенных лет, не ощущается реальное развитие исторического процесса. Кавабата отвергает жизнь в ложно-героическом обличье, противопоставляя ей идею «вечно женского начала», но это опять-таки приводит к тому, что в его произведениях нет места борьбе.

Но, несмотря на ограниченности, обусловленные исторической узостью эстетики дзэн, творчество Ясунари Кавабаты все же не является замкнутым только в ней и изолированным от современной японской действительности, а, напротив, находится в тесной связи с жизнью. В быстро меняющемся мире сегодняшней Японии люди судорожно ищут духовных ценностей, и этим спешат воспользоваться те, кто стремится возродить в стране милитаризм.

В ноябре 1970 г., в центре Токио, прибегнув к ритуальному самоубийству — харакири, — покончил с собой писатель Юкио Мисима, который постоянно призывал японцев к возвращению к чисто «японским ценностям». Этот писатель считал, что послевоенная конституция, провозглашающая отказ Японии от войны, отняла у японцев «зубы», и поэтому, мол, необходимо вернуть им национальный дух путем возрождения воинственных традиций в японской культуре, чтобы самурайский меч соседствовал с хризантемой. Он призывал возродить «мужскую», или «твердохарактерную», традицию в японской литературе, противопоставляя ее «женской», или «мягкохарактерной», традиции. Отметив, что большая часть японских писателей, в том числе Ясунари Кавабата, при-

держиваются «женской» традиции в японской литературе, Мисима заявлял: «Я же пытаюсь вернуться к твердому характеру самурая, каким он выглядит в военных повестях средневековья».

Некоторые японские критики, исходя из того что Юкио Мисима обращается также к национальным традициям, находят сходство эстетических позиций у него и Ясунари Кавабаты. Однако между ними лежит пропасть. Незадолго до инцидента Мисимы Кавабата сказал: «Вы хотите знать мое мнение о Мисиме? Он не является моим учеником, хотя это часто утверждают».

Здесь уместно привести слова известного критика, видного деятеля японской пролетарской литературы Суэкичи Аоно о творчестве Кавабаты в книге «Современные японские писатели» (1953 г.): «Всякий раз, когда я читаю его произведения, я чувствую, как вокруг меня замирают звуки, воздух становится кристально чистым, и я сам растворяюсь в нем. Я не могу назвать какие-либо другие произведения, которые оказывали бы на меня такое действие. И это происходит, видимо, потому, что в лирической прозе Кавабаты нет ничего мутного, ничего вульгарного... И если когда-либо по прихоти времени творчество Кавабаты, погруженное целиком в мир настоящей, чистой красоты, назовут пустой забавой, это будет поистине прискорбно для всей нашей культуры».

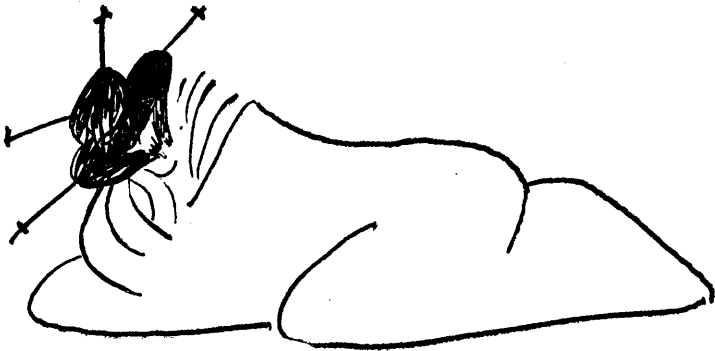
В век всеобщей стандартизации мысли Ясунари Кавабата подчиняет свое творчество благородной задаче сохранения национальной специфики художественного видения мира, внося свою лепту в многообразие красок сферы прекрасного.

В октябре 1969 года в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Ясунари Кавабата говорил: «...Опасность японской культуры, традициям существует. В век ядерной физики и покорения космоса все, даже люди, страшно нивелируется, стандартизируется. Колоссально влияние телевидения. В Японии сильно еще и безумное подражательство Западу, прежде всего США, некритическое освоение западной культуры. И все же я верю, что суть души японца выстоит».

Обращение Ясунари Кавабаты к традициям древней японской культуры способствует обогащению самобытного творчества японского писателя, ибо оно связано не с отжившим, обреченным историей духом агрессивного «японизма». В условиях когда вновь оттачивается самурайский меч, Кавабата возвеличивает те национальные традиции в культуре, которые мы находим в сфере изящного, прекрасного, а не воинственного. Он противопоставляет классическое японское представление о прекрасном агрессивной жестокости. В этом для нас обаяние своеобразного творчества японского писателя.

Р. Рехо

**ТЫСЯЧЕКРЫЛЫЙ
ЖУРАВЛЬ**





ТЫСЯЧЕКРЫЛЫЙ ЖУРАВЛЬ

1

Даже вступив на территорию камакурского храма, Кикудзи все еще продолжал колебаться, идти ему или не идти на эту чайную церемонию. К началу он все равно уже опоздал.

Устраивая чайные церемонии в павильоне храмового парка Энкакудзи, Тикако Куримото регулярно посылала ему приглашения. Однако после смерти отца Кикудзи не был там ни разу. Он не придавал значения этим приглашениям, считая их обычным проявлением уважения к памяти покойного.

Но на этот раз, помимо обычного текста, в приглашении была маленькая приписка — Тикако собиралась показать ему одну девушку, свою ученицу.

Прочитав приписку, Кикудзи вдруг вспомнил родимое пятно на теле Тикако. Отец однажды взял его с собой к этой женщине. Ему тогда было лет восемь или девять. Когда они вошли в столовую, Тикако сидела в распахнутом кимоно и крохотными ножницами стригла волосы на родимом пятне. Темно-фиолетовое пятно, величиной с ладонь, захватывало всю нижнюю поло-

вину ее левой груди и доходило почти до подложечки. На нем росли волосы. Их-то и стригла Тикако.

— Боже мой, вы с мальчиком!

Она, кажется, смутилась. Хотела вскочить, но потом, очевидно, подумала, что такая поспешность только увеличит неловкость и, чуть повернувшись в сторону, неторопливо закрыла грудь, запахнула кимоно и заправила его под оби¹.

Видимо, мальчик, а не мужчина заставил ее смутиться — о приходе отца Кикудзи Тикако знала, ей доложила об этом прислуга, встретившая гостей на пороге.

Отец в столовую не вошел. Он уселся в соседней комнате, гостиной, где Тикако обычно проводила свои уроки. Рассеянно разглядывая какэмоно в стеной нише, отец сказал:

— Позволь чашку чая.

— Сейчас,— отозвалась Тикако.

Но она не торопилась встать. И Кикудзи увидел расстеленную на ее коленях газету, а на газете коротенькие черные волоски, точно такие, какие растут на подбородке у мужчин.

Был яркий день, а наверху, на чердаке, беззастенчиво шуршали крысы. У самой галереи цвело персиковое дерево.

Тикако, присев у очага, стала готовить чай. Ее движения были какими-то не очень уверенными.

А дней через десять после этого Кикудзи услышал разговор отца с матерью. Мать, словно открывая страшную тайну, рассказала отцу про Тикако: оказывается, у бедняжки огромное родимое пятно на груди, поэтому она и не выходит замуж. Мать думала, что отец об этом ничего не знает. Лицо у нее было печальное — наверно, она жалела Тикако.

Отец сначала только мычал, всем своим видом показывая удивление, потом сказал:

— Н-да... конечно... Но она ведь может предупредить жениха... Если он будет знать о пятне заранее, может быть, даже посмотрит на него, я думаю, это не повлияет на его решение...

— Вот и я то же самое говорю! Но разве осмелится женщина признаться мужчине, что у нее огромное родимое пятно, да еще на груди...

— Глупости, она уже не девица...

— Да, но все равно стыдно... Если бы родимое пятно было у мужчины, это бы не играло никакой роли. Он мог бы показать его жене даже после свадьбы — она бы только посмеялась.

¹ Объяснения к японским словам даны в конце книги.

— И что же, она показала тебе это родимое пятно?

— Что вы, не говорите глупостей!

— Значит, только рассказывала?

— Да. Сегодня, когда она пришла к нам давать урок, мы разговорились. Ну, она и разоткровенничалась... А вы что скажете — как может отнестись к этому мужчина, если она все-таки выйдет замуж?

— Н-не знаю... Может быть, ему будет неприятно... А впрочем, иногда в этом есть свое очарование. К тому же этот недостаток может пробудить в муже особую заботливость, вскрыть хорошие стороны его характера. Да и не такой уж это страшный недостаток.

— Вы так думаете? Вот и я ей говорила, что это не недостаток. А она все твердит — пятно-то, мол, на самой груди!

— М-м-м...

— И знаете, самое для нее горькое — это ребенок. Муж-то уж ладно. Но если будет ребенок, она говорит, и подумать даже страшно!..

— Из-за родимого пятна молока, что ли, не будет?

— Почему не будет? Дело не в этом. Ей горько, что ребенок увидит пятно. Она, должно быть, все время об этом думает... Мне такое и в голову не приходило... А она говорит: представьте, ребенок берет материнскую грудь, и первое, что он увидит, будет это безобразное родимое пятно. Ужасно! Первое впечатление об окружающем мире, о матери — и такое уродство! Это ведь может повлиять на всю его жизнь... Черное родимое пятно...

— М-м-м... По-моему, все это напрасные страхи, разыгравшееся воображение...

— Конечно! В конце концов есть же искусственное питание для малышей, да и кормилицу можно взять.

— Родимое пятно — ерунда, главное, чтобы у женщины молоко было.

— Не знаю... Все же вы не совсем правы... Я даже всплакнула, когда ее слушала. И подумала, какое счастье, что у меня нет никаких родимых пятен и что наш Кикудзи никогда не видел ничего подобного...

— Н-да...

Кикудзи охватило справедливое негодование — неужели отцу не стыдно притворяться, будто он ничего не знает! И при этом отец не обращает никакого внимания на него, Кикудзи. А он ведь тоже видел это родимое пятно на груди Тикако!

Теперь, почти через двадцать лет, Кикудзи все представ-

лялось в ином свете. Он смеялся, вспоминая об этом. Неловко тогда было отцу, вот уж, наверно, переволновался!

Но в детстве Кикудзи долго был под впечатлением того разговора. Ему исполнилось десять лет, а он все еще мучился тревогой, как бы у него не появились брат или сестра, которых будут кормить грудью с родимым пятном.

И самым страшным было не то, что ребенок появится в чужом доме, а то, что вообще будет жить на свете ребенок, вскормленный грудью с огромным, покрытым волосами родимым пятном. В этом существе будет что-то дьявольское, что всегда будет внушать ужас.

К счастью, Тикако никого не родила. Наверно, отец не допустил этого. Кто знает, может быть, печальная история о младенце и родимом пятне, заставившая мать прослезиться, была придумана и внушена Тикако отцом. Само собой разумеется, он не жаждал иметь ребенка от Тикако, и она не родила. Ни от него, ни от кого-либо другого после его смерти.

Тикако, очевидно, решила предварить события, рассказав матери Кикудзи о своем родимом пятне. Она боялась, что мальчик проболтается, потому и поторопилась.

Она так и не вышла замуж. Неужели родимое пятно действительно оказало такое влияние на ее жизнь?..

Впрочем, и Кикудзи не мог забыть этого пятна. Очевидно, оно должно было сыграть какую-то роль и в его судьбе.

И когда Тикако под предлогом чайной церемонии сообщила, что хочет показать ему одну девушку, перед глазами Кикудзи сейчас же всплыло это пятно и он подумал: уж если Тикако рекомендует девушку, у нее, наверно, безупречно чистая кожа.

Интересно, как отец относился к этому родимому пятну? Может быть, поглаживал его рукой, а может даже покусывал... Кикудзи порой почему-то фантазировал на этот счет.

И сейчас, когда он шел через рощу, окружавшую горный храм, те же мысли, заглушая щебетание птиц, рождались в его голове...

С Тикако происходили определенные изменения. Уже года через два-три после того, как он увидел ее родимое пятно, она вдруг сделалась мужеподобной, а в последнее время и вовсе превратилась в существо неопределенного пола.

Наверно, и сегодня, на чайной церемонии, она будет держаться не по-женски самоуверенно, с каким-то наигранным достоинством. Кто знает, может быть, ее грудь, так долго носившая на себе темное родимое пятно, уже начала увядать... Ки-

кудзи почему-то стало смешно, он чуть было не засмеялся вслух, но в этот момент его нагнали две девушки.

Он остановился, уступая им дорогу.

— Скажите пожалуйста, по этой тропинке я дойду до павильона, где Куримото-сан устраивает чайную церемонию? — спросил Кикудзи.

— Да! — разом ответили девушки.

Он отлично знал, как пройти. Да и девушки в нарядных кимоно, спешившие по этой тропинке, явно направлялись на чайную церемонию. Но Кикудзи задал вопрос нарочно — чтобы ему уже было неудобно повернуть обратно.

Та девушка, которая держала в руках розовое крепдешинное фуросики с белым тысячекрылым журавлем, была прекрасна.

2

Кикудзи подошел к чайному павильону в тот самый момент, когда опередившие его девушки уже надели таби и собирались войти внутрь.

Через их спины он заглянул в комнату. Комната была довольно просторная, около восьми татами¹, но народу набилось очень много. Сидели вплотную, почти касаясь коленями друг друга. Кикудзи не разглядел лиц — яркость и пестрота нарядов несколько ослепили его.

Тикако поспешно встала и пошла ему навстречу. На ее лице было и удивление и радость.

— О-о, редкий гость, прошу вас, проходите! Как это мило с вашей стороны, что вы к нам заглянули! Вы можете пройти прямо здесь. — Она указала на ближайшее к нише сёдзи.

Кикудзи покраснел, чувствуя на себе взгляды всех находившихся в комнате женщин.

— Кажется, здесь одни дамы? — спросил он.

— Да. Были и мужчины, но уже разошлись, так что вы будете единственным украшением нашего общества.

— Ну что вы, какое же я украшение!

— Нет, нет, Кикудзи-сан, у вас столько прекрасных качеств! Вы действительно будете настоящим украшением.

Кикудзи показал ей жестом, что пройдет через основной вход.

¹ В Японии принято измерять комнатную площадь на татами. Одно татами равно примерно 1,5 м². — *Здесь и далее примечания переводчиков.*

Красивая девушка, заворачивая таби в фуросики с тысячекрылым журавлем, вежливо отступила в сторону, пропуская его вперед.

Кикудзи прошел в соседнюю комнату. Там были разбросаны коробки из-под печенья, из-под чашек и прочей утвари, принесенной для чайной церемонии. Тут же лежали вещи гостей. За стеной в мидзюя служанка мыла посуду.

Вошла Тикако и села перед Кикудзи, да так поспешно, словно упала перед ним на колени.

— Ну как, красивая девушка, не правда ли?

— Какая? Та, у которой фуросики с тысячекрылым журавлем?

— Фуросики с журавлем? Не понимаю! Я говорю о девушке, которая только что тут стояла. О дочери Инамуры-сан.

Кикудзи неопределенно кивнул.

— О, с вами надо быть начеку, Кикудзи-сан! Вон какие мелочи вы замечаете. А я уж было подивилась вашей ловкости, ду-мала, вы вместе пришли.

— Будет вам!

— Ну уж если по дороге встретились, значит, и впрямь судьба. Да и ваш отец ведь был знаком с Инамурой-сан.

— Разве?

— Да. Инамура-сан из солидного купеческого дома. Они раньше торговали в Йокогаме шелком-сырцом. Но девушка ничего не подозревает о наших планах, так что можете спокойно ее рассматривать.

Тикако говорила очень громким голосом, и Кикудзи ужасно боялся, как бы гости, отделенные от них всего лишь тонкой перегородкой, ее не услышали. Но тут Тикако наклонилась и зашептала ему на ухо:

— Все хорошо, если не считать одной маленькой неприятности. Знаете, пришла госпожа Оота, и вместе с дочерью...— Она сделала паузу и посмотрела на Кикудзи, как он будет на это реагировать.— Не подумайте только, что я ее специально пригласила. Вы же знаете, на чайную церемонию может зайти любой прохожий. Таков обычай. Здесь только что побывали две группы американских туристов. Вы уж не сердитесь на меня, ладно? Оота-сан слышала, что состоится чайная церемония, вот она и пожаловала. Но про вас — почему вы сегодня пришли — она, конечно, не знает.

— А я сегодня и не...— Кикудзи хотел сказать: «И не со-

бираюсь устраивать смотрины», но язык у него словно прилип к гортани.

— Впрочем, неудобно должно быть не вам, а госпоже Оота. А вы держитесь как ни в чем не бывало.

Эти слова задели Кикудзи. Связь Тикако с его отцом, очевидно, была недолгой и не очень серьезной. До самой смерти отца эта женщина продолжала бывать у них в доме. Ее приглашали уже не только для устройства чайных церемоний, но и просто помочь по хозяйству, когда приходили гости. Она превратилась в нечто среднее между компаньонкой и служанкой. Тикако часто работала на кухне вместе с матерью. Ревновать к ней отца было бы просто смешно — настолько мужеподобной стала она в последние годы. Мать, должно быть, и не ревновала, хотя и догадывалась, что в свое время ее супруг, видимо, довольно тщательно ознакомился с пресловутым родимым пятном. Но все уже было позади, в прошлом, и Тикако держалась абсолютно непринужденно, когда они вдвоем с матерью возлились на кухню.

Кикудзи постепенно привык, что эта женщина всегда была к услугам их семьи, всегда была готова исполнить любой его каприз, и мало-помалу мучительное детское отвращение к ней прошло, уступив место легкому пренебрежению.

Может быть, пристав к семье Кикудзи, Тикако просто-напросто нашла удобный способ существования. Очевидно, такой образ жизни, равно как и мужеподобность, были заложены в ее натуре.

Во всяком случае, благодаря их семье Тикако снискала своего рода популярность как преподавательница чайной церемонии.

Когда умер отец, Кикудзи и вовсе примирился с Тикако и даже изредка ее жалел: кто знает, может быть, она после единственной в своей жизни и такой мимолетной, почти иллюзорной связи подавила в себе женщину.

Мать относилась к ней ровно, без подчеркнутой враждебности. Оно и понятно — в последнее время ее тревожила не Тикако, а госпожа Оота.

Господин Оота, приятель отца по чайной церемонии, умер рано, отец взял на себя распродажу оставшейся после него чайной утвари и сошелся с его вдовой.

Тикако сразу об этом пронюхала, первой информировала мать и вдруг превратилась чуть ли не в приятельницу супруги своего бывшего любовника. Защищая интересы матери Кикудзи,

она развила бурную, даже слишком бурную деятельность: выслеживала отца, время от времени усевещивала и запугивала вдову Оота, безо всякого стеснения являясь к ней домой. Казалось, в груди Тикако проснулась долго дремавшая ревность.

Мать Кикудзи, женщина застенчивая и робкая, совсем потерялась от такого энергичного вмешательства и жила в постоянном страхе перед, казалось, неизбежным скандалом.

Тикако даже в присутствии Кикудзи не стеснялась поносить госпожу Оота. А когда однажды мать попыталась ее урезонить, сказала:

— Пусть он тоже знает, это ему полезно.

— Представляете,— говорила она матери,— когда я у нее в последний раз была, ее девчонка, оказывается, сидела в соседней комнате и подслушивала. Я говорю, возмущаюсь, естественно, и вдруг слышу — за стенкой кто-то рыдает...

— Девочка?.. — По лицу матери пробежала тень.

— Ну да, ее дочка. Ей, кажется, уже лет двенадцать. Ох, и устроили они спектакль! У этой госпожи Оота, по-моему, не все дома. Что бы сделал на ее месте нормальный человек? Выбранил бы ребенка за подслушивание и увел бы его куда-нибудь подальше. А она пошла в соседнюю комнату, вернулась с дочерью, обняла ее и усадила к себе на колени. И представляете, обе актрисы, и престарелая и малолетняя, начали напоказ лить слезы.

— Как же так?.. Жалко ведь девочку...

— Кому жалко, а кому и нет. Девчонка очень даже подходящее средство, чтобы повлиять на госпожу Оота... — Тикако перевела взгляд на Кикудзи. — Да и детям иногда это на пользу. Вот и Кикудзи-сан мог бы сказать отцу пару слов...

Тут уж мать не выдержала:

— Прошу вас, придержите свой язык! Слишком уж он у вас ядовитый!

— Ядовитый? И очень хорошо! А вы, оку-сан, весь свой яд при себе держите, вместо того чтобы разом его выплеснуть, да и отвести душу. Вы вон как исхудали, а той ничего не делается, кругом гладкая. Небось еще несчастной жертвой себя воображает, думает, если у нее случилось горе, то можно вздохнуть и плакать напоказ, а гадости делать исподтишка. Нет, вы представьте только: в гостиной, где она принимает вашего мужа, на самом видном месте красуется фотография покойного хозяина дома! Я просто удивляюсь, как ваш супруг все это терпит!

И вот сейчас, после смерти отца, эта дама, которую Тикако

так поносила, явилась сюда, на чайную церемонию, да еще не одна, а с дочерью.

Кикудзи внутренне передернуло, его словно окатили холодной водой.

Пусть сегодня, как утверждает Тикако, госпожа Оота пришла без приглашения, но если она вообще могла сюда прийти, значит, после смерти отца обе женщины поддерживают между собой какие-то отношения. Может быть, госпожа Оота даже дочь посылает к Тикако обучаться чайной церемонии... Все это было для Кикудзи полной неожиданностью.

— Если вам неприятно, может, попросить Оота-сан уйти? — спросила Тикако, заглядывая в глаза Кикудзи.

— Мне совершенно безразлично. А если сама догадается, пусть уходит.

— Не надейтесь, не такая она догадливая. Иначе не пришлось бы страдать ни вашему отцу, ни вашей матушке.

— Вы сказали, она пришла с дочерью?

Кикудзи никогда еще не видел дочь госпожи Оота. И сейчас он подумал — нескладно все получается... Госпожа Оота, ее дочь и девушка с тысячекрылым журавлем... С этой девушкой не хотелось бы встречаться в присутствии дочери Оота, которую он сегодня увидит впервые.

Но назойливый голос Тикако так и лез ему в уши, подхлестывая и щекоча нервы, и Кикудзи поднялся.

— Как бы то ни было, Оота-сан уже знает, что я здесь. Не бежать же мне или прятаться.

Он раздвинул сёдзи, ближайшее к токонома, вошел в комнату и на почетном месте опустился на колени.

Тикако вошла следом за ним и отрекомендовала его присутствующим:

— Митани-сан. Сын покойного Митани-сана.

Кикудзи еще раз поклонился и, подняв голову, наконец-то смог рассмотреть всех девушек.

Должно быть, он был немного возбужден. Сначала он видел только праздничные наряды, слившиеся в сплошное яркое пятно. Лица блекли за пестротой красок. Теперь, несколько успокоившись, он разглядел их и увидел, что сидит прямо напротив госпожи Оота.

— Боже! — воскликнула госпожа Оота. В ее голосе звучали и удивление и откровенная радость, которую конечно же сразу почувствовали все присутствующие.— Как давно мы

не виделись! Прошу вас, не обижайтесь, что я так долго не подавала о себе никаких вестей.

Она легонько дернула за рукав сидевшую с ней рядом дочь, словно говоря — что же ты? Здравойся скорее! Девушка, залившись краской и, очевидно, совершенно смутившись, поклонилась.

Кикудзи был потрясен. В поведении госпожи Оота не было ни тени враждебности, ни тени недоброжелательности. Казалось, она действительно обрадовалась. Казалось, эта совершенно неожиданная встреча доставила ей огромное удовольствие. Казалось, госпожа Оота совершенно не думает, в какое двусмысленное положение ставит себя в глазах присутствующих.

Ее дочь сидела молча, потупившись, не поднимая головы.

Госпожа Оота это заметила, и ее щеки чуть-чуть порозовели, но она несколько не смутилась и продолжала ласково смотреть на Кикудзи. Казалось, она вот-вот поднимется, подойдет и скажет Кикудзи что-нибудь интимное, задушевное.

— Вы тоже увлекаетесь чайной церемонией? — спросила она.

— Да нет... По-видимому, я не унаследовал от папы этих его склонностей...

— Странно... Я думала, такие вещи в крови...

Должно быть, на госпожу Оота нахлынули воспоминания. Ее глаза стали влажными и блестящими.

Кикудзи видел ее в последний раз, когда умер отец, на обряде прощания с усопшим.

За эти четыре года она совсем не изменилась.

И белая длинная шея, не очень гармонизировавшая с полными, округлыми плечами, и вся ее не по возрасту стройная фигура были точно такими, как тогда. Раньше Кикудзи казалось, что по сравнению с глазами нос и рот у нее слишком маленькие. Но теперь он хорошенько рассмотрел ее лицо: нос был правильный, хорошо очерченный, очень милый, а нижняя губа в определенных ракурсах, когда госпожа Оота разговаривала, чуть-чуть выдавалась вперед.

Дочь унаследовала от матери длинную шею и округлые плечи. Но рот и глаза у нее были больше. Почему-то Кикудзи показалось смешным, что у девушки рот крупнее, чем у матери. Сейчас ее губы были плотно сжаты, большие глаза смотрели печально.

Бросив взгляд на огонь, тлеющий в очаге, Тикако сказала:

— Инамура-сан, может быть, вы предложите Митани-сан чашечку чаю? Сегодня мы еще не имели удовольствия полюбоваться вашим стилем.

— Пожалуйста.

Девушка, у которой было фуросики с тысячекрылым журавлем, поднялась.

Кикудзи сразу про себя отметил, что она все время сидела рядом с госпожой Оота. Но, увидев госпожу Оота, он избегал смотреть на эту девушку.

Предложив дочери Инамуры подать чай, Тикако, очевидно, хотела, чтобы Кикудзи мог хорошенько ее рассмотреть.

Девушка присела перед котелком и, чуть повернув голову, спросила:

— А в какой чашке?

— На самом деле, в какой? — подхватила Тикако. — Пожалуй, лучше всего в этой вот. Мне подарил ее покойный господин Митани. Это его любимая чашка.

Кикудзи отлично помнил эту чашку, которую сейчас поставила перед собой дочь Инамуры. Отец действительно всегда пил чай из нее. Но... она досталась отцу от вдовы Оота.

Бедная госпожа Оота! Наверно, ей сейчас очень горько: любимую чашку покойного мужа она уступила господину Митани, а тот взял да и подарил ее, и кому... Тикако!

Бесчувственность и бестактность Тикако поразили Кикудзи.

Впрочем, госпожа Оота в этом отношении ничуть ей не уступала.

Над очагом поднимался легкий пар. Он клубился, будто сплетая прошлое этих двух уже не очень молодых женщин. А на этом фоне юная дочь Инамуры с безукоризненной чистотой исполняла обряд приготовления чая. Кикудзи вдруг остро ощутил всю красоту девушки.

3

А дочь Инамуры, наверно, и не подозревала о намерении Тикако показать ее Кикудзи.

Она совершенно спокойно приготовила чай и без тени смущения подала чашку Кикудзи.

Выпив чай, Кикудзи стал любоваться чашкой. Это был черный орибэ: на одной стороне на белой глазури художник черной краской изобразил молодой побег папоротника.

— Вы, конечно, ее помните, — сказала Тикако.

— Что-то подобное припоминаю... — неопределенно ответил Кикудзи, опуская чашку.

— Этот побег папоротника передает ощущение горной местности. Чашка очень хороша для ранней весны, Митанисан пил из нее именно в это время года... Сейчас она, конечно, немного не по сезону, но я подумала, что вам будет приятно поддержать ее в руках.

— Ну, что вы, отец ведь так недолго владел этой чашкой! У нее своя история. Если не ошибаюсь, она проделала долгий путь, пока дошла до нас — от мастера Рикю эпохи Момояма¹. Значит, на протяжении столетий ее бережно сохраняли многие ценители чайной церемонии... Так что мой отец здесь ни при чем, — сказал Кикудзи, пытаясь заставить себя забыть, какие судьбы сплетались вокруг этой чашки.

Чашка от господина Оота перешла к его вдове, от нее — к отцу Кикудзи, а от отца — к Тикако. Из этих четверых людей двое — мужчины — уже умерли, а двое — женщины — присутствуют сейчас на чайной церемонии. Разве этого не достаточно, чтобы назвать судьбу чашки необычной?

— Мне бы тоже хотелось выпить из этой чашки. Я ведь из другой пила, — вдруг сказала госпожа Оота.

Кикудзи снова поразился. Что за странная женщина — то ли глупая, то ли совсем уж бесстыжая.

На ее дочь, не осмеливавшуюся поднять глаз, было жалко смотреть.

Инамура приготовила чай для госпожи Оота. На девушку были обращены все взгляды. Но она оставалась совершенно спокойной, не подозревая, какие страсти бушевали вокруг черного орибэ.

Девушка исполняла обряд по всем правилам, как ее учили. Она делала все просто и естественно, безо всякой манерности. Казалось, чайная церемония доставляет ей истинное удовольствие. Да и во всей ее фигуре, в каждой ее позе была благородная простота.

На сёдзи за спиной девушки падала тень от молодой лшты, и ее яркое нарядное кимоно мягко светилось отраженным светом. От волос тоже исходил этот свет.

Пожалуй, для чайной церемонии в комнате было слишком светло, но свет только подчеркивал красоту девушки. Ее фу-

¹ Вторая половина XVI века.

куса¹, алая, как пламя, не казалась претенциозной, а, напротив, усиливала впечатление юной весенней свежести. Слово у нее в руках цвел красный цветок.

Казалось, еще секунда — и вокруг девушки закружатся тысячи крохотных белоснежных журавлей.

— Зеленый чай в темной чашке — как это прекрасно! — сказала госпожа Оота. — Невольно приходит сравнение с молодыми весенними побегами...

Хорошо еще, что она не сказала, кому принадлежала чашка, пощадила память мужа.

Потом начался осмотр чайной утвари. Девушки не очень-то в ней разбирались, но для приличия восхищались и внимательно слушали объяснения Тикако.

И мидзусаси и тясяку² раньше принадлежали отцу Кикудзи. Но Тикако об этом не упомянула. Кикудзи, разумеется, тоже промолчал.

После осмотра посуды девушки одна за другой начали расходиться. Кикудзи рассеянно смотрел на них, когда к нему подошла госпожа Оота.

— Простите, пожалуйста, мою нескромность! Но на меня, как только я вас увидела, сразу нахлынули дорогие воспоминания...

— Да...

— Как вы возмужали! Просто удивительно... — Казалось, из ее глаз вот-вот брызнут слезы. — Да-а... ведь и ваша матушка... Я очень хотела прийти на похороны, да не осмелилась.

Кикудзи сделал недовольное лицо, но она продолжала:

— Как грустно... И мама ваша за отцом последовала... Вам, наверно, очень одиноко...

— Да...

— Вы еще не собираетесь уходить?

— Чуть попозже...

— Мне бы хотелось как-нибудь поговорить с вами. Чтобы вы меня выслушали...

— Кикудзи-сан! — позвала из соседней комнаты Тикако.

Госпожа Оота поднялась с видимым сожалением. Дочь

¹ Салфетка для чайной церемонии, обычно бывает белая.

² Мидзусаси — нечто вроде кувшина для воды, из которого подливают воду в котелок, стоящий на очаге; тясяку — ковшик, чаще всего бамбуковый, которым черпают кипяток из котелка.

ждала ее в саду. Обе раскланялись с Кикудзи и ушли. Глаза девушки словно жаловались на что-то.

В соседней комнате Тикако вместе со своими постоянными ученицами и служанкой наводила порядок.

— Что вам говорила госпожа Оота?

— Да так... ничего особенного...

— Вы ее остерегайтесь. Она все время играет. Делает невинное лицо, изображает кротость, а что у нее на уме — неизвестно.

— Но у вас-то она, кажется, постоянный гость. Интересно, с каких это пор? — не удержался Кикудзи.

Выйдя из павильона, Кикудзи вздохнул полной грудью, словно надышался ядовитых испарений.

Тикако пошла вместе с ним.

— Ну как, понравилась вам дочь Инамуры? Правда, прелестная девушка?

— Да, очень мила. Но, наверно, она бы мне понравилась гораздо больше, если бы я встретился с ней где-нибудь в другом месте, где не витает тень покойного отца и не было бы ни вас, ни госпожи Оота.

— И охота вам нервничать из-за таких пустяков! Уж к этой-то девушке госпожа Оота не имеет абсолютно никакого отношения.

— Может быть... Но именно перед этой девушкой мне и было неловко.

— Почему? Если присутствие госпожи Оота вас расстроило, извините, конечно, но я ведь сегодня ее не приглашала. Так что между ней и дочерью Инамуры нет никакой связи.

— Позвольте мне сейчас откланяться, — сказал Кикудзи.

Он понял, что, если они пойдут вместе, ему не отвязаться от Тикако.

Оставшись один, Кикудзи огляделся. На горном склоне росла дикая азалия, покрытая нежной завязью бутонов. Он глубоко вздохнул.

И зачем он пошел на эту чайную церемонию?.. Соблазнил письмо Тикако! Нехорошо. Но девушка с тысячекрылым журавлем и впрямь очень мила. От нее остается впечатление яркости и свежести.

Может быть, именно из-за нее встреча с двумя бывшими любовницами отца не оставила горького осадка. Но когда он подумал, что эти женщины живут и продолжают тревожить память отца, а мать умерла, в нем закипело возмущение.

И снова перед глазами всплыло безобразное родимое пятно на груди Тикако.

Кикудзи снял шляпу и медленно шел навстречу бегущему по молодой листве вечернему ветру.

И вдруг вдали, у храмовых ворот, он увидел госпожу Оота.

Он огляделся — куда бы скрыться?.. Пожалуй, если взобраться по крутому склону, все равно какому, справа или слева от дороги, можно выбраться из храмовых владений, минуя ворота.

Но он пошел прямо, не сворачивая с дороги. Щеки у него вдруг стали холодными и твердыми.

Завидев Кикудзи, госпожа Оота двинулась ему навстречу, ее лицо пылало.

— Я ждала вас. Мне захотелось еще раз вас увидеть, ведь неизвестно, когда мы теперь встретимся... Наверно, это дерзость с моей стороны, но... не могла я так просто взять и уйти.

— А где же ваша дочь?

— Фумико ушла с подружкой... Вернется домой без меня.

— И ваша дочь знает, что ее мама... что вы ждете меня? — спросил Кикудзи.

— Да, — ответила госпожа Оота, посмотрев ему прямо в глаза.

— Наверно, это ей неприятно. Мне кажется, наша случайная встреча на чайной церемонии произвела на вашу дочь тяжелое впечатление. Мне даже жалко ее стало...

Кикудзи нарочно подбирал слова, чтобы его высказывание могло показаться и уклончивым, и в то же время грубым.

Но госпожа Оота ответила очень откровенно:

— Вы правы. Ей было тяжело встретиться с вами.

— Еще бы! Ваша дочь достаточно намучилась из-за моего отца.

Он хотел добавить: «Так же, как и из-за вас», но сдержался.

— Совсем нет! — живо возразила госпожа Оота. — Ваш отец всегда был очень ласков с Фумико... Мне бы хотелось когда-нибудь, в спокойной обстановке, рассказать вам обо всем... Правда, девочка поначалу, как он ни старался, никак не могла к нему привыкнуть, но потом, уже к концу войны, когда воздушные бомбардировки страшно усилились, она вдруг резко изменилась. Не знаю уж, что с ней сделалось, но

она вдруг стала очень заботиться о вашем отце... Нет, она не ласкалась к нему, а именно заботилась. Бывало, отправится в какую-нибудь дальнюю деревню за рыбой или за курицей. Одна. А ведь совсем еще девочка была. И бомбили все время. Так она и ездила — под бомбежками. Очень я за нее волновалась, представляете, что ей приходилось терпеть в дороге? Но она все равно ездила, очень уж ей хотелось угодить вашему отцу... В такую даль забиралась. Думаю, не раз подвергалась смертельной опасности. Но она так хотела... А ваш отец, он... он страшно удивлялся, почему вдруг Фумико стала так нежно к нему относиться... Да и меня поражала эта перемена. Я порой едва сдерживала слезы, глядя на нее, до того она была трогательной... А еще... горько мне очень было... Она ведь меня постоянно корила...

Только сейчас Кикудзи понял, откуда в те тяжелые годы в их доме порой появлялись удивительные лакомства. Отец, принося эти редкостные продукты, что-то говорил о каких-то подарках. А оказывается, все это доставала дочь Оота, ее доброта поддерживала их семью.

— Я до сих пор не совсем понимаю, почему она тогда так переменялась, — продолжала госпожа Оота. — Скорее всего почувствовала, какое это было страшное время — ведь смерть буквально каждый день ходила по улицам... Жалела она меня, наверно, очень жалела, вот и делала для вашего отца все, что было в ее силах.

Да, девочка, должно быть, много пережила, если тогда, к концу войны, вдруг почувствовала, чем живет ее мать. А мать изо всех сил цеплялась за свою любовь к отцу Кикудзи. И девочка сумела отойти от прошлого — забыть своего покойного отца — и проникнуться настоящим — жизнью матери, страшной, как и вся окружающая ее жизнь того времени.

— Вы заметили кольцо на руке Фумико?

— Нет.

— Это подарок вашего отца. Ваш отец во время воздушной тревоги всегда уходил домой. И Фумико всегда шла его провожать. Никакие уговоры не помогали, она твердила, мало ли что может случиться по дороге. О себе не думала, с ней ведь тоже все, что угодно, могло случиться. И вот однажды пошла его провожать и не вернулась. Я очень тревожилась, хорошо, думаю, если ее оставят ночевать у вас, а если нет... Одна, ночью, под бомбежкой... пришла только утром. Я спросила, где

она была, она сказала — к вам не пошла, только проводила вашего отца до самого порога, а ночь провела в каком-то бомбоубежище. Ваш отец, когда в следующий раз навестил нас, очень ее благодарил, говорил: «Большое тебе спасибо, Фуми-тян!» — и преподнес ей кольцо... Наверно, сейчас, на чайной церемонии, она прятала руку, стыдно ей было перед вами из-за этого кольца...

Кикудзи слушал госпожу Оота, и в его душе нарастала неприязнь. Странная женщина! Неужели она надеется своими рассказами вызвать в нем сочувствие к себе?!

Впрочем, ненависти или враждебности он к ней не испытывал, в ней была какая-то теплота, усыпляющая его настроенность.

Наверно, ее дочь не могла спокойно относиться к матери, оттого и начала так стараться.

Кикудзи показалось, что, рассказывая о дочери, госпожа Оота на самом деле говорила о своей любви.

По-видимому, ей страстно хотелось излить душу. Она очень обрадовалась встрече с ним и словно забыла, что перед ней не ее покойный возлюбленный, а его сын. Мысль, конечно, странная, но такое у Кикудзи было впечатление: говорит она с ним, а будто изливает душу другому, его отцу.

Враждебность, которую он некогда вместе с матерью испытывал к госпоже Оота, не то чтобы совсем прошла, но как-то смягчилась. И наверно, если бы он немного ослабил напряжение воли, ему легко было бы вообразить, что эта женщина любила именно его, ибо он и отец одно и то же... Очень уж велик соблазн — поверить в давнюю близость с этой женщиной.

Теперь Кикудзи стал понимать, почему отец быстро порвал с Тикако, а с госпожой Оота был близок до самой смерти. Понял он и другое — Тикако ненавидит свою бывшую соперницу и продолжает над ней издеваться по сей день. И у него вдруг возникло жестокое желание ранить госпожу Оота, и побольнее. Уже не в состоянии удержаться он сказал:

— Кажется, вы часто бываете на чайных церемониях у госпожи Куримото? Странно! Ведь в свое время она достаточно попортила вам крови...

— Да... верно... Но когда скончался ваш отец, я получила от нее письмо... И так мне было тяжело, так пусто и одиноко, что я... — Госпожа Оота опустила голову.

— А ваша дочь всегда ходит к ней вместе с вами?

— Нет, не всегда. А если и ходит порой, то через силу. Они пересекли железнодорожные пути у станции Северная Камакура и пошли по направлению к горе, находившейся на противоположной от храма стороне.

4

Госпожа Оота была на добрых двадцать лет старше Кикудзи, ей сейчас было не меньше сорока пяти, но ему казалось, что он держит в объятиях совсем молоденькую женщину, гораздо моложе него.

Кикудзи было хорошо с ней, и он чувствовал себя совершенно свободно, без обычной скованности, свойственной молодым одиноким мужчинам.

Кажется, он впервые понял, что такое женщина, да и что такое мужчина тоже. В нем проснулся мужчина, и это было удивительно, это волновало. Раньше он и не подозревал, какой может быть женщина — нежной, податливой... податливой до головокружения. Она увлекала его и в то же время покорно следовала за ним, и он растворялся в ней, как в сладком аромате.

Обычно Кикудзи после близости с женщиной испытывал нечто вроде отвращения. А сейчас, когда, казалось, должно было прийти настоящее отвращение, ничего подобного не чувствовал. Наоборот, на него нахлынул какой-то умиротворяющий покой.

Прежде ему всегда хотелось отодвинуться подальше от женщины, теперь же он не только не пытался отстраниться, а наслаждался близостью теплого, прильнувшего к нему тела. На него подолгу набегали сладостные волны, исходившие от женщины. И он даже не подозревал, что они могут быть такими приятными и продолжительными. В полудреме рождалось какое-то смутно-горделивое чувство, словно он повелитель, а она — рабыня, и эта рабыня моет ему ноги.

И в то же время в ее объятиях было что-то материнское.

Вдруг он спросил, втянув голову в плечи:

— А вы знаете, что у Куримото вот здесь большое родимое пятно?

Кикудзи тут же понял, что сказал что-то нехорошее, но все в нем дремало, купаясь в сладкой лени, и, должно быть, поэтому ощущения вины перед Тикако не появилось.

— Прямо на груди, на этом вот месте,— добавил Кикудзи, протягивая руку к груди госпожи Оота.

Кикудзи так и подмывало сказать еще что-нибудь в этом роде. То ли ему вдруг захотелось причинить боль госпоже Оота, то ли это была своеобразная защитная реакция против собственного непривычного состояния. А может быть, он просто пытался за грубостью скрыть смущение — неудобно все-таки разглядывать ее грудь.

— Не надо, не хочу.— Госпожа Оота осторожно запахла кимоно. Впрочем, слова Кикудзи не произвели на нее особого впечатления. Она спокойно сказала: — Я первый раз об этом слышу. Пятно? Но его ведь не видно под одеждой.

— Почему же не видно?

— А как же?

— Если оно вот здесь...

— Да ну вас! Решили проверить, нет ли у меня такого же пятна?

— Нет, не то... Но интересно, что можно почувствовать, если у женщины есть такое пятно, а?

— Если... вот тут, да? — Госпожа Оота посмотрела на свою грудь.— Что это вам вдруг пришло в голову? По-моему, это не имеет никакого значения.

Госпожу Оота не так-то легко было пронять. Яд, выпущенный Кикудзи, не причинил ей никакого вреда, зато сам он почувствовал, как отравы разлилась по всему его телу.

— Не имеет? Вы ошибаетесь! Я один-единственный раз видел это пятно, когда мне было лет восемь или девять, а оно до сих пор стоит у меня перед глазами.

— Но почему?

— Не знаю, но это так. Думаю, и в вашей жизни это пятно сыграло определенную роль. Разве Куримото не изводила вас? Ведь она чуть ли не каждый день являлась к вам домой и устраивала сцены, прикидываясь, что это мама и я ее подбиваем...

Госпожа Оота кивнула и тихонько отодвинулась от Кикудзи. Он крепко ее обнял.

— Наверно, она ни на секунду не забывала о своем родимом пятне, оттого и было в ней столько злости.

— Боже, какие страшные вещи вы говорите!

— А еще она, наверно, хотела отомстить отцу...

— Отомстить? Но за что?

— Понимаете, все свои неудачи она связывала с родимым

пятном. Ей казалось, что из-за него отец постоянно унижал ее, а потом и совсем бросил.

— Пожалуйста, не говорите больше об этом. Неприятно все-таки.

Но госпожа Оота, должно быть, на самом деле ничего не испытывала. Родимое пятно для нее было чистой абстракцией.

— Я думаю, теперь все эти давние страдания прошли, и Куримото-сан живет спокойно, даже и не вспоминая о своем родимом пятне.

— Да, но разве страдания не оставляют душевных ран, если они даже проходят?

— Не знаю... Иногда мы очень страдаем, но проходит время, и прошлое со всеми его страданиями становится нам дорого...

Госпожа Оота говорила так, словно все еще находилась в сладостной полудреме.

И у Кикудзи вдруг вырвалось то, о чем он решил ни за что не говорить.

— На чайной церемонии рядом с вами сидела девушка...

— Юкико-сан? Дочь Инамуры...

— Куримото пригласила меня специально, чтобы показать мне эту девушку.

— Боже мой!

Большие глаза госпожи Оота расширились и, не мигая, впились в лицо Кикудзи.

— Это были ваши смотрины, да? А мне ведь и в голову не пришло...

— Ну, какие же это смотрины...

— Нет, нет... как же так... И после смотрин, по дороге домой... вы... мы...

Из широко раскрытых глаз скатилась слеза и упала на подушку. Плечи госпожи Оота дрогнули.

— Как это скверно, как скверно! Почему вы мне раньше не сказали?

Она заплакала, уткнувшись лицом в подушку.

Такой реакции Кикудзи не ожидал.

— То, что скверно — всегда скверно. После смотрин... по дороге домой... При чем здесь смотрины? Какая связь может быть между этим?

Кикудзи сказал это с полным убеждением в своей правоте.

Но вдруг перед его глазами всплыл образ девушки, подававшей ему чай на чайной церемонии. Он увидел розовое фурусики с тыльчекрылым журавлем. И сотрясавшееся от рыданий тело госпожи Оота показалось ему гадким.

— Как ужасно!.. Как ужасно!.. И как я только могла... Я преступница... Я...— Ее круглые плечи дрожали.

Кикудзи раскаяния не испытывал. Если бы он раскаивался, то, наверно, все это показалось бы ему отвратительным не из-за смотрин, а из-за того, что эта женщина некогда была любовницей его отца.

Но до последней минуты Кикудзи ни в чем не раскаивался и никакого отвращения не испытывал.

Почему так у него получилось с госпожой Оота, он до сих пор как следует не понимал; все произошло само собой, просто и естественно. А сейчас она плачет и что-то такое говорит... Может быть, она винит себя за то, что соблазнила его?.. Но разве она его соблазнила?.. Кажется, ничего подобного не было и в помине. Она потянулась к нему, он потянулся к ней, и оба при этом не испытывали никакого внутреннего сопротивления. Очевидно, в тот момент соображения нравственности не тяготели над ними.

Они поднялись на холм, находившийся по другую сторону храма Энкакудзи, зашли в гостиницу и там поужинали. Просто ничего другого не оставалось делать — госпожа Оота говорила и говорила без конца, все глубже погружаясь в воспоминания, а Кикудзи слушал и не мог ее прервать. Наверно, смешно, что он вообще стал ее слушать, но госпожа Оота этого не чувствовала, ей хотелось рассказывать Кикудзи об его отце, и говорила она с большой теплотой. Теплота постепенно распространялась на Кикудзи, и вскоре он почувствовал себя окутанным нежностью и невольно проникся симпатией к госпоже Оота.

А еще он почувствовал, что отец, наверно, был с ней счастлив.

Эта обволакивающая нежность... Она была тому причиной... И если случилось что-то дурное, оно началось с этой самой нежности. Кикудзи упустил момент, когда он еще мог освободиться от госпожи Оота, а упустив, весь отдался приятной душевной расслабленности.

И все-таки в его душе, где-то на самом доньшке, оставался горький осадок. И наверно, пытаясь освободиться от него, он и заговорил о Тикако и о дочери Инамуры.

Но его горечь оказалась слишком ядовитой. В Кикудзи начало подниматься отвращение к самому себе. И все же раскаиваться было нельзя: раскаianie только увеличит омерзение, и тогда он наговорит кучу гадостей госпоже Оота.

— Давайте забудем обо всем,— сказала госпожа Оота.— Ничего не произошло. Ничего не было.

— Правильно! Просто вы вспомнили отца...

— Боже мой!

Она оторвалась от подушки и изумленно взглянула на него. От слез и от лежания лицом вниз веки ее покраснели. Даже белки стали мутноватыми. Но в ее расширенных глазах Кикудзи заметил легкую тень недавней расслабленной умиротворенности.

— Мне даже и возразить нечего... Жалкая я женщина!

— Лжете! Все вы забыли! — Кикудзи грубо распахнул ее кимоно, обнажая грудь.— Впрочем... у вас ведь нет родимого пятна. Было бы — не забыли. Такие вещи остаются в памяти...

Кикудзи сам удивился своим словам.

— Не надо, не надо! Не разглядывайте меня! Я ведь уже не молодая...

По-звериному вздернув верхнюю губу, он прильнул к ее груди.

И снова накатились волны.

Потом он спокойно уснул.

В его сон ворвалось щебетание птиц. Ему показалось, что впервые в жизни птицы пели при его пробуждении.

Наверно, утренний туман омыл зеленые деревья. Наверно, потом он вошел в его голову и тоже все промыл там до чиста. В голове не осталось ни одной мысли.

Госпожа Оота лежала спиной к Кикудзи. Когда же она повернулась на другой бок?.. Приподнявшись на локте, он осторожно, почему-то ужасно смущаясь, заглянул в лицо спящей, расплывавшееся в светлом сумраке.

5

Прошло примерно полмесяца после чайной церемонии у Тикако. И в один прекрасный день дочь госпожи Оота нанесла визит Кикудзи.

Он засуетился. Проведя девушку в гостиную, вышел в столовую, открыл буфет и сам разложил на блюде пирожные.

Но это его не успокоило. Он никак не мог понять, пришла Фумико одна или с матерью. Может быть, госпожа Оота не отважилась войти в его дом и ждет на улице?

Когда Кикудзи вернулся в гостиную, девушка поднялась с кресла. Ее лицо было опущено, полные губы крепко сжаты, нижняя, чуть выступавшая вперед губа казалась тонкой.

— Простите, что я заставил вас ждать.

Кикудзи прошел за спиной девушки и раздвинул стеклянные двери, выходившие в сад.

Проходя мимо нее, он почувствовал едва уловимый запах стоявших в вазе белых пионов. Фумико сжалась, ссутулилась, словно боясь распрямить свои круглые плечи.

— Прошу вас,— сказал Кикудзи и первым опустился в кресло.

Он вдруг совершенно успокоился — очень уж знакомой показалась ему Фумико, знакомой по сходству с матерью.

— Я понимаю, что веду себя неприлично,— сказала она, не поднимая головы.— Я не должна была приходить к вам...

— Ну что вы!.. Я рад, что вы без труда отыскали мой дом.

— Да...

Кикудзи вспомнил — ведь она же во время бомбежек провозила домой его отца!

Он чуть было не сказал об этом, но удержался. Только посмотрел на нее.

И ему вдруг стало тепло, как от летней воды — на него снова нахлынули волны госпожи Оота. Он подумал о ней: как бездумно и нежно — вся целиком — она отдалась ему... И как он был умиротворен...

Из-за этого, из-за тогдашней умиротворенности, ему было сейчас легко с Фумико. Напряжение совсем прошло, но он все же не осмелился заглянуть девушке в глаза.

— Я...— сказала она и, замолчав, подняла голову.— У меня к вам просьба... Я пришла из-за мамы...

Кикудзи затаил дыхание.

— Прошу вас, простите мою мать!

— Что?.. Простить?.. Но за что?..— В голосе Кикудзи прозвучало неподдельное изумление. Но через секунду он догадался, что госпожа Оота была откровенна с дочерью.— Уж если кого-то надо прощать, то, наверно, меня,— добавил он.

— Нет, нет! Вы простите ее!.. И за вашего отца тоже...

— Ну, если уж об этом речь, то это я должен просить

прощения. А так кому же прощать? Ведь моей матери уже нет в живых.

— Да, но... Я подумала... может, это моя мать виновата, что они так рано умерли... и ваш отец и ваша мама... Я об этом и ей сказала.

— Ну и напрасно! Пожалели бы вы свою мать, она тут ни при чем.

— Если бы моя мать умерла раньше, наверно... для всех было бы лучше...

Фумико, должно быть, в этот момент испытывала мучительный стыд. Кикудзи догадался — ведь она говорит о нем! Каким оскорбленным, каким униженным был для нее этот случай!

— Прошу вас, простите ее, простите! — повторила она в безумном отчаянии.

— Какое тут может быть прощение! Я благодарен вашей матери, — ясно и твердо сказал Кикудзи.

— Это она, она во всем виновата! Моя мать ужасная женщина!.. — Голос девушки дрожал, она глотала слова. — Не обращайтесь на нее внимания! Оставьте ее, забудьте о ней, умоляю вас!

Кикудзи понял, какой глубокий смысл вкладывала Фумико в слово «простить» — не только не винить, но и забыть, не трогать, не тревожить.

— И еще... пожалуйста, не звоните ей больше по телефону!

Она залилась краской и, словно пытаясь побороть отчаянный стыд, подняла голову и прямо посмотрела в лицо Кикудзи. В ее глазах стояли слезы. Но в этих глазах с огромной яркой радужной оболочкой совсем не было ненависти — только немая мольба.

— Я все понимаю, — сказал Кикудзи. — Простите меня!

— Умоляю вас!..

Краска, все больше заливая ее лицо, теперь потекла вниз, на светлую длинную шею, добралась до белой отделки ворота, подчеркивавшей красоту этой шеи.

— Мать обещала вам прийти и не пришла. Это я ее не пустила... Она не слушала меня, порывалась уйти, но я обняла ее и не пускала... Все время держала...

Голос девушки звучал уже более спокойно, словно ей стало немного легче.

Через три дня после той ночи Кикудзи позвонил госпоже

Оота. Чувствовалось, что она страшно обрадовалась. Они условились встретиться в кафе, но она не пришла.

Больше он не звонил и не видел ее.

— Потом мне стало очень жалко маму. Но в тот момент я была сама не своя, ни о чем не думала, хотела лишь ее удержать. А она так плакала. Говорит — если ты меня не пускаешь, позвони сама, скажи, что я не приду... Я хотела позвонить, взяла трубку, а голоса нет... А она смотрит на аппарат и плачет, плачет. Наверно, вы ей виделись, Митани-сан... Такая уж она у меня, моя мама...

Оба немного помолчали, потом Кикидзи спросил:

— А почему тогда, после чайной церемонии, вы ушли? Вы же знали, что ваша мать специально осталась... из-за меня...

— Мне хотелось, чтобы вы с ней поговорили, чтобы поняли, что моя мать не такой уж плохой человек...

— Не плохой?! Что вы, она хороший человек, слишком даже хороший.

Девушка потупилась. Небольшой, хорошей формы нос, крупные полные губы. И овал лица нежный, округлый, как у матери.

— Знаете, я иногда думал о вас... Мне ведь было известно, что у госпожи Оота есть дочь, вот я и фантазировал, как мы будем с этой девочкой разговаривать о моем отце...

Фумико кивнула.

— Я тоже иногда об этом думала.

Кикидзи стало немного грустно. Если бы между ним и госпожой Оота ничего не было, он бы мог безо всякого стеснения беседовать с этой девушкой о своем отце.

Но именно потому, что было то, что было, он теперь простил госпожу Оота, простил от всей души, и не осуждал уже больше отца за его отношение к ней. Но, может, все это чудовищно?

Фумико, очевидно почувствовав, что засиделась, вдруг заторопилась, поспешно поднялась с кресла.

Кикидзи пошел ее проводить

— Если бы наступило такое время, когда мы с вами смогли бы спокойно поговорить о благородстве вашей матери, да и о моем отце тоже, как бы хорошо было, правда? — сказал Кикидзи и тут же внутренне удивился своим словам. Мысль довольно-таки странная, но он несколько не покривил душой — он действительно так думал.

— Да... хорошо бы... Но вы ведь скоро женитесь.

— Жёнюсь?

— Ну да! Мама мне говорила про Юкико Инамуру. Вы ведь были на смотринах?

— Нет, это не совсем верно...

Сразу за воротами дорога шла под уклон. Где-то на середине холма она начинала петлять, и отсюда, если обернуться, дома Кикудзи уже не было видно, только вершины росших в саду деревьев еще рисовались на фоне неба.

Слова девушки вызвали в памяти Кикудзи образ другой девушки — той, с тысячекрылым журавлем.

Тут Фумико остановилась и попрощалась.

Он повернулся и пошел обратно, вверх по склону.

ЛЕСНОЙ ЗАКАТ

I

Тикако позвонила Кикудзи на службу. Когда он поднял трубку и услышал ее голос, у него вытянулось лицо.

— Вы с работы прямо домой?

— Еще не знаю...

Вообще-то он никуда не собирался заходить, но теперь заколебался.

— Прошу вас, сегодня приходите прямо домой. Ради памяти вашего отца. Он в этот день всегда устраивал чайную церемонию. Я с утра об этом думаю и волнуюсь... Так разволновалась, что уж не могла усидеть на месте.

Кикудзи молчал.

— Пока я... Алло, алло! Вы слушаете? Пока я прибирала чайный павильон, мне захотелось что-нибудь приготовить...

— А где вы, собственно, находитесь?

— У вас, у вас дома. Простите, сразу вам не сказала.

Кикудзи поразился.

— Вспомнила я этот день и прямо места себе не находила. Не успокоюсь, думаю, пока не пойду к вам и не наведу порядок в чайном павильоне. С вашего позволения, конечно. Надо бы раньше вам позвонить, предупредить вас, но... боялась, что вы, Кикудзи-сан, откажете...

После смерти отца чайный павильон пустовал. Правда, мать иногда ходила туда и подолгу сидела там в полном оди-

ночестве. Но она не разжигала огня в очаге, а брала с собой чугунный чайник с кипятком. Что она там делала, в тишине, совсем одна? Наверно, думала о своем. Кикудзи всегда волновался, когда мать затворялась в чайном павильоне. Он был уверен, что думы у нее были невеселые.

Сколько раз он хотел пойти туда и посидеть вместе с ней, но почему-то так ни разу и не зашел.

Пока был жив отец, в чайном павильоне царствовала Тикако и мать туда не ходила.

А теперь, когда и отец и мать умерли, павильон всегда был закрыт. Лишь старая служанка, давно жившая в их доме, проветривала его несколько раз в году.

— Скажите, с каких пор не убирался чайный павильон? Сколько я ни протирала татами, они все равно пахнут плесенью. Ну как так можно! — Тон Тикако становился наглым. — Пока я мыла да прибиралась, очень мне захотелось что-нибудь приготовить. Конечно, когда все получается вот так, экспромтом, особенно не развернешься — продуктов-то у вас почти никаких. Но я все же приготовила кое-что. Поэтому и прошу, чтобы вы сразу пришли домой.

— Гм... вы меня удивили...

— Вам одному, наверно, скучно будет. Может, захватите с собой приятелей? Кого-нибудь из сослуживцев...

— Ну уж нет, ничего не выйдет! У нас тут нет любителей чайных церемоний.

— И очень хорошо, если они в этом не разбираются! Все ведь будет очень скромно, на скорую руку. Пусть придут запросто.

— Ничего не выйдет! — повторил Кикудзи с тайным злорадством.

— Да? Вот досада! Что же делать? Может быть, пригласить кого-нибудь из друзей вашего отца по чайной церемонии?.. Впрочем, нет, их приглашать неудобно. Ой, знаете, я, кажется, придумала! Хотите, позвоню дочери Инамуры-сан?

— Да перестаньте вы суетиться! Никого я не хочу!

— Но почему? Это будет просто великолепно! Между прочим, ее семья заинтересовалась известным вам вопросом. Подумайте, как хорошо все складывается — она придет, вы еще раз посмотрите на нее, побеседуете в спокойной обстановке... Коротче говоря, сейчас я туда позвоню. Вы не возражаете? И если она придет...

— Нет, возражаю! И вообще, прекратите вы это! — Кикудзи задохнулся от возмущения. — Ничего я не хочу, не хочу! Понятно? И домой не приду...

— Ладно, ладно... Это, конечно, не телефонный разговор. Поговорим после... Значит, после работы вы сразу домой...

— То есть как это «значит»?! Я же вам сказал...

— Ну да, ну да... сказали... А вы считайте, что я взяла да и приготовила вам небольшой сюрприз, и дело с концом!

Голос Тикако, навязчивый и вкрадчивый, как яд, проникал в душу Кикудзи. И он снова увидел ее, как тогда, в распахнутом кимоно, с огромным родимым пятном на левой груди.

В голове у него вдруг загудело, как в пустом чайном павильоне, который скребла и чистила Тикако. В висках отдались противный шорох веника и влажное хлюпанье мокрой тряпки.

И вновь в нем поднялось отвращение к этой женщине, и непереносимо было думать, что она тайком пробралась в его дом и сейчас наводит там порядок и стряпает на кухне.

Если бы она только прибрала чайный павильон, поставила бы там цветы, это еще куда ни шло. Он бы смирился — ради памяти отца. Но это!..

И все же сквозь клокодавшее внутри бешенство пробивался светлый луч — образ Юкико Инамуры.

После смерти отца Кикудзи никаких связей с Тикако не поддерживал. Это получилось само собой. Может быть, теперь, воспользовавшись юной Юкико как приманкой, она хочет снова втереться в доверие, стать другом дома?

В сегодняшнем поведении Тикако было нечто смешное, вызывающее пренебрежительную улыбку, и в то же время подобная навязчивость настораживала.

И Кикудзи насторожился, потому что чувствовал себя уязвимым. Не будь этого, он бы не так реагировал на наглый звонок Тикако — он бы как следует ее отчитал. Но сейчас он даже по-настоящему разозлиться не смел: собственная уязвимость делала его беспомощным. Небось она уже пронюхала, в чем его слабость, и, внутренне торжествуя, нагрянула в дом своей новой жертвы.

Кикудзи не торопился домой. После работы прогулялся по Гинзе, зашел в крохотный, страшно тесный бар.

Тикако, конечно, права — домой ему все-таки придется вернуться, но он оттягивал этот момент, мучась от собственной уязвимости.

Впрочем, откуда ей знать о той ночи в гостинице, о той ночи, которая завершила чайную церемонию в павильоне храма Энкакудзи?.. Или она уже успела встретиться с госпожой Оота?

Ее телефонный звонок, ее требовательный, наглый тон заставляли подозревать, что за всем этим кроется нечто большее, чем обычная навязчивость.

Или это прелюдия — в стиле Тикако — к развитию его отношений с дочерью Инамуры...

Кикудзи не мог усидеть в баре: его потянуло домой. Он пошел на станцию.

В электричке он устроился у окна и стал смотреть вниз, на широкий, обсаженный деревьями проспект, образующий почти прямой угол с полотном железной дороги.

Проспект пролегал с востока на запад, между станцией Юракүтё и Токійским вокзалом. Солнце садилось, и асфальт сверкал ослепительно, как полоса полированного металла. Деревья Кикудзи видел против солнца, и их зелень казалась глубокой и темной, а тень прохладной. Одетые густой листвою, деревья широко раскинули свои ветви. По обеим сторонам проспекта стояли здания европейского типа — каменные, прочные.

Вокруг все словно вымерло — ни машин, ни пешеходов. Тишина, безлюдье. Странно голая лента асфальта и где-то вдали, на горизонте, ров и стены императорского дворца.

Битком набитый вагон электрички был ужасающе реальным и не имел никакого отношения к этому вечеру, лишь один проспект плыл в чудесном внеземном вечернем времени.

И Кикудзи вдруг представилась Юкико. Вот она идет в глубине аллеи, а в ее руках нежно розовеет крепдешинное фуросики с тысячекрылым журавлем. Пожалуй, особенно отчетливо он видел даже не девушку, а именно фуросики и тысячекрылого журавля.

На Кикудзи повеяло свежестью.

И когда он подумал, что девушка сейчас, может быть, ждет в его доме, у него сладко забилося сердце.

Но почему Тикако сначала хотела, чтобы он привел своих сослуживцев, и лишь потом, когда Кикудзи отказался, предложила пригласить Юкико? Кикудзи ничего не понимал.

Когда он пришел домой, Тикако выскочила в переднюю его встречать.

— Вы один?

Кикудзи кивнул.

— Вот и хорошо, что один! Вас уже ждут.— Она подошла и взяла у него портфель и шляпу.— А по дороге вы куда-то заходили...

Должно быть, подумал он, по лицу видно, что выпил.

— Где же вы были? — продолжала Тикако.— Я ведь еще раз звонила вам на работу. Мне сказали, что вы ушли. Я засекала время, подсчитала, сколько вам потребуется на дорогу.

— Вы меня просто поражаете!

Время она засекала, а вот извиниться, что без его ведома хозяйничает у него в доме, даже и не подумала.

Тикако пошла следом за ним, в его комнату, намереваясь помочь ему переодеться. Она потянулась было к кимоно, пригвожденному служанкой.

— Оставьте! — довольно резко сказал Кикудзи.— Не беспокойтесь, кимоно я надену сам. А то неудобно оставлять гостью одну.

Он снял пиджак и, словно убегая от Тикако, направился переодеваться в чулан. Вышел он оттуда уже в кимоно.

Тикако с места не сдвинулась, так и сидела в его комнате.

— Ах, одинокие мужчины!.. Уж какне вы молодцы!

Он буркнул что-то неопределенное.

— И не надоела вам холостяцкая жизнь? Скучно ведь, педужно! Пора уж кончать...

— Почему неуютно? Я приспособился, да и у отца кое-чему научился.

Глаза Тикако на секунду впелись в Кикудзи, потом она отвела взгляд.

На Тикако был кухонный халат, некогда принадлежавший матери Кикудзи. Рукава она завернула очень высоко, и ее обнаженные руки выглядели странно, словно были собраны из разных, не подходивших друг к другу деталей: сухие крепкие кисти, от кисти до локтя приятная полнота, а предплечья, особенно на внутренней стороне, дряблые, полные, в жировых складках. Кикудзи удивился, он думал, что руки у нее сильные, мускулистые.

— Наверно, лучше всего вам будет в чайном павильоне. А пока что я провела девушку в гостиную,— сказала Тикако. Ее тон стал сухим и несколько более официальным.

— Не знаю, в исправности ли там электропроводка. Я никогда не видел, чтобы в павильоне горел свет.

— Так зажжем свечи. Это даже оригинальнее.

— Нет уж, только не свечи! Неприятно...

Тикако вдруг встрепенулась, словно вспомнила нечто важное.

— Да, знаете, когда я позвонила Юкико, она спросила — с мамой прийти? Я, разумеется, сказала, что с мамой еще лучше... Но у госпожи Инамуры оказались какие-то дела, и мы решили, что девушка придет одна.

— Кто — мы? Это вы решили! Вы все устроили! Интересно, что они подумали? Небось возмущились в душе — такая неучливость, вдруг звонят и чуть ли не приказывают явиться в гости!

— Может быть... Но девушка уже здесь. А раз пришла, то теперь не может быть и речи о нашей неучливости.

— Почему же это?

— Очень просто! Прибежала девушка по первому звонку, значит, приятно ей ваше приглашение, значит, проявляет к вам интерес. А то, что внешне все это выглядит несколько необычно, не имеет никакого значения. Вы еще потом вместе благодарить меня будете, посмеетесь вместе — мол, уж эта Куримото, какие она штуки выкидывала! Когда люди между собой договаряются, не важно ведь, как они договаривались. По опыту знаю...

Тикако говорила весьма самоуверенно, она словно хотела сказать: «Чего юлишь, я же тебя насквозь вижу!»

— А вы что... уже говорили об этом?

— В общем, да.

Казалось, Тикако сама сторает от нетерпения и подталкивает Кикудзи — да ну же, не тяни, решайся!

Кикудзи вышел на галерею и направился в гостиную. Проходя мимо большого гранатового дерева, попытался изменить выражение лица. Неудобно появиться с недовольным лицом перед девушкой.

Темная густая тень под гранатом напоминала родимое пятно на груди Тикако. Кикудзи тряхнул головой, стараясь отогнать видение. У входа в гостиную, на каменных плитах садовой дорожки, лежали последние отблески заходящего солнца.

Все сёдзи гостиной были раздвинуты, Юкико Инамура сидела почти у самой галереи.

Кикудзи показалось, что от девушки исходит слабое сияние и освещает сумрачную глубину просторной комнаты.

В токонома в плоской вазе стояли ирисы. И на поясе девушки были красные ирисы. Случайность, конечно... А впрочем, не такая уж случайность: ведь это очень распространенный символ весеннего сезона.

Ирисы в токонома были не красные, а розовые, на очень высоких стеблях. Чувствовалось, что цветы только что срезаны. Наверно, Тикако поставила их совсем недавно.

2

На следующий день, в воскресенье, был дождь.

После обеда Кикудзи пошел в чайный павильон. Надо было убрать посуду, оставшуюся после вчерашней чайной церемонии.

И кроме того, ему захотелось посидеть там одному. В душе поднималась смутная тоска, когда он вспоминал о Юкико. Может быть, и аромат еще оставался в павильоне.

Велев служанке подать зонтик, он сошел с галереи на каменную дорожку и тут заметил, что водосток в одном месте, под крышей, прохудился и вода с шумом хлещет на землю у гранатового дерева.

— Надо починить, — сказал Кикудзи служанке.

— Да, надо.

Кикудзи вспомнил, что в дождливые ночи шум воды, выливавшейся из этой дыры, давно мешал ему спать.

— Впрочем, зачем чинить. Когда начинаешь ремонтировать одно, сейчас же выясняется, что и другое требует ремонта. Лучше уж продать дом, пока совсем не обветшал.

— Нынче все, у кого большие дома, так говорят, — ответила служанка. — Вот и вчерашняя барышня все удивлялись, какой у нас просторный дом. Наверно, барышня собираются жить в этом доме.

Кажется, служанка хотела посоветовать не продавать дом.

— Уж не учительница ли Куримото вчера наболтала?

— Да. Когда барышня изволили пожаловать, госпожа учительница повели их по всему дому, все им показали.

— Черт знает что такое!

Вчера Юкико ничего ему об этом не говорила.

Кикудзи думал, что Юкико все время сидела в гостиной, а потом вместе с ним была лишь в чайном павильоне. Поэтому ему сегодня и захотелось проделать тот же путь — от гостиной до павильона.

Вчера он долго не мог уснуть. Ему все казалось, что в чайном павильоне сохранился запах ее духов, и он готов был вскочить посреди ночи и пойти туда.

Чтобы успокоиться и уснуть, Кикудзи раз сто повторил про себя: «Юкико для меня недосыгаема, абсолютно недосыгаема».

А теперь он вдруг узнает, что «недосыгаемая» Юкико вчера спокойно ходила по его дому с Тикако и все разглядывала. Очень уж это неожиданно и как-то странно.

Он зашагал по дорожке к чайному павильону, велел служанке принести горячих углей для очага.

Тикако жила довольно далеко, в Кита-Камакура, и вчера ушла вместе с Юкико, поручив служанке прибраться в чайном павильоне.

Собственно говоря, убирать было почти нечего, только положить на место составленную в угол посуду. Но Кикудзи не очень ясно представлял, куда что класть.

— Тикако лучше знает, куда это все девать... — сказал он вслух.

Взгляд Кикудзи упал на токонома. Там висела узкая небольшая картина, иллюстрация к стихам.

Это была миниатюра Мунэюки — чуть тронутый тушью фон и на нем, тушью же, бледные расплывчатые линии.

Вчера Юкико спросила:

— Простите, чья это вещь?

Кикудзи не мог ответить.

— Кто его знает... Стихов нет, без них я не могу определить. Впрочем, и стихи, к которым пишутся подобные картины, все в одном стиле.

— Это Мунэюки, — вмешалась Тикако. — Картина написана к стихам: «Опять зеленеет сосна вековая, и даже нетленная хвоя свой цвет изменяет весной». Теперь эта картина уже не по сезону, но ваш отец, Кикудзи-сан, часто вешал ее в этот день.

— По манере не разберешь, кто это — Мунэюки или Цураюки, — возразил Кикудзи.

Сейчас он разглядывал картину и убеждался, что действительно трудно определить, кто ее написал. Казалось, в этой миниатюре нет характерных черт, присущих какому-либо определенному живописцу, но зато в скупых расплывчатых мазках была затаенная щедрость, щедрость весны для всех. От картины исходил едва уловимый аромат свежести.

И картина, и стихи, и присы в плоской вазе напоминали о Юкико.

— Извините, задержалась, воду кипятила. Подумала, лучше кипятку принести, чем сырую воду, — сказала служанка, появляясь на пороге с углями для очага и чайником.

Кикудзи не собирался пить здесь чай. Он хотел только огня, потому что в павильоне было сыро.

Но в сознании служанки, очевидно, горящий очаг и котелок над огнем были неотделимы друг от друга, и она со всем усердием исполнила приказание хозяина.

Кикудзи небрежно бросил угли в очаг, повесил над ним котелок.

Общаясь с отцом, он с детства привык ко всем обрядам чайной церемонии, но сам этим не увлекался, и отец не настаивал, чтобы он учился.

И сейчас, когда вода в котелке закипела, Кикудзи продолжал рассеянно сидеть, лишь протянул руку и чуть-чуть отодвинул крышку котелка.

Татами отсырели, легкий запах плесени так и не выветрился.

Стены блеклых тонов, так прекрасно гармонизировавшие с изящной фигурой Юкико, сегодня казались мрачными.

Вчера у Кикудзи было такое ощущение, словно к нему в гости пришла девушка, воспитанная в европейском доме и лишь для приличия переодевшаяся в кимоно. Он сказал Юкико:

— Наверно, Куримото своим внезапным, не очень-то вежливым приглашением доставила вам массу хлопот. Это ее идея — устроить прием в чайном павильоне.

— Госпожа учительница сказала, что сегодня памятная для вашего дома дата: ваш отец в этот день всегда устраивал чайную церемонию...

— Да, кажется, так. По правде говоря, я никогда не думал об этих вещах и про сегодняшний день совсем забыл.

— Видите, а я в этот день получила приглашение... Может быть, госпожа учительница решила надо мной подшутить? Я ведь очень плохо разбираюсь в чайной церемонии... В последнее время столько уроков пропустила...

— Ну что вы! Куримото сама лишь сегодня вспомнила об этом, вот и прибежала наводить тут порядок. Сыро здесь, плесенью пахнет, чувствуете? — Кикудзи на секунду запнулся. — Но... если нам с вами судьба познакомиться, было бы лучше познакомиться как-нибудь по-другому. Без вмешательства Ку-

римото. Я чувствую себя перед вами, Инамура-сан, очень виноватым.

— Почему? Если бы не госпожа учительница, мы бы с вами вообще не встретились.

Это было чистой правдой, и возразить было нечего. Действительно, без Тикако они бы не встретились. Кикудзи словно бичом по лицу хлестнули. Слова девушки прозвучали так, словно она внутренне уже была готова к браку с ним. Во всяком случае Кикудзи так показалось.

И он поймал ее взгляд — немного недоуменный и взволнованно сверкающий. Или ему опять показалось?..

Интересно, однако, как Юкико воспринимает его пренебрежительное «Куримото», без вежливого добавления — «сан»? Знает ли она, что Тикако одно время была любовницей его отца?

— Понимаете, в чем дело... С Куримото у меня связаны не очень приятные воспоминания, — сказал Кикудзи и испугался, что у него сейчас задрожит голос. — Мне не хочется, чтобы эта женщина вмешивалась в мою судьбу... И все же ей я обязан знакомством с вами... Хорошо бы забыть об этом, не верить в это...

Тут вошла Тикако со столиком-подносом, и разговор оборвался.

— С вашего позволения посижу с вами!

Тикако тяжело опустилась на татами, ее плечи сразу обмякли, словно с них свалилась вся тяжесть недавних хлопот и приготовлений. Демонстративно отдышавшись, она бросила острый взгляд на Юкико.

— У вас только одна гостья в этот день, Кикудзи-сан, но ваш отец был бы очень рад такой гостье.

Юкико простодушно опустила глаза.

— Ну что вы! Я не достойна быть вхожей в чайный павильон господина Митани.

Словно не слыша этих слов, Тикако начала вспоминать те времена, когда был жив отец Кикудзи и когда в чайном павильоне частенько собирались гости.

Должно быть, Тикако считала брак Кикудзи и Юкико делом решенным.

Позже, в передней, когда обе женщины уже собирались домой, Тикако сказала:

— Кикудзи-сан, вам бы тоже не мешало побывать у Ина-

муры-сан... Конечно, только заранее договориться о визите, чтобы не получилось, как сегодня.

Юкико кивнула. Хотела, видно, что-то сказать, но промолчала. Она вдруг застеснялась, стала вся воплощенной стыдливостью.

Кикудзи не ожидал такой перемены. Его потянуло к девушке, он словно ощутил тепло ее тела. Но ему тоже было стыдно. По-другому стыдно — нечто мерзкое сковывало его по рукам и ногам...

И сегодня это мерзкое ощущение не проходило. К сожалению, грязной была не только Тикако, познакомившая его с Юкико, грязным был и он сам.

Кикудзи отчетливо вдруг увидел отца, покусывавшего плохо вычищенными зубами родимое пятно Тикако, и с ужасом почувствовал, что отец оживает в нем.

Тикако держалась с Юкико совершенно свободно, а он, Кикудзи, был скован смутным стыдом. Этот стыд в какой-то мере мешал ему быть решительным и последовательным в отношениях с девушкой.

Не скрывая перед Юкико своей неприязни к Тикако, он тем самым вроде бы признавался, что собирается жениться на Юкико не по доброй воле, а вынуждаемый Тикако. О, эта женщина удобна во всех отношениях — ее можно использовать в любых целях и все можно на нее свалить.

Поэтому у Кикудзи было такое ощущение, словно его ударили кнутом по лицу. Он не сомневался, что Юкико видит его насквозь. А к этому еще прибавилось внутреннее самоунижение — я, мол, такой... так мне и надо!

Когда они поели и Тикако вышла приготовить чай, он сказал, пытаясь хоть как-то оправдаться:

— Видно, нам никуда не деться от Куримото, она как сама судьба... Но мы, кажется, по-разному смотрим на эту судьбу...

Кикудзи вспомнил, что после смерти отца мать порой заперлась в чайном павильоне. И ему всегда было грустно от этого. А прежде отец бывал здесь подолгу один. И вот сейчас он пришел сюда и тоже сидит в одиночестве. Видно, такое уж это место — располагает к думам и самоанализу.

Дождь стучал и стучал по листе.

В этот шум вдруг влились удары другого тона — удары струй воды по зонтику. Служанка торопливо шла по дорожке.

— Митани-сан, к нам пожаловали Оота-сан...

— Оота-сан?.. Дочь?..

— Нет, сама госпожа Оота. Выглядят ужасно плохо. Со-
всем больные.

Кикудзи вскочил на ноги, но с места не двинулся.

— Куда прикажете их пригласить?

— Можно сюда.

— Слушаюсь.

Госпожа Оота появилась без зонтика, наверно, оставила его
в передней.

Лицо у нее было совсем мокрое. В первый момент Кикудзи
подумал — от дождя, но тут же понял, что это слезы. Они все
катились и катились по ее щекам.

Должно быть, Кикудзи поначалу отнесся к госпоже Оота
без должного внимания, если принял слезы за дождь, но, поняв,
в чем дело, бросился к ней.

— Что с вами?

В его голосе прозвучало неподдельное беспокойство.

Госпожа Оота, едва переступив порог галереи, бессильно
скользнула вниз. Она не села, а скорее упала и, упираясь ру-
ками в пол, медленно склонилась в сторону Кикудзи.

Пол вокруг нее сейчас же стал мокрым. А слезы все бежали
по щекам, их было так много, что Кикудзи подумал: а может
быть, это все-таки дождь?

Госпожа Оота не спускала с него глаз, казалось, этот взгляд
был единственной опорой, не дающей ей окончательно упасть,
и Кикудзи стало не по себе: если он сейчас отвернется, что с
ней будет...

Она сильно осунулась, веки болезненно покраснели, обве-
денные темными кругами глаза запали, вокруг них собрались
морщинки, в ее взгляде была мучительная боль, и все же боль
не могла загасить удивительного сияния этих глаз. Все ее лицо
излучало бесконечную нежность.

— Простите меня!.. Я вижу вас опять... это... это так отрад-
но... не выдержала я, простите...

Ее голос звучал ласково, и не только в лице — во всей ее
фигуре сквозила нежность.

Если бы не эта нежность, Кикудзи, наверно, сам бы распла-
кался — настолько госпожа Оота была измученной.

У него остро заняло сердце, но боль тут же стала утихать.
Он прекрасно понимал, из-за кого мучилась госпожа Оота. Он
был ее мучителем, он был ее отрадой, и сейчас эта женщина

передавала свою муку ему и одновременно заглушала ее нежностью.

— Входите, входите скорее в комнату! Вы вся мокрая!

Кикудзи вдруг обхватил ее сзади, просунул руки под мышки и, сильно сжав пальцами грудь, втащил госпожу Оота в комнату. В его порыве было что-то жестокое.

Она попыталась встать на ноги.

— Отпустите меня! А я очень легкая, да?

— Да, очень.

— Совсем легкая стала... Похудела... за последнее время...

Отпустив женщину, Кикудзи удивился — как это он вдруг схватил ее и поднял...

— А дочь ваша не будет волноваться?

— Фумико?..

По ее тону Кикудзи решил, что Фумико тоже пришла и ждет где-нибудь поблизости.

— Она с вами пришла?

— Нет, что вы! Я от нее украдкой...— Голос госпожи Оота задрожал.— Она меня стережет, глаз с меня не спускает. Даже ночью, стоит мне пошевелиться, она уже просыпается... Бедная, по-моему, она из-за меня немножко помешалась... Я ее боюсь... Она все спрашивает: «Мама, почему ты не родила второго ребенка? Все равно от кого, хоть бы от господина Митани...»

Госпожа Оота чуть-чуть успокоилась и привела себя в порядок.

А Кикудзи, наоборот, разволновался. Из ее слов он понял, как страдает Фумико. Страдает, потому что видит страдания матери.

И то, что она сказала о ребенке — «хоть бы от господина Митани», — было ужасно... У Кикудзи опять сдавило сердце.

Госпожа Оота, не отрываясь, смотрела на него.

— Не знаю, может быть, она еще прибежит за мной... Сегодня она куда-то ушла, наверно, думала, что в такой дождь я не решусь идти... А я вышла, убежала...

— Она думала, дождь вас удержит?

— Да, да! Ей кажется, что я совсем плоха, не рискну идти в дождь.

Кикудзи растерянно кивнул.

— Оказывается, она была у вас... На днях...

— Да, была. Все просила простить вас, а я и не знал, что ей ответить...

— Я понимаю... я все понимаю... Потому и пришла к вам... Мне страшно...

— Почему страшно? Я вам так благодарен!

— Правда? Как хорошо!.. Вы сказали это, и я теперь спокойна... А то я все время терзалась... Простите меня!..

— За что же прощать? Вы ведь свободный человек, ничто вас не связывает... Или тень моего отца все еще не дает вам покоя?

Ничто не дрогнуло в лице госпожи Оота, и слова Кикудзи скользнули мимо нее. Словно он бросил их в пустоту.

— Давайте забудем обо всем,— сказала она.— Но, знаете... мне стыдно... Нет, нет, не из-за этого. Стыдно потому, что я совсем обезумела от звонка Куримото-сан.

— Куримото звонила вам?

— Звонила. Сегодня утром. Сказала, что вы и Юкико... Почему она мне об этом сообщила?

Глаза госпожи Оота снова наполнились слезами, но она неожиданно улыбнулась. И улыбка была не вымученной, а настоящей — простодушной, светлой.

— Ничего еще не решено! — возразил Кикудзи.— Действительно, почему она вам позвонила? Может, пропьюхала что-нибудь... Вы с ней с тех пор не виделись?

— Не виделась. Но она страшный человек. Она все всегда знает. Сегодня утром, когда она позвонила, наверно, что-то ей показалось подозрительным. Впрочем, я сама виновата... Когда она сказала, я чуть в обморок не упала и, кажется, вскрикнула... или застонала... Конечно, разговор был телефонный, но она все равно почувствовала... Потому и сказала мне напоследок: «Оота-сан, вы, пожалуйста, не мешайте».

Кикудзи нахмурился. Не знал, что сказать, нужные слова вдруг куда-то исчезли.

— Да разве бы я... Неужели бы я помешала!.. Я чувствую себя такой виноватой перед Юкико... Но этот ужасный звонок! Я с самого утра места себе не нахожу. Так я ее боюсь, так боюсь... Она ужасная женщина, не будет мне теперь покоя... Оттого я и из дому убежала...

Госпожу Оота стала бить дрожь. Плечи у нее затряслись, губы задергались, словно у нее начинался припадок. Уголок рта дернулся и искривился. И вдруг сразу стало видно, что она уже не молода.

Кикудзи встал, протянул руку, коснулся ее плеча.

Она ухватилась за эту руку, как за единственное спасение.

— Боюсь! Мне страшно!..— Госпожа Оота пугливо, напряженно озиралась по сторонам. Потом вдруг расслабилась, обмякла.— Это чайный павильон?

— Да.

— Какой хороший павильон...

Кого она вспомнила? Мужа, который часто здесь бывал, или отца Кикудзи?

— Вы здесь в первый раз? — спросил Кикудзи.

— Да.

— На что загляделись?

— Да так, ни на что...

— Это картина Мунэюки, к стихам...

Госпожа Оота кивнула и бессильно опустила голову.

— Вы разве раньше у нас не бывали?

— Ни разу.

— Разве?

— Впрочем, один раз была. Когда... на обряде прощания с вашим отцом...— Голос госпожи Оота угас.

— Вода кипит, хотите чаю? Сразу пройдет усталость. И я с вами чашечку выпью.

— Хорошо. Вы разрешите?

Госпожа Оота, шатаясь, поднялась.

Кикудзи вынул чашки и прочую утварь из коробок, стоявших в углу комнаты. Это была та самая посуда, в которой вчера подавали чай Юкико. Но Кикудзи все равно ее вынул.

Когда госпожа Оота хотела снять крышку с котелка, рука у нее задрожала, и крышка, ударившись о котелок, тоненько зазвенела.

Низко склонив голову, она погрузила в воду ковшик. Из глаз у нее опять покатались слезы, они падали на выпуклые бока котелка.

— Этот котелок... Я подарила его вашему отцу...

— Да? А я и не знал, — сказал Кикудзи.

Значит, котелок когда-то принадлежал покойному господину Оота. Ну и что же... Кикудзи это не задело. И несколько не задело, что она откровенно об этом говорит.

Приготовив чай, госпожа Оота сказала:

— Простите, у меня нет сил встать и подать вам. Подойдите, пожалуйста.

Кикудзи пересел к очагу и выпил чай там.

Госпожа Оота упала к нему на колени, словно теряя сознание.

Кикудзи обнял ее за плечи. Она почти не дышала, только по едва заметно вздрагивавшей спине еще чувствовалось бие-ние жизни.

Кикудзи держал в объятиях это легонькое тело, похожее на тело потерявшего последние силы ребенка.

3

— Оку-сан!

Кикудзи грубо растолкал госпожу Оота. Его руки обхватили и сжали шею женщины, словно он собирался ее задушить. Кикудзи заметил, что ключицы у госпожи Оота выступают сильнее, чем в прошлый раз.

— Оку-сан, скажите, для вас есть какая-нибудь разница между мной и моим отцом?

— Какой вы жестокий! Не надо...

Голос госпожи Оота звучал слабо, приглушенно. Глаз она не открывала.

Должно быть, ей не хотелось возвращаться на землю из другого мира.

Впрочем, Кикудзи спрашивал даже не ее, а себя самого, свою тревогу, копошившуюся где-то на самом доньшке души.

Госпожа Оота увлекла его в другой мир. Он не сопротивлялся искушению, он радостно поддался ему. А в другом мире — иначе и не назовешь, именно в другом мире — стиралась грань между ним, Кикудзи, и его отцом. И все там было странно и немного жутко.

И госпожа Оота не была обычной земной женщиной, она существовала где-то вне рода человеческого, словно появилась на земле до или после всех других женщин. Наверно, поэтому в какие-то моменты она и не ощущала различия между Кикудзи и его покойным отцом.

— Вы все время помните о моем отце, да?.. Или, вернее, стоит вам вспомнить отца, и он сливается со мной, и вы видите уже только одного человека...

— Замолчите, пощадите меня! Это... Мне так страшно! Какая я преступница!

Из уголков глаз госпожи Оота потянулись светлые полоски слез.

— О-о, если бы умереть!.. Хочу умереть!.. Если бы я сейчас умерла, какая я была бы счастливая... Кикудзи-сан, вы ведь сейчас чуть меня не задушили. Почему вы меня не задушили?

— Не надо так шутить!.. Впрочем, когда вы об этом говорите, мне кажется, что я действительно вас душил.

— Правда? Спасибо вам! — Госпожа Оота откинула назад голову, стала видна вся ее изысканная, длинная шея. — Меня очень легко задушить, я похудела...

— Но вам нельзя умирать. У вас же дочь.

— Дочь... Да, жалко... Но я все равно, паверно, скоро умру. От усталости. А Фумико... Я попрошу вас, Кикудзи-сан, чтобы вы о ней позаботились.

— Если бы она была такая, как вы!..

Госпожа Оота подняла глаза.

Кикудзи содрогнулся от своих слов. Они вырвались неожиданно.

Что почувствовала за ними госпожа Оота?

— Послушайте, как бьется мое сердце. Ужасные перебои... Недолго мне уже осталось... — Она взяла его руку и положила себе на грудь.

Может быть, сердцебиение у нее началось сейчас из-за того, что он сказал?..

— Кикудзи-сан, сколько вам лет?

Он не ответил.

— Вам же еще нет тридцати... Виновата я перед вами... Да, я очень, очень дурная женщина... Впрочем, вам этого не понять...

Госпожа Оота приподнялась, опираясь на руку, и согнула в коленях ноги.

Кикудзи сел.

— Я, Кикудзи-сан, пришла ведь не для того, чтобы осквернить ваш брак с Юкико. Но теперь... теперь-то уж все, конец.

— Ну, если уж вы сами об этом заговорили, хотя я еще не знаю, женюсь я или нет, будем считать, что вы очистили мое прошлое.

— Как это?

— Ведь Куримото, желающая стать моей свахой, когда-то была любовницей отца. И то прошлое отравляет мой сегодняшний день. А вы... вы были последняя женщина у отца, и я уверен, с вами он был счастлив.

— Женитесь скорее! На Юкико...

— Ну, это уж мое дело.

Госпожа Оота, задумавшись, смотрела на Кикудзи. Но вдруг кровь отхлынула от ее щек, она прижала ладонь ко лбу.

— В глазах потемнело... Голова кружится...

Остаться госпожа Оота категорически отказалась, Кикудзи вызвал машину и поехал ее провожать.

К ней в дом он не пошел. Когда она выходила из машины, ее холодные пальцы, казалось, совсем окоченели в ладони Кикудзи.

А часа в два ночи раздался телефонный звонок. Звонила Фумико.

— Господин Митани?.. Моя мама недавно...— Ее голос прервался, потом четко произнес: — Скончалась.

— Что? Ваша мама? Что с ней случилось?

— Она умерла. От паралича сердца. В последнее время она злоупотребляла снотворным и...

Кикудзи молчал, потрясенный.

— Митани-сан! У меня к вам просьба...

— Да, конечно! Я вас слушаю.

— Может быть, у вас есть врач, хорошо знакомый... Если есть, приведите его, пожалуйста, к нам.

— Врача? Как же так?.. Врача...

Кикудзи поразился — неужели Фумико не вызвала врача? Но он тут же догадался. Госпожа Оота покончила с собой. Фумико хочет скрыть это, потому и просит привести знакомого врача.

— Хорошо, — сказал он.

— Прошу вас!

Фумико, должно быть, все тщательно продумала и лишь после этого позвонила Кикудзи. И ничего не стала объяснять, лишь коротко сказала о случившемся.

Кикудзи опустил на пол около телефонного аппарата и закрыл глаза.

А память в этот момент жила собственной жизнью. Она рисовала сейчас не госпожу Оота, а закат, который видел Кикудзи из окна электрички, возвращаясь домой после ночи в камурской гостинице, завершившей чайную церемонию. За окном проплыл храм Хоммондзи в Икэгами. В лесу, над храмом, садилось солнце. Багровое и круглое, как шар, оно медленно катилось по ветвям деревьев. Кроны были совсем черные и рельефно выделялись на фоне зарева.

Перекаत्याющееся с ветки на ветку темно-красное солнце обжигало глаза, и Кикудзи закрыл их. И тогда ему вдруг показалось, что белый тысячекрылый журавль, выпорхнувший из розового фуросики Юкико и прорвавшийся сквозь багровый закат, влетел под его плотно сомкнутые веки.

ТЕНЬ НА СИНО

I

Кончилась поминальная неделя, и на следующий день Кикудзи побывал в доме госпожи Оота.

Он собирался пораньше уйти с работы — ему казалось, что после работы уже поздно наносить визит, — но так и не ушел, сидел до самого конца, беспокойно ерзал на стуле, волновался и все время говорил себе, что вот-вот поднимется и уйдет.

Фумико встретила его в передней.

— Боже, это вы!

Она склонилась в поклоне, да так и застыла. Концы ее пальцев касались пола, и казалось: только так, упираясь руками в пол, она может сдержать дрожь плеч. Она исподлобья взглянула на Кикудзи.

— Спасибо вам за цветы, которые вы вчера прислали.

— Ну что вы!

— Вы прислали цветы, и я решила, что сами вы уж не придете.

— Почему? Ведь иногда раньше посылают цветы, а потом приходят сами.

— Об этом я не подумала...

— Вчера я был тут рядом, в цветочном магазине, но...

Фумико понимающе кивнула.

— В цветах не было записки, но я сразу догадалась, от кого они.

Кикудзи вспомнил вчерашний день. Он вошел в магазин, цветов там было видимо-невидимо, и среди цветов он задумался о госпоже Оота.

Ее смерть огромной тяжестью давила на его сердце. Но от цветов пахло так нежно, так тонко, что собственный грех казался ему не таким уж тяжким.

И Фумико сейчас встретила его как-то задушевно.

Она была в белом ситцевом платье. Лицо не напудрено. Лишь на обветренных губах лежал едва приметный слой помады.

— Вчера я был рядом, — повторил Кикудзи, — но подумал, что пока лучше еще не заходить.

Фумико чуть отодвинулась, приглашая Кикудзи войти. Наверно, она с трудом сдерживала слезы, потому и разговаривала, не шевелясь, застыв в глубоком поклоне, а потом внезапно по-

чувствовала, что если еще хоть секунду простоит вот так, склонившись до полу, то обязательно расплачется.

— Я очень обрадовалась вашим цветам,— сказала Фумико, входя следом за Кикудзи в комнату.— Но вы могли прийти и вчера.

— Если бы я пришел вчера, вашим родственникам было бы неприятно. Зачем же вас расстраивать?

Фумико покачала головой.

— Что вы! На такие вещи я давно уже не обращаю внимания.

В гостиной, перед урной, стояла фотография госпожи Оота. А цветов было мало... Только те, что прислал вчера Кикудзи.

Как странно... Неужели Фумико оставила только его цветы, а другие выбросила или спрятала?

Впрочем, кто знает — может быть, поминальная неделя была для нее тоскливой и одинокой... Может быть, никто не приходил почтить память усопшей.

— Это мидзусаси, если не ошибаюсь?

Фумико поняла, что Кикудзи говорит о кувшине, в котором стояли цветы.

— Да. По-моему очень подходит для этих цветов.

— Кажется, хорошее сино¹.

Этот кувшин, изящный, цилиндрической формы, для мидзусаси, пожалуй, был маловат, но цветы — букет белых роз и бледных гвоздик — смотрелись в нем действительно очень хорошо.

— Мама тоже иногда ставила в него цветы, потому и не продала, оставила для себя.

Кикудзи сел перед урной, зажег курительную палочку, молитвенно сложил ладони, прикрыл глаза.

Он каялся в своем грехе. Но грех был сладок, и к раскаянию примешивалось чувство благодарности госпоже Оота. Эта благодарность ласкала и успокаивала его сердце.

Почему покончила с собой госпожа Оота? Что завело ее в тупик, из которого не было выхода,— сознание вины или любовь? Кикудзи всю неделю думал об этом, но так и не смог понять, что подтолкнуло ее сделать этот шаг?

¹ Сино — старинное высокохудожественное изделие из керамики, фаянса или фарфора.

Сейчас, склонившись перед прахом и закрыв глаза, Кикудзи не видел госпожи Оота, но вдруг явственно ощутил тепло ее тела. Казалось, оно исходило от аромата цветов, сладковатого, пьянящего. В этом было, конечно, что-то странное, но для Кикудзи вполне естественное — эта мертвая женщина уже таяла, теряла четкие формы, но входила в него теплом и еле слышной музыкой.

После того как она умерла, Кикудзи плохо спал по ночам. Даже снотворное, которое он подмешивал в сакэ, не помогало. Ему все время снились сны, и он часто просыпался среди ночи.

Его мучили не кошмары. Наоборот, сновидения были сладкими и чарующими. Он просыпался с ощущением восторга и некоторое время оставался в приятной истоме.

Кикудзи казалось неожиданным и странным, что умершая женщина вновь и вновь виделась ему во сне живой и что он с такой силой ощущал ее ласки.

Госпожа Оота дважды назвала себя «преступницей» — в камакурской гостинице, где они провели ночь, и в чайном павильоне, у него дома. И оба раза эти слова вызывали у нее самой странную реакцию — она плакала и трепетала от восторга. Сейчас, сидя перед ее прахом, Кикудзи думал о ней и о себе: если он был причиной ее смерти, значит преступник он, а не она... И в его душе оживал голос госпожи Оота, первой сказавшей о преступлении.

Кикудзи открыл глаза.

За его спиной всхлипнула Фумико. Наверно, она все время плакала и старалась заглушить рыдания, а сейчас не выдержала и громко всхлипнула, но тут же снова умолкла. Кикудзи словно окаменел. Спросил, не поворачивая головы:

— Когда сделан этот снимок?

— Лет пять-шесть назад. Фотография была небольшая, пришлось увеличить.

— Да? Должно быть, во время чайной церемонии снимали?

— О-о, как вы догадались?

На увеличенной фотографии остались только лицо, шея и верхняя часть груди — до запаха кимоно.

— Как же вы догадались, — повторила Фумико, — что маму сфотографировали во время чайной церемонии?

— Не знаю, почувствовал, видимо... Глаза опущены, лицо сосредоточенное — сразу видно, что человек чем-то занят. И хотя плеч не видно, чувствуется общая собранность...

— Мама здесь куда-то в сторону смотрит... Наверно, не сле-

довало бы ставить сейчас эту фотографию, но мама ее очень любила...

— Мне она тоже нравится. Хорошее у нее здесь лицо, спокойное.

— Да... И все же она смотрит в сторону... Очень грустно. Перед ней зажигают курения, а она даже не хочет взглянуть на человека.

— Гм... Может быть, вы и правы.

— Конечно! Она же здесь словно отворачивается, да еще потупилась.

— Н-да...

И Кикудзи вспомнил скромную чайную церемонию накануне смерти госпожи Оота.

Она взяла ковшик, зачерпнула кипятку, и из ее глаз вдруг хлынули слезы. Они падали на крутые бока котелка. Ему пришлось подойти и самому взять чашку. Он еще не допил чая, а слезы на котелке уже высохли. Потом, как только он поставил чашку, госпожа Оота упала к нему на колени.

— Знаете, на последних снимках мама совсем худая и очень похожа на меня... — сказала Фумико и зашнулась. — Мне почему-то было немного стыдно ставить последнюю фотографию... Потому я и поставила эту, здесь она полнее.

Кикудзи резко обернулся.

Фумико быстро опустила глаза. Должно быть, она все время смотрела ему в спину.

Кикудзи было уже пора отойти от праха и сесть лицом к Фумико.

Легко сказать — сесть. А как найти нужные слова, чтобы она его простила?..

Мидзусаси, в котором стояли цветы, оказался спасительным островком. Кикудзи, слегка повернувшись и опершись одной рукой о татами, стал рассматривать кувшин. Почему бы не рассмотреть его как следует? Ведь это сино, великолепная керамика, один из предметов чайной церемонии.

Под белой глазурью проступал легчайший, едва приметный багрянец. Кикудзи протянул руку и коснулся блестящей поверхности. Она была холодной, и в то же время от скрытого багрянца словно бы исходило тепло.

— Хорошее сино, во всяком случае, мне так кажется. В нем такая нежность... как... во сне...

Он хотел сказать — «как в спящей женщине», но сказал просто «как во сне».

— Если этот кувшин вам нравится, позвольте преподнести его вам, в память о маме.

— Нет, нет, что вы!..— Кикудзи смущенно взглянул на Фумико.

— Прошу вас, возьмите. Керамика, кажется, действительно хорошая. И маме будет приятно.

— Керамика-то хорошая, но...

— И мама говорила, что хорошая. Потому я и поставила в нее ваши цветы.

На глаза Кикудзи вдруг навернулись горячие слезы.

— Благодарю вас! Теперь я не могу отказаться.

— Мама будет рада...

— Только знаете, я, наверно, не буду использовать этот кувшин на чайных церемониях. Он будет у меня цветочной вазой.

— И отлично! Мама тоже часто ставила в него цветы.

— Но скорее всего цветы я буду ставить тоже не для чайной церемонии, а просто так... Знаете, все же немного грустно, когда чайная утварь используется для других целей.

— Может быть... Но у меня тоже не лежит душа к чайной церемонии. Не буду я больше этим заниматься.

Теперь, когда беседа завязалась, Кикудзи было уже легче отойти от урны с прахом. Он поднялся, взял дзабутон, лежавший возле ниши, и сел на него у самого выхода на галерею.

Фумико снова оказалась за его спиной, словно сопровождала его во всех передвижениях по комнате.

Но теперь она оказалась дальше от него, и ему снова стало неудобно.

Она сидела на голом полу. Ее руки лежали на коленях. Вдруг ее полусогнутые пальцы судорожно сжались. Наверно, она хотела унять дрожь.

— Митани-сан, простите маму! — сказала Фумико и низко опустила голову.

Кикудзи испугался, ему показалось, что девушка сейчас упадет.

— О чем вы говорите?! Это меня надо простить. Но я даже не могу, не смею просить о прощении, ибо нет мне прощения... Мне так горько, так стыдно... Не знаю, как я осмелился прийти к вам.

— Нет, нет, это мне стыдно! — На ее лице отразилась душевная боль. — Так стыдно, что я хотела бы сквозь землю провалиться.

Ее лицо, бледное, ненапудренное, залилось краской от самого лба до тонкой шеи. И Кикудзи вдруг увидел, какая она измученная, как извелась от всех переживаний и волнений. И здоровье у нее, должно быть, не особенно крепкое — румянец, заливший щеки, был не ярким, а розоватым, как у малокровных.

У Кикудзи сжалось сердце.

— Фумико, вы меня ненавидите?

— Ненавижу?! Как вы можете!.. Разве мама ненавидела вас?

— Нет... Но она приняла смерть... И ведь из-за меня, из-за меня же!

— Нет, она умерла, потому что хотела умереть. Сама хотела. Я так считаю. Я об этом думала всю неделю, сидела одна и думала.

— Вы с тех пор совсем одна?

— Да. Но я привыкла. Мы ведь с мамой жили только вдвоем, и я часто оставалась одна.

— И... ваша мама, единственный близкий вам человек, умерла из-за меня.

— Нет. Не из-за вас! Она сама умерла, понимаете, сама! Почему вам обязательно хочется считать себя виновным в ее смерти? Уж если кто виноват, то я виновата больше вас. И если я должна кого-то ненавидеть за это, то только себя. Но... мне кажется, нельзя так думать... Нельзя думать, что кто-то причастен к ее смерти. Это бросает тень на маму. Это грязнит ее память. Позднее раскаяние, чувство ответственности, переоценка своих поступков — все это ни к чему. Ведь мы-то живы, а она умерла. Зачем же взваливать такой тяжкий груз на душу покойной?

— В этом, наверно, вы правы. Но... если бы я с ней не встретился...— Кикудзи не мог продолжать.

— Мне кажется, мертвым нужно только одно — чтобы их простили. Откуда вы знаете, может быть, она умерла только для того, чтобы получить прощение. Вы простите маму?

Фумико резко поднялась и вышла из комнаты.

И Кикудзи вдруг все увидел в новом свете. «Умерла, чтобы получить прощение...» Значит, мы, живые, должны облегчать страдания тех, кто уже умер?..

Человек умер.

Оставшиеся в живых порой осуждают мертвых, порой страдают и каются. И в том и в другом случае есть что-то наигран-

ное, что-то лицемерное. А мертвым уже нет дела до нас, до нашей морали...

Кикудзи снова перевел взгляд на фотографию госпожи Оота.

2

Вошла Фумико с чайным подносом.

На подносе стояли две чашки цилиндрической формы, одна покрытая красной глазурью, другая — черной.

Фумико поставила перед Кикудзи черную чашку. Чай был зеленый, обыкновенный, а не порошок, как для чайной церемонии.

Кикудзи высоко поднял чашку и, смотря на доньшко снизу, резко спросил:

— Это чья работа?

— Кажется, Рёню.

— И красная его?

— Да.

— Парные чашки... — Он посмотрел на красную чашку.

Она стояла перед Фумико. Девушка поставила ее себе, но к ней больше не притрагивалась.

Хорошие чашки, очень удобная форма. Но вдруг Кикудзи стало неприятно.

Парные чашки, чашки «супруги»... Может быть, госпожа Оота после смерти мужа пила чай из этих чашек с отцом Кикудзи? Они сидели рядом, его отец и мать Фумико, и пили чай запросто, по-домашнему. Мать Фумико пила из красной, а отцу Кикудзи подавали черную...

Впрочем, если эти чашки работы Рёню, ими, верно, не очень дорожили и брали их с собой в поездки как дорожную посуду...

Из них пили его отец и госпожа Оота... И знает ли об этом Фумико?.. Если знает, это похоже на злую издевку.

Но Кикудзи не увидел тут ни издевательства, ни злого умысла, а лишь обычную девичью сентиментальность.

Больше того: он сам проникся сентиментальным чувством.

И Фумико и Кикудзи были подавлены смертью госпожи Оота. У них не хватало сил чему-либо сопротивляться, в том числе и сентиментальности. Кажется, эти парные чашки даже сблизили их и углубили общее горе.

Фумико знала все: и отношения матери с отцом Кикудзи, и с самим Кикудзи, и как умерла мать.

Фумико и Кикудзи были своего рода соучастниками: только они знали о самоубийстве госпожи Оота, и они скрыли это.

Готова чай, Фумико, по-видимому, плакала. Ее глаза чуть-чуть покраснели.

— Мне кажется, я правильно сделал, что пришел к вам сегодня,— сказал Кикудзи.— Вы говорили, Фумико-сан, о прощении. Ваши слова можно толковать по-разному. Быть может, вы хотели сказать, что мертвый и живой уже не в состоянии простить друг друга? Но я все же попытаюсь убедить себя, что ваша мама меня простила.

Фумико кивнула.

— Да. Иначе и вы не смогли бы простить ее. Впрочем, она-то себя, наверно, не могла простить.

— А я вот сижу здесь, с вами... Может быть, я делаю что-то очень дурное...

— Но почему?! — Фумико взглянула Кикудзи прямо в глаза.— Разве мама виновата в том, что не могла больше жить? Может быть, вы на это намекаете?.. Мне сначала тоже было очень страшно и обидно, когда она умерла. Даже если все не понимали ее, осуждали, смерть все равно не оправдание. Но... смерть отвергает любые рассуждения и толкования. И мы не имеем права прощать или не прощать кого-либо за смерть.

Кикудзи молчал. Он думал: вот и Фумико столкнулась с тайной, называемой смертью...

«Смерть отвергает любые рассуждения и толкования»,— сказала Фумико. И Кикудзи удивился — он не ожидал от нее таких слов.

Сейчас они сидят рядом и думают об умершей. И, наверно, очень по-разному понимают: он — госпожу Оота, она — свою мать.

Ведь Фумико не могла чувствовать в ней женщину, не могла знать ее как женщину.

Кикудзи думал о прощении — простить и быть прощенным. Думал и погружался в мечтательную дрему, и в этой дреме было одно: госпожа Оота... ее тепло... сладостные волны...

Казалось, эти волны исходят даже от этих чашек, красной и черной.

Разве могла понять это Фумико?

Девушка, плоть от плоти своей матери, не знает материнской плоти. Да и не хочет знать, деликатно устранивается от этого. Но материнская плоть так же деликатно и порой незаметно воплощается в дочери.

В тот самый момент, когда Кикудзи увидел Фумико в передней, на него повяло знакомой нежностью, потому что он увидел в Фумико облик ее матери.

Наверно, госпожа Оота совершила непоправимую ошибку, восприняв Кикудзи как живое воплощение его отца. И если это было ошибкой, то отношение Кикудзи к Фумико могло стать настоящим проклятием, ведь он видел в ней госпожу Оота. И все же Фумико притягивала его, и он этому не противился.

Глядя на ее обветренные полные губы, Кикудзи чувствовал, как мучительно тянет его к этой девушке.

Фумико нежная... Наверно, нужно сделать нечто ужасное, чтобы она вдруг оказала сопротивление.

Боясь наделать каких-нибудь глупостей, Кикудзи поспешил нарушить молчание:

— Ваша мама была такой чувствительной, нежной, потому и не выдержала. А я, как мне теперь кажется, порой бывал с ней жесток. Меня ведь тоже все время мучила совесть, и я говорил ей о своих переживаниях, наверно, слишком открыто, грубо. Я ведь малодушный человек и трус к тому же...

— Да нет, все дело в ней самой. Она сама изводила себя. И раньше, с вашим отцом, и сейчас, с вами... Тяжело ей было, она ведь не такая... ей не свойственно...

Фумико запнулась и покраснела, стесняясь, видно, развивать эту тему. Теперь румянец, заливавший ее щеки, был более ярким.

— Но когда мама умерла,— продолжала она,— буквально на следующий день я вдруг увидела ее совсем в ином свете. И стала думать о ней как о прекрасном человеке. Впрочем, она действительно становилась все прекраснее и прекраснее.

— Наверно, это всегда так, когда дело касается умершего.

— Я все думаю... Может быть, мама умерла, потому что не могла вынести собственных поступков, а еще...

— Нет, это не так!

— А еще оттого, что не могла себя пересилить. Она просто с ума сходила от...

Глаза Фумико наполнились слезами. Наверно, она хотела сказать: «от любви к вам».

— Умершие таковы, какими делает их наше сердце. Будем бережно обращаться с их памятью, — сказал Кикудзи.

— Но все же как рано все умерли!

Фумико, кажется, поняла, что Кикудзи имеет в виду и ее мать и своих родителей.

— И вы и я остались одни, — добавил Кикудзи. И вдруг подумал, что не будь у госпожи Оота дочери, ему бы сейчас, наверно, все казалось гораздо более мрачным — ведь в его отношениях с госпожой Оота было нечто противоестественное.

— Оказывается, вы, Фумико-сан, не только ко мне добры. Вы и к моему отцу проявляли большую доброту. Я знаю, ваша мама мне рассказывала...

Кикудзи наконец сказал то, что давно вертелось у него на языке. Кажется, его голос прозвучал спокойно и без тени фальши. Должно быть, настало время, когда он мог говорить о таких вещах. Мог откровенно сказать о связи своего отца с матерью Фумико.

Но Фумико вдруг низко поклонилась ему, коснувшись ладонями татами.

— Простите меня! Мне было так жалко маму, так жалко!.. Она и тогда была на грани отчаяния...

Фумико проговорила это быстро и застыла в поклоне. Потом заплакала, ее плечи бессильно поникли.

Кикудзи пришел неожиданно. Фумико была без чулок и все время сидела в неудобной позе, слишком сильно поджав ноги, словно хотела спрятать от него босые ступни. Она буквально сжалась в комочек и от этого казалась совсем несчастной.

Сейчас, когда она ему поклонилась и застыла, ее волосы слегка касались татами, и на их фоне ярко выделялась красная цилиндрическая чашка.

Наконец Фумико поднялась и, закрыв ладонями мокрое от слез лицо, вышла из комнаты.

Она довольно долго не возвращалась.

Кикудзи громко сказал:

— Фумико-сан, разрешите откланяться.

Когда он вышел в переднюю, Фумико появилась с каким-то свертком.

— Вот, возьмите, пожалуйста. Только уж не знаю, удобно ли будет нести.

— Простите, что это?

— Сино.

Кикудзи очень удивился: когда же она успела вынуть цветы, вылить воду, вытереть кувшин, положить его в футляр и завернуть в фурсики!

— Как-то неудобно. В нем же цветы стояли. Может быть, в другой раз?

— Нет, пожалуйста, возьмите сегодня.

Кикудзи подумал, что ей стало очень тяжело оставаться с ним, потому она так быстро и упаковала сино.

— Хорошо, я возьму. Благодарю вас.

— Конечно, я должна была бы сама отнести кувшин к вам, но я не могу войти в ваш дом.

— Почему?

Фумико не ответила.

— Что ж, до свидания, — сказал Кикудзи уже на пороге.

— Большое вам спасибо, что навестили меня. И... женитесь поскорее, не думайте о моей маме...

— Ну зачем вы об этом!

Кикудзи, уже за дверь, обернулся, но Фумико не подняла склоненной в поклоне головы.

3

В сино, полученный от Фумико в подарок, Кикудзи поставил цветы — белые розы и гвоздики бледных тонов.

У Кикудзи появилось такое чувство, словно он полюбил госпожу Оота только сейчас, после ее смерти.

И еще ему казалось, что, не будь Фумико, ее дочери, он бы не догадался о своей любви.

В воскресенье Кикудзи позвонил Фумико.

— Вы по-прежнему одна?

— Да. Правда, сейчас мне уже становится немного тоскливо.

— А ведь нехорошо все время быть одной...

— Да, я понимаю...

— Наверно, очень тихо там у вас... Я даже по телефону слышу тишину вашего дома.

Фумико едва слышно рассмеялась.

— Почему бы вам не попросить какую-нибудь подругу пожить с вами?

— Это было бы, конечно, хорошо. Но, знаете, мне кажется, если здесь появится посторонний человек, все сразу станет известно про маму.

Кикудзи не нашелся, что ответить.

— Вы хоть на улицу-то выходите? Или не можете дом оставить?

— Почему же не могу? Запираю и ухожу.

— В таком случае, зашли бы как-нибудь ко мне.

— Спасибо, как-нибудь зайду.

— Как ваше здоровье?

— Ничего, похудела немного.

— А спите как?

— Плохо, можно сказать, совсем не сплю.

— Вот уж это никуда не годится!

— Не знаю, может быть, я скоро улажу все дела с домом и сниму комнату у подружки.

— Что значит «улажу»?

— А я продаю дом...

— Ваш дом?

— Да.

— Решили продать?

— Да... А вы считаете, что лучше не продавать?

— Как вам сказать... во всяком случае, я тоже подумываю, не продать ли и мне свой.

Фумико молчала.

— Впрочем, какой смысл обсуждать по телефону такие сложные вопросы. Зашли бы ко мне... Я дома, сегодня ведь воскресенье.

— Да. Воскресенье...

— Знаете, в кувшине, который вы мне подарили, уже стоят цветы, садовые, на европейский манер. Но если вы придете, я использую его по прямому назначению — как мидзусаси...

— Устройте чайную церемонию?

— Ну, не настоящую... Просто жалко не использовать такое сино хоть раз как положено. Ведь настоящая красота чайной посуды проявляется только в сочетании с другой посудой для чайной церемонии.

— И все же сегодня я не смогу прийти. Очень уж плохо выгляжу, гораздо хуже, чем в тот раз, когда вы у меня были.

— Да ерунда все это! Ведь никаких гостей у меня не будет...

— Все равно...

— Значит, не придете?

— Нет... До свидания!

— Всего хорошего. Ой, кажется, ко мне тут кто-то пришел...

Ну, пока!

Пришла Тикако Курпмото.

Кикудзи весь сжался — неужели Тикако слышала его телефонный разговор?

— Погода-то, погода какая великолепная! Вот я и выбралась из дому, решила навестить вас... А то все дожди да дожди, просто сил нет...

Тикако уселась и, разумеется, сейчас же заметила сино.

— С вашего позволения, Кикудзи-сан, я бы хотела немного побыть в чайном павильоне. У меня теперь есть свободное время, ведь лето уже, уроков мало, вот и зашла...

Тикако пододвинула к Кикудзи подарок — коробку печенья и веер.

— Наверно, в чайном павильоне опять пахнет плесенью.

— Наверно...

— Вижу, у вас сино Оота-сан. Позвольте полюбоваться, — произнесла Тикако равнодушным тоном и, не вставая с места, пододвинулась поближе к кувшину.

Крепко упершись ладонями о татами, Тикако наклонилась над ним. Ее плечи, костистые, по-мужски широкие, приподнялись, голова опустилась, и Кикудзи показалось, что она вот-вот прыснет на цветы губительным ядом.

— Изволили купить?

— Нет, получил в подарок.

— Таковую вещь?! Подарок, конечно, вам сделали роскошный, слов нет. Все понятно — на память, значит.

Тикако выпрямилась, повернулась к Кикудзи.

— Да, вещь очень ценная. Уж лучше бы вы купили это сино. А то даже как-то страшно от такого подарка. Это ведь ее дочка подарила вам...

— Купить? Я подумаю.

— Подумайте. У вас в доме много чайной утвари господина Оота. Но ваш отец все покупал, платил за нее деньги. Конечно, тогда, когда стал покровительствовать госпоже Оота... Вот и выходит...

— Прекратите этот разговор!

— Ладно, ладно, молчу!

Тикако вдруг быстро и необыкновенно легко поднялась и вышла из комнаты.

Вскоре послышались голоса — ее и служанки. Когда она снова появилась, на ней был кухонный халат.

— А Оота-сан ведь с собой покончила! — сказала она.

Ее слова обрушились на Кикудзи, как внезапный удар.

— Что за бред! Ничего подобного!

— Вы так думаете? И ошибаетесь! Я сразу поняла. От нее всегда веяло чем-то зловещим.— Тикако взглянула на Кикудзи.— И ваш отец говорил, что она загадочная женщина. Конечно, мы, женщины, смотрим друг на друга другими глазами, чем смотрят на нас мужчины, но... Странная она была, какая-то не то наивная, не то невинная... Не знаю, не знаю, но мне такие не по нутру... А что навязчивая она была, это уж совершенно верно...

— Я бы попросил вас не говорить дурно о покойной!

— Простите, Кикудзи-сан! Вы правы, нехорошо так говорить... Но ведь эта покойница и сейчас вам мешает — мешает вашему браку... Да и отец ваш от нее натерпелся...

«Не отец, — подумал Кикудзи, — а ты сама натерпелась».

Связь отца с Тикако, наверно, была случайной и очень короткой, и бросил он ее не из-за госпожи Оота, а гораздо раньше. Но Тикако возненавидела госпожу Оота лютой ненавистью. За то, что эта женщина была дорогой и близкой отцу до самой смерти.

— Да, сложная она была штучка, эта Оота-сан! — не унилась Тикако.— Вы, Кикудзи-сан, мужчина молодой, малоопытный, вам в ней не разобраться. Я вам больше скажу: счастье, что она догадалась вовремя умереть, для вас счастье. Не то погибли бы вы, сгинули. Правда, правда!

Кикудзи отвернулся от Тикако. Но она словно и не заметила этого.

— Впрочем, разве я бы допустила, чтобы кто-нибудь помешал вашему браку?! Кто знает, может, она и чувствовала себя виноватой, да ничего не могла сделать со своей бесовской натурой. Оттого и решила умереть... А еще, наверно, надеялась после смерти встретиться с вашим отцом. Такая уж она была...

От этих слов у Кикудзи по спине забегали мурашки.

Тикако вышла в сад.

— Пойду посижу в чайном павильоне. Может, успокоюсь, — сказала она.

Кикудзи некоторое время сидел неподвижно и смотрел на цветы.

Белые и бледно-розовые цветы... Белое с розоватым оттенком сино... Розы, гвоздики и керамика растворялись друг в друге, поглощали друг друга... Пока он сидел и смотрел, на фоне сино возникла легкая тень — Фумико, одинокая, печальная, съезжившаяся на татами в опустевшем доме.

ГУБНАЯ ПОМАДА ГОСПОЖИ ООТА

I

Почистив зубы, Кикудзи вернулся в спальню. Служанка ставила цветок повилики в подвесную вазочку — декоративную тыкву-перехватку.

Снова забираясь в постель, Кикудзи сказал:

— Сегодня я встану, но попозже.

Он лег на спину, запрокинул голову на подушку и стал смотреть на цветок в тыкве, висевшей в углу токонома.

Служанка, уже выйдя в соседнюю комнату, спросила:

— А на службу вы сегодня не пойдете?

— Не пойду. Отдохну еще денек... Но с постели встану.

Кикудзи простудился — у него были сильные головные боли, и последние пять дней он на работу не ходил.

— Послушай, где это ты нашла повилику?

— В имбире, у садовой ограды... Там выросла, всего-то один цветочек и расцвел.

Дикая повилика. Сама выросла. Стебелек тоненький, листья малюсенькие, и один-единственный цветок — простенький, скромный, темно-фиолетовый.

Однако и от мелких листьев, и от темно-фиолетового цветка, свисавших из тыквы, смуглой, будто покрытой потемневшим от времени красным лаком, веяло полевой прохладой.

Старая служанка, жившая в их доме еще при отце, порой бывала изобретательной.

На висячей цветочной вазочке еще сохранилась облупившаяся лакированная печать мастера, да и на старом ветхом футляре было написано, что это работа Сотан. Если надпись не обманывает, значит, этой тыкве около трехсот лет.

Кикудзи не разбирался в искусстве подбирать цветы для чайной церемонии, да и служанка наверняка в этом ничего не понимала, но ему показалось, что повилика подходит для утренней чайной церемонии¹.

Кикудзи глядел на цветок и думал: в трехсотлетней тыкве нежная повилика, которая проживет не более одного дня...

Может быть, в таком сочетании есть своя гармония?.. Может быть, это гораздо изящнее, чем ставить европейские садовые цветы в кувшин сино, которому тоже не меньше трехсот лет...

¹ По-японски повилика — асагао, что значит «лик утра».

Ему почему-то стало тревожно: сколько же часов проживет повилика?

За завтраком Кикудзи сказал подававшей еду служанке:

— Я думал, повилика прямо на глазах завянет, а она еще свежая.

— Да, еще свежая.

Кикудзи вспомнил, что хотел поставить пионы в сино, подаренный ему Фумико. Пионы — в знак памяти о госпоже Оота. Когда Фумико подарила ему сино, время цветения пионов уже прошло, но отдельные цветы, может быть, где-нибудь еще и сохранились. А сейчас поздно.

— Я совсем забыл, что у нас была эта тыква. Как только ты ее отыскала!

— Я вспомнила.

— Не знаешь, отец ставил когда-нибудь повилику в эту тыкву?

— Не знаю, кажется, не ставили. А я так просто... сама поставила... Ведь повилика — вьющееся растение и тыква эта тоже. Вот я и подумала...

— Что? Вьющиеся растения?

Обескураженный Кикудзи рассмеялся.

После завтрака он попробовал почитать газету, но голова вскоре сделалась тяжелой, и он растянулся прямо на татами в столовой.

Служанка вошла в столовую, вытирая мокрые руки.

— Ты мою постель не убрала?

— Нет, но извольте подождать чуточку, я приберу в комнате.

Когда он вернулся в спальню, в токонома уже не было повилики. И тыквы тоже.

Кикудзи хмыкнул. Убрала. Наверно, чтобы он не видел печального увядания цветка.

Ему стало смешно, когда служанка сказала, что и повилика и тыква — вьющиеся растения. Наверно, все же этой старой женщине в таком своеобразном виде передались эстетические привычки ее бывшего хозяина.

Кувшин сино, пустой, так и стоял в токонома.

Если вдруг придет Фумико, ей будет неприятно такое небрежное отношение к ее подарку.

Кикудзи, принеся кувшин домой, в тот же день поставил в него белые розы и бледные гвоздики.

Ведь такие же цветы стояли в нем перед урной с прахом

госпожи Оота — цветы, посланные Кикудзи на седьмой день поминальной недели.

Возвращаясь от Фумико с кувшином в руках, он зашел в тот же самый цветочный магазин и купил те же самые цветы, что и накануне, — розы и гвоздики.

Но потом он уже не ставил в кувшин никаких цветов. Ему казалось, стоит прикоснуться к этому синоп, и в душе поднимется такое волнение, которое ничем будет унять.

Порой, идя по улице, он вдруг останавливал взгляд на какой-нибудь идущей впереди женщине средних лет и инстинктивно шел за ней. Потом, опомнившись, мрачнел и бормотал:

— Тянет, словно преступника...

И тогда он видел, что женщина совсем не похожа на госпожу Оота. Только линия бедер чем-то напоминала ее фигуру.

И все равно в эти минуты им овладевало нестерпимо острое желание. У него перехватывало дыхание, но через секунду желание сменялось изумлением, все это переплеталось, наслаивалось друг на друга, и он вдруг приходил к себе, как человек, только что намеревавшийся совершить преступление.

Преступное желание... Откуда оно, спрашивал он самого себя, пытаясь заглушить то, что в нем поднималось. Но ответа не было, а тоска по госпоже Оота возрастала.

Ему делалось страшно — с такой силой ощущал он живое тело мертвой. Что же с ним станет, если это чувство будет вечно его преследовать?..

Может быть, это совесть его терзает, не дает покоя памяти чувств?..

Убрав синоп в футляр, Кикудзи улегся в постель. Стал рассеянно смотреть в сад. Загремел гром.

Гроза, далекая, но сильная, приближалась с каждым раскатом.

Отблески молний пробежали по деревьям сада.

Но ливень опередил грозу. Гром начал отдаляться.

Дождь был сильный. Струи поднимали фонтаны песка на дорожках.

Кикудзи встал и набрал номер телефона Фумико.

— Оота-сан переехала, — ответили ему.

— Как?.. — Кикудзи опешил. — Простите за беспокойство, но вы не могли бы...

Он понял, что Фумико продала дом.

— Простите, вы не знаете, куда переехала Оота-сан?

— Извините, пожалуйста... одну минуточку...

С ним, кажется, говорила прислуга. Через секунду она снова взяла трубку и назвала адрес и телефон, должно быть, прочитала по бумажке. Кикудзи записал — дом господина Тодзаки и номер телефона. Позвонил туда.

— Да, это я, Фумико... Простите, заставила вас ждать...

Голос Фумико прозвучал неожиданно весело.

— Фумико-сан, вы меня узнаете? Это говорит Митани... А я звонил вам домой...

— Да?.. Ой, как все неудобно получилось... Простите, пожалуйста!

Голос у нее прерывался и замирал, как у матери.

— Когда же вы переехали?

— Да вот, переехала...

— И даже не сказали, не известили меня...

— Дом я продала... Уже некоторое время живу у подруги, пользуюсь ее гостеприимством...

— Значит, продали?

— Да. Я колебалась, сообщить вам или нет. Сначала решила — не надо, нельзя этого делать. А потом неудобно стало...

— Зачем же вы колебались?

— Не стоило, да?.. Вы правда так думаете?

Кикудзи вдруг почувствовал легкость и свежесть, словно весь омылся прохладной водой. И удивился сам, что такое ощущение можно почувствовать от телефонного разговора.

— Знаете, я все смотрю на ваш подарок, на сино... Как взгляну, так сразу хочется вас увидеть.

— Да?.. А у меня есть еще одно изделие. Маленькая цилиндрическая чашка. Я в тот раз хотела подарить ее вам вместе с кувшином, но... Понимаете, это мамина чашка, она из нее постоянно пила, и на краю остался след губной помады... Я...

— Что?.. След помады?

— Это мама так говорила...

— Как это может быть? След губной помады остался на керамике?

— Да нет! Не то... У этой чашки красноватый оттенок. А мама говорила, что это ее помада впиталась. Сейчас, уже без мамы, я хорошенько разглядела чашку. У края, в одном месте, действительно есть мутноватое пятно, краснота там немного гуще...

Неужели Фумико совершенно равнодушно говорит об этом? Кикудзи даже слушать не мог, не то что продолжать разговор на эту тему.

Он поспешно сказал:

— Здесь жуткий ливень. А у вас?

— Когда вы позвонили, как раз в тот момент тут так гро-
мыхнуло, что я вся съежилась.

— После дождя, наверно, посвежеет, а то такая духота...
А я сегодня дома. Вот уже несколько дней не хожу на работу.
Вы свободны? Может быть, придете?

— Спасибо. Я вообще-то думала зайти к вам, но раньше хо-
тела устроиться на работу. Тогда бы и пришла, если бы все-
таки решила прийти.

Прежде чем Кикудзи успел ответить, Фумико сказала:

— Но я так обрадовалась вашему звонку, что сейчас приду.
Хотя... не стоит, наверно, больше видеться с вами...

Кикудзи подождал, пока кончится ливень, оделся и велел
служанке убрать постель.

Он вроде бы не собирался приглашать сегодня Фумико и
вдруг пригласил. И сам удивился.

Но еще больше его поразило ощущение легкости, насту-
пившее после телефонного разговора. Стоило ему поговорить
с Фумико, и груз вины перед госпожой Оота свалился с
плеч.

Может быть, из-за голоса Фумико? Голос дочери воспроиз-
водил все интонации матери, словно с ним говорила ожившая
госпожа Оота.

Бреясь, Кикудзи забавлялся: стряхивал с кисточки мыльную
пену прямо на листья кустарника, а потом мочил кисточку под
струйками дождя, стекавшими с крыши.

После полудня кто-то пришел. Кикудзи выскочил в перед-
нюю, надеясь увидеть Фумико. Но перед ним стояла Тикако
Куримото.

— А-а, это вы...

— Давненько у вас не была, вот и решила проведать. Как
вы себя чувствуете в такую жару?

— Неважно.

— Ай-ай-ай! И цвет лица у вас нездоровый.

Тикако, наморщив лоб, разглядывала Кикудзи.

Фумико, наверно, в европейской обуви придет, подумал он,
а я, услышав стук гета, почему-то решил, что это она...

— А вы, — Кикудзи в свою очередь посмотрел на Тикако, —
зубы вставили... Сразу помолодели.

— Да, выдалось свободное время... Только слишком уж бе-
лые! Ну да ничего, скоро потемнеют.

Пройдя в ту комнату, где только что лежал Кикудзи, Тикако взглянула на токонома.

— Ничего нет, и чисто и пусто стало, — сказал Кикудзи.

— Да, пусто. Что ж делать, ведь все время дожди шли. Но цветы-то уж могли бы... — Тикако повернулась к нему. — Кстати, что вы решили насчет сино?

Кикудзи молчал.

— Вам не кажется, что его лучше вернуть?

— Это уж мое дело.

— Не совсем так.

— Во всяком случае, не вам указывать, как мне поступить с ним.

— Не совсем так... — Тикако ослепительно сверкнула вставными зубами. — Я как раз для того и пришла, чтобы дать вам совет. — Она вдруг вытянула руки и взмахнула ими, словно отгоняя что-то. — Из этого дома надо изгнать колдовские чары, не то...

— Не пугайте, пожалуйста!

— Но я хочу предъявить вам определенные требования! Как сваха...

— Если вы имеете в виду дочь Инамуры-сан, то я вам очень благодарен, но отказываюсь.

— Ну что вы, что вы! Отказываться от брака с девушкой, которая вам по душе, только потому, что сваха не нравится! Это просто глупо. Сваха всего-навсего мостик. Так, пожалуйста, топчите этот мостик. Ваш отец всегда пользовался моими услугами без всяких церемоний.

На лице Кикудзи отразилось явное недовольство.

Но Тикако уже вошла в раж. У нее поднялись плечи, как всегда, когда она говорила с увлечением.

— А как же иначе? Со мной ведь легко, не то что с госпожой Оота... Вообще, хорошо бы вам все рассказать обо мне и о вашем отце. Но, к сожалению, и рассказывать-то нечего. Для вашего отца я была пустое место. А минутное увлечение вспыхнуло и тут же угасло, я и ахнуть не успела... — Тикако потушилась. — Нет, я не держала в сердце обиды. Всегда была рада ему услужить. А он и пользовался моими услугами, всегда пользовался, когда была надобность... Мужчины это любят — пользоваться услугами тех женщин, с которыми у них что-то было. Впрочем, я не в накладе. Благодаря вашему отцу у меня развилась здоровая житейская мудрость.

— Гм...

— Так что эта самая мудрость в вашем распоряжении.

Может быть, она по-своему права, подумал Кикудзи. От Тикако повеяло вдруг беспечностью, беззаботностью.

— Понимаете, Кикудзи-сан, человек не может быть благо-разумным и мудрым, если в нем слишком сильно мужское или женское начало.

— Да? Значит, мудрость среднего пола?

— Иронизируете? Ну, ну... Однако, когда превращаешься в существо среднего пола, начинаешь насквозь видеть и мужчин и женщин. Вас не удивляет, как это госпожа Оота отважилась умереть, оставив дочь одну-одинешеньку? Ведь у молодой Оота-сан никого не было на свете, кроме матери. Я думаю, мать на кого-то надеялась. На вас, например, вы, мол, после ее смерти позаботитесь о девушке...

— Да как вы смеете!

— Я много думала об этом, очень много. И появилось у меня подозрение... Ведь госпожа Оота своей смертью помешала вашему браку. Смекаете? Не так-то все это просто. Был у нее свой резон умереть.

— У вас чудовищная фантазия, — сказал Кикудзи, но сам был сражен наповал этой фантазией. Словно молния ударила перед глазами.

— Кикудзи-сан, вы же сказали госпоже Оота, что посватались к дочке Инамуры-сан?

Кикудзи отлично помнил, что рассказал, но сделал удивленное лицо.

— Я? По-моему, вы сообщили госпоже Оота по телефону о моем предполагаемом браке!

— Да, сообщила и попросила не мешать. Как раз в тот вечер она и умерла.

Наступило молчание.

— Однако, Кикудзи-сан, — снова заговорила Тикако, — интересно, откуда вы знаете, что я ей звонила? Она приходила к вам?

Кикудзи смешался, застигнутый врасплох.

— Ясно, что приходила! Я помню, как она тогда вскрикнула в телефон.

— Вот это здорово! Выходит, это вы ее убили!

— Можете считать, что я. Вам так легче будет. А я привыкла играть роль злодейки. Ваш отец за то и ценил меня, что по мере необходимости я всегда отлично исполняла эту роль. Вот и

сегодня я в этой роли явилась к вам. Не ради памяти вашего отца, а так — сама от себя.

Кикудзи показалось, что эта женщина буквально исходит ненавистью и неистребимой, хронической ревностью. Но Тикако продолжала совершенно спокойно, словно разглядывала собственную ладонь:

— А вам, Кикудзи-сан, не следует знать, что делается в стороне от вас. Если уж очень неприятно, чертыхнитесь про себя — вот, мол, настырная баба, лезет и лезет не в свои дела. А я тем временем отгону колдунью и сделаю так, чтобы добрый брак состоялся.

— Вы лучше не упоминайте больше об этом добром браке, сделайте одолжение.

— Хорошо, хорошо, мне и самой не хочется путать такое святое дело с госпожой Оота... — Тикако вдруг заговорила в более мягком тоне. — Впрочем, Оота-сан не была таким уж дурным человеком... Она, наверно, молилась, умирая, чтобы вы взяли ее дочь в жены. А вам небось ни единым словом об этом не намекнула...

— Опять вы с вашими глупостями!

— Но ведь так оно и было! Неужели вы думаете, Кикудзи-сан, что ей никогда не приходило в голову выдать за вас свою дочь? Если вы так думаете, значит вы просто-напросто витаєте в облаках. Она же была одержимая, и во сне и наяву мечтала только об одном — о вашем отце. Пожалуй, это можно назвать даже цельностью натуры. Она и дочь свою запутала, как в бреду действовала. А в результате жизни лишилась... Посмотреть со стороны — рок над ней тяготел или проклятие какое-то... И зачем она расставляла свои колдовские сети...

Кикудзи встретился взглядом с Тикако. Ее маленькие глазки экзотически закатились и в то же время смотрели прямо на него. Он не выдержал, отвернулся.

Кикудзи позволил развязать ей язык, не одернул ее, не остановил. И не столько из-за собственной уязвимости, сколько из-за оцепенения, охватившего его после чудовищного предположения Тикако.

Неужели госпожа Оота действительно хотела женить его на своей дочери?.. Такая мысль ему в голову не приходила. Да и не верил он в это.

Скорее всего это злые, необоснованные домыслы Тикако. Ревность, такая же безобразная и неистребимая, как темное родимое пятно у нее на груди...

И все же слова Тикако были ошеломляющими, как удар молнии.

Кикудзи стало страшно.

А может, он сам мечтал об этом в глубине души?..

Ведь бывают же на свете случаи, когда увлечение мужчины матерью через какое-то время переходит на ее дочь... Но Кикудзи еще был пьян от объятий госпожи Оота, как же он мог увлечься ее дочерью? И все же он тянется к этой девушке, тянется всем телом, тянется, сам того не замечая. Неужели он действительно во власти колдовских чар?

Сейчас ему казалось, что он стал совершенно другим человеком после близости с госпожой Оота. Что-то в нем умерло, что-то онемело.

Вошла служанка.

— Барышня Оота-сан изволили пожаловать. Сказали, что, если у нас гости, они придут в другой раз...

— Что?.. Она ушла?

Кикудзи поспешно вышел в переднюю.

2

— Простите, я...

Фумико подняла голову и взглянула Кикудзи в глаза. В этот момент хорошо была видна вся ее шея, белая, тонкая.

В ямке, где кончалась шея и начиналась грудь, лежала едва заметная тень.

Или освещение такое, или она похудела?.. От этой бледной тени Кикудзи стало чуть-чуть грустно и в то же время необыкновенно легко, словно камень с души свалился.

— А у меня Куримото...

Он сказал это спокойно, без малейшего усилия над собой. Напряжение, еще секунду назад державшее его в тисках, куда-то улетучилось, стоило только ему увидеть Фумико.

Она кивнула.

— Я догадалась, вон ее солнечный зонтик...

— А-а, этот...

В углу стоял серый зонтик с длинной ручкой.

— Может, вам неприятно? Если хотите, отдохните немного в чайном павильоне. А Куримото я сейчас выпровожу.

Сказав это, Кикудзи вдруг удивился самому себе: ведь он знал, что придет Фумико, почему же сразу не постарался отделаться от Тикако?..

— Мне все равно,— сказала Фумико.

— Да? Очень хорошо! Тогда прошу вас, проходите пожалуйста.

Войдя, Фумико приветливо поздоровалась с Тикако, словно и не подозревала о ее враждебном отношении.

Последовали традиционные слова соблезнования и традиционная благодарность за выражение соблезнования.

Тикако сидела откинувшись, чуть приподняв левое плечо, как на уроке, когда она внимательно следила за действиями ученицы.

— Да, очень грустно... В теперешнем мире мягкие, ранимые души не выдерживают... Вот и ваша мама умерла, увял последний нежный цветок.

— Ну, не такая уж она была мягкая...

— Как горько ей, наверно, было оставлять вас одну-одиношеньку.

Фумико не поднимала глаз. Ее пухлые губы были крепко сжаты.

— Я думаю, вам действительно очень одиноко,— продолжала Тикако.— По-моему, самое время возобновить занятия чайной церемонией.

— Я, знаете ли, уже...

— Поймите, это очень отвлекает!

— Да, но сейчас я в несколько другом положении. Чайная церемония мне уже ни к чему.

— О-о, зачем вы так говорите?! Не надо принижать себя! — Тикако картинно воздела руки, до этого спокойно лежавшие на коленях.— Сезон дождей прошел, вот я и пришла в этот дом. И знаете для чего? Откровенно говоря, хотелось посмотреть, в каком состоянии чайный павильон.— Она мельком взглянула на Кикудзи.— Не составите ли вы мне компанию, Фумико-сан?

— Даже не знаю...

— С вашего позволения возьмем для церемонии сино — в память вашей матушки.

Фумико наконец подняла глаза и взглянула на Тикако.

— Поговорим, побеседуем, вспомним маму.

— Пожалуй, не стоит. А то я еще там расплачусь.

— А почему бы и не поплакать? Поплачем вместе. Ведь скоро у Кикудзи-сана появится молодая жена, и кто знает, может быть, мне будет заказан вход в чайный павильон. А у меня с ним столько хорошего связано...— Тикако улыбнулась и не-

ожиданно строгим тоном добавила: — Конечно, если стговор останется в силе и свадьба Кикудзи-сана с Юкико Инамура состоится.

Фумико кивнула. На ее лице ничего не отразилось. Лишь крайняя усталость была заметна на этом лице, так похожем на материнское.

Кикудзи сказал:

— Зачем вы так говорите? Это нехорошо по отношению к Инамура-сан. Ведь ничего еще не решено.

— Я и сказала — если все останется в силе, — возразила Тикако. — «У доброго дела много помех» — правильная поговорка, так оно обычно и бывает. А пока никакой ясности нет, вы, Фумико, считайте, что ничего и не слышали.

— Хорошо! — Фумико опять кивнула.

Тикако, позвав служанку, пошла убирать чайный павильон.

— Осторожно, тут в тени листва еще мокрая, — донесся из сада ее голос.

3

— Утром, когда я вам звонил, вы, наверно, слышали в трубку, какой здесь был дождь, — сказал Кикудзи.

— Разве можно услышать дождь по телефону? Не знаю, я не обратила внимания... Нет, правда, разве можно услышать в трубку такие вещи — шум дождя в вашем саду?

Фумико взглянула на Кикудзи, потом перевела взгляд на сад.

За кустами и деревьями шуршал веник — это Тикако подметала чайный павильон.

Кикудзи тоже посмотрел на сад.

— И я, наверно, не слышал, как шумит дождь у вас. Но дождь был очень сильный, и мне потом начало казаться, будто я слышу.

— Да, настоящий ливень! И гром был ужасный!

— Вы сказали по телефону, что сильно ударило.

— Знаете, как странно... Оказывается, дети даже в мелочах порой похожи на родителей. Помню, когда я была маленькой, мама в грозу, как только грянет гром, прикрывала мою голову рукавом кимоно. А летом, выходя из дому, всегда смотрела на небо — не собираются ли тучи... И я точно так же... Когда гремит гром, мне хочется закрыться рукавом.

Фумико немного смутилась, стыдливо сжала плечи.

— Я принесла чашку сино,— сказала она и вышла в переднюю.

Вернулась, поставила чашку перед Кикудзи, но обертку не развернула.

Однако, видя, что Кикудзи не решается дотронуться до свертка, придвинула свертки к себе, развернула бумагу и вынула чашку из футляра.

— Кажется, ваша мама любила те две чашки, парные, работы Рёню... И пила из них чай ежедневно,— сказал Кикудзи.

— Да, но чаще все-таки пользовалась этой. Говорила, что в черной и красной чашках теряется зеленый цвет чая.

— А ведь верно! На черном и красном фоне зеленый цвет теряет свою прелесть.

Кикудзи все не решался взять в руки вынутую из футляра чашку, и Фумико сказала:

— Наверно, это неважное сино.

— Нет, что вы!

Но он все еще не решался взять чашку.

Белая глазурь, как и говорила утром по телефону Фумико, была с едва заметным красноватым оттенком. Красный оттенок словно бы проступал откуда-то изнутри.

У верхнего края был виден легкий коричневатый налет. В одном месте бледно-коричневый цвет чуть-чуть сгустился.

Наверно, этого места касались губы и от постоянных прикосновений глазурь немного испортилась и пропиталась чаем.

Кикудзи смотрел на это место, и оно постепенно начало казаться ему красноватым.

Неужели, это действительно след от губной помады, как сказала Фумико?

На внутренней стороне чашки в этом месте тоже был заметен бледный красновато-коричневый налет.

...Цвет слнявшей губной помады... Цвет увядшей, высохшей алой розы... И... цвет крови, давным-давно капнувшей на белоснежную поверхность... Сердце Кикудзи забилося сильнее.

И в то же время опять его охватило болезненно-острое желание. Какой ужас, подумал он, какая грязь!..

На чашке были нарисованы синевато-черные широкие листья какой-то травы. В некоторых местах рисунок слегка побурел.

Простой, реалистический рисунок заглушал в Кикудзи нездоровую чувственность. И строгая форма чашки тоже.

— Прелестно! — сказал он и наконец взял чашку в руки.
— Не знаю, я плохо в этом разбираюсь... Но мама очень ее любила, постоянно пила из нее чай.

— Да, для женщины она, безусловно, хороша.

Для женщины... Кикудзи сказал это и почувствовал: мать Фумико была женщиной, и для него и вообще...

Зачем Фумико принесла ему эту чашку? Да еще со следами от губной помады матери?

Что это — наивность или душевная черствость?

Кикудзи держал чашку в ладонях, но старался не касаться того места, где виднелся странный след.

— Фумико, уберите ее, пожалуйста! А то Куримото начнет ее разглядывать, и тогда разговоров не оберешься.

— Хорошо.

Фумико положила чашку в футляр, завернула и вышла в переднюю.

Конечно же, она хотела подарить ему эту чашку! Для того и принесла. Но упустила подходящий момент, а может быть, решила, что сино ему не понравилось.

Вошла Тикако.

— Кикудзи-сан, вы не дадите кувшин госпожи Оота?

— А может, обойдемся нашим? Тем более, что у нас в гостях Фумико-сан.

— Вот странно! Именно потому, что Фумико-сан здесь, я и хочу взять тот кувшин. Мы же хотели поговорить, вспомнить ее мать. Кувшин ведь подарок... В память о покойной...

— Но вы же ненавидите госпожу Оота! — внезапно сказал Кикудзи.

— Ненавижу? Вот уж неправда! Просто мы не сходились характерами. Да и как можно ненавидеть покойника?.. Конечно, мы не симпатизировали друг другу, это верно. Опять же из-за несходства характеров. И потом я ее ведь видела насквозь...

— Кажется, видеть насквозь — ваша специальность.

— Если боитесь, прячьте от меня свою душу. Вот и все!

Вернулась Фумико. Она села неподалеку от порога. Тикако обернулась к ней, слегка вздернув левое плечо.

— Фумико-сан, дорогая, давайте уговорим хозяина дома дать нам для чайной церемонии сино вашей матушки.

— Да, пожалуйста, Кикудзи-сан! — сказала Фумико.

Кикудзи вынул из стенового шкафа кувшин.

Засунув за obi сложенный веер, Тикако взяла кувшин и пошла в чайный павильон.

— Знаете, я испугался, когда утром позвонил вам по телефону и услышал, что вы переехали. Неужели вы одна справились и с продажей, и со всем остальным?

— Да. Одна. Но мне повезло. Дом купил наш знакомый. Он жил в Ооисо в маленьком доме. Хотел со мной поменяться, но я предпочла продать дом. Жить одной, даже в маленьком доме, как-то неуютно. Снимать комнату — куда меньше хлопот, особенно когда ходишь на работу. А пока что я нашла приют у подруги.

— Вы уже устроились на работу?

— Нет еще. Когда встал вопрос о работе, оказалось, я ничего толком не умею. — Фумико улыбнулась. — Ведь и к вам я собиралась зайти уже после того, как куда-нибудь устроюсь. А то грустно как-то приходить в гости и бездомной и безработной, когда ничего не делаешь, попусту болтаешься.

Кикудзи захотелось сказать, что именно в такое время и нужно ходить в гости. Он представил Фумико в незнакомой комнате: сидит одна, грустит. Но девушка не выглядела грустной.

— Я тоже хочу продать свой дом. Собираюсь, собираюсь, да никак не решусь. А пока что все приходит в упадок: желоба текут, татами в дырах. Но чинить уже не охота.

— Зачем продавать? Вы, наверно, женитесь и приведете сюда жену, — громко сказала Фумико.

Кикудзи взглянул на нее.

— Вы повторяете слова Куримото... Неужели вы думаете, что я сейчас в состоянии жениться?

— Это из-за мамы? Вы страдали, да? Но теперь-то уже все в прошлом... Так и считайте — все в прошлом.

4

Тикако быстро привела в порядок чайный павильон — сказала привычка.

— Удачно я подобрала посуду, подходит к этому кувшину? — спросила она.

Кикудзи не ответил, он в этом не разбирался. Фумико тоже молчала. Они оба смотрели на кувшин.

Вещь, служившую цветочной вазой перед урной с прахом госпожи Оота, сейчас использовали по прямому назначению.

Чтобы только руки не касались этого кувшина... Руки госпожи

Оота, руки Фумико, а Фумико — из рук в руки — передала его Кикудзи... А сейчас над ним колдуют грубые руки Тикако.

Кувшин со странной, почти роковой судьбой. Впрочем, у каждой вещи своя судьба, а уж у посуды для чайной церемонии — тем паче.

Прошло триста, а то и четыреста лет с тех пор, как был изготовлен этот кувшин. Кто пользовался им до госпожи Оота, кто был его обладателем, чьи судьбы оставили на нем свой незримый след?..

— Сино делается еще прекраснее у очага, рядом с чугунным котелком. Вы не находите? — сказал Кикудзи, взглянув на Фумико. — И какая благородная форма! Котелок еще больше ее подчеркивает.

Светлая глазурь сино излучала глубокий сияющий свет.

Кикудзи сказал Фумико по телефону, что стоит ему посмотреть на сино, как сразу хочется ее видеть.

Может быть, тело ее матери тоже излучало внутренний свет — свет женщины?..

Было жарко, и Кикудзи не задвинул сёдзи в павильоне.

В проеме, за спиной Фумико, зеленел клен. Тель от густой ливни лежала на ее волосах.

На фоне светлой зелени четко вырисовывались изящная длинная шея и голова Фумико. Руки, обнаженные выше локтя, — должно быть, она впервые в этом году надела платье с короткими рукавами — казались голубовато-бледными. Фумико была худенькой, но и плечи и руки выглядели округлыми.

Тикако тоже любовалась кувшином.

— Как бы то ни было, но такой кувшин оживает только во время чайной церемонии. Просто грешно использовать его как посудину для цветов.

— Но мама тоже ставила в него цветы, — сказала Фумико.

— Чудеса! Памятная вещь вашей матушки в этом павильоне!.. Впрочем, госпожа Оота, наверно, обрадовалась бы.

Тикако, должно быть, хотела уколоть Фумико, но та спокойно произнесла:

— Мама часто пользовалась этим кувшином как цветочной вазой. А что касается меня, я не собираюсь больше заниматься чайными церемониями, так что...

— Не говорите так. — Тикако огляделась вокруг. — Чайная церемония — благое дело. А уж этот павильон... Нигде я не обретаю такого душевного равновесия, как здесь, когда мне разрешают переступить его порог. Я ведь видела не один десяток

чайных павильонов, но такого, как этот, не встречала...— Она перевела взгляд на Кикудзи.— В будущем году пять лет исполнится, как скончался ваш отец. Устройте, Кикудзи-сан, торжественную чайную церемонию в день годовщины!

— Пожалуй. Забавно будет, если гостям подать подделку, не имеющую никакой ценности.

— Как вы можете?! Да и среди чайной утвари покойного господина Митани нет ни одной поддельной вещи.

— Да? Но все равно это было бы забавно! Чайная церемония — и подделка! — Он обратился к Фумико: — Знаете, я никак не могу отделаться от ощущения, что в павильоне дурно пахнет то ли плесенью, то ли какими-то ядовитыми испарениями. Вот мне и пришла мысль принести сюда в поминальный день ненастоящую утварь: ядовитые пары не выдержат, улетучатся. Это будет вместо заупокойной службы по отцу. А потом я навсегда покончу с чайными церемониями... Впрочем, я ими вообще не занимался.

— Хотите навсегда выкурить назойливую бабу — и все-то она сюда ходит, и во все-то лезет. Чтоб, значит, чистый воздух был, чтоб духу ее не было... — Тикако, чуть усмехаясь, тщательно размешивала чай бамбуковой щеточкой.

— Вот именно!

— Не надейтесь, ничего у вас не выйдет! А вот когда завяжете новые родственные связи, тогда, пожалуйста, рвите старые.

Показывая взглядом, что все готово, Тикако поставила перед Кикудзи чашку.

— Фумико-сан, наслушавшись шуток хозяина дома, вы, пожалуй, подумаете, что памятная вещь вашей матушки очутилась в плохих руках. А я вот смотрю на это сино и словно бы вижу на глазури лицо госпожи Оота...

Кикудзи опустил пустую чашку на подставку и тоже посмотрел на кувшин.

Что там увидела Тикако? Скорее, в черной лакированной крышке отражается ее собственная, не очень-то привлекательная физиономия.

Но Фумико была рассеянной.

Кикудзи не мог понять, притворяется она или действительно не замечает колкостей Тикако.

И вообще странно, что Фумико не выказала ни малейшего неудовольствия и сидит здесь, рядом с Тикако.

И разговоры Тикако о предполагаемом браке Кикудзи тоже, кажется, ее нисколько не трогают.

Тикако, ненавидевшая госпожу Оота, а заодно и ее дочь, вкладывала в свои слова оскорбительный для Фумико смысл, но девушка не выражала никакого протеста, даже, казалось, внутреннего.

Неужели Фумико погружена в такое глубокое горе, что все это скользит мимо, не задевая ее?.. Или, потрясенная смертью матери, она сумела возвыситься над житейской суетой?.. А может, она унаследовала характер матери и не умеет сопротивляться ни себе, ни другим, ибо ее чистота выше всего на свете...

Впрочем, и он, Кикудзи, никак не попытался оградить Фумико от выпадов Тикако. Значит, он тоже какой-то не такой, мягко выражаясь, странный.

Но все же самым странным, даже чудовищно странным было присутствие здесь Тикако. Сидит себе в его чайном павильоне и спокойно прихлебывает чай, который сама же и приготовила.

— Малюсенькие у меня часики, так неудобно для близоруких глаз, — сказала Тикако. — Подарили бы мне, Кикудзи-сан, карманные часы вашего отца.

— Никаких карманных часов у него не было! — отрезал Кикудзи.

— То есть как это — не было?! Ваш отец всегда их носил. Фумико-сан, вы помните карманные часы покойного господина Митани? Ведь он всегда носил их — и когда у вас бывал, верно?

Тикако всем своим видом выражала удивление.

Фумико опустила глаза.

— Десять минут третьего, кажется. Стрелки дwoятся, как сквозь туман вижу...

Тикако изменила тон, заговорила оживленно, деловито.

— Инамура-сан организовала для меня группу. Сегодня в три у нас урок. Прежде чем идти к ним, я хотела бы узнать ваш ответ, Кикудзи-сан. Ведь я и зашла сюда поэтому.

— Передайте, пожалуйста, Инамуре-сан, что я решительно отказываюсь.

Но Тикако постаралась его ответ обратить в шутку.

— Хорошо, хорошо, так и передам — мол, решительно, очень решительно! — Она рассмеялась. — Хоть бы уж поскорее все разошлось, тогда, глядишь, с вашего позволения, будем проводить уроки в этом павильоне.

— А вы посоветуйте Инамуре-сан купить мой дом! Я все равно собираюсь его продать в ближайшее время...

Не обращая больше внимания на Кикудзи, Тикако повернулась к Фумико.

— Фумико-сан, вы не собираетесь домой? Может, выйдем вместе и немного пройдемся?

— Хорошо.

— Я быстренько тут уберусь!

— Разрешите, я вам помогу.

— Как вам будет угодно...

Но Тикако, не дожидаясь Фумико, одна направилась в мидзуя.

Оттуда послышался плеск воды.

— Фумико-сан, останьтесь! Не надо уходить с ней, — тихо сказал Кикудзи.

Фумико покачала головой:

— Я боюсь.

— Бояться не надо.

— А я боюсь...

— Ну, тогда выйдите вместе с ней, пройдитесь немного, заморочьте ей голову и возвращайтесь.

Фумико снова покачала головой и встала, одергивая тонкое летнее платье.

Кикудзи, не успев подняться, снизу протянул к ней руки: ему показалось, что Фумико пошатнулась.

Она покраснела.

Когда Тикако спросила ее про карманные часы, у нее слегка порозовели только веки, а сейчас лицо у нее стало алым — стыд, поначалу незаметный, как бутон, теперь был в полном цветении.

Фумико взяла кувшин и пошла в мидзуя.

— А-а, решили вымыть собственноручно? — донесся оттуда хриплый голос Тикако.

ДВОЙНАЯ ЗВЕЗДА

I

«И Фумико и дочь Инамуры вышли замуж», — сказала Тикако, заявившись к Кикудзи...

Летнее время — в половине девятого еще светло. После ужина Кикудзи растянулся на галерее и пристально смотрел на светлячков в сетке. Их купила служанка. Незаметно бледный огонек светлячков стал желтоватым — день померк. Но Кикудзи так и не зажег свет.

Он только сегодня вернулся домой — гостил у приятеля на даче, в окрестностях озера Нодзирико. Там он провел свой недолгий летний отпуск.

Приятель был женат, и у них был грудной ребенок. Кикудзи, непривычный к детям, понятия не имел, сколько дней или месяцев прожил малыш на свете, и не мог определить, крупный он или нет для своего возраста. Но на всякий случай — надо же было выказать какой-то интерес к ребенку — сказал:

— Вон какой крепыш, и развит хорошо!..

— Что вы, не такой уж он крепкий, — ответила жена приятеля. — Сейчас, правда, получше стал, приближается к нормальному весу, а когда додился, до того крохотный был и хилый, что мне плакать хотелось.

Кикудзи легонько помахал рукой перед лицом ребенка.

— А почему он не моргает?

— Они позже начинают моргать... Видеть-то он видит, а моргать ему еще рано.

Кикудзи думал, ему месяцев шесть, а оказалось, всего около трех. Поэтому, наверно, молодая мать и выглядела так плохо: прическа неряшливая, лицо бледное, осунувшееся. Не успела еще как следует оправиться после родов.

Супруги были полностью поглощены своим первенцем, глаз с него не спускали, и Кикудзи чувствовал себя у них довольно одиноко. Но стоило ему сесть в поезд, как перед глазами сейчас же всплыла тоненькая — в чем только душа держится — молодая женщина с измученным, но умиротворенным лицом, сияющим тихой радостью. Приятель жил все время с родителями, и только теперь, после рождения ребенка, молодая мать наконец была наедине с мужем. И дача, где они жили, вероятно, представлялась ей раем, и она все время пребывала в блаженном состоянии. Так и ехал Кикудзи с этим умиротворенным и светлым образом в сердце.

Сегодня, у себя дома, лежа в полутьме на галерее, Кикудзи снова вспомнил жену приятеля. Вспомнил с нежным и немного печальным чувством.

И тут явилась Тикако. Как всегда, без предупреждения.

Энергично вошла и громко, даже слишком громко, сказала:

— Что это вы?! В такой темноте... — И уселась на галерее, у ног Кикудзи. — Уж эти мне холостяки! И свет-то зажечь некому, так вот и валяются.

Кикудзи подтянул ноги, согнул их в коленях, некоторое время полежал в такой позе, потом нехотя сел.

— Да лежите, лежите, пожалуйста! — Тикако протянула правую руку, словно удерживая Кикудзи, и только после этого по всем правилам поздоровалась.

Она рассказала, что была в Киото, а на обратном пути заехала в Хаконэ. В Киото, в доме главы их школы, к которой она принадлежит, встретила со старым знакомым Ооидзуми, торговавшим утварью для чайной церемонии.

— Мы с ним давно не виделись, — сказала Тикако, — а тут встретились и, конечно, поговорили о вашем отце... Он предложил мне показать гостиницу, где, бывало, останавливался Митани-сан. Маленький такой дом на улице Кия-мати, укромный уголок. Ваш отец, видно, с госпожой Оота там бывал, не хотел привлечь внимания. А Ооидзуми предложил мне снять номер в этой гостинице. Понимаете — мне! Этакая дубина!.. Я бы умерла там со страха. Как проснулась бы среди ночи да вспомнила, что здесь останавливались Митани-сан и госпожа Оота, дурно, пожалуй, стало бы. Оба ведь уже покойники.

Ты сама дубина, если способна говорить такие вещи, подумал Кикудзи.

— Кикудзи-сан, вы тоже уезжали? На Нодзирико были? — спросила Тикако тоном всезнающего человека.

Она была в своем амплуа: пришла, выспросила все у служанки и свалилась как снег на голову.

— Только сегодня вернулся, — буркнул Кикудзи.

— А я уже дня три-четыре как приехала, — сказала Тикако резко и вздернула левое плечо. — Приехала, а тут такие неприятности, такие неприятности. Меня как громом поразило. Даже и не знаю теперь, какими глазами смотреть на вас, Кикудзи-сан... Допустила я оплошность... Осрамилась...

Тут она и сказала, что Юкико Инамура вышла замуж.

На галерее было темно, и Кикудзи мог не скрывать удивления, отобразившегося на его лице. Однако голос его прозвучал совершенно спокойно.

— Да?.. Когда же?

— Вы так спокойно спрашиваете, словно это вас не касается, — сказала Тикако.

— Я же говорил вам, и не один раз, что отказываюсь от брака с Юкико.

— Да слова это, пустые слова! От меня вы хотели отделаться, а не от Юкико! Какое, мол, дело этой назойливой бабе, понравилась мне девушка или не понравилась, нечего ей совать

нос в чужие дела! Может быть, это действительно противно. И все же для вас это была хорошая партия.

— Будет вам болтать! — У Кикудзи вырвался смешок, короткий, резкий, точно он его выплюнул.

— Но девушка-то ведь вам нравилась?

— Девушка хорошая...

— Вот-вот, я сразу поняла, что она вам нравится, ну и я...

— Если находишь девушку красивой, это еще не значит, что на ней обязательно женишься.

И все же весть о замужестве Юкико поразила Кикудзи. Он попытался вызвать в памяти ее лицо, но напрасно, ничего не получалось!

Он видел Юкико всего два раза.

Впервые — на чайной церемонии в Энкакудзи. Тикако специально предложила девушке исполнить церемонию, чтобы Кикудзи мог хорошенько ее рассмотреть. И сейчас перед его глазами всплыла грациозная фигура девушки, ее лишённые манерности движения, тень листвы на сёдзи за ее спиной, фурикодэ, светившееся мягким светом. Все это ему представилось довольно отчетливо, а вот лицо расплывалось. Запомнилось вот еще что: красная салфетка в ее руках, и розовое фуросики — это уже когда она шла через парк к храмовому павильону, — и белый тысячекрылый журавль на розовом кредешине... Все запомнилось, кроме лица.

Когда Юкико пришла к нему в гости — это было всего один-единственный раз, — Тикако тоже устроила чайную церемонию. И снова девушка обворожила Кикудзи. На следующий день ему казалось, что в павильоне сохранился аромат ее духов... Сейчас он видел оби с красным ирисом и прочие мелочи, а лица Юкико вызвать в памяти не мог.

Впрочем, Кикудзи с трудом мог припомнить даже лица родителей, умерших не так уж давно. И только когда глядел на их фотографии, вспоминал — да, они выглядели так... Может быть, чем ближе тебе человек и чем дороже, тем труднее восстановить в памяти его образ?.. Может быть, наша память с полной отчетливостью воспроизводит только нечто необычное, уродливое?..

И действительно, лицо Юкико представлялось Кикудзи как-то светлым пятном, как символ, а черное родимое пятно на левой груди у Тикако стояло перед глазами, напоминая жабу.

Сейчас, наверно, на Тикако и нижнее кимоно длинное и, конечно, из плотного шелка. На галерее темно, и невозможно

разглядеть родимое пятно сквозь шелк. Конечно, и на ярком свете шелк скрывает его, но Кикудзи видит пятно, всегда видит. В темноте даже еще лучше.

— Странный вы человек, Кикудзи-сан, очень странный! Надо же встретить девушку, найти ее красивой, милой — и упустить! Девушка, которую зовут Юкико Инамура, одна-единственная, второй такой нет. Потом будете искать по всему свету ей подобную и не сыщете... И как только, Кикудзи-сан, вы до сих пор не понимаете таких простых вещей!

Тикако говорила нравоучительным тоном, но подчеркнуто вежливо.

— У вас, Кикудзи-сан, жизненного опыта мало, а вы не дорожите советами опытных людей, позволяете себе такую роскошь. Из-за одного неверного шага сразу изменилась судьба двух человек — и ваша и Юкико. Кто знает, как у нее теперь сложится жизнь? Вдруг она будет несчастной в браке?.. И тогда доля вины ляжет на вас. Да, да! Она ведь была к вам расположена, Кикудзи-сан.

Кикудзи молчал.

— Она прекрасно к вам относилась, — продолжала Тикако. — Неужели у вас не защежит сердце, если Юкико через несколько лет вспомнит о вас и пожалеет, что вы на ней не женились?

Теперь голос Тикако источал яд.

И чего она разоряется, если Юкико все равно уже замужем...

— Ой, светлячки! Откуда это? — Тикако вытянула шею. — Ведь сейчас уже наступает время осенних насекомых. Фу, как неприятно — словно блуждающие огоньки, словно призраки!..

— Это служанка купила, — сказал Кикудзи.

— Понятно, что можно требовать от служанки! Занимались бы вы чайными церемониями, так не допускали бы таких промахов. У нас ведь существуют свои японские времена года.

После этого замечания Кикудзи стало казаться, что светлячки светятся на самом деле как-то неприятно, неземной какой-то свет. Действительно, как они сохранились до сих пор? Когда он жил у приятеля на озере Нодзирико, там порхали и стрекотали различные насекомые, но светлячков он не видел ни разу.

— Да, Кикудзи-сан, была бы у вас жена, она бы не допустила такого запоздалого и грустного символа сезона... — вдруг задумчиво сказала Тикако. — А я-то думала исполнить свой долг перед вашим покойным отцом — сосватать вас с дочерью Инамуры-сан!

— Ваш долг?

— Да, долг... Вы этого не поймете... А пока вы валялись тут в темноте и любовались светлячками, Фумико тоже успела уже выйти замуж.

— Фумико?! Когда?

На этот раз Кикудзи был ошеломлен. При первом сообщении он просто удивился и с легкостью это скрыл. Но новый удар не так-то легко скрыть. Его нанесли исподтишка. И Тикако, наверно, сейчас же почувствовала по его тону, что в его голосе зазвучали тревога и сомнение.

— Чудеса, правда? Я сама не могу прийти в себя от изумления. Обе, одна за другой...— В голосе Тикако прозвучало сочувствие.— Брак Фумико, по правде говоря, меня обрадовал — теперь никто не будет мешать Кикудзи-сан, подумала я. А оказывается, и Юкико вышла тоже. Я сама была не своя. Ходила словно оплеванная. А все из-за вашей нерешительности.

Но Кикудзи все еще не мог поверить в замужество Фумико.

— Сначала вам госпожа Оота мешала жениться... Даже своей смертью...— продолжала Тикако.— Но теперь, когда ее дочь вышла замуж, колдовские чары, тяготевшие над этим домом, должны развеяться.— Тикако перевела взгляд на сад.— Теперь вы очистились, все осталось позади... Займитесь хозяйством, приведите в порядок садовые деревья. Даже в темноте видно, как они разрослись. Ветки торчат во все стороны. Душно и мрачно.

После смерти отца, целых четыре года, Кикудзи не занимался садом. Ни разу не пригласил садовника. И деревья действительно буйно разрослись. Под густой листвой было душно-вато даже вечером, словно она продолжала сохранять дневную жару.

— Ваша служанка, наверно, сад и не поливает. А уж такую-то мелочь вы бы могли ей поручить!

— Да отстаньте вы!

Кикудзи внутренне встречал в штыки каждое слово Тикако и в то же время разрешал ей болтать что угодно и сколько угодно. И так бывало всегда.

Говоря неприятные вещи, Тикако преследовала определенную цель — пыталась вызвать его на откровенность, выведать, что творится у него в душе. Кикудзи открыто восставал против этого и втайне боялся проговориться. Тикако все отлично понимала, но делала вид, будто ничего не замечает, и лишь порой давала почувствовать, что видит его насквозь.

Она почти никогда не говорила такого, что было бы для него

полной неожиданностью. Все гадкое, все ядовитое, содержащееся в ее словах, жило в каком-то уголке мозга и у Кикудзи, и он время от времени, думая об этом, испытывал отвращение к себе.

И в этот вечер, сообщив о замужестве Юкико и Фумико, Тикако продолжала наблюдать за Кикудзи. Почему?.. Он не понимал, но все равно был настороже. Если раньше, собираясь женить его на Юкико, Тикако старалась отдалить и очернить Фумико, то теперь-то какой смысл в ее ухищрениях? Ведь обе девушки вышли замуж... И все же она продолжала гоняться за мыслями Кикудзи.

Надо бы поднять, включить свет в комнате и на галерее, подумал Кикудзи. Наплевать, конечно, но все же нелепо разговаривать с Тикако в темноте — не такие уж они близкие люди. Она, правда, во все вмешивается, лезет со своими замечаниями насчет сада... Ну и пусть! Эта ее манера давно ему известна. Но о близости не может быть и речи. Кикудзи было лень пошевелиться — ладно, в темноте так в темноте...

Тикако тоже не двинулась с места, хоть и выразила неудовольствие по поводу темноты, как только вошла. Обычно она с готовностью выполняла всякие мелочи — это было в ее характере и являлось своего рода добровольной обязанностью в доме Кикудзи. Однако теперь она не стремилась ему услужить. Либо возраст уже сказывался, либо загордилась — ее популярность как мастера чайной церемонии все возрастала.

— Ооидзуми просил меня в Киото передать вам — меня-то это совершенно не касается, просто выполняю его просьбу, — просил передать, что если вы задумаете распродавать чайную утварь для церемоний, то он бы с радостью этим занялся, — сказала Тикако очень спокойно. — Впрочем, вам, Кикудзи-сан, теперь, когда вы потеряли Юкико, наверно, не до чайной утвари. А мне грустно... Со смертью вашего отца умерла и чайная церемония в этом доме. А я лишилась любимого дела... Небось павильон так и стоит закрытым, проветривается только тогда, когда я здесь бываю...

А у Тикако, оказывается, дальний прицел, подумал Кикудзи. Не удалось ей женить его на Юкико, не удалось заправлять чайными церемониями в его доме, так она решила хоть чайную утварь у него выманить. С торговцем Тикако, конечно, обо всем договорилась, обо всем условилась заранее.

Впрочем, Кикудзи нисколько не разозлился, а даже почувствовал облегчение.

— Я даже дом подумываю продать, так что вскоре попрошу его помощи.

— Правильно,— кивнула Тикако.— Спокойнее иметь дело с человеком, который уже выполнял поручения вашего отца.

Тикако все рассчитала: он, Кикудзи, ничего не смыслит в чайной утвари, даже толком не знает, что у него есть, а она-то уж разберется.

Кикудзи посмотрел в сторону чайного павильона. Перед павильоном рос огромный олеандр, сейчас он был весь в цвету. Белые цветы едва проступали сквозь мрак смутными светлыми пятнами.

Вечер был такой темный, что нельзя было даже различить, где кончаются вершины деревьев и где начинается небо.

2

В конце рабочего дня, когда Кикудзи уже уходил со службы, его позвали к телефону.

— Это Фумико говорит,— услышал он в трубке тихий голос.

— Алло... Митани слушает...

— Это я, Фумико...

— Да, я понял.

— Простите, что беспокою вас, звоню на работу. Но иначе я бы не успела извиниться перед вами...

— А в чем дело?

— Я сегодня отправила вам письмо и, кажется, забыла наклеить марку.

— Да? Я еще не имел удовольствия его получить...

— На почте я купила десять марок, отправила письмо, а пришла домой, смотрю — у меня все марки целы. Такая рассеянность! Вот и звоню вам, хочу извиниться до того, как вы получите письмо.

— Не стоило беспокоиться из-за такого пустяка,— ответил Кикудзи, а сам подумал: в письме, наверно, сообщается о ее браке.— Письмо о радостном событии?

— Да... Знаете, наверно, потому я была такой рассеянной, что все колебалась, отправлять вам письмо или нет. Я ведь никогда вам не писала... Ну вот... колебалась, колебалась, а марку-то и забыла.

— Простите, откуда вы звоните?

— Из автомата, у Токийского вокзала. Здесь очередь, ждут телефон.

— Из автомата?..— Кикудзи немного удивился, но неожиданно сказал: — Поздравляю вас!

— Благодарю вас... Действительно, меня можно поздравить. Но... как вы узнали?

— Да Куримото мне сообщила.

— Куримото-сан?! Откуда же она узнала? Ужасная женщина!

— Ну, теперь-то уж вам, наверное, не придется встречаться с Куримото...— Он помедлил немного.— Помните, когда мы последний раз говорили по телефону, в трубке был слышен шум дождя?..

— Да, вы говорили... Тогда я переехала к подруге и тоже колебалась, сообщать вам или нет. Как сейчас... Но сейчас все-таки решила сообщить.

— Мне приятнее, когда вы сами обо всем сообщаете. А эту новость я узнал от Куримото и тоже колебался, поздравлять вас или не поздравлять.

— Знаете, очень грустно считаться пропавшей без вести... Ее голос, слабый, угасающий, был очень похож на голос матери.

У Кикудзи вдруг перехватило дыхание.

— Хотя мне, наверно, следовало бы все-таки пропасть...— Фумико замолчала и после короткой паузы добавила: — Сейчас я живу в малюсенькой неудобной комнате. Я нашла ее одновременно с работой.

— Да?..

— Начала работать в самую жару, так устаю...

— Ну конечно, тем более сразу после свадьбы...

— Что, что?.. Вы сказали, после свадьбы?..

— Ну да!.. Еще раз поздравляю вас.

— Как вам не стыдно!.. Что за глупые шутки!

— Но вы же вышли замуж...

— Я?! Замуж?..

— Разве не так?

— Да что вы?! Неужели я могла бы выйти замуж сейчас, в таком состоянии?.. Только недавно умерла мама, и я...

— Да, но...

— Это вам Куримото-сан сказала?

— Да.

— Но почему, зачем?.. Не понимаю... А вы, Митани-сан, поверили?

Казалось, Фумико спрашивает самое себя.

Кикудзи вдруг стало легко и весело.

— Послушайте, Фумико-сан, ну что за разговор по телефону? Давайте встретимся!

— Хорошо!

— Я сейчас приеду на Токийский вокзал, вы, пожалуйста, подождите меня.

— Но...

— Или где-нибудь в другом месте.

— Мне не хочется ждать на улице. Можно я приеду к вам, домой?

— Конечно, но давайте встретимся и поедем вместе.

— Если вместе, мне все равно придется где-нибудь вас ждать.

— Может, зайдете ко мне на работу?

— Нет, лучше я одна поеду.

— Хорошо. Я сейчас же выхожу. Если вы приедете раньше меня, пожалуйста, проходите в дом, располагайтесь.

Фумико сядет в электричку на Токийском вокзале и, конечно, доедет раньше него. Но Кикудзи казалось, что они могут очутиться в одной электричке, и, сойдя на своей остановке, он начал искать ее глазами в толпе.

Фумико все же приехала первой.

Узнав у служанки, что она в саду, Кикудзи прямо из передней, не заходя в комнату, направился в сад.

Девушка сидела на камне в тени олеандра.

После последнего визита Тикако служанка по вечерам, перед приходом Кикудзи, поливала сад. Старая садовая колонка, оказывается, была в исправности.

Камень, на котором сидела Фумико, у подножия еще был влажным.

Белый олеандр и красный олеандр... Пунцовые цветы в густой темной зелени горели, как полуденное солнце, а белые источали прохладу. Мягко колыхавшиеся волны цветов обрамляли фигурку Фумико. Она тоже была белая — в белом платье, отделанном узкой синей каймой по краям отложного воротника и карманов.

Лучи заходящего солнца пробивались сквозь листву за спиной Фумико и падали к ногам Кикудзи.

— Добро пожаловать!

Кикудзи был искренне рад, даже в походке его сквозила радость.

Фумико, должно быть, хотела первой приветствовать его, но не успела и теперь сказала:

— Простите, что побеспокоила вас, позвонила на службу.

Она встала, сжав плечи, словно желая спрятаться. Может быть, ей показалось, что Кикудзи возьмет ее за руку, если она останется сидеть.

— Вы говорили по телефону такие ужасные вещи... Вот я и пришла... чтобы опровергнуть...

— Вы о замужестве? Откровенно говоря, я и сам поразился...

— Чему? — Фумико опустила глаза.

— Чему? И тому и другому. Сначала — что вы вышли замуж, потом — что, оказывается, и не думали выходить... Оба раза я поразился.

— Оба раза?

— Конечно! Как же не поразиться...

Кикудзи зашагал по каменным плитам садовой дорожки.

— Пройдемте в комнаты здесь. — Он сел на галерее, с края. — Отчего же вы без меня не вошли в дом?.. На днях, когда я вечером отдыхал на галерее — только что вернулся из поездки, — заявила Куримото.

Из дальней комнаты послышался голос служанки, она звала Кикудзи. Наверно, хотела спросить про ужин. Кикудзи, уходя с работы, звонил ей и распорядился насчет ужина. Он ушел в дом и вернулся, переодетый в белое полотняное кимоно.

Пока он отсутствовал, Фумико подновила на лице косметику. Подождав, пока Кикудзи усядется, она сказала:

— Что же вам сказала Куримото-сан?

— Да просто сказала: «Фумико-сан вышла замуж...» Но...

— И вы, Митани-сан, поверили?

— А как не поверишь? Разве придет в голову, что это ложь?

— И даже не усомнились? — Глаза Фумико, большие, радужные, быстро влажнели. — Неужели я сейчас могу выйти замуж?! Вы считаете, что я способна на это? Ведь и мама и я так измучились, исстрадались... И страдания эти еще не прошли... и... — Она говорила о матери, словно о живом человеке. — И мама и я... Многие к нам относились хорошо, но не все, мы всегда надеялись, что люди нас поймут. Или это иллюзия? Собственное отражение в зеркале своей души?

Казалось, Фумико вот-вот расплачется.

Немного помолчав, Кикудзи сказал:

— Фумико-сан, помните, я вас спрашивал: считаете ли вы, что я способен сейчас жениться... В тот день, когда ливень был, помните?

— Когда гром гремел?..

— Да. А сегодня вы задаете мне аналогичный вопрос.

— Но это не одно и то же.

— Вы тогда несколько раз повторили, что я женюсь.

— Но это... Между мной и вами, Митани-сан, огромная разница...— Фумико не сводила с Кикудзи наполненных слезами глаз.— Да, да, огромная разница.

— Какая же?

— Во-первых, в общественном положении...

— В общественном положении?..

— Конечно. Но не только в этом... Ладно, не будем говорить об общественном положении. Главное — у нас очень разные судьбы. У меня все так мрачно, трагично...

— Вы намекаете на глубину греха? Если так, то в первую очередь надо говорить обо мне.

— Нет! — Фумико решительно покачала головой, и у нее на глазах выступили слезы. Они медленно скатились по щекам и упали на грудь.— Мама весь грех взяла на себя и умерла. Впрочем, я не считаю, что это был грех. Это было ее горе. Так мне кажется... Ведь грех остается навсегда в человеке, а горе проходит...

Кикудзи опустил глаза.

— Зачем же вы называете свою судьбу мрачной? Ведь этим вы бросаете тень на смерть вашей матери.

— Наверно, я не совсем правильно выразилась — не судьба мрачная, а глубина горя...

— Но глубина горя...

Кикудзи хотел сказать: это все равно, как и в любви, но не сказал.

— Так вот, между нами большая разница... Ведь у вас, Митани-сан, есть девушка на примете,— сказала Фумико.— Насколько я понимаю, Юкико-сан согласна выйти за вас замуж. Куримото-сан, кажется, считала, что мама являлась помехой вашему браку. И меня она считает помехой вашему браку, поэтому и солгала, будто я вышла замуж. Иначе не объяснишь.

— Но она сказала, что Инамура-сан тоже вышла замуж.

На лице Фумико отобразилось крайнее удивление. Но только на один миг.

— Не может быть... Не верю... Нет, нет, это ложь, безуслов-

но, ложь! — Она резко покачала головой. — Когда же это случилось?

— Свадьба Инамуры-сан?.. Наверно, совсем недавно.

— И это ложь!

— Она сказала, что и Юкико и вы — обе вышли замуж, оттого я и поверил в ваше замужество, — сказал Кикудзи. — Но насчет Юкико, может, Куримото сказала правду.

— Да нет же! Лжет она!.. Да и кто же устраивает свадьбу в такую жару! Полный свадебный наряд надеть невозможно — вся будешь мокрая...

— Что же, по-вашему, летом свадеб вообще не бывает?

— Да, почти не бывает... Разве в исключительных случаях. Ведь брачную церемонию можно отложить до осени...

Влажные глаза Фумико почему-то увлажнились еще больше, слезы падали ей на колени, и она пристально смотрела на мокрые пятна.

— Но зачем, зачем Куримото-сан солгала?..

— И как ловко меня обманула, — сказал Кикудзи.

Но почему эта ложь вызывает у Фумико слезы?

Пока что ясно только одно — Тикако насчет Фумико соврала.

Но, может быть, Юкико действительно вышла замуж, и Куримото, обозленная своим неудачным сватовством, решила во что бы то ни стало отдалить Фумико от Кикудзи, потому и наврала про нее.

Впрочем, такое объяснение не совсем удовлетворяло Кикудзи. Ему начало казаться, что замужество Юкико тоже неправда.

— Как бы то ни было, — сказал он, — пока мы не удостоверимся, правду или нет сказала Куримото относительно Юкико-сан, ее шутку ни понять, ни объяснить нельзя.

— Шутку?..

— Давайте считать, что это была шутка.

— Но если бы я сегодня вам не позвонила, вы считали бы, что я замужем. Странная шутка...

Служанка опять позвала Кикудзи.

Кикудзи вернулся, держа в руках конверт.

— А вот и ваше письмо, Фумико-сан! То самое, без марки...

Улыбаясь, Кикудзи собрался было вскрыть письмо.

— Нет, нет, не читайте!

— Почему?

— Не хочу. Верните, пожалуйста! — Фумико, не вставая, подо двинулась к Кикудзи и потянулась за письмом. — Отдайте!

Кикудзи быстро спрятал конверт за спину.

Пытаясь схватить письмо правой рукой, Фумико левой инстинктивно оперлась о колени Кикудзи. Руки словно бы тянули тело в разные стороны, и равновесие нарушилось. Но как только оно нарушилось, руки начали действовать согласованно: правая все еще тянулась за письмом, а левая удерживала тело от падения. И все-таки казалось, что Фумико вот-вот упадет. Ее голова почти касалась груди Кикудзи, тело ее грациозно изогнулось. Но девушка не упала, удержалась, и необыкновенно легко, ловко. Ее левая рука, упиравшаяся в колени Кикудзи, совсем уже не упиралась, она просто лежала.

Какая ловкость! Какая грация! Кикудзи ожидал, что сейчас он почувствует всю тяжесть ее тела, а она даже не коснулась его. И все-таки Кикудзи затрепетал — с такой силой почувствовал он женщину, госпожу Оота.

Как это Фумико удержалась?.. Когда она ослабила упор?.. Это была невероятная ловкость, тайное проявление женской предосторожности...

Кикудзи думал, что вот-вот он почувствует тяжесть ее тела, но ощутил лишь тепло и аромат женщины.

Дурманящий аромат. В нем было все, в этом аромате, — и длинный день, и летний зной, и сама жизнь. Так пахли ласки госпожи Оота...

— Ну отдайте! Пожалуйста...

Кикудзи больше не противился, отдал.

— Я его порву.

Отвернувшись, Фумико разорвала письмо на мелкие кусочки. Ее шея, ее обнаженные руки были влажны.

Когда Фумико чуть не упала, все-таки удержалась, она сначала резко побледнела, потом стала красной. Очевидно, ей сделалось жарко.

3

Стандартный ужин, взятый из ближайшего ресторана, был безвкусным.

У прибора Кикудзи стояла цилиндрическая чашка. Ее, как всегда, поставила служанка.

Кикудзи вдруг все свое внимание сосредоточил на чашке. Фумико тоже обратила на нее внимание.

— Оказывается, вы пьете из этой чашки?

— Да.

— Как нехорошо получилось... — сказала Фумико. Однако в ее голосе было меньше смущения, чем испытывал сейчас Кикидзи. — Подарила ее вам, а потом раскаивалась. В письме я написала об этом.

— О чем?

— Ну, о чашке... Просила извинения за такой ничтожный подарок.

— Ничтожный? Что вы! Прекрасная чашка!

— Нет, сино не очень хороший. Иначе мама не пользовалась бы этой чашкой каждый день.

— Я, правда, не очень разбираюсь, но мне кажется, она хороша. — Кикидзи взял чашку и повертел в руках.

— Но есть сколько угодно сино гораздо лучше этого. Будете пить из нее, вспомните вдруг о других чашках и подумаете, что ваша хуже...

— У меня нет в доме второго сино.

— Пусть у вас нет, но вы можете где-нибудь увидеть. И подумаете, что те, другие, лучше. Мне и маме будет очень, очень горько.

У Кикидзи сдавило горло, но он сказал:

— Да полно вам, где я увижу другие чашки? Я же не хожу на чайные церемонии. Совсем махнул рукой на них.

— Мало ли что, можете случайно увидеть. Да и раньше небось видели сино получше.

— Ну, знаете, тогда получается, что дарить можно только самые лучшие вещи.

— Совершенно верно! — Фумико подняла голову и посмотрела Кикидзи прямо в глаза. — Я думаю именно так. В письме я просила вас разбить чашку и осколки выбросить...

— Разбить? Такую чашку?.. Такое старинное изделие... Чашке, наверно, лет триста, а то все четыреста. Кто знает, может быть, некогда ей пользовались по-иному, даже не думали пить из нее чай. Шли годы, люди хранили ее, бережно передавали из рук в руки. Она переходила от поколения к поколению. И кто-нибудь брал ее с собой в дальний путь, и она путешествовала в удобном футляре... Нет, я не стану разбивать чашку из-за нашего каприза!

Но ведь у края сохранился след от губ госпожи Оота...

Фумико говорила, что, по словам матери, губная помада впитывается в керамику и не отстает, мой хоть сто раз. И действительно, Кикидзи много раз тер и мыл это место на чашке, а темный след не сходил. Правда, цвет в этом месте был бледно-

коричневый, а не красный, но все-таки с чуть заметным красноватым оттенком. При желании его вполне можно было принять за выцветшую губную помаду. Однако само сино тоже могло иметь легчайший красноватый оттенок. И потом совсем не обязательно, что след остался от губ госпожи Оота, ведь до нее из чашки пили многие. Может быть, этот след оставили прежние владельцы? Ведь обычно, когда пьют из чашки чай, губы касаются одного определенного места. И все же госпожа Оота, наверно, чаще подносила эту чашку к губам, чем другие владельцы, — ведь она пила из нее каждый день...

Самой ли госпоже Оота пришлось в голову пить из этой чашки каждый день, сделав ее повседневной, или отец ей это подсказал, подумал вдруг Кикудзи.

А кроме того, ведь его отец и мать Фумико часто держали в руках две другие чашки, цилиндрические, работы Рёню, красную и черную. Парные чашки. Чашки-супруги. Его отец и мать Фумико пили чай из них тоже запросто...

Быть может, иногда отец просил госпожу Оота поставить в кувшин сино розы или гвоздики. Или подавал ей чашку и любовался прекрасной женщиной со старинной чашкой в руках...

После смерти обоих и кувшин и чашка оказались у Кикудзи. А сейчас у него Фумико — дочь госпожи Оота.

— Это не каприз. Я говорю совершенно серьезно: чашку надо разбить, — сказала Фумико. — Когда я подарила вам кувшин, вы обрадовались, и я подумала — у меня есть еще одна вещь сино, ее я тоже подарю вам. Мне хотелось, чтобы вы пили из нее чай каждый день... А теперь мне стыдно за такой ничтожный подарок.

— Не надо так говорить! Это отличный сино. И уж если что стыдно и даже грешно, так пользоваться такой чашкой каждый день!

— И все-таки плохая чашка! Есть сколько угодно других, значительно лучше. Мне невыносимо думать, что вы будете держать в руках этот сино и начнете еще сравнивать...

— По-вашему, дарить можно только самое лучшее?

— Смотря кому и при каких обстоятельствах...

Слова Фумико проникли в самое сердце Кикудзи.

Значит, она считает, что вещь, полученная им в память о госпоже Оота, должна быть шедевром?.. Так будет лучше и для него самого, для Кикудзи. Вспоминая госпожу Оота и Фумико, он должен касаться губами или пальцами прекрасного...

Наверно, это ее самое заветное желание. И доказательством тому — кувшин сино.

Холодный и в то же время полный внутреннего жара блеск сино напоминал Кикудзи тело госпожи Оота. И не было в этом напоминании ни капельки дурного, ни капельки горечи, ни капельки стыда, ибо прекрасное выше всего этого. А госпожа Оота была совершенным произведением природы. Природа хотела создать женщину и создала госпожу Оота. А шедевр нельзя судить — у него нет пороков... Вот о чем думал Кикудзи каждый раз, когда смотрел на кувшин сино.

А еще, глядя на него, он вспоминал Фумико. И сказал ей об этом по телефону в тот день, когда шел дождь. Осмелился сказать по телефону. И тогда Фумико вспомнила еще об одном изделии сино и принесла Кикудзи чашку.

Но, наверно, она все-таки права: чашка уступает кувшину.

— У отца, кажется, была дорожная шкатулка, — сказал Кикудзи. — Наверняка в ней есть и чашка — гораздо хуже этого сино.

— А какая она?

— Кто ее знает, я не видел.

— Мне бы очень хотелось посмотреть. Я уверена, что чашка вашего отца лучше этой. Если так и окажется, я эту разобью, хорошо?

— Вам опасно показывать...

Ловко очищая от семечек поданный на десерт арбуз, Фумико снова потребовала показать ей чашку.

Кикудзи велел служанке открыть чайный павильон, он решил поискать шкатулку там. Он вышел в сад. Фумико пошла за ним.

— Я не знаю, где эта шкатулка. Вот Куримото сразу бы сказала. Она тут все знает.

Кикудзи обернулся. На Фумико падала тень белого олеандра. Ее ноги, в чулках и садовых гета, касались корней дерева. Чайная шкатулка нашлась в мидзюя, на боковой полке.

Кикудзи принес ее в павильон и поставил перед Фумико. Девушка, чинно выпрямившись, ждала, чтобы он снял обертку. Потом сама протянула руку.

— Разрешите?

— Пожалуйста, только все пропылилось очень.

Кикудзи вышел в сад и стряхнул с обертки пыль.

— Знаете, на полке в мидзюя лежала мертвая цикада, ее уж черви есть начали...

— А здесь, в павильоне, чисто.

— Это Куримото убрала. Недавно. В тот самый день, когда сообщила мне о вашем замужестве и о замужестве Юкико. Убрала она вечером, темно уже было, вот, наверно, и не заметила цакаду.

Фумико открыла пакатулку и вынула сверток, очевидно с чашкой. Склонилась и стала распутывать узел на шелковом шнурке. Ее пальцы едва заметно дрожали.

Округлые плечи Фумико опустились, и Кикудзи, видевший ее в профиль, вновь обратил внимание на изящную высокую шею девушки.

Губы Фумико были решительно сжаты, но нижняя все же чуточку выдавалась вперед. И эта губа, и полная мочка уха казались удивительно милыми.

— Карацу¹, — сказала Фумико, взглянув на Кикудзи.

Он подсел поближе.

Фумико поставила чашку на татами.

Маленькая чашка карацу, тоже цилиндрическая, очевидно, для повседневного пользования, а не для чайной церемонии.

— Какие строгие линии! Несравненно лучше, чем тот сино.

— Ну как можно сравнивать карацу и сино? Это же совсем разная керамика.

— А почему нельзя? Достаточно поставить обе чашки рядом — и все сразу становится ясно.

Кикудзи, тоже привлеченный строгой формой и чистотой карацу, взял чашку в руки.

— Принести сино? — спросил он.

— Я сама принесу. — Фумико поднялась и вышла.

Когда обе чашки были поставлены рядом, Фумико и Кикудзи одновременно взглянули друг на друга.

Потом оба, как бы сговорившись, опустили взгляд на чашки.

Кикудзи, чуточку растерявшись, сказал:

— Это же мужская и женская чашки. Сразу видно, когда они рядом.

Фумико кивнула. Казалось, она была не в состоянии говорить. Кикудзи и сам смутился. Собственные слова прозвучали для него странно.

Чашка карацу была гладкой, без рисунка. Сквозь синеву с легким абрикосовым налетом проступали багровые блики. Твердые мужественные линии.

¹ Один из видов керамики.

— Наверно, это любимая дорожная чашка вашего отца. Она в его вкусе...

Фумико, кажется, не замечала опасности, кроющейся в ее словах.

Кикудзи не отважился сказать, что чашка сино напоминает ему госпожу Оота. Но все равно сейчас эти чашки были рядом — словно сердца матери Фумико и отца Кикудзи.

Старинные чашки. Их изготовили лет триста, четыреста назад. В строгих линиях ничего вычурного. Впрочем, была в этой строгости своего рода чувственность. И сила...

Две чашки рядом. Две прекрасные души. Кикудзи видел своего отца и мать Фумико.

Чашки... Реальные вещи. Реальные и непорочно прекрасные. Они стоят вдвоем между ним и Фумико. А он и Фумико вдвоем смотрят на чашки. И в них, живых, тоже нет ничего порочного. Все чисто. Им дозволено сидеть вот так — рядом...

Неужели от этих строгих линий и блестящих поверхностей чашек у Кикудзи внезапно ушло куда-то чувство вины? Ведь Кикудзи сказал Фумико тогда, сразу же после поминальной недели: «...А я вот сижу здесь, с вами... Может быть, я делаю что-то очень, очень дурное?..»

— Какая красота...— словно про себя произнес Кикудзи.— Кто знает, может быть, отец часто возился с этими чашками, рассматривал их, хоть это и было странное занятие для такого человека, как отец. И чувство вины в нем засыпало, все грехи отлетали...

— Грехи?.. О боже!..

— Правда... Смотришь на эту чашку и думаешь — у ее владельца не могло быть никаких грехов, ничего дурного не могло быть... А жизнь отца в несколько раз короче, чем жизнь этой чашки...

— Смерть и у нас за плечами. Страшно...— прошептала Фумико.— Я все время стараюсь не думать о ней... о маме... Нельзя думать о смерти, когда она у тебя за плечами.

— Да... вы правы... Нельзя без конца вспоминать умерших. Тогда начинает казаться, что ты тоже мертва.

Служанка принесла чайник. Наверно, решила, что им нужен кипятилок для чайной церемонии — Кикудзи и Фумико уже долго сидели в павильоне.

— Может быть, воспользуемся этими чашками и устроим маленькую чайную церемонию? Словно мы с вами в дороге...— предложил Кикудзи.

Фумико с готовностью кивнула.

— Вы хотите, чтобы мамино сино послужило в последний раз? Перед тем как мы его разобьем...— сказала Фумико, вытащила из чайной шкатулки бамбуковую щеточку и вышла, чтобы ее вымыть.

Летнее солнце еще не зашло...

— Словно в дороге...— проговорила Фумико, помешивая маленькой щеточкой в маленькой чашке.

— В дороге... В гостинице, да?

— Почему в гостинице... Может быть, на берегу реки или в горах. Эх, надо было взять не кипяток, а холодную воду, будь то из горной речки...

Вынимая щеточку, Фумико подняла свои черные глаза на Кикудзи, но тотчас же опустила их. Перевела взгляд на чашку. Протянула ее на ладони Кикудзи. И чашка и взгляд Фумико застыли где-то у его колен. У Кикудзи было такое чувство, будто Фумико прибывает к нему волной...

Потом она поставила перед собой сино матери, начала размешивать чай. Бамбуковая щеточка застучала о чашку. Фумико остановила руку.

— Как трудно!

— Да, чашка очень маленькая, трудно в ней размешивать,— сказал Кикудзи.

Но дело было не в чашке, просто у Фумико дрожали руки, и сейчас она уже была не в силах вновь взяться за щеточку.

Фумико низко опустила голову. Теперь она, кажется, смотрела на свои пальцы.

— Мама не позволяет приготовить...

— Что, что?..

Кикудзи выпрямился, встал, взял Фумико за плечи, словно помогая подняться ей, колдовством пригвожденной к месту.

Она не сопротивлялась...

4

Кикудзи не мог уснуть в эту ночь. Лишь только первые лучи света начали пробиваться сквозь щели в ставнях галереи, он встал и пошел в чайный павильон.

В саду, на каменной плите перед каменным умывальным тазом, валялись осколки сина. Со вчерашнего вечера.

Кикудзи соединил четыре больших осколка, получилась чашка. Но одного краешка не хватало.

Он пошарил среди камней, надеясь найти недостающий кусочек, но бросил, не стал искать.

Поднял глаза. На востоке, меж черных ветвей, сияла одинокая большая звезда.

Сколько лет не видел утреннюю звезду, не смотрел на расцветное небо, подумал Кикудзи.

Вверху плыли облака. Звезда сияла среди облаков и от этого казалась еще больше. Звезду окружал тусклый мерцающий ореол.

Жалкое занятие — собирать черепки, когда над головой сияет такая живая, такая свежая звезда!

Кикудзи бросил осколки на землю.

Вечером Фумико швырнула чашку на каменный умывальный таз, и чашка разбилась. Кикудзи не успел остановить девушку.

Она выскочила из чайного павильона, выскочила так, словно хотела исчезнуть, и Кикудзи не догадался, не заметил, как она взяла чашку.

— О-о! — только и успел он вскрикнуть.

В тот момент в сумерках он не стал искать осколки среди камней. Он бросился к Фумико, схватил ее за плечи — только бы не упала!

Она присела у каменного таза и стала склоняться все ниже и ниже, словно сама была разбита.

— Ведь есть сино лучше... — пробормотала она.

Должно быть, горько ей было, что Кикудзи может сравнить чашку с другими, лучшими...

А ночью Кикудзи не мог уснуть.

Слова Фумико, такие чистые и такие горькие, все глубже западали в его душу.

Дождавшись рассвета, Кикудзи вышел в сад взглянуть на разбитую чашку. А потом увидел звезду и не стал собирать черепки...

Кикудзи снова поднял глаза и вскрикнул.

Звезды уже не было. В одно мгновение — пока он смотрел на осколки — она скрылась за облаками.

А он все смотрел и смотрел на восток. Искал звезду, как что-то очень дорогое.

Облака ведь не густые, почему же ее не видно? Облака обрывались у нижнего края неба, там, где над крышами домов светилась узкая бледно-розовая полоска.

— Не оставлять же их в саду... — пробормотал Кикудзи. Он

вновь собрал осколки и положил их за пазуху ночного кимоно.

Слишком горько это — оставить разбитую чашку среди камней. Да и Тикако может увидеть, когда придет.

Сначала он подумал было закопать осколки в саду, около умывального таза. Предать их земле, ведь Фумико с такой отчаянной решимостью разбила чашку. Но он не стал этого делать. Завернул осколки в бумагу, спрятал в стенной шкаф.

И снова лег в постель.

Почему Фумико боялась сравнения? С чем и когда мог бы он сравнить это сино? Кикудзи недоумевал. Почему, почему она так подумала?..

Он не хотел никаких сравнений. Со вчерашнего вечера Фумико стала для него ни с чем и ни с кем не сравнимой. Она стала для него всем. Частью его самого.

До последнего времени он постоянно помнил, что Фумико — дочь госпожи Оота. Теперь он забыл об этом.

Раньше его чаровало сходство дочери с матерью. В ней ему всегда виделась госпожа Оота. Но теперь Фумико была только Фумико.

Кикудзи вдруг вышел из гнетущего мрака, который так долго его окутывал.

Может быть, спасение крылось в незапятнанной чистоте Фумико?..

Фумико не сопротивлялась, сопротивлялась лишь ее чистота.

Над Кикудзи раньше словно бы тяготело проклятие, сковывавшее его, державшее в тисках. Казалось, теперь проклятие, еще более страшное, должно столкнуть его на самое дно бездны, а он вдруг освободился от всякого гнета. Это было словно чудо: принимаешь максимальную дозу яда и ждешь смерти, а вместо этого наступает полное исцеление.

Придя на работу, Кикудзи позвонил в магазин, где работала Фумико. Она говорила, что устроилась в магазин оптовой торговли шерстяными тканями в районе Канда.

Фумико на месте не было, она еще не приходила. Сам Кикудзи пошел на работу после бессонной ночи. Он подумал, наверно, она тоже не спала всю ночь и под утро погрузилась в глубокий сон. Или, может быть, чувство стыда удержало ее дома и она решила сегодняшний день провести взаперти.

Кикудзи позвонил еще раз, после обеда, но Фумико не было, и он спросил у приказчика ее адрес.

Во вчерашнем ее письме, наверно, был адрес, но Фумико разорвала письмо вместе с конвертом и положила в карман. Во время ужина разговор зашел о ее новой работе, и Кикудзи запомнил название оптового магазина. Но адреса он тогда так и не спросил. Зачем ему адрес, если она сама навсегда поселилась в его сердце?..

После работы Кикудзи не сразу пошел домой. Сначала он отыскал дом за парком Уэно, где Фумико снимала комнату.

Дома Фумико тоже не было.

В переднюю вышла девочка лет двенадцати-тринадцати, в матроске, должно быть, не успела еще переодеться после школы. Выслушала Кикудзи, вернулась в комнаты, потом снова пришла и сказала:

— Ота-сан нет дома, она ушла утром, сказала, что отправляется в поездку с подругой.

— В поездку?..— переспросил Кикудзи.— Уехала? Утром? А когда, в котором часу? Она сказала, куда едет?

Девочка опять исчезла и опять появилась. Встала чуть подалее от Кикудзи, словно побаивалась его.

— Не могу вам точно сказать. Моей мамы сейчас тоже нет дома.

У девочки были смешные реденькие брови.

Выйдя за ворота, Кикудзи обернулся, посмотрел на дом, но не мог определить, где комната Фумико. Дом был двухэтажный, приличный, с узенькой полоской сада.

Кикудзи вдруг сковало ледяным холодом, он вспомнил слова Фумико — смерть у нас за плечами...

Вытащив носовой платок, Кикудзи вытер внезапно вспотевшее лицо. Лицо стало вдруг очень бледным, словно платок стер с него все краски. Он вытирал и вытирал, платок наконец потемнел, испачкался. Теперь холодным потом покрылась спина.

— Не может она умереть! — сказал вслух Кикудзи.

Ведь Фумико воскресила его, вернула к жизни, какое же право имеет она умереть...

Но вчерашняя ее откровенность, ее прямота... Не было ли это откровенностью смерти?..

Или она, так же как мать, устрашилась собственной прямоты, прямоты греха?..

— И они оставили жить одну Куримото...— опять вслух сказал Кикудзи. Сказал в лицо незримому врагу, исторгнув весь накопившийся в душе яд. И ушел. В тень деревьев парка Уэно.

КУЛИКИ НА ВОЛНАХ

1

Машина, встретившая их на вокзале, обогнула гору Идзу, спустилась к морю и, описав круг, въехала в гостиничный двор. В ветровое стекло ударил сноп света, подъезд стремительно придвинулся и остановился.

Портье, ожидавший во дворе, распахнул дверцу машины и спросил:

— Митани-сан, если не ошибаюсь?

— Да, — негромко ответила Юкико.

Она сидела как раз у той дверцы, которую распахнул портье. Ей, только сегодня сочетавшейся браком с Кикудзи, наверно, было странно отзываться на фамилию Митани.

Чуть поколебавшись, она первой вышла из машины и, обернувшись, в нерешительности остановилась, словно ожидая Кикудзи.

Когда в передней Кикудзи уже собирался снять туфли, портье сказал:

— Для вас отвели «Чайный павильон», как распорядилась по телефону Куримото-сенсей.

— Да?..

Кикудзи вдруг сел на пол, прямо в передней. Горничная бросилась к нему с дзабутоном.

Перед глазами Кикудзи снова всплыло отвратительное родимое пятно, закрывавшее у Куримото половину левой груди, этот след дьявольской руки на ее теле. Казалось, стоит Кикудзи поднять глаза от тувель, которые он снимал, и перед ним возникнет эта черная рука.

Кикудзи не видел Тикако с прошлого года, с того дня, как он продал дом и всю чайную утварь. Отношения с этой женщиной прервались сами собой, во всяком случае так ему казалось. Неужели Тикако все-таки сыграла какую-то роль в его женитьбе на Юкико? Очевидно, да, если знала об их свадебном путешествии и даже о номере в гостинице позаботилась. Для Кикудзи это было полной неожиданностью.

Он бросил взгляд на жену, но Юкико, кажется, не обратила внимания на слова портье.

Их повели по длинному, похожему на туннель, постепенно спускавшемуся к морю коридору. Они шли уже долго, а коридор все не кончался. Время от времени попадались боковые проходы — несколько ступенек в сторону, — ведущие в номера. Номер, называвшийся «Чайный павильон», оказался в самом конце коридора.

Они вошли в комнату, довольно просторную, около восьми татами. Кикудзи разделся. Юкико тут же взяла у него пальто.

Он быстро обернулся к ней. Юкико, как видно, уже вступила в роль жены.

У стола лежало квадратное татами, прикрывавшее очаг.

— Главное помещение для чайной церемонии рядом, — сказал портье, внося в комнату чемоданы. — Я повесил котелок над очагом... Котелок, правда, не ахти какой, но...

— Как, — вновь удивился Кикудзи, — соседняя комната тоже оборудована под чайный павильон?

— Да, в вашем номере четыре комнаты, считая и эту, самую большую, и все они оборудованы для чайных церемоний. Ведь мы скопировали планировку номеров «Санкэй-эн», в Иокогаме.

— Да? — сказал Кикудзи, хоть ничего не понял.

— Оку-сан, — портье поклонился Юкико, — в соседней комнате все приготовлено, так что, как только вы пожелаете...

— Хорошо, — ответила Юкико, складывая свое пальто, — попозже я туда загляну... Какое море красивое! — Она поднялась и посмотрела на море. — На пароходах огоньки...

— Это американские военные корабли.

— Как? В Атами американские военные корабли? — Кикудзи тоже поднялся. — Какие-то они уж очень маленькие...

— Но их много, пять, кажется...

Над палубами кораблей, примерно посередине, горели красные огоньки.

А городских огней отсюда не было видно, их заслонял небольшой мыс. Лишь район бухты Насикэ-ура лежал как на ладони.

Вошла горничная, принесла простой чай. Потом оба, и горничная и портье, откланялись, что-то пожелав молодоженам.

Полюбовавшись ночным морем, Кикудзи и Юкико уселись у жаровни.

Юкико раскрыла свою сумку и вынула оттуда помятую розу.

— Бедный цветок... Как жаль...

Эта роза одна-единственная осталась от букета. На Токийском вокзале Юкико передала букет кому-то из провожающих, ей было как-то неловко садиться в поезд с большим букетом.

Она положила цветок на стол и увидела мешочек для ценных вещей, его надо было сдать на хранение.

— Что ты в него положила?

— Сюда полагается класть ценные вещи...

Кикудзи взял розу. Юкико, взглянув на него, спросила:

— Розу?

— Нет... Моя драгоценность слишком велика для этого мешочка. Да и вообще я не могу отдавать ее на хранение...

— Почему?.. — сказала Юкико и тут же поняла, на что он намекает. — Впрочем, я тоже не могу отдавать на хранение мою драгоценность.

— А где твоя?

Юкико, видно, постеснялась показать на него, она опустила глаза и только сказала:

— Здесь...

Из соседней комнаты послышалось бульканье кипевшей в котелке воды.

— Осмотрим чайный павильон?

Юкико кивнула.

— Вообще-то у меня особого желания его осматривать нет, — добавил Кикудзи.

— Ну, как же... Ведь специально для нас приготовили.

Они прошли через коридорчик, ведущий в чайный павильон. Юкико по всем правилам осмотрела токонома. Кукудзи не вошел внутрь, остался стоять на татами, у входа. Он ядовито сказал:

— Вы говорите, специально для нас приготовили. А не кажется ли вам, что и здесь Куримото распорядилась?

Юкико ничего не ответила, только взглянула на мужа. Потом подсела к очагу, словно собираясь готовить чай, но сидела неподвижно, ожидая, очевидно, что еще скажет Кикудзи.

Он тоже сел у очага.

— Мне бы не хотелось начинать этот разговор, но так уж получается... Я содрогнулся, когда в вестибюле услышал ее имя. Эта женщина преследует меня, словно злой рок. Все, все с ней связано, и моя вина и мое раскаяние...

Юкико едва заметно кивнула.

— Куримото до сих пор вхожа в ваш дом? — спросил Кикудзи.

— Она долго не приходила. После того, как прошлым летом отец на нее рассердился.

— Прошлым летом? Ведь тогда Куримото как раз и сказала мне, что вы, Юкико-сан, вышли замуж.

— Боже! — воскликнула Юкико и широко раскрыла глаза, словно о чем-то догадавшись. — Наверно, это произошло в одно и то же время. Госпожа Куримото пришла к нам и сделала предложение — не от вас, а от другого человека... Вот тогда-то отец и разгневался. Он сказал, что одна и та же сваха не имеет права делать предложение его дочери от разных лиц. Сказал, что это похоже на издевательство — мол, в одном месте не выгорело, так она пытается в другом. Я была очень благодарна отцу, он как бы помог мне выйти за вас замуж.

Кикудзи молчал.

— А госпожа Куримото не осталась в долгу, — продолжала Юкико. — Она сказала: «Митани-сан околдован» — и рассказала про госпожу Оота. Мне стало так гадко! Я вся задрожала и никак не могла унять дрожь. Не знаю уж и почему, противно, что ли, было. Но, наверно, я все еще мечтала выйти за вас, потому и дрожала. Отец понял мое состояние, понял, увидев, какое у меня лицо — очень несчастное. И он здорово отчитал госпожу Куримото. Он сказал: «Приятен либо холодный, либо горячий напиток, а в тепленьком нет никакого вкуса. Моя дочь виделась с Митани-саном, вы же сами их познакомили, так что у нее, должно быть, существует собственное мнение на его счет,

и она сама разберется, что к чему». И Куримото пришлось ретироваться...

Послышался шум падающей в бассейн воды — по-видимому, пришел банщик.

— Тогда мне было очень горько, но потом я сама приняла решение. Куримото тут абсолютно ни при чем. Так что не волнуйтесь, пожалуйста. А чайная церемония... что ж, здесь я могу исполнить ее совершенно спокойно.

Юкико подняла глаза. В них отражался электрический свет. Все ее лицо, порозовевшее от волнения, сияло, губы, казалось, тоже светятся. Кикудзи почувствовал к ней благодарность, к такой близкой, чистой и светлой. У него появилось ощущение, словно от этого ослепительного света разлилось тепло по всему телу.

— Да, это было в прошлом году... По-моему, в мае. Помните, когда вы посетили мой чайный павильон, на вас было оби с ирисами. И тогда я подумал: «Эта девушка абсолютно недосыгаема для меня...»

— А все потому, что тогда вы очень страдали и в то же время важничали...— Юкико улыбнулась.— Вы запомнили оби с ирисами? Я его упаковала среди прочих вещей, и сейчас оно, наверно, уже здесь.

Юкико сказала «страдали». Рассказывая о себе, она тоже употребила это слово. А что было с Кикудзи, когда Юкико страдала? Он иступленно искал неизвестно куда исчезнувшую Фумико. А потом, когда от нее вдруг пришло письмо — совершенно неожиданно, из городка Такэда на Кюсю, — он кинулся в Такэда, снова искал ее и опять не нашел. С тех пор прошло около полутора лет, а он так до сих пор и не знает, где Фумико.

Очевидно, письмо, в котором Фумико страстно молила Кикудзи забыть и ее мать и ее и жениться на Юкико Инамура, было прощанием. И тогда они — Юкико и Фумико — словно бы поменялись местами: «недосыгаемой» стала Фумико.

Сейчас Кикудзи подумал, что нельзя думать о каком-нибудь человеке как об «абсолютно недосыгаемом», такого не бывает на свете. А если не бывает, так и нечего бросаться этими словами.

2

Вернувшись в большую комнату, они увидели на столе альбом. Кикудзи раскрыл его.

— А-а, фотографии этого павильона, а я уж испугался, думал, здесь фотокарточки всех новобрачных, остановившихся в этих номерах.

Он придвинул альбом к Юкико.

В самом начале был вклеен листок с описанием истории павильона. Чайный павильон «Келья Кангэцу», принадлежавший некогда Кавамура Усо, эдоскому самураю, был целиком перевезен в Иокогаму, в парк «Санкэй-эн», где во время войны сильно пострадал от прямого попадания бомбы. Крыша рухнула, стены треснули и осели, полы провалились, в общем, остались одни развалины. Разрушенное здание ветшало с каждым годом, но в конце концов его целиком перевезли в сад этой гостиницы. При восстановлении в точности сохранили прежнюю планировку и использовали тот же самый строительный материал. Новшеством была только купальня — ведь гостиница находилась на горячих источниках. На некоторых столбах виднелись следы топора. Очевидно, в конце войны, когда ощущалась острая нехватка топлива, жители Иокогамы пытались использовать деревянные части разрушенного здания на дрова.

— Написано, будто бы в этой келье бывал Ооиси Кураносукэ¹... — сказала Юкико, листая альбом.

Все правильно, ведь Кавамура Усо был своим человеком в клане Акао. От Кавамуры Усо сохранилась еще одна достопримечательность — «Кавамура-соба», то есть пиала для гречневой лапши, названная владельцем «Дзангэцу». На пиале бледно-синяя глазурь в одном месте переходила в бледно-желтую. Создавалось впечатление лунного пейзажа на грани ночи и рассвета. Поэтому пиала и получила название «Дзангэцу» — «Луна в предрассветном небе».

В альбоме было несколько снимков павильона в парке «Санкэй-эн» до бомбежки и после бомбежки, затем следовали фотографии подготовительных и восстановительных работ и, наконец, снимок торжественной чайной церемонии по случаю открытия павильона.

Если «Келью Кангэцу» посещал Ооиси Кураносукэ, значит, она была построена не позже, чем в период Гэнроку.

— Деревянный столб, поддерживающий токонома в соседней комнате, кажется, очень древний, сохранился с тех времен...

Альбом появился в большой комнате, когда Юкико и Кикуд-

¹ Ооиси Кураносукэ (или Йосио) — управитель клана Акао в период Гэнроку (1688—1704).

зи сидели в маленькой. Должно быть, его принесла горничная, закрывавшая ставни.

— Вы не переоденетесь? — спросила Юкико, еще раз про-
сматривая альбом.

— А вы?

— Я же в кимоно. Пока вы будете купаться, я распакую
вещи, достану подарки, печенье, конфеты.

В купальне пахло свежим деревом. Бассейн, мойка, стены
и потолок — все было обшито досками, мягко поблескивавшими
естественной желтизной и сохранившими рисунок древесины.

Издали донеслись голоса горничных, спускавшихся по длин-
ному коридору.

Когда Кикудзи вернулся в комнату, Юкико там не было.

Стол сейчас стоял у стены, постель была приготовлена.
Должно быть, Юкико вышла в соседнюю комнату, пока горнич-
ная все устраивала. Оттуда донесся ее голос:

— Интересно, можно на ночь оставить огонь в очаге?

— Думаю, можно, — ответил Кикудзи.

Юкико тотчас вошла, глядя прямо на него, словно ни на
что другое она смотреть не могла.

— Удобное?

— Кимоно?.. — Кикудзи оглядел на себе стеганое гостинич-
ное кимоно. — Искупайтесь, очень приятная вода.

— Хорошо...

Юкико вышла в соседнюю комнату, открыла чемодан и
стала доставать какие-то вещи. Потом, раздвинув сёдзи, появи-
лась снова и, положив позади себя несессер, села и склонилась
в поклоне, чуть касаясь пальцами татами. Ее щеки залились
краской. Она встала, сняла кольца, положила их на трюмо и
ушла.

Поклон был столь неожиданным, что Кикудзи сначала чуть
не вскрикнул от удивления, а потом умилился до слез.

Он встал и начал разглядывать кольца Юкико. Не прикос-
нувшись к обручальному, взял другое — с мексиканским опалом.
Он снова сел у хибати. Кольцо на его ладони вспыхнуло от
яркого света и заиграло красноватыми, желтоватыми и зеле-
ными огоньками. Мерцающие крохотные точки казались радо-
стными, излучающими свет живыми существами. Кикудзи смот-
рел как зачарованный.

Вернувшись из купальни, Юкико снова прошла в маленькую
комнату, справа от главной. По левую сторону находились еще
две комнаты — в три и четыре татами, тоже оборудованные для

чайной церемонии. В комнате справа горничная сложила их чемоданы.

Юкико, очевидно, занялась вещами.

Через некоторое время она сказала:

— Разрешите, я раздвину сёдзи, а то страшно как-то...

Она раздвинула сёдзи между маленькой и большой комнатой, где был Кикудзи. И Кикудзи подумал, что ей, должно быть, действительно страшновато, ведь они вдвоем в четырехкомнатном номере, далеко от главного здания.

Посмотрев в образовавшийся проем, Кикудзи спросил:

— А там тоже чайный павильон?

— Да. Круглый чугунный очаг в деревянной раме... Круглый очаг...

Прозвучал голос, и в проеме мелькнул подол нижнего кимоно, которое складывала Юкико.

— Кулики...

— Да... Кулики — птицы зимние, потому мне и захотелось такое кимоно...

— Кулики на волнах...

— На волнах?.. Просто на фоне волн.

— Кажется, такой рисунок называется «Кулики на вечерних волнах». Вы помните стихи «Крылатые кулики на вечерних волнах...»?

— «Кулики на вечерних волнах»?.. Разве так называется рисунок? — медленно проговорила Юкико.

Кимоно мелькнуло еще раз и исчезло.

3

Посреди ночи Кикудзи проснулся. Может быть, его разбудил поезд, прогрохотавший по рельсам где-то вверху над гостиницей?

Кикудзи понял, что еще глубокая ночь, потому что все звуки были удивительно близкими и четкими, совсем другими, чем вечером, — колеса прогрохотали над самой головой, гудок резал ухо.

Кикудзи проснулся, хотя в действительности шум был не такой уж сильный. Но он все-таки проснулся. Странно. А самое странное, что он вообще спал. Как он мог заснуть раньше Юкико?

Но Юкико, оказывается, тоже заснула и сейчас ровно дышала во сне. Кикудзи почувствовал некоторое облегчение.

Наверно, Юкико страшно устала от предсвадебных хлопот, от свадебной церемонии, от поездки. А он совсем измучился за последнее время, из ночи в ночь не мог уснуть — все думал, колебался, раскаивался. И Юкико, видно, тоже что-то мучило.

Кикудзи не знал, какими духами пользуется Юкико, но запах этих духов, ее ровное дыхание во сне, ее кольца и даже кулики на подоле ночного кимоно — все было каким-то удивительно близким, родным, и все принадлежало ему. Чувство близости не исчезло даже сейчас, когда он внезапно проснулся посреди ночи. Ничего подобного он раньше не испытывал.

Ему очень хотелось взглянуть на спящую Юкико, но он не отважился зажечь свет. Кикудзи потянулся за часами.

Начало шестого!..

Да, с Юкико все было по-другому. То, что казалось вполне естественным, само собой разумеющимся с госпожой Оота и Фумико, в отношении Юкико представлялось абсолютно невыносимым. Почему? Ведь с ними двумя он не испытывал ни малейшего внутреннего сопротивления. Может быть, сейчас сопротивлялась его совесть, шептавшая, что он недостойн Юкико?.. Или госпожа Оота и Фумико все еще держали его в плену?..

Многое казалось Кикудзи зловещим. Особенно этот номер, заказанный по распоряжению Тикако Куримото, в котором он проводит эту ночь. Впрочем, Тикако же не ведьма. Ведьмой, по ее словам, была госпожа Оота.

Даже в одежде Юкико Кикудзи усмотрел влияние Тикако. Юкико обычно носила европейское платье, а в свадебное путешествие почему-то отправилась в кимоно. Перед сном Кикудзи как бы невзначай спросил ее:

— Почему вы в дорогу не надели обыкновенное платье?

— Не надела только сегодня... Решила в этот день быть в кимоно... Ведь говорят, что европейское платье придает женщине слишком официальный вид. Неуютно как-то... И потом... когда мы с вами впервые встретились в чайном павильоне, я была в кимоно. И при второй встрече, у вас дома, я тоже была в кимоно...

Кикудзи не стал уточнять, кто так говорит. В кимоно так в кимоно. В конце концов ему было приятно верить, что и кимоно с куликами на волнах Юкико выбрала по собственному вкусу.

Кикудзи перевел разговор на другую тему.

— Я очень люблю стихи «Кулики на вечерних волнах». Я уже говорил об этом...

— Стихи?.. Я их не знаю...

Кикудзи скороговоркой прочитал стихи Хитомаро.

Он нежно прикоснулся к спине Юкико и невольно воскликнул:

— О, какое счастье!

Юкико, кажется, удивилась.

Но он мог быть с ней только нежным, не больше.

И сейчас, пробудившись перед рассветом, Кикудзи слышал ее спокойное дыхание, впитывал исходящий от нее аромат, и в его взбудораженном, растревоженном сердце жило только одно чувство — счастье, ниспосланное свыше блаженство. И была в этом такая чистота, словно он получил отпущение всех грехов. Только женщина — существо другого пола — может вызвать в душе высокий поэтический восторг, только женщина способна подарить самому закоренелому грешнику благо всепрощения, пусть минутное, но ни с чем не сравнимое благо.

Кто знает, может быть, ему суждено расстаться с Юкико. Может быть, наступит утро и она исчезнет. Но все равно он останется ей благодарным на всю жизнь.

Постепенно тревога в душе Кикудзи улеглась, и ему стало грустно. Ведь Юкико наверняка волновалась, ждала, боялась, а он... Нет, и сейчас он не рискнет разбудить ее и заключить в объятия...

Где-то совсем близко мерно шумели волны. Кикудзи слушал и думал, что теперь уж ему не уснуть. И вдруг снова погрузился в сон. Когда он проснулся, было совсем светло, на сёдзи играли яркие лучи солнца. А где же Юкико?

У него упало сердце — сбежала домой?..

Был десятый час.

Кикудзи раздвинул сёдзи и увидел Юкико. Обняв колени, она сидела на газоне и смотрела на море.

— Как я заспался... А вы рано встали?

— Часов в семь. Пришел слуга, наполнял бассейн, я и проснулась.

Юкико обернулась к нему и покраснела. Сегодня она была в европейском платье, со вчерашней красной розой на груди. У Кикудзи словно камень с души свалился.

— А роза-то не завяла!

— Да, я вчера поставила ее в стакан с водой над умывальником. Вчера, когда купалась. Вы разве не заметили?

— Не заметил, — сказал Кикудзи. — А сейчас вы уже искупались?

— Да. Проснулась рано, делать нечего, деваться некуда. Я потихоньку раздвинула сёдзи и вышла сюда, в сад. Как раз американские военные корабли уходили. Говорят, они вечером приходят гулять, а утром уходят.

— Американские военные корабли приходят гулять? Странно звучит!

— Здешний садовник так сказал.

Кикудзи сообщил в контору, что они встали, выкупался и тоже вышел в сад. Было удивительно тепло, просто не верилось, что середина декабря.

После завтрака они с Юкико сидели на залитой солнцем галерее.

Море сверкало серебром. Кикудзи заметил, что серебряное сияние перемещается вместе с солнцем. Побережье от Идзусан до Атами было сильно изрезано. Маленькие мысики, омываемые волнами, тоже сверкали — по очереди, один за другим, словно ловя лучи проплывавшего мимо солнца.

— Смотрите, как все искрится. Вон там, прямо под намц, — сказала Юкико, указывая вниз. — Слово первые звезды вышли из моря. Звездочки в звездном сапфире...

Действительно, на воде вспыхивали ослепительные искры, похожие на звезды. Вспыхивали в одном месте и угасали, чтобы тотчас зажечься где-нибудь рядом. Каждая волна блестела и сияла сама по себе, независимо от других, но тысячи блесков сливались в сплошное сияние. Оно-то, должно быть, и создавало серебристое зеркало, простиравшееся до самого горизонта, очень гладкое и в то же время подернутое звездной рябью.

Полоска газона перед чайным павильоном была узенькой. Над ней нависала ветвь китайского лимона с желтым плодом. Сад полого спускался к морю. У самой воды на берегу выстроились сосны.

— Вчера вечером я рассматривал твое кольцо. Необыкновенно красивый камень!..

— Да. Это светящийся опал. А блеск моря сейчас похож на блеск сапфира или рубина... Нет, бриллианта! Только у бриллиантов бывает такое сияние.

Взглянув на кольцо, Юкико перевела взгляд на море.

Игра волн, переливы света — все наводило на мысль о драгоценных камнях. И пейзаж и время дня — приближение полдня — вызывали подобные образы. Но Кикудзи вдруг стало неуютно, словно ему что-то мешало полностью отдаться бездумному счастью...

Кикудзи продал свой дом. Когда свадебное путешествие кончится, он повезет молодую жену в наемную квартиру. Это не так уж страшно. Но как говорить об их будущей семейной жизни? О чем говорить? Кикудзи еще не вошел в роль супруга. А вспоминать прошлое... Невозможно, если в воспоминаниях не касаться госпожи Оота, Фумико и Тикако. Тогда все будет обманом. Значит, невозможно касаться ни прошлого, ни будущего. А разговор о настоящем, о том, что есть сейчас, рядом, вдруг оборвался — Кикудзи загнулся и умолк.

Интересно, о чем думает Юкико? На ее сияющем, освещенном солнцем лице нет и тени недовольства. Может, она падит его?.. Или думает, что это он ее пощадил в их первую брачную ночь?..

Кикудзи нервничал, ему не сиделось на месте.

Номер в гостинице они сняли на двое суток. Надо было где-то пообедать, и они пошли в отель «Атами».

Окна ресторанный зала выходили в сад. Под одним окном росло банановое дерево с широкими, будто надорванными по краям листьями. Напротив толпились саговые пальмы.

— Я их узнала, — сказала Юкико, указывая на саговые пальмы и окидывая взглядом спускавшийся к морю сад. — Они точно такие, какими были много-много лет назад. Я ведь здесь была в детстве. Вместе с родителями. Мы встречали здесь Новый год.

— Мой отец, кажется, тоже частенько тут бывал. Как жаль, что он ни разу не взял меня с собой! Может быть, я встретился бы тут с маленькой Юкико-сан...

— Ну уж нет!

— Почему же? Было бы здорово, если бы мы познакомились детьми.

— А может быть, если бы мы познакомились детьми, мы бы теперь не поженились.

— Почему?

— Да потому, что я была ужасно умной девочкой!

Кикудзи рассмеялся.

— Правда, правда! Отец часто говорит мне, что в детстве я была умненькой, а сейчас глупею с каждым годом.

Юкико не так уж много рассказывала об отце, но и из того, что она говорила, Кикудзи понял, как ее любят дома. Отец, должно быть, привязан к ней больше, чем к остальным детям — всего их четверо, — и возлагает на Юкико особые надежды.

Юкико... В ней и сейчас есть нечто от маленькой девочки — такой очаровательной, с сияющим лицом и лучистыми глазами...

4

Когда они вернулись из ресторана в гостиницу, Юкико позвонила матери.

— Мама почему-то беспокоится, спрашивает, все ли в порядке. Вы с ней не поговорите?

— Да нет, пожалуй... Передай ей сердечный привет...

Кикудзи почему-то не хотелось говорить с ее матерью.

— И мама тоже, — Юкико повернулась к нему, — передает вам привет и желает всего наилучшего.

Телефон стоял в номере. Отсюда Юкико и позвонила. Значит, она не собирается укрادкой жаловаться матери. Впрочем, Кикудзи этого и не думал.

И все-таки госпожа Инамура, видно, почувствовала женской интуицией, что не все ладно у ее дочери.

Кикудзи понятия не имел, как ведут себя счастливые жены на второй день свадебного путешествия. Звонят они матерям или не звонят? Может быть, такой звонок — явление столь необычное, что мать невольно забеспокоилась. Да, скорее всего девушка, только что ставшая женщиной, не станет звонить родителям — из чувства стыдливости.

В пятом часу появились три маленьких американских военных корабля. Далекая легкая облачность над районом Адзиро рассеялась, море застыло в вечернем мареве, оно стало ленивым и сонным, как в весенний вечер. Корабли скользили тихо. Что несли они в своем чреве? Может быть, яростное вожделение?.. Может быть... Но выглядели они мирно, словно игрушечные.

— Смотри, и правда военные корабли являются сюда на прогулку!

— Я же говорила! Утром, когда я встала, ушли вчерашние, — сказала Юкико. — Я долго смотрела им вслед от нечего делать...

— Часа два прождала, пока я проснулся?

— Наверно, больше. Во всяком случае, мне показалось, что больше. Так странно и так чудесно все было. Я — и вдруг здесь, с вами! Я ждала — вот вы наконец проснетесь, и мы будем говорить, говорить...

— О чем?

— Да так, ни о чем...

Корабли шли с зажженными огнями, хотя еще было достаточно светло.

— Знаете, — сказала Юкико, — интересно, что вы обо мне думаете. Например, как вы считаете, почему я вышла за вас замуж... Об этом мне тоже хотелось поговорить.

— «Как вы считаете...» Очень странно ты об этом говоришь...

— Конечно, странно! И все равно интересно. Любопытно, что думает мужчина о девушке, которая в конце концов становится его женой. Мне приятно думать об этом. Только я не понимаю, почему вы считали меня недосыгаемой?..

— У тебя те же самые духи, что и в прошлом году, когда ты приходила ко мне в гости?

— Да.

— Вот именно в тот день я и подумал о тебе как о недосыгаемой!

— Да-а?.. Наверно, из-за духов. Они вам не нравятся?

— Как раз наоборот! Тогда... на следующий день я пошел в чайный павильон. Мне казалось, там стоит запах твоих духов...

Юкико удивленно на него взглянула.

— Понимаешь, — продолжал Кикудзи, — я пришел туда и неожиданно подумал, что должен от тебя отказаться... Ты стала для меня вдруг абсолютно недосыгаемой.

— Не говорите так, мне это больно. То есть, можно, конечно, об этом говорить, но не мне... Пусть эти слова будут для других, если вы кому-нибудь будете обо мне рассказывать... Я все понимаю, но... Сегодня мне хочется слышать слова, предназначенные для меня одной.

— Ну, как бы сказать по-другому... Вы были моей мечтой...

— Мечтой?..

— Да! Ведь мечта — это всего только мечта. Она недостижима. И я примирился с этим — с недостижимостью.

— Мечта... Это слово меня поразило... Все так и есть. Я тоже должна была примириться с действительностью... тогда... Наверно, я тоже мечтала о вас... Но именно эти слова — мечта, примирение, — они не приходили мне в голову.

— Видите ли, наверно, такие слова принадлежат к лексикону грешников, а вы...

— Да ну вас! Опять вы говорите о других!

— Нет, не о других.

— Ну, пожалуйста, не надо! Впрочем, я и сама думала, что смогла бы полюбить даже женатого мужчину, — сказала Юкико.

сверкнув глазами. — Правда, правда! Но то, о чем можно только мечтать, страшно. И не будем больше об этом, ладно?

— Хорошо. А ночью сегодня я испытал такое необычное чувство. Я думал, не только Юкико сама, но даже аромат ее духов отныне принадлежит мне...

— ?

— И все равно — вы моя мечта. Вечная...

— Ну да, а вдруг скоро разочаруетесь!

— Никогда и ни за что!

Кикудзи сказал это с полной уверенностью, потому что испытывал глубочайшую благодарность к Юкико.

Юкико, кажется, чуточку испугалась, но тут же произнесла с необыкновенной силой:

— И я никогда и ни за что в вас не разочаруюсь! Клянусь!

Однако сколько времени осталось до разочарования Юкико? Часов пять-шесть, не более. И если она даже не разочаруется, а всего-навсего преисполнится сомнением, не наступит ли разочарование для него, Кикудзи? Глубокого, ледяного разочарования в самом себе?..

Кикудзи боялся и всячески оттягивал тот момент, когда надо будет ложиться спать. Но дело было не только в страхе. Ему нравилось беседовать с Юкико. Она держалась гораздо свободнее, чем вчера. Они засиделись допоздна. В ее голосе, в движениях не осталось никакой скованности. Она весело и непринужденно приготовила и разлила чай.

Когда Кикудзи после купания и бритья втирал крем, Юкико подошла и попробовала его крем пальцем.

— Я всегда покупала крем для папы. Но другой...

— Может, мне сменить крем? На такой же, как у твоего отца?

— Нет, пусть будет другой.

И сегодня Юкико, так же как вчера, держала в руках халат и, так же как вчера, поклонилась, направляясь в бассейн.

А вернувшись, она сказала:

— Спокойной вам ночи!

Сказала, поклонилась, легонько коснувшись татами кончиками пальцев, и скользнула в свою постель. От ее девичьей чистоты у Кикудзи забилось сердце.

Наступил мрак, глубокий, как морское дно. У Кикудзи дрожали веки, он плотно закрывал глаза и пытался увидеть Фумико. Да, она тогда не сопротивлялась. Сопротивлялась только ее невинность. Сопротивлялась низости, подлости, разврату. И он

все равно растоптал невинность Фумико. И после этого осквернить Юкико, такую же чистую и невинную, какой раньше была та, другая?.. Эти мысли отравляли душу, как яд. Что он мог поделаться? Юкико, чистейшая, незапятнанная, воскресала в нем образ Фумико. Может быть, это отчаяние?..

Память плоти — страшная вещь. Он вспомнил Фумико, и сквозь воспоминание о ней пробились другие волны — волны женщины, госпожи Оота. Что это — бесовское проклятие или человеческое естество?.. Ведь госпожа Оота умерла, Фумико исчезла... И если они не питали к нему ненависти, а любили его, почему он теперь трусит, так жалко трусит?..

Некогда Кикудзи горько каялся, побежденный телом госпожи Оота, равнодушный к другим чувствам. А сейчас ему было страшно — может быть, он ни на что больше не способен? Может, все в нем умерло и никогда уже не воскреснет?..

Вдруг Юкико шевельнулась.

— Расскажите что-нибудь, — сказала она.

Кикудзи испугался.

Рука злодея простерлась... Для чего? Чтобы только обнять святую невинность?.. Кикудзи вдруг почувствовал, как горячие слезы обжигают ему веки.

Юкико мягко уткнулась лицом в его грудь и всхлипнула.

Едва сдерживая дрожь в голосе, Кикудзи прошептал:

— Ну что ты?.. Тебе грустно?..

— Нет.— Она покачала головой.— Но... Я так любила Митани-сана, что ничего не могла с собой поделаться, а со вчерашнего дня стала любить его еще больше... Потому и заплакала.

Кикудзи взял Юкико за подбородок и приблизил губы к ее губам. Он уже не скрывал своих слез. Воспоминания о госпоже Оота и Фумико мгновенно улетучились.

Почему нельзя провести с невинной женой несколько невинных дней?..

5

И на третий день на побережье стояла такая же теплынь. И опять Юкико встала первой и одетой поджидала Кикудзи.

Она сообщила ему утренние новости — по словам горничной, вчера в гостиницу прибыли шесть пар молодоженов. Но чайный павильон был почти у самого моря, далеко от главного здания, и сюда голоса не доносились. Бродячий певец-скрипач тоже к ним не заглядывал.

Сегодня море выглядело по-иному: сияющие звездочки не появились на волнах ни утром, ни после полудня. Должно быть, лучи падали не так, как вчера. Звездочек не было, зато появилась маленькая флотилия рыбацких лодок. Они уходили вдаль, выстроившись цепочкой. Первая, самая большая, тянула остальные на буксире. Замыкала цепь самая маленькая.

— Смотри, настоящая семья, — улыбнулся Кикудзи.

Администрация преподнесла им гостиничный сувенир — «супружеские хаси» в упаковке из розовой рисовой бумаги с рисунком журавлей.

Кикудзи вспомнил фуросики и спросил:

— Ты взяла с собой фуросики с тысячекрылым журавлем?

— Нет. У меня абсолютно все новое. Даже стыдно немного. — Юкико залилась краской, ее безупречно очерченные веки тоже порозовели. — И прическа другая... Но среди подарков есть вещи с рисунком журавлей.

Около трех часов пополудни они уехали. Машина должна была доставить их в Кавана. В порту Адзиро теснились рыбацьи лодки. Среди них были и нарядные, выкрашенные белой краской.

Юкико долго смотрела в сторону Атами.

— Какое море... — сказала она. — Розоватое, как мой розовый жемчуг. Правда, точно такой же цвет.

— Розовый жемчуг?

— Да. Серьги и ожерелье. Показать?

— Когда приедем в отель.

Складки гор Атами постепенно темнели. Впадины между ними под вечер казались особенно глубокими.

Им повстречались мужчина и женщина. Мужчина толкал перед собой прицепную велосипедную коляску, нагруженную хворостом.

— Как хорошо! — воскликнула Юкико. — Вот и нам бы так жить...

Кикудзи подумал, что сейчас она готова жить с ним даже в шалаше. От этой мысли стало немного неловко, но приятно.

У самого моря, над сосновой аллеей, летела стая каких-то маленьких птичек. Пичуги летели удивительно быстро, почти не отставая от машины.

Потом Юкико увидела ту самую рыбацью флотилию, которая в полдень ушла в море, снявшись с якоря у подножия горы Идзу, неподалеку от их гостиницы. Сейчас семь лодок все в том

же порядке — впереди большая, позади самая маленькая — следовали вдоль береговой линии.

— Какая прелесть! — снова воскликнула Юкико. — Они идут на свидание с нами!

Юкико радовалась, как дитя, всему на свете, даже этим лодкам, ставшим частицей ее праздника. Восторженность Юкико умиляла Кикудзи, он подумал, что будет вспоминать этот день как самый счастливый в своей жизни.

В прошлом году, уже осенью, когда Кикудзи, вконец измученный поисками Фумико, продолжавшимися с лета, впал в какое-то странное состояние не то одержимости, не то нервного истощения, к нему вдруг пришла Юкико. Она пришла одна. Тихая, но до того ослепительная, словно нежданное солнце в ненастье. Он был поражен и даже хотел зажмуриться, испугавшись этого нестерпимо яркого света. Держался он с ней сухова-то. Но Юкико пришла еще раз и еще.

А вскоре Кикудзи получил письмо от ее отца. «Кажется, моя дочь имеет удовольствие проводить время в вашем обществе, — писал господин Инамура. — Меня интересует, сохранилось ли у вас намерение на ней жениться? Ведь в свое время ваше предложение было сделано через Тикако Куримото. Что касается нас, родителей Юкико, мы бы хотели, чтобы наша дочь нашла счастье в браке с тем человеком, который с самого начала пришелся ей по сердцу...»

Это письмо можно было считать полуофициальным предложением отца, обеспокоенного сближением дочери с молодым человеком, но все было проще: отец пришел на помощь дочери, не осмеливавшейся сказать о своем заветном желании, и в письме выразил ее мысли.

С тех пор прошел год. Год, очень тяжелый для Кикудзи. Он никак не мог разобраться в себе самом, чего он больше хочет — найти Фумико или завладеть Юкико... Поиски продолжались, тоска, боль и раскаяние все еще жили в душе. А где-то в глубине ее маячил образ госпожи Оота. Все его существо рвалось к исчезнувшей Фумико, и все-таки в самые горькие минуты по утреннему или вечернему небу вдруг проплывал белоснежный тысячекрылый журавль. И это была Юкико.

Юкико придвинулась к Кикудзи, чтобы получше рассмотреть идущие цепочкой лодки, да так и осталась сидеть.

В отеле «Кавана» им отвели угловой номер на третьем этаже. Две стены в нем были стеклянные — для обзора.

— А море круглое! — весело сказала Юкико.

Действительно, горизонт описывал едва заметную дугу.

Под окном с одной стороны были зеленая лужайка и плавательный бассейн. По лужайке шли девушки, прислуживавшие при игре в гольф. Тоненькие, затянутые в голубые форменные тужурки, с сумками за плечами. Из сумок торчали клюшки.

В другое окно, выходящее на запад, открывался вид на Фудзияму.

Кикудзи и Юкико спустились вниз и вышли на широкую лужайку.

— Какой ветер, ужас! — сказал Кикудзи, поворачиваясь спиной к ветру.

— Подумаешь, ветер! Идемте! — Юкико с силой потянула его за руку.

Вернувшись в номер, Кикудзи принял ванну. Юкико тем временем поправила прическу и переделалась, готовясь идти в ресторан.

— Надеть? — спросила она, показывая Кикудзи серьги и ожерелье из розового жемчуга.

После ужина они немного посидели в солярии. День был ветреный, и в солярии, огромном стеклянном полукруглом зале, выходящем в парк, не было ни души. Стекло и занавеси. Цветущие камелии в горшках. Тишина.

Потом они перешли в холл. Уселись на диван перед камином. В камине горели огромные поленья. На камине в горшках росли африканские лилии. За диваном в большой вазе плавно изгибалась ветвь рано цветущей красной сливы. Деревянное плетеное высокое потолка в английском стиле было легким и изящным. От всего веяло спокойствием.

Откинувшись на кожаную спинку дивана, Кикудзи долго смотрел на огонь. Юкико тоже сидела неподвижно. Ее щеки разругнулись от тепла.

Когда они вернулись в номер, стеклянные стены были задернуты плотными занавесками.

Номер был просторный, но однокомнатный, и Юкико переделалась в ванной.

Кикудзи сидел на стуле в гостиничном халате. Юкико, в ночном кимоно, подошла к нему, остановилась.

Ее кимоно было каким-то особенным: из модного материала, годного и для платья — рыжевато-алый фон, по нему рассыпаны маленькие гербы; рукава короткие, в стиле генроку; покрой свободный, легкие, свежие линии. Кимоно перехвачено узким мягким зеленым атласным оби. Юкико в этом кимоно

походила на куклу-японку, сделанную в Европе. Из-под алого подола виднелся краешек белого нижнего кимоно.

— Какое милое кимоно. Сама фасон придумала?.. А рукава в стиле генроку?

— Не совсем, это просто моя фантазия.

Она села за трюмо.

Спать они легли в полумраке, не выключив светильника на ночном столике.

Среди ночи Кикудзи вдруг проснулся от сильного шума. За окнами бушевал ветер. Парк кончался у моря обрывом, и Кикудзи подумал, что это шум разбивающихся о скалы волн.

Юкико в постели не было. Она стояла у окна.

— Что случилось? — спросил Кикудзи, вставая и подходя к Юкико.

— Да вот... грохочет все время... Так неприятно! Ужасный грохот! А над морем — смотрите, смотрите! — появляется и исчезает розовое зарево...

— Маяк, наверно.

— Я проснулась и уже не могла заснуть. Так страшно. Я давно уже здесь стою и смотрю.

— Чего же бояться? Просто волны грохочут. — Кикудзи положил руки ей на плечи. — Глупенькая, разбудила бы меня.

Казалось, Юкико вся поглощена морем.

— Вон там, смотрите, розовый отсвет...

— Правильно, огонь маяка.

— Может быть, и маяк, но... кроме маяка, еще что-то, гораздо ярче. Ведь настоящее зарево!

— Ничего особенного — маяк и бушующие волны.

— Нет!..

Действительно, грохот, разбудивший Кикудзи, был не от бушевавшего моря. Море, слабо освещенное холодной ущербной луной, было спокойно.

Кикудзи некоторое время вслушивался и вглядывался в пустынную черноту. Розовые вспышки, озарявшие мрак, не походили на огонь маяка. Промежутки между вспышками были неодинаковыми, нерегулярными.

— Это орудия. Я подумала, что идет морской бой...

— А-а, правильно! Наверно, маневры американских военных кораблей.

— Да... Как страшно... И неприятно...

Плечи Юкико наконец расслабились. Кикудзи обнял ее.

Над черным морем, освещенным осколком холодной луны,

шумел ветер, вспыхивало и гасло розовое зарево — отсвет далеких выстрелов. Кикудзи тоже стало немного не по себе.

— Нельзя же стоять так всю ночь и смотреть... Да еще совсем одной...

Кикудзи поднял ее на руки. Юкико робко обняла его за шею.

Охваченный острой, пронзающей грустью, Кикудзи отрывисто сказал:

— Нет, нет... Я не калека... Не калека... Но мое прошлое... Грязь... разврат... Они не разрешают мне к тебе прикоснуться...

Юкико в его руках стала вдруг тяжелой, обмякшей, она словно потеряла сознание.

В ПУТИ, В РАЗЛУКЕ

I

Вернувшись домой из свадебного путешествия, Кикудзи, прежде чем сжечь, еще раз перечитал прошлогоднее письмо Фумико.

*«На борту «Коганэ-мару», идущего в Бэнпу,
19 сентября*

Ищите ли Вы меня? Прошу Вас, простите мое внезапное бегство.

Я решила никогда больше не встречаться с Вами. Потому и это письмо, наверно, останется неотправленным. А если я все-таки отправлю его, то не сегодня, не завтра и, право, не знаю когда. Еду я на родину моего отца, в городок Такэда, но к тому времени, когда вы получите это письмо, если все-таки получите, меня уже там не будет.

Отец покинул родину двадцать лет назад, и я никогда не бывала в Такэда.

Я знаю этот городок лишь по стихам Хироси и Акико Йосая в сборнике «Песни гор Кудзю» и по рассказам отца.

Четыре стороны — все страны света —
огородили цепью диких гор
и положили в середину
притихший городок Такэда
и неумолчный шум осенних вод.

Такэда — неприступный город —
как древний замок, врезанный в скалу,
и лишь туннель, пронзая горы,

вратами каменного замка служит,
и не найти иных путей к нему.

По обе стороны туннеля
волною бело-серебристой
из века в век, из года в год
колышется высокий мискант
и сторожит в Такэда вход¹.

Я возвращаюсь на родину отца, которую никогда не видела
и не знаю.

Меня тянет сюда. Меня манят и стихи местных поэтов, с ко-
торыми отец был знаком в детстве.

Такие, например:

И все шумит, шумит вода живая,
с высоких гор стекая вниз,
как будто горы, сердце открывая,
всю нежность, затаенную в глубинах,
выплескивают на гранит.

Два цвета — неба и земли —
сливаясь в тонкий цвет единый,
с младенчества в меня вошли
и с той поры звучат во мне
мелодией неуловимой.

Да разве только я один
страдаю и тоскую горько?..
Гляжу, как тучи, тяжело клубясь,
печальным бременем седин
легли на страждущие горы...

А сердце, непокорное когда-то,
забыло все, и бьется тихо, немо,
и больше не противится ему,
и об одном лишь просит небо —
пошли любимому покой!

И еще вот эти стихи Йосая влекут меня в горы Кудзю:

Такая нежность в сердце у меня,
блаженство светлое такое,
когда я вижу гору Кудзю,
как будто славные учителя
ввели меня в свои покои.

У нищего есть нищета,
но если он об этом помнит,

¹ Перевод стихов Н. Горской.

то сердце обратит к горам,
и горы мудростью своей
его утешат и наполнят.

Проплыли вдруг по небесам
лиловых низких туч большие стаи
и скрыли гору Кудзю-сан,
и вот горы уже не стало —
как будто путник без вести пропал.

Я привела стихи о непокорном сердце. Но мое сердце никогда не противилось Вам, а если кому и противилось, то себе самому. Впрочем, это было даже не сопротивление, а нечто более печальное.

С той поры прошло уже три месяца. И я лишь «о покое молю» — для Вас. Действительно, нельзя же писать Вам такое письмо. Наверно, я пишу то, что хочу сказать самой себе, обращаясь к Вам. Может быть, я не допишу этого письма или, дописав, выброшу его в море.

Я пишу в холле. Мимо прошел бой, задернул шторы. В холле, кроме меня, только две супружеские пары — иностранцы.

Я взяла каюту первого класса, потому что не могу находиться среди большого количества людей. Мне неприятно. Каюта первого класса двухместная. Моя соседка — хозяйка гостиницы на горячих источниках Канкайдзи в Бэппу. Она возвращается домой из Осаки от замужней дочери, только что родившей ребенка. Она сказала, что совсем там замучилась, хлопотала, помогала, не смыкала глаз, потому и решила поехать на пароходе, чтобы выспаться. И правда, эта женщина, вернувшись из столовой, сейчас же легла в постель.

Когда наш «Коганэ-мару» выходил из Кобэ, туда вошел иранский пароход «Звезда Суэца». Пароход необычного типа, таких раньше я не видела.

Моя спутница просветила меня, сказала — это грузо-пассажирский.

А я подумала — в какое время мы живем, даже иранские пароходы приходят в Японию...

Наш пароход удаляется все дальше и дальше от берега, от Кобэ, и горы за ним постепенно становятся темными, расплывчатыми. Сейчас осень, дни короткие, вечерние сумерки наступают рано. По репродуктору передали объявление службы морской безопасности (об азартных играх — на борту корабля они никогда не приводят к добру. К ответственности привлекаются даже пострадавшие).

Должно быть, ожидается крупная игра — в третьем классе судт профессиональные игроки.

Моя соседка заснула, и я пошла в холл. Здесь две супружеские пары, иностранцы, впрочем, одна женщина — японка. Ее муж не американец, а, кажется, европеец.

И я вдруг подумала — хорошо бы выйти замуж за иностранца и уехать далеко, далеко, за границу.

Подумала и удивилась. Какие дикие мысли! Наверно, толчок им дало путешествие на пароходе, но все равно думать о замужестве как-то очень уж неожиданно для меня.

Эта женщина, японка, по-видимому, из хорошей семьи и держится с достоинством, только очень уж старается во всем подражать мимике и манерам европейцев. Ну что же, это ей удастся, но все равно получается несколько нарочито. Во всяком случае, так мне кажется. Может быть, она постоянно испытывает гордость, оттого что замужем за европейцем, потому и держится так?..

Впрочем, порой человеку трудно разобраться в собственных душевных движениях. Я сама до сих пор не пойму, что движет мной в течение трех последних месяцев. И мне очень, очень стыдно из-за чашки сино. Зачем я ее разбила о каменный таз в Вашем саду?!

«Ведь есть сино лучше!» — сказала я тогда. И я сказала это совершенно искренне. Так я считала тогда.

Вы обрадовались кувшину сино, который я подарила Вам в память о моей матери, я решила подарить Вам также чашку. Необдуманый поступок. Потом мне пришло в голову, что бывает сино и получше этой чашки. Вот тут-то и начались мои мучения. Я места себе не находила.

А Вы — помните? — сказали: «По-вашему, получается, что дарить можно только шедевры...»

Да, тогда я так считала — дарить только шедевры, если дарить Вам, Кикудзи-сану. А считала я так потому, что мне хотелось сделать маму самой прекрасной.

Мама должна была стать для Вас самой прекрасной! В этом было единственное спасение и для нее, покинувшей нас, и для меня, покинутой. Поэтому мое разрывавшееся от боли сердце, одержимое одним жгучим желанием, невыносимо страдало из-за этой чашки, которая отнюдь не была шедевром. И когда я ее разбила, вдруг наступило пробуждение от сна, кошмарного или волшебного — не знаю. Но мама и я, мы распрощались с Вами.

Окончательно. Хоть мне и стыдно, что я разбила чашку, но все же, наверно, я права, это надо было сделать.

Тогда я сказала Вам, что на чашке сохранился след от маминой губной помады. Теперь я не уверена в этом. Наверно, эти слова говорила не я, а моя одержимость.

В связи с этим я вспомнила случай, отвратительный с моей точки зрения.

Мой отец был еще жив, а я была маленькой. Однажды к нам пришла Куримото, и ей показали чашку, покрытую черной глазурью, кажется, работы Тёдзиро, точно уж не помню.

— Боже, она вся в плесени!.. Как вы с ней обращаетесь?! Неужели пили чай и не вымыли как следует?..— Куримото сделала презрительную гримасу.

Действительно, вся чашка была покрыта белесоватыми пятнышками.

Она обдала чашку кипятком и, положив к себе на колени, смотрела на нее неподвижным взглядом.

— Странно,— сказала Куримото,— пятна не смывает даже кипяток.

Тогда она вдруг запустила пальцы в волосы, энергично поскребла голову и жирными пальцами протерла чашку. Пятна исчезли.

— Вот, смотрите! — торжествуя, воскликнула учительница.

Отец даже не притронулся к чашке.

— Как противно, нечистоплотно! Даже мутит...

— Пустяки! Я ее теперь хорошенько вымою.

— Все равно неприятно. Я не смогу больше пить чай из этой чашки. Если хотите, возьмите ее себе...

Я, маленькая девочка, сидела рядом с отцом и смотрела во все глаза. Мне тоже стало очень противно.

Говорят, Куримото продала эту чашку.

И вот теперь я думаю о сино. След от губной помады... Может быть, это так же неприятно?..

Прошу Вас, постарайтесь забыть маму. Прошу Вас, постарайтесь забыть меня. И женитесь, пожалуйста, женитесь на Юкико Инамура».

2

«На горячих источниках в Бэппу, 20 октября

Самый близкий и прямой путь в Такэда из Бэппу — это поездом через Оита. Но так неинтересно. Я хочу познакомиться с

горами Кудзю и выбираю окольный путь: пересеку подножие горы Юфу-дакэ за Бэппу, из Юфуина поездом доеду до Бунго-Накамура, оттуда поднимусь на плоскогорье Ханда, пересеку его в южном направлении и через городок Кудзю приеду в Такэда.

Хоть Такэда и родина моего отца, мне этот город не знаком. Понятия не имею, как меня там встретят, да и встретит ли кто-нибудь теперь, когда ни отца, ни мамы уже нет в живых.

Отец говорил, в этом городе овладевает такое чувство, словно ты на родине своей души... Может быть, это потому, что городок с четырех сторон окружен неприступными, скалистыми горами и добраться до него можно только через туннель. Вот и супруги Йосая пишут об этом в своих стихах.

Мама могла бы мне рассказать кое-что о Такэда. Она была там вместе с отцом, правда всего один раз, еще до моего рождения.

Мне кажется, что, признав и простив отношения моей матери с Вашим отцом, я изменила собственному отцу. Почему же меня тянет сюда, на его родину, чужую и не знакомую мне?.. Или в теперешнем моем состоянии мне необходимо побывать в таком месте, которое одновременно и родина и чужбина?.. Или, может быть, здесь, среди гор, видевших рождение моего отца, вдруг забьет в душе живительный источник и целебная вода очистит от всех грехов и мою мать и меня?..

В сборнике «Песни гор Кудзю» есть прелестные стихи:

Вернусь домой из дальних мест
и, на колени встав, потуплю взор
перед очами моего отца;
и, распростершись на земле, взгляну
в лицо извечно дорогих мне гор.

Кто знает, может быть, тогда, когда я признала и простила отношения Вашего отца и моей матери, появились на свет первые ростки, выросшие впоследствии в непоправимую ошибку и для мамы и для меня. Может быть, эти ростки пустили корни и в Вашей душе и заставили Вас страдать, словно проклятие, тяготей над Вами?.. Но любое проклятие когда-нибудь теряет силу. Я думаю, наше с Вами потеряло свою силу именно в тот день, когда я разбила чашку.

Я любила двух людей — маму и Вас, Кикудзи-сан. Наверно, Вам странно слышать это запоздалое признание. Я и сама до сих пор удивляюсь своему чувству, но не хочу его скрывать от

Вас, ибо признание и будет тем покоем, о котором «молю для Вас». Я не обвиняю и не проклинаю Вас сейчас, Кикудзи-сан, как не обвиняла и не проклинала раньше. Моя любовь получила наивысшее воздаяние и наивысшую кару. Обе мои любви пришли к логическому концу: одна завершилась смертью, другая — самой суровой карой. Может быть, такова моя судьба? Мать рассчиталась смертью, а я — бегством, взвалив на себя тяжелейший груз.

— О-о, хочу умереть! — часто говорила мама.

А когда я не пустила ее на свидание с Вами, сказала:

— Ты хочешь моей смерти?

В тот самый день, когда я разбила сино, ко мне вдруг пришло прозрение. Я поняла, что творилось с моей матерью. Увидев Вас на чайной церемонии в храме Энкакудзи, она впала в состояние, которое я называю «на грани самоубийства». Встреча с Вами, Кикудзи-сан, поселила в ней желание покончить с собой, и в то же время Вы были ее единственной зацепкой за жизнь, потому что она жила одной мыслью — быть с Вами. Я этому мешала, и она умерла. А в тот день, когда я разбила чашку, и ко мне пришло это состояние — «на грани самоубийства». Что удержало меня от искушения наложить на себя руки? Только ее смерть. Я живу потому, что умерла мама.

Когда я разбила чашку о садовый таз и, теряя сознание, начала падать на дорожку, Вы подхватили меня. И я тогда позвала: «Мама!» Вы слышали? Нет, наверно. Наверно, я кричала мысленно.

Вы говорили — нельзя тебе уходить домой. Вы хотели проводить меня. А я только качала головой.

Я сказала Вам тогда, что мы больше не увидимся, и ушла, убежала. И бежала всю дорогу, вся вспотев, и действительно решила умереть. Нет, у меня не было обиды на Вас. Но я почувствовала, что подошла к своему концу. К финалу, за которым уже ничего нет. Разве моя смерть не стала бы естественным следствием смерти матери? Она не вынесла своего позора и умерла. А я — разве все мое поведение не было таким же позором? Но из невыносимо жгучего пламени раскаяния, охватившего меня, прорастали сказочно прекрасные цветы — ведь я любила Вас! И что бы Вы со мной ни сделали, это не могло быть позором. Я, как мотылек, летела на огонь. Мама умерла, не вынеся собственного падения. А я считала ее прекрасной. Разве в этом стремлении было что-либо позорное для меня?

И все же между нами, мамой и мной, была существенная

разница. Ей было достаточно одной встречи с Вами, чтобы жить мечтой о новой встрече. Мне тоже было достаточно одной-единственной встречи, но мои грезы развеялись, и я, потрясенная, пробудилась. Я открыла глаза и поняла, что начало моей любви стало и ее концом. Нет, я не остановилась на полпути, не стремилась сдерживать свои чувства, я их отторгла, низринула в бездну.

Нельзя, ни в коем случае нельзя, подумала я. Мама умерла, я кончилась. Что же дальше? Пусть он женится на Юкико-сан. В этом мое спасение.

Конечно, я могла бы просто сказать Вам: «Не ищите меня, не преследуйте, иначе наложу на себя руки!» Но я так не скажу, это слишком эгоистично. У меня, одержимой идеей сделать мою маму прекрасной, остается только один выход: уйти, не оставив никаких следов, вырвать все напоминания обо мне и моей матери из Вашего окружения.

Госпожа Куримото говорила, что мы, мама и я, мешаем Вашему браку и что у Вас совершенно переменился характер после знакомства с мамой. Прозрев, я отлично поняла ее.

В тот вечер, когда я разбила чашку, мне было очень плохо. Всю ночь я проплакала, а рано утром пошла к подруге и попросила ее отправиться со мной в путешествие.

Она встревожилась.

— Что с тобой? — сказала она. — Глаза заплаканы, даже веки опухли. По-моему, ты так не плакала даже тогда, когда умерла твоя мама.

И подруга поехала со мной в Хаконэ.

Конечно, смерть матери была для меня огромным, непоправимым горем. Но в детстве мне случилось пережить минуты еще более горькие и страшные. Это было в тот день, когда к нам пришла госпожа Куримото и начала поносить маму, требуя, чтобы она рассталась с Вашим отцом. Я находилась в соседней комнате, все слышала и не могла сдерживать слез. Тогда мама вошла, обняла меня и повела с собой в ту комнату, где была госпожа Куримото. Я хотела вырваться и убежать, но мама усадила меня к себе на колени.

— Не уходи, посиди со мной. Пожалуйста! А я тебя обниму. Ну да, твою маму обижают... И у меня сердце разрывается, когда ты плачешь за моей спиной. Не уходи!

Я уткнулась маме лицом в грудь и даже не смотрела на госпожу учительницу.

Но она-то не собиралась оставлять меня в покое. А какой язвительный у нее был голос!

— Что это — выход на сцену актрисы, исполняющей детскую роль? Ты девочка умная и должна прекрасно знать, зачем ходит к вам дядя Митани.

— Нет, нет, нет! Не знаю, не знаю! — Я затрясла головой и заплакала еще сильнее.

— Знаешь, прекрасно знаешь! А у этого дяди, между прочим, есть жена, законная. И ребенок есть, мальчик, немного постарше тебя. И этот мальчик будет ненавидеть твою маму, да, да! А если в школе про это узнают? Учителя и подруги?.. Ай-ай-ай, как тебе будет стыдно за маму!

Мама сказала:

— Ну зачем вы так? Ребенок же безгрешен!

Но госпожа учительница не унималась:

— Безгрешен? Вот именно! А вы стараетесь воспитать ребенка во грехе. Безгрешен, гм... Но плачет очень искусно.

Мне было тогда лет одиннадцать-двенадцать.

— Короче говоря, — закончила госпожа учительница, — искалечите вы дочь. И не ждите для нее ничего хорошего. Несчастная девочка... Втянули вы ее в омут...

Мне кажется, горе, разрывавшее тогда мое детское сердце, было сильнее, чем теперешняя боль от смерти матери и от разлуки с Вами.

Утром наш пароход прошел через пролив Иё-нада. Море было абсолютно спокойным, лучи солнца, падавшие в каюту сквозь стекла иллюминатора, грели так сильно, что я сняла жакет. И все равно было жарко, даже в одной блузке. А потом, в полдень, мы зашли в порт Бэппу. Какое удивительное зрелище! Порт опоясан горами, они тянутся справа налево и словно обнимают море. В середине водная гладь, а горы как огромные застывшие волны. Такое я видела только на декоративных панно.

Приняв любезное предложение моей попутчицы, я остановилась в гостинице на горячих источниках Канкайдзи. Источники Канкайдзи расположены довольно высоко в горах, и прямо из окон купальни открывается великолепная панорама порта и города. Все здесь удивительно — я и не знала, что существуют на свете горячие источники, словно бы парящие в воздухе над удивительно светлым простором земли.

Я совершила поездку на автобусе по окрестностям — по «аду». Билет стоит сто иен, осмотр достопримечательностей — еще сто. В «аду» есть частные владения, всего таких владений

пятнадцать или шестнадцать, и существует даже объединяющий их «адский кооператив».

В «аду» есть два озера — «Кровавое озеро» и «Морской ад». Ах, какая удивительная вода в этих озерах! У нее какой-то особый, чарующий и, как мне кажется, мистический блеск. А уж о цвете я и не говорю! Вода в «Кровавом озере» действительно имеет красноватый цвет: на дне густо-алый, словно из глубины струей бьет кровь, а ближе к поверхности — бледно-алый, словно кровь растворилась в воде. Над озером поднимается розоватый пар. А «Морской ад» тоже своего рода чудо. Это озеро назвали так потому, что вода в нем по цвету такая, как в море. Но у настоящей морской воды никогда не бывает такой кристальной прозрачности и такого удивительно чистого голубовато-зеленого оттенка. Я вспоминала эти озера глубокой ночью в гостинице далеко от города. Озера горячего «ада»... Они какие-то неземные, нездешние, эти озера. Словно их напоили источники из царства грез... А мы с мамой блуждали по аду любви... Есть ли в нем такие же прекрасные источники?.. Цвет «адской» горячей воды обвораживает и приводит меня в восторг.

Простите меня, пожалуйста».

3

*«На горячих источниках Судзю на плато
Ханда, 21 октября»*

Сейчас я в гостинице с горячими источниками, находящейся в глубине горного плато. Ночью здесь такой холод! Я замерзаю даже в гостиничном кимоно, надетом поверх свитера. Сажу, съездившись над жаровней. Эта гостиница перестроена после пожара на скорую руку, сёдзи и фусума закрываются неплотно. Конечно, я захватила с собой теплые вещи, предвидя еще в Токио, что мне придется быть высоко в горах. Горячие источники Судзю находятся на высоте тысячи метров над уровнем моря. А завтра мне предстоит подняться еще выше — перейти через перевал, полторы тысячи метров над уровнем моря, и остановиться на других источниках, высота их — тысяча триста метров над уровнем моря. Все понятно, но какая разительная перемена после теплоты в Бэппу, откуда я выехала лишь сегодня утром.

Завтра — горы Кудзю, а послезавтра наконец Такэда. Наверно, и в завтрашней гостинице, и в городке Такэда я буду про-

должать писать Вам это длинное письмо. Что же я хочу сказать Вам, почему пишу? Не путевыми же впечатлениями делиться... Какие слова для Вас подскажут мне горы Кудзю, родина отца?

Возможно, мне захочется сказать Вам слова прощания, хотя я прекрасно знаю, что для меня лучше всего проститься с Вами безмолвно. Кажется, мы с Вами мало разговаривали, но все же сказали друг другу очень многое.

Прошу Вас, простите мою мать!

Эту фразу я повторяла при каждой встрече с Вами, вымаливая прощение для мамы.

Когда я впервые пришла к Вам с просьбой о прощении, Вы, должно быть давно знавший о моем существовании, сказали: «...Вот я и фантазировал, как мы будем с этой девочкой разговаривать о моем отце...»

И еще:

«Если бы наступило такое время, когда мы с вами смогли бы спокойно поговорить о благородстве вашей матери, да и о моем отце тоже, как бы хорошо было, правда?»

Такое время наступило. И такое время безвозвратно утрачено. Если бы мы с Вами когда-нибудь встретились и заговорили бы о Вашем отце или о моей матери, я бы и слова не могла вымолвить, только бы дрожала от раскаяния и позора. Наши родители для нас — запретная тема. Разве такие дети, как мы, имеют право любить друг друга? Я пишу об этом, и у меня наворачиваются на глаза слезы.

С тех пор как госпожа Куримото подвергла меня, одиннадцати- или двенадцатилетнюю девочку, позорной пытке, мне глубоко в душу запали ее слова — у «дяди Митани» есть мальчик. Но я никогда не спрашивала «дядю Митани» о его мальчике. Казалось, об этом говорить нельзя. Маленькая гимназистка очень хотела знать, сколько лет мальчику, взяли ли его на войну, но спросить об этом не осмелилась. Никогда, ни разу.

Ваш отец часто бывал у нас даже в самые страшные дни, когда усилились воздушные налеты. Я провожала его домой. Мне было очень страшно — вдруг с ним что-нибудь случится и его мальчик останется без отца, как я... Если подумать, даже смешно немного: я ведь сама уже выросла, а мальчик был старше, его могли взять в солдаты, но я все равно думала о нем, как о маленьком мальчике. Почему? Наверно, первое впечатление — сообщение госпожи Куримото о существовании этого мальчика — было очень сильным и глубоко врезалось в мою память.

Мама была человеком неприспособленным, и разъезжать в поисках продуктов приходилось мне. Помню, однажды в толпе, штурмовавшей поезд, я увидела красивую женщину и буквально прилипла к ней. Разговорились, кто куда едет, какие продукты ищет. Потом она стала рассказывать о себе.

— А я содержанка...

Красавица была откровенна со своей случайной попутницей-гимназисткой. А гимназистка в ответ на откровенность:

— А я... дочь содержанки...

Женщина очень удивилась:

— Да что вы?! Как хорошо, что вы уже почти взрослая.

Она, кажется, неправильно поняла смысл моих слов «дочь содержанки», неправильно в отношении моего отца. Но я ничего не сказала, только покраснела до корней волос.

Она меня очень жалела. Потом мы с ней часто встречались, условившись вместе ездить за продуктами, и ездили иногда очень далеко. Однажды привезли рис из ее родной деревни в префектуре Ниигата. Я не могу забыть ее.

«Почти взрослая...» А теперь я уже совсем взрослая. Ну и что? Ничего хорошего. Теперь даже и поговорить с Вами — о Вашем отце и моей матери — невозможно...

Доносится шум водопада на горячих источниках. Купающиеся становятся под удары горячих струй, что здесь называется «побиться». Помогает от онемения и болей в мышцах, поэтому, верно, и источник назвали «Судзюю» — «Мускульный».

В здешней гостинице своей купальни нет, купаются в большой общественной купальне в глубине долины между горами Ваитаяма и Куроивасан.

К ночи свежеет, с гор опускается ночной воздух. А я сегодня видела прекрасный багрянец осенней листвы. Такой живой, глубокий цвет, ничуть не похожий на фантастические краски озер царства грез в Бэппу. Горы Юфу-гатакэ, на которые открывается вид с высокого плато Дзёсима, были очень хороши, но их не сравнить с потрясающей картиной, развернувшейся передо мной на плато Ханда, по дороге от станции Накамура. Когда мы, преодолев все тринадцать поворотов, поднялись на плато, я обернулась назад и увидела утопающее в золотой листве ущелье Кусуй. Из-за вершины горы били лучи солнца, но не очень яркие, а смягченные синеватыми тенями в складках горы. В этих мягких лучах золото листвы было смуглым, а багрянец особенно ярким. Закатное солнце, выглядывавшее из-за плеча горы, придавало осенней листве особую прелесть.

Думаю, завтра на плато и в горах, куда я направляюсь, будет хорошая погода. Желаю Вам спокойной ночи из далекой гостиницы в горном ущелье. Вот уже три дня, как я в пути, и мне не снятся сны.

Последние три месяца, прошедших с той поры, как была разбита чашка сино, я жила у подруги и ужасно мучилась от бессонницы. Мои бессонные ночи громоздились, как эти горы. Подруга, должно быть, страшно устала от меня, слишком уж много хлопот я ей доставила. Это она ходила за моими вещами в ту комнату, за парком Уэно.

Она рассказала мне, что Вы — конечно, это были Вы, кто же еще! — приходили туда на следующее утро и расспрашивали обо мне. Но все же я не могла сказать ей, почему я убежала и скрываюсь от Вас.

— Я не имею права любить этого человека...

Больше я ничего не сказала.

— Но он же любит тебя! Знаю я эти разговоры — «не имею права любить». Когда женщина говорит эти слова, она чаще всего либо лжет, либо кокетничает... Ладно, будем считать, что ты не врешь.

Наверно, моя подруга хотела сказать, что каждый человек имеет право любить другого человека. Может быть, это и так... Да, это так, если решить умереть, как мама...

Но Вы-то знаете, до какой крайности я была доведена или дошла сама. Вы знаете, как я хотела, чтобы моя мама после смерти стала прекрасной. До сих пор не пойму, почему я поступала так, а не иначе. Что это — случайность? И вообще, что такое случайность? Трудно судить о собственных поступках, и, наверно, еще труднее судить о твоих поступках другому, который видит все со стороны. Может быть, это слово «случайность» возникает от неполного понимания?.. Или о случайности говорят тогда, когда бог и судьба даруют человеку прощение?

Нехорошо говорить об этом, но у моей подруги уже был грех до того, как все случилось со мной. Наверно, поэтому я и обратилась к ней за помощью. И она сразу все поняла, то есть поняла прямую причину моего состояния. Но мое отчаяние, водоворот раскаяния, круживший меня как соломинку, — это было выше ее понимания.

А потом я стала приходиться в себя, даже повеселела немного. Не знаю, может быть, я пошла в маму, может быть, беспечность и легкомыслие у меня в крови... Так или иначе, но я стала

выздоровливать, и подруга отпустила меня одну в это путешествие.

По сравнению с жизнью вдвоем с мамой или с моей одинокой жизнью после ее смерти путешествие, пребывание в разных гостиницах кажутся мне чуть ли не верхом успокоения и беззаботности. Но все же по ночам бывает очень тоскливо и пусто, потому я и начала писать это письмо. С тех пор прошло три месяца, и вдруг я заговорила. Почему?»

4

*«На горячих источниках Хоккэин,
22 октября*

Сегодня я перешла через перевал Сугамори на высоте тысяча пятьсот сорок метров и сейчас нахожусь в гостинице на горячих источниках Хоккэин, высота — тысяча триста три метра. Более половины пути осталось позади. Завтра спущусь в городок Кудзю, а оттуда — прямо в Такэда.

К вечеру я почувствовала себя немного усталой. Должно быть, от длительного пребывания под лучами высокогорного солнца и от перенасыщенного парами серы воздуха. Здешний источник содержит много серы, а кроме того, как говорят, гора у перевала Сугамори буквально «дышит» серой, и, если ветер дует в лицо, пары проникают в легкие. Говорят, серебряные часы чернеют здесь за один день.

Вчера утром было всего пять градусов тепла, а сегодня — четыре. Сегодня ночью, сказали мне в гостинице, будет еще холоднее. Не знаю, когда они проверяют температуру, но, возможно, перед рассветом ртуть в термометре падает до нуля.

К счастью, мне дали хороший, уютный номер на втором этаже флигеля. Рамы здесь двойные, надежно защищающие от холода. Гостиничное ватное кимоно толстое, а в хибати много горячих углей. Гораздо веселее, чем вчера в Судзю.

Гостиница Хоккэин стоит одиноко в горах. Сюда не доставляют ни писем, ни газет. До ближайшей деревни три ри, до ближайшего дома — полтора. Детей школьного возраста здешние жители устраивают на время учебы в деревне, потому что до начальной школы далеко, тоже около трех ри.

У хозяев гостиницы двое детей — мальчик шести лет и четырехлетняя девочка. Их бабушка зашла ко мне в номер посидеть, наверно потому, что я женщина и приехала одна. Дети

пришли с ней и все время воевали — кому сидеть на коленях у бабушки. Сначала место заняла девочка, уселась верхом, обхватила старуху ручонками за шею. Брат попытался ее столкнуть, она на него кинулась, и началась страшная возня. Ребята пищали, гонялись друг за другом. Очень славные малышки, у мальчика прекрасные глаза, но у девочки еще лучше — огромные-преогромные и дерзкие, а личико волевое. Нет, правда, удивительные глаза у этой девчушки! И такая в них дерзость, как у туго натянутого лука. А уж яркость — просто описать нельзя! Может, это горное солнце влило свой блеск в детские глаза?..

— Значит, у вас тут нет поблизости соседей,— сказала я.— Детишкам и поиграть не с кем.

— Не с кем. У соседей есть дети, но далеко они, соседи-то, около трех ри до их дома.

Она рассказала, что, когда родилась девочка, мальчик сказал: «Раньше я спал с мамой, а теперь пришла девочка и отняла маму». А до рождения сестренки он говорил: «У нас родится ребеночек, и мы будем спать с ним рядышком».

Но после рождения девочки ему пришлось спать с бабушкой.

Вот так и растут эти дети с яркими большущими глазами в одиноком доме в горах. Впрочем, не знаю, может быть, зимой хозяйка заколачивают гостиницу и переселяются пониже, в деревню. Очень славные дети, красивые, круглолицые.

И я вдруг подумала о себе — я была единственным ребенком.

В детстве я не замечала этого, росла и росла, всегда одна, с самого рождения. То-есть не то чтобы не замечала, а, наверно, привыкла. А позже, в гимназии, у меня порой появлялось сентиментальное желание иметь старшего брата или младшую сестренку, но желание это быстро проходило. Когда скончалась мама, я позвонила Вам и сделала Вас соучастником в сокрытии истинной причины ее смерти. Нехорошо получилось, словно Вы действительно виноваты в том, что она умерла. Я только сейчас об этом подумала, задним числом. Был бы у меня старший брат, я бы Вам не позвонила, да и мама, может быть, не умерла бы. Во всяком случае, я бы не испытала такого горя и такой глубины греха. Просто не могу прийти в себя — так меня поразила эта внезапно вспыхнувшая мысль. Я, единственный в семье ребенок, всю жизнь мечтала о товарище, о друге, потому так и потянулась к Вам, приласкалась душой... К Вам — к кому я не имела права приласкаться.

Я, единственный ребенок, сейчас сижу в одинокой горной гостинице и жажду, жажду увидеть моего старшего брата. По-

звать бы его, несуществующего и никогда не существовавшего! Пусть не старший брат, пусть будет младший или старшая сестра... Лишь бы родной человек... Смешно, наверно, что мне хочется позвать не рожденных на свет братьев и сестер...

Единственный ребенок... Кстати, Вы ведь тоже единственный. И об этом я раньше никогда не думала. Когда Ваш отец приходил к нам, он, разумеется, не говорил, что у него единственный сын, — Ваша семья была для нас запретной темой, — но однажды он сказал:

— Скучно тебе одной, хорошо бы маленького братика или сестренку.

Я побелела как полотно, с трудом уняла дрожь.

А мама:

— И правда! Вот и Оота, умирая, очень жалел ее. Страдал... Говорил, плохо ей будет одной, девочка ведь...

О простодушная моя мама! Но и у нее, кажется, перехватило дыхание, когда она заметила мое состояние.

Я в этот миг испытывала и ненависть и страх. Мне было уже лет пятнадцать, и я все отлично понимала. Мне показалось, что Ваш отец говорит о будущем ребенке, о моем брате или сестре от него! Я содрогнулась — у ребенка будет другой отец, не мой!.. Теперь, оглядываясь назад, я думаю, ничего такого не намечалось, просто во мне заговорила излишняя подозрительность. Ваш отец, произнеся эти слова, скорее всего думал о Вас — единственном сыне. Или пожалел нас с мамой — одиноких, не имевших никого на свете. Но тогда я была в страшном состоянии. Решила: если родится ребенок, убью. Ни до, ни после мне никогда не приходила мысль убить человека. Но тогда я, наверно, действительно могла бы убить ребенка. Не знаю, что это было — ревность, ярость, ненависть... Или вопль детской души, такой еще чистой. Мама, по-видимому, что-то почувствовала.

— Мне по руке гадали, сказали, что у меня будет только один ребенок, — сказала мама. — Да и зачем мне второй? Она у меня такая хорошая, добрая, что и десять детей ее бы не заменили.

— Это-то верно... да... Но единственный ребенок обычно замыкается в себе, растет одиноким и потом всю жизнь стремится к одиночеству. Трудно ей будет общаться с людьми...

Возможно, Ваш отец сказал так потому, что я угрюмо молчала. Я вообще избегала Вашего отца, старалась не глядеть на него, не разговаривать с ним. А ведь я не была букой, напротив — была жизнерадостной девочкой, характером в маму. Но

как бы я ни разыгралась, ни распутилась, стоило появиться Вашему отцу, и я мгновенно замолкала. Наверно, мама страдала от моего молчаливого детского протеста. А Ваш отец совсем и не хотел меня обидеть в тот раз, просто он подумал о Вас, единственном в семье сыне.

Но что было бы, если бы тогда у моей матери родился ребенок, тот самый, которого я собиралась убить? Ведь это был бы и мой и Ваш младший брат. Или сестра.

Какой ужас!

Почему у меня опять эти болезненные мысли? Ведь я путешествую и природа очищает меня. Я сегодня шагала по плоскогорью и через перевал. И была такая хорошая погода...

— Великолепная погода, не правда ли?..

— О да!..

Сегодня утром, вскоре после того, как я вышла из Судзю, я услышала эти слова. Ими обмениваются здешние крестьяне вместо приветствия. И говорят они не «хорошая» погода, а именно «великолепная». Это своеобразное приветствие вдруг миrotворило мое сердце.

Погода была действительно великолепной. Вдоль обочины дороги росла трава — то ли мискант, то ли другая какая степная трава. Метелки у нее отливали серебром в лучах утреннего солнца. Слева, у подножия горы, возвышались криптомерии, между стволами синели глубокие тени. На рогоже, разостланной на меже у рисового поля, сидел маленький ребенок в красном кимоно. За его спиной лежали игрушки и еда в белом мешочке. Мать жала рис. Здесь бывают ранние заморозки, и рис стараются посадить пораньше. Говорят, жгут костры на полях, когда наступает время посадки. Но в это утро природа излучала тепло и свет. Ребенка посадили на межу, чтобы он погрелся на солнышке. А я сняла теплую обувь и надела легкие брезентовые туфли на резиновой подошве. И мне казалось, что всегда будет тепло и всегда можно будет ходить налегке.

Наверно, из Судзю можно подняться к перевалу по альпийским дорогам и горным тропинкам, но я решила выйти к Ханда, где почта и школа, и оттуда идти по центру плоскогорья, чтобы любоваться горами Кудзю. Этот путь легче, да и ноги не так устанут, ведь на горы взбираться не надо, надо шагать по равнине до перевала Сугамори, перейти через него и спуститься в Хоккэин.

Кудзю — общее название горной цепи, объединяющей целый ряд вершин. Вот они, с востока на запад: Курогатакэ, Тайсэн-

дзан, Кудзюсан, Миматаяма, Куроивасан, Хоссёдзан, Рёсигатаке, Ваитаяма, Итимокусан, Сэнсуйсан. К северу от них тянется высокогорная равнина Ханда.

К северу от них... Ну да, вся равнина Ханда находится к северу от этих гор. Но гора Ваитаяма, например, на западе и гора Куэхира на востоке и еще другие горы словно поддерживают равнину и поднимают ее высоко-высоко, и равнина, округлая, как бы плывет, парит в воздухе, будто и на самом деле вдруг всплыла здесь с неведомого дна сказочно прекрасная страна. Горы — в золотой листве, колышущиеся метелки мисканта — серебристо-белые, но все равно кажется, что по равнине перекатываются бледно-сиреневые волны. Высота равнины тысяча метров, поперечник ее — восемь километров и с юга на север, и с востока на запад.

Я пересекла равнину с юга на север. Примерно на середине пути, когда вокруг раскинулся широкий простор, вдали между горами Миматаяма и Хоссёдзан показался легкий дымок. Это дымилась гора Ивосан. Небо было чистое, лишь над вершиной Ваитаяма плыл лоскут белого облачка. Я была счастлива — ведь еще в Токио я мечтала о «великолепной погоде» на плоскогорье Ханда.

Пейзаж здесь удивительно мягкий, лирический. Воздух прозрачен, краски чистые. Все, кто побывал в этих местах, называют равнину Ханда «романтической». Так оно и есть, хотя мне почти не с чем сравнивать, до этого я видела только альпийские луга Синано. Но здесь так спокойно и красиво. Нежность, свет, простор, далекая и близкая даль. Равнина ластится к путнику, обволакивает его. Силуэт возвышающихся на юге гор мягкий, благородный. Меня пленили круглые, похожие на застывшие волны горы, обнимающие порт Бэппу. Но и здесь горы совершенно особенные. Если глядеть на цепь Кудзю с равнины Ханда, вершины чаруют какой-то особой гармоничностью, задушевностью, поразительной при их высоте. Ведь высота Кудзюсан — тысяча семьсот восемьдесят шесть метров, это самая высокая гора на Кюсю. Вторая по высоте — Тайсэндзан. Эти горы еще прячутся вдали, но и Миматаяма и Хоссёдзан тоже очень величественны, обе более тысячи семисот метров. Таких высоких гор здесь около десятка. Но здешние горы не подавляют своей суровостью: все они высокие, между ними нет резкого контраста, да и смотришь на них с плоскогорья высотой в тысячу метров. И здесь очень светло — сторона ведь южная, и море не так уж далеко.

Примерно на середине пути я сделала привал. Дойдя до луга Тёдзябара, уселась под соснами и долго отдыхала. Сосны стоят на лугу отдельными стайками. Я отыскала семью сосен, окруженную высокой травой. Потом прошла еще немного и вновь отдохнула, съела свой обед — было уже около двух часов. Кругом шелестела и колыхалась трава. Золотистая, но все же разных оттенков. Под прямыми лучами солнца у нее один цвет, а если смотреть с того места, где я сидела, ее цвет под встречными лучами неуловимо менялся. У каждой горы тоже свой особый оттенок. У меня возникло такое чувство, словно я сижу в лазурном чертоге природы и смотрю на огромный мир сквозь цветные витражи — вспыхивающие багрянцем и золотом горы.

— Боже мой, боже мой, как хорошо!

Это я произнесла вслух. На моих глазах выступили слезы, и серебристая рябь на стеблях мисканта затуманилась. Слезы не оскверняли печаль, они ее смывали. Я пришла сюда, на родину отца, чтобы, любя Вас, расстаться с Вами. Пусть слезы смывают мое прошлое — грех и раскаяние, иначе я не смогу расстаться с Вами. Не смогу начать новую жизнь. Но я все равно думаю о Вас. Здесь, на высокогорной равнине, такой далекой от всего, что со мной было. Думаю о Вас, простите меня! Думаю, чтобы расстаться. Позвольте мне думать о Вас. Шагать по равнине, любоваться горами и думать, думать о Вас.

Я сижу в тени сосен, и мои мысли устремляются к Вам. Я застыла, мне не хочется шевелиться. Ах, если бы вознестись на небо, сейчас, в этот светлый миг! Ведь я же в небесном чертоге. И, замирая от восторга, я начала молиться о Вашем счастье. Женитесь на Юкико-сан!

Да, я это сказала! И простилась с Вами.

Хотя мне, должно быть, никогда не забыть Вас, по каким бы ни было мое воспоминание — даже горечью, безнадежно уродующей сердце, — я всегда буду считать, что здесь, на высокогорной равнине, я простилась с Вами. Устремилась к Вам и — простилась. С сегодняшнего дня мы — я и мама — навсегда отошли от Вас. В последний раз прошу у Вас прощения.

Простите, пожалуйста, маму!..

С равнины Ханда к перевалу Сугамори обычно поднимаются по дороге, начинающейся у подножия Миматаямы, но я выбрала другой путь — дорогу, по которой вывозят серу. Иодзан — Серная гора — становится тем страшнее, чем ближе к ней подходишь. Даже издали она похожа на вулкан — из-за

серного дыма, постоянно курящегося над ее вершиной. Иодзан совершенно голая, на склонах ни кустика, ни травинки. Горная порода изъедена серой, и камень кажется больной, покрытой язвами плотью. Мрачные серые и коричневые тона наводят на мысль о руинах, о пепелище. На соседней небольшой горе, слева от Иодзан, добывают природную серу. В думаролы опускают цилиндрические трубки и собирают накопившуюся там похожую на сосульки серу. Я прошла по шатким камням мимо места добычи и, чуть не задохнувшись от дыма, с трудом выбралась к перевалу.

Когда, миновав перевал, я спустилась на Кита-Сэнригахама, уже близился вечер. Я обернулась и увидела заходящее солнце, постепенно скрывавшееся за вершиной горы. Оно плыло в густых испарениях серы, в ядовитом дыму и казалось не солнцем, а призраком бледной луны. Но передо мной, впереди, возвышалась гора Тайсэндзан, одетая в парчу осенней листвы, по которой бродили темно-красные блики заката. Я сошла вниз по крутому склону и очутилась у горячих источников Хоккэин.

В этот вечер я много писала. Мне хотелось сообщить Вам о сегодняшнем, не затуманенном никакой печалью дне, о дне, который сопровождал меня после прощания с Вами.

Спите спокойно, без тревоги обо мне».

5

«В городке Такэда, 23 октября

Прибыла в родной город отца.

Уже вечерело, когда я — через туннель в скалистой горе — вошла в Такэда.

С горячих источников Хоккэин я спустилась вниз по плато Кудзю, а из городка Кудзю до Такэда пятьдесят минут езды на автобусе.

Остановилась я в доме дяди. В том самом доме, где родился отец. Удивительно мне было видеть дом, в котором родился отец. Ехала я сюда со смешанным чувством — вроде бы и в чужой, и в то же время родной мне город, а как увидела дядю, похожего на отца, сразу отчетливо вспомнила лицо отца — впервые за последние десять лет, и показалось мне, бездомной, что у меня есть дом.

Дядя удивился, услышав, что я из Бэппу добиралась до Такэда через Кудзю. Наверно, подумал: смелая девушка, не по-

боялась одна путешествовать по горам и ночевать в гостиницах на горячих источниках. Мне хотелось увидеть эти горы, и все же поехала я в Такэда не без колебаний. После смерти отца мы отделились от его родных, мама чувствовала себя виноватой и не осмеливалась взглянуть им в глаза.

— Что ж ты не послала телеграмму с парохода? Я приехал бы в Бэппу тебя встретить. Тут ведь недалеко,— сказал дядя.

Я написала дяде письмо, что хочу приехать, но о телеграмме даже не подумала — не такие у нас отношения, неудобно мне было его беспокоить.

— Сколько тебе было лет, когда отец умер?

— Десять.

— Десять, говоришь...— Дядя посмотрел на меня.— Знаешь, ты вылитая мать. Я не так уж часто с ней встречался, но, посмотрев на тебя, сразу ее вспомнил. Впрочем, с отцом у тебя тоже есть сходство... Вот уши, например, похожи. Да, да, и у брата и у всех нас — Оота — такие уши...

— А я, дядя, сразу вспомнила папу, как только увидела вас.

— Н-да...

— Захотелось мне вас навестить перед тем, как пойду работать. А то потом уж не до поездок будет...

Я нарочно это сказала. Мне не хотелось, чтобы дядя думал, будто я приехала к нему поплакаться и попросить совета, как жить дальше мне, одинокой. Родственники ведь не сочли нужным выразить соболезнование, когда умерла мама. Правда, с Кюсю они все равно не успели бы на похороны, да и похороны были не совсем обычные, вроде бы тайные. Мне хотелось только одного — побывать на родине отца, вспомнить о нем, обычном, душевно здоровом человеке, перейти к этим воспоминаниям после болезненных, похожих на омут, воспоминаний о матери. И все же было что-то печальное в моем приезде — так беглец прячется в никому не известном убежище.

Сегодня утром в Хоккэине я немного проспала.

— Доброго вам утра! — приветствовала меня хозяйка гостиницы и стала извиняться за детей. Они с раннего утра возились внизу и, как обычно, «бунтовали», и она подумала, что шум разбудил меня, помешал спать. А я-то спала крепким сном и ничего не слышала.

Девчушка с дерзкими глазами вместе с бабушкой пришла ко мне в номер и прислуживала за завтраком. Оказывается,

рано утром она упала в речку с моста, соединяющего главный корпус гостиницы с флигелем. Высота порядочная, около пятнадцати сяку, но упала, к счастью, удачно — между тремя валунами. Девочка была на волосок от смерти. Когда ее вытащили, она закричала:

— Ой, мой гета! Мои гета уплыли!

Потом она расплакалась. Утешая, взрослые начали ее поддразнивать — вот, мол, упадешь еще разочек и тогда... А она:

— Не, больше не хочу, платье жалко!

На берегу речушки, на камнях, сушилось ее кимоно из темносинего касури¹ и ватная красная безрукавка с рисунком бабочки и пиона. Красная безрукавка, теплое утреннее солнце... Какая благодать, как хорошо жить! Девочке необыкновенно повезло — она упала между тремя валунами в такое узкое пространство, что там едва-едва мог уместиться ребенок. Она как раз и уместилась, а упала она чуть левее или правее, убилась бы насмерть или в лучшем случае осталась бы калекой на всю жизнь. Но сейчас девочка уже обо всем забыла. Это и естественно — дети, пережив опасность, больше о ней не думают. А я думала, и мне казалось, что это вроде бы уже другой ребенок, а не тот, который упал.

Я не уберегла маму, но сама осталась жить. Что-то сохранило мне жизнь. Очевидно, в среде человеческого греха и бесчестья есть такое же спасительное место, как здесь, между этими камнями, куда упала девочка. Да, я об этом думаю и теперь еще больше молюсь о Вашем счастье.

Покидая Хоккэин, я погладила девочку по густым, коротко остриженным волосам. Стало тепло на душе от прикосновения к головке чудом спасенного ребенка, словно я приобщилась к его счастью.

Я пошла по котловине Богацуру, любясь непередаваемо прекрасной осенней листвой на склонах горы Тайсэндзан. Богацуру лежит между горами Миматаяма, Тайсэндзан, Хэйдзигатакэ и другими. Миматаяма я сегодня видела с другой стороны, чем вчера.

Потом моим взору открылась хижина Общества альпинистов, прятаясь в кустарниковых зарослях. Там, в этих зарослях, рос прелестный вереск, чуточку похожий на кукушкин лен. Он невысокий — росточком около двух-трех сун. Нашлась и брусника. Меня еще раньше заинтересовали черные пятна

¹ Дешевая хлопчатобумажная ткань.

среди золотой листвы на склонах Тайсэндзан. Оказывается, это рододендроны. Говорят, есть рододендроны, раскинувшие свою крону на целых шесть дзё. В самой котловине Богацуру тоже много туполистных рододендронов. А мискант здесь какой-то удивительно низенький, метелки очень маленькие.

Говорят, сегодня утром на вершинах температура упала до нуля, но в Богацуру стояла настоящая жара. Казалось, красно-золотая листва помогает солнцу согреть котловину.

Прогуливаясь по Богацуру, я сделала крюк и вернулась назад, ближе к гостинице — отсюда удобнее всего подняться на перевал Хокодатитогэ, по другую сторону которого находится впадина Садокубومی. Здесь, внизу, по краям озера Садо много засыхающего осота. Дальнейший мой путь проходил по косо-гору Набэваридзака, все вниз и вниз. Когда выходишь к развилке Кутамивакарэ, открывается вид на плато Кудзю. Спускаясь по Набэваридзака, я шла по узенькой каменистой тропинке сквозь смешанный лес. Тишину нарушало лишь шуршание опавших листьев под моими ногами.

Ни с кем я не встретилась, и шум собственных шагов казался мне поступью самого одиночества, шагающего по телу природы. На склонах горы Симидзудзан — она возвышается слева от развилки Кутамивакарэ — пламенела листва во всей своей буйной красоте. Говорят, отсюда хорошо видны пять вершин Асо, но сегодня их скрывали облака, лишь гряды Сомо и Катамуки едва заметно проступали сквозь дымку. Плато Кудзю — это степь, раскинувшаяся на двадцать километров и переходящая у северного склона Асо в луга Наминогахара. Горы Кудзю высились где-то далеко за моей спиной, их вершины тоже были окутаны облаками. Я вступила в море мисканта — здесь он высоченный, в рост человека, — и, миновав пастбище, вышла к городку Кудзю.

У южного въезда в Кудзю есть древний буддийский храм, наполовину развалившийся, с редким названием «Икарадзи» — храм Кабана, Оленя и Волка. Икарадзи и Хоккэин — священные места, у них многовековая история. Да и сами горы Кудзю считаются священными. И у меня появилось такое чувство, словно я прошла по священной земле и совершила нечто хорошее.

В доме дяди все уже спят, и мне неудобно допоздна сидеть и писать письмо, как в гостинице.

Спокойной ночи!»

«В городке Такэда, 24 октября»

На станции Такэда каждый раз, когда отправляется поезд линии Хохисэн, проигрывают пластинку «Луна над развалинами замка». Здесь рассказывают, что композитор Рэнтаро Таки написал эту музыку под впечатлением руин замка Окасиро в Такэда. Что-то около двадцатого года правления императора Мэйдзи¹ отец Таки приехал в эти места на должность начальника уезда. Рэнтаро учился в Такэда в начальной школе повышенного типа со старой системой преподавания. Должно быть, мальчик часто ходил играть среди развалин замка.

Рэнтаро Таки умер в тридцать пятом году правления Мэйдзи² совсем еще молодым — ему было двадцать пять лет. Всего на три года старше, чем я сейчас...

Помню, в гимназии мы с подружкой говорили: «Хочу умереть двадцати пяти лет». По-моему, это говорила она, а может быть, и я. Теперь мне кажется, что я.

Автор стихов «Луна над развалинами замка» Бансуй Цугий скончался в этом году, и в Такэда среди руин замка Окасиро незадолго до моего приезда состоялся вечер, посвященный его памяти. Рассказывают, что автор музыки и автор стихов однажды встретились в Лондоне. Было это давно, во времена детства моего отца. Может быть, именно эта встреча на чужбине молодого музыканта и поэта послужила толчком к созданию «Луны над развалинами замка», а может быть, и нет. Я не знаю. Да это и неважно — все равно они оставили нам прекрасную песню. Нет человека, который не пел бы «Луну».

А что я оставлю после единственной встречи с Вами?

Гениального, как Рэнтаро Таки, ребенка...

Так я вдруг подумала и сама поразилась. Я сейчас на родине отца, может быть, поэтому мне приходят в голову такие фантастические мысли и я осмеливаюсь писать Вам об этом. Знаете ли вы, что происходит с женщиной от подобных мыслей, от опасений, от неизвестно откуда нахлынувшей радости? Она начинает трепетать. А у Вас в душе бывало ли когда-нибудь такое беспокойство, как сейчас у меня? Как странно — совершенно неожиданный для меня трепет. Я вдруг почувство-

¹ 1887 год.

² 1902 год.

вала себя женщиной. Я раз мечталась, что было бы, если бы... Наверно, я бы скрыла от Вас ребенка и воспитала бы его одна. Я уже чувствую в себе такую решимость. И знаете почему? Да потому, что для меня, дочери своей матери, это было бы неизбежным роком. Пустая решимость, пустые мысли. Вас это удивляет? А я, женщина, лишь подумав об этом, извелась, истомилась. Впрочем, все скоро прошло.

Просто вспомнился мне мой тогдашний сердечный трепет, когда на станции Такэда заиграли «Луну над развалинами замка».

Четыре стороны — все страны света —
огородили цепью диких гор
и положили в середину
притихший городок Такэда
и неумолчный шум осенних вод.

Песню я услышала сегодня утром, когда вышла прогуляться по городу. Я шла по мосту, над «шумом осенних вод», и вдруг — песня. На станции проигрывали пластинку. Вчера я ее не слышала — я ведь приехала из Кудзю на автобусе.

Я дошла до станции, привлеченная музыкой, потом вернулась на мост — река как раз против станции. Песня все еще звучала, я постояла немного у парапета, глядя на быстро бегущую воду. Слева, вверх по течению, берег пологий, но сильно изрезанный. Всюду скалы, а между ними лепятся крохотные домишки, настоящие лачуги. У подножия одной скалы женщина стирала белье. За станцией возвышается скалистая стена, по ней водопадами сбегают тонкие струйки воды. Дальше, на горе, пышно раскинулись деревья, полыхающие осенним пожаром. Листва только кое-где сохранилась зеленой.

Я шла по городу моего отца и думала о Вас. Теперь я уже его знаю, этот город. Он очень маленький. Вчера, в сумерках, когда я приехала, я и не заметила этого. Просто удивительно: в какую сторону ни пойдешь, наткнешься на отвесную скалу. У меня такое ощущение, словно меня взяли и положили в середину между четырьмя скалистыми горами.

Вчера, когда дядя закуривал, я обратила внимание на спичечную коробку. На этикетке было напечатано «Сиреневые горы, прозрачные воды и такэдские красавицы».

Я рассмеялась.

— Совсем как в Киото!

— А что? Это верно! Мы раньше так говорили: «Такэдские

красавицы». Здесь с древних времен процветает югей¹, ну хотя бы игра на кото, чайная церемония и прочее... А что касается воды, она у нас удивительная — хорошая, чистая. Заметила канальчики у домов? Они называются «идэ», потому что вода в них не уступает колодезной. Бывало, в детстве мы с твоим отцом по утрам полоскали этой водой рот. И посуду в идэ тогда мыли.

Такэда действительно чем-то напоминает Киото. Хотя бы обилием храмов. В маленьком городке с населением всего десять тысяч более десяти буддийских храмов и около десяти синтоистских.

— Впрочем, сейчас, — продолжал дядя, — красавицы у нас перевелись...

И он перечислил красавиц, живших некогда в Такэда и уехавших в Токио.

Мой дядя не совсем прав. Прогуливаясь по улицам, я видела красивых, со вкусом одетых женщин. Когда я подошла к туннелю на окраине города — с моей стороны скала была багряной от осенней листвы, а там, у выхода, зеленой от покрывавшего ее мха, — мне навстречу попала красивая девушка в белом свитере, выглядывшая очень эффектно на зеленом фоне.

В центре Такэда — торговая асфальтированная улица с редкими гирляндами фонарей. Но стоит лишь свернуть в сторону, как попадаешь в старинный провинциальный городок с тихими улочками, с сараями и заборами, прочно сколоченными из пропитанных дегтем досок, дома тут с амбарами каменной кладки или глинобитными, выкрашенными в белый цвет. Но оказывается, почти все здесь построено заново: в десятом году правления Мэйдзи², во время войны Севера и Юга, город сгорел дотла. Уцелело только несколько зданий в нагорной части. Вернувшись домой, я вновь завела разговор о Такэда.

— Неужели, Фумико-сан, — удивилась тетя, — вы уже успели облазить все наши закоулки?

Действительно, я все осмотрела за полдня. Все здешние достопримечательности: дом, в котором жил Таномура Тикудэн, тайная молезна кариштан³ на месте особняка Табусэ, колокол «Сантьяго» в синтоистском храме Накагава, синтоистский

¹ Югей — легкие жанры японских изящных искусств: музыка, пение, танцы, икэбана и чайная церемония. Обычно японские девочки обучаются всем этим искусствам.

² 1877 год.

³ Название первых японских христиан средневековья.

храм Хиросэ, руины замка Окасиро, водопад Уодзуми, буддийский храм Хэксун.

Оказывается, большинство жителей Такэда до сих пор почти-тельно называют Тикудэна «Тикудэн-сенсей». Дорога, по которой я вчера приехала из Кудзю, — старинный тракт. По этому тракту некогда разъезжали феодалы с пышной свитой, ученые и художники провинции Бунго, такие, как Тикудэн и Хиросэ Тансо. Здесь проехал в Рай Саньо, направлявшийся к Тикудэну. В бывшем доме Тикудэна сохранился чайный павильон, где они с Рай Саньо наслаждались чаем. В саду, между этим павильоном и домом, стоит банановое дерево с пожелтевшими сломанными листьями. Рядом с ним павлония, тоже желтая. На деревьях яркие солнечные блики. Сохранился и огород, овощами с которого Тикудэн, по преданию, потчевал Рай Саньо. При доме-музее великого художника новое здание картинной галереи. Здесь есть комната для чайной церемонии. Мне рассказали, что порой, когда ценители искусства собираются сюда запросто попить чаю, в этой комнате вывешивают свитки-полотна Тикудэна в стиле Южной школы.

Тайная молезна кириштан близко от дома Тикудэна. Это довольно просторная пещера, выдолбленная в скале, скрытой зарослями бамбуковой рощи. На колоколе «Сантьяго» выбита надпись «1612. SANTIAGO HOSPITAL». Владелец старинного замка в Такэда был кириштаном.

Во дворе усадьбы Тикудэна стоит садовый фонарь орибэ. За каменной оградой усадьбы есть тропинка, и, если идти по ней вверх, вправо, а потом перейти на сторону, противоположную ограде, и свернуть влево, выходишь к особняку, где, как говорят, живут потомки Фурута Орибэ. Я только посмотрела на него, и у меня забилось сердце. Предание гласит, если не ошибаюсь, что сын Фурута Орибэ приехал в Такэда и поселился в самурайском квартале, на улице Камидонотэ.

Не могу забыть! Когда я впервые увидела Вас на чайной церемонии в храме Энкакудзи, Юкико Инамура, собираясь подать Вам чай, спросила:

— А в какой чашке?

— На самом деле, в какой? Пожалуй, лучше всего в этой вот орибэ.

Госпожа Куримото добавила, что это любимая чашка Вашего отца, которую он ей подарил. Но ведь раньше она принадлежала моему отцу! А после его смерти мама отдала ее Вашему... И Юкико-сан подала Вам чай в этой чашке черного

орибэ, и Вы его выппли!.. Я не осмеливалась поднять глаз, а тут еще мама:

— Мне бы тоже хотелось выпить чаю из этой чашки!

Может быть, мама в тот день выпила яд, заранее приготовленный для нее судьбой?..

Вот уж не думала, что на родине отца буду с такой ясностью вспоминать эту чайную церемонию! Но... если чашка черного орибэ до сих пор находится у госпожи Куримото, прошу Вас, отберите ее, выманите любым путем и сделайте так, чтобы она пропала без вести. Так же, как я — пропала без вести...

Я уже познакомилась с городом отца — в общих чертах, конечно, — и теперь его покидаю. Очевидно, никогда уже я сюда не вернусь. Я писала о нем так назойливо и много лишь потому, что именно здесь, на родине моего отца, мне хотелось сказать Вам последние слова прощания. Скорее всего Вы не получите этого письма, но, если я его все-таки отправлю, знайте — оно последнее.

Я осмотрела и развалины замка Окасино. Это действительно развалины — кроме крепостной стены, ничего не сохранилось. Зато в центре бывшего укрепления возвышается холм, его назначение было, очевидно, стратегическое. Отсюда прекрасно видны все окрестности. Я увидела на фоне ясного осеннего дня горы Сомо и Катамуки, напротив горы Кудзю. Небо было абсолютно чистым, лишь над вершиной Тайсэндзан, в той стороне, где лежит высокогорное плато и перевал, по которым я шла, висело легкое облачко.

Я считала, что окончательно распрощалась с Вами там, в горах, под тенью сосен, среди волнующегося мисканта. А сейчас я вновь и вновь говорю о прощании. Наверно, это кажется своего рода малодушием, желанием оттянуть настоящую разлуку. Нет, нет, такая мысль нелепа для меня, решившей навсегда исчезнуть из Вашей жизни. Я, женщина, найду в себе мужество.

Простите меня, недостойную!

И спите спокойно!

Еще будучи в пути, я написала Вам, чтобы Вы женились на Юкико-сан. Но это, конечно, Ваше дело. Вы вольны поступать, как Вам заблагорассудится. Знайте лишь одно: ни мама, ни я не помеха Вашей свободе и Вашему счастью. И никогда, ни за что не ищите меня.

Шесть дней, на протяжении всего моего пути, я продолжаю

писать о пустяках. Какпе жепщпны пазойливые! Мне, распротившейся с Вами, хотелось, чтобы Вы меня поняли. А теперь я думаю — пустые это слова, и женщине важно другое: быть рядом даже непонятой. Кто знает, о каком понимании я сейчас мечтаю... Может быть, совсем противоположном...»

7

Вернувшись с Юкико из свадебного путешествия, Кикудзи перечитал это письмо. Сейчас он иначе воспринимал слова Фумико, чем тогда, полтора года назад, когда прочитал их впервые.

Но как иначе, для него было неясно. «Пустые слова...»

Кикудзи вышел в палисадник перед домом, где он теперь жил. Ничего похожего на сад — узкое голое пространство, огороженное дощатым забором. Он положил на землю письмо Фумико — довольно объемистую пачку — и поджег его.

Бумага отсырела и горела плохо.

Кикудзи разворошил листочки и все вновь и вновь чиркал спичками. Бумага желтела, чернила Фумико меняли цвет, но на истлевших страницах все еще проступали письма.

— Горите, горите, слова!..

Кикудзи теперь бросал в пламя по одному листочку. Да, письмо сгорит, сгорят написанные чернилами слова... Но все ли он сожжет?.. Повернувшись спиной к дому, Кикудзи скользнул взглядом по забору. В одном месте сквозь щель между досками падало косое зимнее солнце.

— Ну как, благополучно съездили?

Этот голос... Внезапный, как струя ледяной воды... Кикудзи весь похолодел. На галерее стояла Тикако Куримото.

— Да как же вы так?.. Без спросу, без предупреждения... Врываетесь в дом...

— А что делать, если никто не встречает, на стук не отзывается? Вот уж верно так верно: квартиры молодоженов — райское местечко для воров! У вас что, и прислуги еще нет? Впрочем, это неплохо поначалу — пожить вдвоем, в полном уединении. Небось Юкико-сан отлично за вами ухаживает...

— И как вы только узнали!

— Что? Где вы живете-то? Пустяк! Знаете поговорку: «У змея змеиная тропка».

— Вы и есть змея, самая настоящая! — выпалил Кикудзи.

К внезапным появлениям Тикако в общем-то Кикудзи привык,

Когда умер отец, она тоже являлась в их дом незваной, но ее сегодняшнее появление — в этом доме! — пробудило в нем все былое отвращение.

— Я думаю, — как ни в чем не бывало продолжала Тикако, — непосильное это занятие для Юкико-сан — в холода возиться с водой на кухне. Хотите, я буду приходить помогать по хозяйству?

Кикудзи даже не обернулся.

— Что это вы жжете? Письмо Фумико-сан?

Кикудзи сидел на корточках, спиной к ней, остатки письма лежали у него на коленях, и Тикако не могла их видеть.

— Если письмо Фумико-сан, вам, должно быть, жарко. Славное занятие!

— Я, как вы заметили, стал небогат и ни в чьих услугах теперь не нуждаюсь. Особенно в ваших! В ваших, понятно?

— А я и не собираюсь докучать вам. Я свое дело сделала — перекинула мостик между вами и Юкико-сан. Вы и представить не можете, как я счастлива! Теперь-то уж я спокойна, и мне остается только служить вам...

Сунув остатки письма за пазуху, Кикудзи поднялся.

Тикако, стоявшая на самом краю галереи, взглянула на Кикудзи и сделала шаг назад.

— Да что это вы в самом деле? Какое лицо у вас страшное! Я ведь просто... помочь хотела... Небось Юкико-сан еще и вещи свои не разобрала...

— Не ваша забота!

— При чем тут забота! Неужели не понимаете — душа моя так и рвется к вам, жаждет вам услужить.

Тикако бессильно опустила на пол там, где стояла. Ее левое плечо вздернулось. Она тяжело дышала и выглядела испуганной.

— Ваша супруга, Кикудзи-сан, сейчас ведь к родителям поехала? Они там встревожены, что это вдруг вы из свадебного путешествия один в дом вернулись...

— И там успели побывать!

— Зашла поздравить, как же иначе? Если вы недовольны, приношу мои глубокие извинения, — сказала Тикако, внимательно следя за выражением лица Кикудзи.

Кикудзи, подавляя гнев, сказал:

— Да, кстати, та чашка... черный орибэ... все еще у вас?

— Подарок вашего отца? Да, у меня.

— Я бы попросил продать ее мне.

— Хорошо! — Взгляд Тикако, подозрительный, недоуменный, вдруг стал колючим от злости. — Хорошо... Не хотелось бы мне расставаться с этой вещью, все-таки память о вашем отце, но, если вы настаиваете, Кикудзи-сан, пожалуйста, я принесу чашку. Хоть сегодня, хоть завтра... Желаете снова заняться чайной церемонией?

— Прошу принести сейчас же!

— Бегу, бегу, все поняла! Что ж, самое время отведать чаю из черного орибэ, теперь, когда вы сожгли письма Фумико-сан...

Тикако ушла, вытянув шею, словно пробиваясь сквозь какую-то незримую преграду.

Кикудзи снова вышел в палисадник, но руки у него дрожали и спички не зажигались.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ

I

Кикудзи начал замечать, что иногда Юкико, обычно живая и стремительная во всех своих движениях, сидит за роялем с отсутствующим видом.

Рояль в этой квартире выглядел громоздким.

Он был изготовлен в мастерской, к которой Кикудзи с некоторых пор имел отношение. Его отец был акционером фирмы музыкальных инструментов. Во время войны эта фирма, как и все прочие, переключилась на производство оружия. Несколько лет назад один из инженеров фирмы задумал наладить выпуск роялей новой марки. На правах старого знакомого отца он стал захаживать к Кикудзи, рассказывал о своих делах. И Кикудзи после продажи дома вложил деньги в это предприятие.

В его новой квартире сейчас как раз и стоял один из опытных образцов роялей новой марки. У Юкико был рояль, но она подарила его своей младшей сестре и оставила в доме родителей. Родители могли купить младшей дочери другой рояль, и Кикудзи несколько раз говорил об этом Юкико.

— Если тебе на этом рояле неудобно играть, взяла бы свой, старый. Может, ты из-за меня не хочешь, боишься, что обижусь?..

Кикудзи подумал, что Юкико их рояль не нравится, поэтому она частенько и сидит за ним с рассеянным видом.

— Зачем? Этот рояль меня вполне устраивает, — Юкико, ка-

жется, удивилась. — Вообще-то я в этом не очень разбираюсь, но ведь настройщик его хвалил.

Честно говоря, Кикудзи и сам понимал — рояль тут ни при чем. Да и Юкико не настолько хорошо играла, чтобы предъявлять повышенные требования к инструменту.

— А я подумал, он тебе не нравится. Ты ведь часто садишься за рояль и не играешь, а просто сидишь с отсутствующим видом.

— Это не имеет никакого отношения к роялю, — откровенно сказала Юкико и, кажется, хотела добавить еще что-то, но раздумала. — Значит, вам показалось, что я сижу с отсутствующим видом. Когда же это было?

Рояль стоял в гостиной — стандартно, по-европейски обставленной комнате, находившейся внизу, рядом с передней. Ни из столовой, ни из своей комнаты на втором этаже Кикудзи не мог увидеть, как ведет себя Юкико, садясь за рояль.

— Да, я задумываюсь иногда... У нас дома ведь было очень шумно. Посидеть спокойно, подумать возможности не было.

Кикудзи представил себе дом, где выросла Юкико. Там всегда было шумно и весело. Еще бы, счастливая семья — отец, мать, братья, сестры. И полно гостей.

— А у меня, когда я с тобой встречался до женитьбы, содалось впечатление, что ты молчаливая.

— Я? Да что вы, я ужасная болтушка. Правда, правда! Бывало, сидим мы с мамой и младшей сестрой и болтаем без умолку. Ну, не знаю, может быть, из всех троих я меньше говорила. А уж мама совсем молчать не может. Как начнет говорить, при гостях особенно, так и не остановишь. В таких случаях я старалась говорить поменьше, а то даже неудобно как-то. Вам, наверно, тоже надоедала ее светская болтовня. Если подумать, то, пожалуй, при такой матери дочь может стать молчаливой и замкнутой... А вот младшая сестра изо всех сил подражает маме...

— Кажется, твоя мама хотела для тебя более блестящей партии...

— Да, — откровенно кивнула Юкико. — Сейчас я болтаю куда меньше, чем дома, раз в десять, наверно.

— Ну, ты же целый день одна.

— Да, но когда вы приходите домой, я тоже не очень-то разговорчива.

— Зато на прогулках болтаешь очень даже охотно.

И Кикудзи вспомнил их прогулки по вечерним улицам. Юки-

ко говорит без умолку, весело, оживленно. Прижимается к нему, часто сама берет его за руку. Может быть, она испытывает чувство освобождения, когда выходит из дому?..

— Конечно! Ведь мы гуляем вместе, одна я почти не захожу, вот и разговариваю на прогулке. А раньше, когда я возвращалась откуда-нибудь домой, сразу же начинала все с подробностями рассказывать маме, а потом папе.

— Наверно, папе это было очень приятно.

Юкико мгновение пристально смотрела на Кикудзи, потом кивнула.

— Знаете, как забавно это было? Я пересказываю все заново папе, а мама меня перебивает, сто раз переспрашивает одно и то же. А ведь слышала уже! Очень смешно...

Юкико, оторванная от родного дома, от горячо любимой семьи... Вот она сидит здесь, в убогой столовой, с ним, своим мужем... Что она чувствует? Жена до сих пор казалась Кикудзи загадочным существом.

Когда они начали жить вместе, он каждый день открывал в Юкико что-нибудь новое, например крохотную светлую родинку между ресницами.

А ее красиво очерченные губы... Они тоже всегда казались ему какими-то новыми и удивительно невинными. Даже когда он целовал их. Может быть, потому что он не шел дальше поцелуев.

Кикудзи обнимал привыкшую к поцелуям Юкико, и вдруг на глазах у него наворачивались слезы. Ему, ограничивавшемуся одними лишь поцелуями, Юкико казалась существом бесконечно драгоценным и трогательным.

Кажется, Юкико не очень страдала из-за того, что дальше поцелуев и объятий у них дело не доходило. Во всяком случае, не настолько, насколько Кикудзи. Она отвечала на его поцелуи. Наверно, и в этом для нее была чарующая новизна и даже чувство удовлетворенной любви. Другого ведь она не знала.

И Кикудзи порой думал, что в таких отношениях между новобрачными есть даже нечто милое и не стоит ему так уж мучиться из-за неестественности всего происходящего.

Он с изумлением замечал красоту всего окружающего: белизна и зелень овощей — репы и китайской капусты, которые Юкико покупала в лавке, — умиляли его. Разве одного этого не достаточно для счастья? Раньше, когда он жил в своем старом доме со старой служанкой, ему и в голову не приходило заглянуть на кухню, а овощей он просто не видел.

— Вам не было тоскливо жить одному в вашем большом доме? — спросила Юкико вскоре после того, как они поселились в теперешней квартире.

Этот короткий вопрос показался Кикудзи проявлением заботы Юкико о нем. Ее волновало все — как он жил раньше, не тосковал ли один?

Просыпаясь по утрам, Кикудзи вдруг грустнел, если Юкико не оказывалось рядом, хотя это было вполне естественно — она вставала раньше, чтобы приготовить завтрак. Но ему так нравилось смотреть на нее спящую! Он даже старался проснуться пораньше, лишь бы взглянуть на нее. И его вдруг охватывала легкая тревога, если он не видел ее рядом.

Однажды, вернувшись домой перед заходом солнца, Кикудзи с порога спросил:

— Юкико, как называются твои духи? «Принц Макнавелли», да?

— А что случилось?

— Да ничего, просто женщина, с которой я встретился сегодня на фабрике, сказала, как они называются. Бывают же люди с таким тонким обонянием!

— Интересно, как мог запах перейти на ваши вещи... — Юкико уткнулась лицом в пиджак, только что взятый ею у Кикудзи. — А-а, я забыла в гардеробе флакончик.

2

Однажды в конце февраля, когда дождь, ливший три дня подряд, прекратился, перед самым заходом солнца, окрасившим облака в нежно-розовый цвет, в их доме появилась Тикако Куримото. Она принесла чашку черного орибэ.

— Вот принесла памятную вам чашку, — сказала Тикако.

Она вынула ее из двойного футляра, подержала в руках, еще влажных от дождя, полюбовалась и поставила перед Кикудзи.

— Самое время пить из нее чай. Обратите внимание на рисунок — это папоротник-орляк...

— Принесли чашку, когда я уже успел о ней позабыть. Обещали ведь сразу принести, в тот же день. Я уж решил, что вы раздумали.

— Эта чашка предназначается для ранней весны, зачем было приносить ее зимой? Да и не хотелось мне с ней расставаться, знала ведь я, что она ко мне больше не вернется. Странно, на-

верно, вам слышать, если я скажу, что мне трудно с ней расстаться...

Юкико подала простой чай.

— Боже мой, оку-сан, не стоило вам беспокоиться! — церемонно произнесла Тикако. — Ведь вы, оку-сан, всю зиму занимались домашним хозяйством одна, без прислуги, правда? Удивительно, как вы выдержали...

— А нам очень хотелось пожить вдвоем, без посторонних, — ответила Юкико, удивив своей откровенностью Кикудзи.

— Ох, извините уж меня за глупый вопрос, как неудобно получилось! — всплеснула руками Тикако, изобразив на лице полное понимание. — Оку-сан, вы, наверно, помните этот орибэ? Я думаю, у вас с этой чашкой связана масса воспоминаний. Я просто не могла придумать лучшего подарка.

Юкико вопросительно взглянула на Кикудзи.

— Оку-сан, — продолжала Тикако, — прошу вас, пересядьте поближе к хибати и к нам поближе!

— Сейчас!

Юкико пересела к хибати, совсем рядом с Кикудзи. Их локти почти соприкасались.

Кикудзи, едва сдерживая смех — и почему ему вдруг стало смешно? — сказал:

— Нет, подарок меня не устраивает. Я же просил вас продать!

— Как вам не стыдно, Кикудзи-сан! Неужели вы думаете, что я смогу продать вам чашку, полученную в подарок от вашего отца?! Так низко я еще не пала! — прямо в лоб заявила Тикако. — Оку-сан, давненько я не имела удовольствия видеть, как вы исполняете чайную церемонию. И скажу откровенно, никто из моих учениц не делает этого с такой грацией и таким благородством, как вы. У меня так и стоит перед глазами чайная церемония в храме Эпкакудзи, когда вы впервые подали чай Кикудзи-сан в этом вот орибэ.

Юкико молчала.

— Прошу вас, приготовьте чай и подайте его вашему супругу в этой чашке, чтобы я знала, что не зря ее принесла.

— Но у нас нет никаких принадлежностей для чайной церемонии, — ответила Юкико, не поднимая глаз.

— Да будет вам!.. Для этого достаточно одной щеточки.

— Да...

— Прошу вас, берегите эту чашку!

— Хорошо...

Тикако взглянула на Кикудзи.

— Говорите, нет никаких принадлежностей, но кувшин-то сино, наверно, есть?

— Да, но он служит у нас вазой для цветов,— поспешно ответил Кикудзи.

Кувшин сино, память о госпоже Оота, Кикудзи не осмелился продать. Он находился здесь, в их новой квартире, но его убрали подальше в шкаф и словно бы забыли о нем. У Кикудзи затрепетало сердце, когда Тикако упомянула о кувшине.

Потом он вместе с Юкико вышел в переднюю проводить Тикако.

Она с порога взглянула на небо.

— Хорошо-то как! Потеплело... А небо... Будто небо над Токио отражает весь городской свет...

С этими словами Тикако направилась к выходу. Ее вздернувшееся вдруг плечо вздрагивало при каждом шаге.

Продолжая сидеть в передней, Юкико сказала:

— «Оку-сан» да «оку-сан»... Нарочно она что ли! Противно ведь...

— Да, противно. Теперь, наверно, перестанет к нам ходить...— Кикудзи постоял еще в передней.— Но про небо она хорошо сказала — будто небо над Токио отражает весь городской свет...

Юкико поднялась и, открыв дверь передней, посмотрела на небо. Хотела уже закрыть, но, увидев, что Кикудзи тоже смотрит, спросила:

— Можно закрыть?

— Ага...

— А правда, очень потеплело.

Они вернулись в столовую. Юкико убрала чашку орибэ. Кикудзи предложил прогуляться.

Они шли по кварталу особняков. Улица поднималась в гору. В безлюдном месте Юкико сама взяла Кикудзи за руку. Ее ладонь стала жестче, огрубела от холодной зимней воды, хоть она и ухаживала за руками.

— Вы ведь купите эту чашку, не примите ее в подарок? — вдруг спросила Юкико.

— Да, эта чашка продается.

— Ну да, я так и думала, что она принесла ее продать.

— Нет, не то. Я продам чашку. Торговцу чайной утварью. А полученные за нее деньги отдам Куримото.

— Как продадите? Зачем?

— Ты же слышала, Юкико, историю этой чашки. И сегодня и тогда, на чайной церемонии в храме Энкакудзи, Тикако сказала, что чашку ей подарил мой отец. А раньше она принадлежала семье Оота. Чашка с такой судьбой...

— Для меня подобные вещи не играют никакой роли. Если чашка действительно хорошая, почему бы вам ее не оставить?

— Чашка, безусловно, хорошая, даже очень хорошая. Поэтому и хочется, чтобы она попала в хорошие руки. Знающий, добросовестный торговец сумеет ею распорядиться, а для нас, для меня она пропадет без вести...

Эти слова из письма Фумико невольно вырвались сейчас у Кикаудзи. Ведь именно из-за Фумико он и добивался, чтобы Тикако Куримото отдала ему эту чашку.

— У этой чашки своя судьба и своя собственная прекрасная жизнь. Пусть она и живет своей жизнью, без нас. Правда, в это «без нас» ты, Юкико, не входишь, но... Понимаешь, прекрасная и совершенная в своей красоте чашка сама по себе не может вызывать горьких мыслей и нездоровых чувств, и, если у кого-либо возникает нечто подобное при взгляде на эту чашку, виновата не она, а наши воспоминания. Мы смотрим на нее нехорошо, тяжелым взглядом. Я говорю «мы», но подразумеваю всего пять-шесть человек. А ведь, наверно, на протяжении столетий многие люди смотрели на нее ясным взглядом и радовались и берегли ее. Ей, должно быть, лет четыреста, значит, то время, в течение которого она принадлежала моему отцу, господину Оота и Куримото, по сравнению с ее возрастом — мгновенная тень промелькнувшего легкого облачка. Так пусть она перейдет в руки не омраченного воспоминаниями обладателя. Пусть живет и сохраняет свою красоту и после нашей смерти.

— Да-а?.. Может быть, ее все-таки не продавать, если вы так о ней заботитесь? Впрочем, мне-то все равно.

— Мне же не жаль с ней расстаться. Я несколько не дорожу этой чашкой. Просто мне хочется смыть с нее наши нечистые следы. Как-то противно оставлять ее в руках Куримото. Хотя тогда, в чайном павильоне храма Энкакудзи, чашка была сама по себе. Она играла свою собственную роль независимо от связанных с ней неприглядных человеческих отношений.

— Звучит так, словно чашку вы ставите выше человека.

— Может быть. Я сам не очень-то разбираюсь в чашках, но ее столько лет берегли люди, которые разбирались в этом. Не могу же я теперь взять ее и разбить... Пусть уж лучше будет пропавшей без вести...

— А мне бы, пожалуй, хотелось, чтобы чашка осталась у нас. Как памятная для нас обоих вещь,— сказала Юкико ясным голосом.— Мне было бы приятно, если бы постепенно открывалась ее красота, которой я сейчас не понимаю. А что было раньше, меня не беспокоит. Вы не будете потом жалеть, если ее продадите?

— Нет! Чашка должна расстаться с нами и стать пропавшей без вести. Такая уж ей выпала судьба.

Пронзая слово «судьба», Кикудзи до боли ясно вспомнил Фумико.

Погуляв часа полтора, они вернулись домой.

Юкико, собравшаяся было взять из хибати огонь для котла, вдруг двумя руками сжала руку Кикудзи. Словно для того, чтобы показать ему, что одна ладонь у нее теплая, а другая совсем холодная.

— Подать печенье, которое принесла госпожа Куримото?

— Нет, не хочу.

— Не хотите?.. А она, кроме печенья, принесла еще бурый чай, говорит, из Киото прислали...— В голосе Юкико не было ни тени предубеждения.

Убирая в шкаф завернутую в фуросики чашку, Кикудзи подумал, не продать ли вместе с чашкой и кувшин сено, лежавший сейчас в глубине шкафа.

Юкико готовилась ко сну. Смазала лицо кремом, вытащила шпильки из прически.

— Не сделать ли мне короткую стрижку, как вы думаете? Только, может, стыдно будет с голой шеей...

Расчесывая длинные распущенные волосы, Юкико на секунду подняла их на затылке и показала, как она будет выглядеть с открытой сзади шеей. Потом она близко придвинулась к зеркалу и долго стирала с губ помаду кусочком марли. Помада, должно быть, никак не сходила.

Они лежали в темноте, обнявшись, согревая друг друга теплом своих тел. Кикудзи постепенно погружался в привычную тоску — до каких же пор он будет осквернять обоюдное их томление, святое в данном случае?.. Юкико чиста, и разве что-либо может запятнать истинную чистоту? Ведь чистота все и всех прощает. Почему же этого не может быть?.. Подобные мысли, эгоистические и спасительные, теснились в его голове.

Юкико заснула, и Кикудзи разжал объятия. Но ему так не хотелось отрываться от ее тепла. Очень уж тоскливо — отодви-

нуться и лежать в холодной постели бок о бок с грызущим его раскаянием. «Не надо мне было жениться», — подумал Кикудзи.

3

Два вечера подряд по всему предзакатному небу разливался бледно-розовый свет.

Кикудзи ехал домой в электричке и смотрел на окна недавно построенных зданий. Все они светились, но как-то блекло, неярко. Он было удивился: что за странность такая, но тут же понял: люминисцентные лампы. В этих домах не было ни одного темного окна. Словно в каждой комнате зажгли свет радости в знак праздника новоселья. Чуть в стороне от новостроек на небе висела почти полная луна.

Когда Кикудзи уже подходил к дому, розовый небосвод стал меркнуть, а краска, приобретая все большую густоту и яркость, стекла к горизонту, туда, где скрылось вечернее солнце. На небе запылало зарево.

Сворачивая к дому, Кикудзи почему-то встревожился, наконец проверил чек во внутреннем кармане пиджака.

Тут он вдруг увидел Юкико. Она выбежала из ворот соседнего дома и скрылась в их воротах. Она не заметила Кикудзи.

— Юкико, Юкико!

Она вышла на улицу.

— Добро пожаловать домой! Вы меня увидели, да? — Юкико залилась краской. — Соседи позвали к телефону, младшая сестра звонила...

— Да-а?..

Для Кикудзи это было неожиданностью. Интересно, с каких пор она пользуется телефоном соседей?..

— Сегодня небо было точно такое же, как вчера перед вечером. Только цвет теплее, потому что день выдался ясный-ясный...

Юкико взглянула на небо.

Переодеваясь, Кикудзи вынул из кармана чек и положил его на буфет.

Убирая снятую Кикудзи одежду, Юкико сказала, не поднимая головы:

— Сестра сказала по телефону, что в воскресенье вечером они вдвоем с папой собирались к нам...

— К нам?

— Да.

— Отчего же не приехали? — непринужденно произнес Кикудзи.

Рука Юкико, чистившей щеткой брюки Кикудзи, застыла.

— Как это «отчего же не приехали»? — произнесла Юкико. — Я же недавно послала им письмо с просьбой пока не бывать у нас.

Кикудзи в полном недоумении чуть было не спросил почему, но, спохватившись, промолчал. Он догадался — Юкико боится посещения отца. А вдруг он поймет, что они до сих пор еще не настоящие муж и жена...

Однако Юкико, быстро подняв глаза на Кикудзи, сказала:

— А папе очень хочется побывать у нас. Пригласите его, пожалуйста!

Кикудзи ответил, ослепленный взглядом Юкико:

— Разве требуется особое приглашение? Взял бы и приехал запросто.

— Потому что к замужней дочери... Да нет, не так все это просто...

Голос Юкико звучал почти весело.

Возможно, Кикудзи больше Юкико боится посещения ее отца. После свадьбы он ни разу не пригласил ни родителей, ни братьев, ни сестер Юкико и вспомнил об этом только сейчас. Он как бы забыл о существовании родных своей жены. Ему было не до них — настолько он был поглощен своим странным союзом с Юкико. А может быть, он просто ни о ком не мог думать, кроме Юкико, именно потому, что никакого союза не было.

Да, он ни о ком не думал. Лишь воспоминания о госпоже Оота и Фумико, которые, очевидно, и делали его беспильным, всплывали в его голове. Они всплывали и начинали порхать, словно прозрачная бабочка. Казалось, он видит, как из темных глубин подсознания поднимается призрак с легкими крылышками бабочки. Скорее всего эти воспоминания были не призраком госпожи Оота, а призраком его собственной совести.

Сейчас Юкико сказала о своем письме, где просила родителей не бывать пока в их доме. Этого было достаточно для Кикудзи, чтобы понять, как мучается и недоумевает Юкико. Тикако Куримото была поражена, что они всю зиму обходятся без прислуги, а Юкико, возможно, опасалась даже прислуги — как бы чужой человек не разгадал тайны их супружеских отношений. И в то же время Юкико почти всегда была в безоблач-

ном настроении, она так и сияла счастьем. И кажется, не только из жалости к Кикудзи.

— Когда ты послала это письмо?.. Ну в котором просила отца не бывать у нас... — спросил Кикудзи.

— Дайте вспомнить... Кажется, после Нового года, что-нибудь после седьмого января... Помните, мы были с вами у родителей на Новый год...

— Конечно, третьего числа.

— Ну вот, дня через четыре или пять после этого... Помните, на второй день после Нового года моя младшая сестра пришла нас поздравить одна. Извинялась, что папе с мамой некогда — полно визитеров.

— Да, она пришла и пригласила нас на следующий день в Июкогаму, — кивнул Кикудзи. — Но знаешь, все же нехорошо, что ты послала родителям такое письмо. Давай пригласим их, ладно? Ну хотя бы на следующее воскресенье.

— Давайте! Папа очень обрадуется. И младшую сестру возьмет с собой. Обязательно! Может, папе почему-либо неловко приходить одному?.. Да и мне как-то легче, если и сестра придет... Странно, правда?..

Наверно, присутствие сестры поможет Юкико держаться естественно. Наверно, Юкико хочет скрыть от родителей свое непохожее на брак супружество.

Юкико исчезла, должно быть пошла протопить маленькую баню. Оттуда донесся плеск воды, Юкико пробовала, достаточно ли она нагрелась.

— Искушаетесь перед ужином?

— Да, пожалуй.

Когда он сидел в бассейне, из-за застекленной двери раздался голос Юкико.

— Что это за чек на буфете?

— Чек? А-а, это деньги, полученные за чашку. Надо будет отдать Куримото.

— Так много за чашку?

— Не только за чашку, но и за наш кувшин спно тоже.

— А сколько на нашу долю?

— Что-то около половины...

— О, и половина большие деньги!

— Да. Надо подумать, на что их истратить.

Про чашку Юкико знает — они говорили о ней вчера вечером на прогулке. А вот история кувшина ей неизвестна.

Юкико все стояла за стеклянной дверью бани.

— А если не истратить, а купить акции...

— Акции?

Для Кикудзи это было полной неожиданностью.

— Знаете... — Юкико раздвинула стеклянные двери и вошла в баню. — Папа однажды подарил деньги мне и младшей сестре, примерно четверть этих денег, за чашку и кувшин, и сказал нам — умножайте их! Мы передали деньги нашему маклеру. Он купил на них акций. Придерживал акции, когда они падали в цене, продавал, когда цены повышались, и покупал новые. И деньги действительно понемногу стали расти.

— М-м...

Кикудзи вдруг с полной отчетливостью увидел семейные обычаи дома Юкико.

— Мы с младшей сестрой каждый день просматривали в газетах колонку биржевого бюллетеня.

— Эти акции и сейчас у тебя есть?

— Да. Правда, я их никогда не видела, они ведь все время у маклера... Когда акции падают, мы их не продаем, так что убытку не бывает,— простодушно сказала Юкико.

— Ну что ж, поручим и эти деньги маклеру, Юкико-сан!

Кикудзи, улыбаясь, взглянул на Юкико. Она была в белом переднике и красных шерстяных носках.

— Может, ты тоже окунешься и согреешься, а?

Юкико вдруг засмузилась, опустила свои красивые глаза.

— Нет, мне ужин надо готовить!

И быстро вышла из бани.

4

В субботу погода была такая, словно уже наступил март. Завтра должны были приехать отец и младшая сестра Юкико. После ужина Юкико одна отправилась за покупками. Вернулась с полными руками свертков и даже цветами. Доповдна прибирала кухню. Потом, усевшись перед зеркалом, долго разглядывала прическу.

— Сегодня я совсем уже была решила остричься покороче. Вы же не возражаете? Но потом подумала — папа завтра увидит и испугается. Ну и сделала только укладку, да неудачно, не нравится мне. Что-то не то.

Она долго смотрелась в зеркало и разговаривала сама с собой.

Улегшись в постель, она никак не могла успокоиться.

Неужели ее так радует предстоящий визит отца и младшей сестры? Кикудзи даже почувствовал нечто похожее на легкую ревность. И все же он подумал, что, может быть, ей просто грустно. Он нежно привлек ее к себе.

— Какие у тебя руки холодные! Совсем замерзли.

Кикудзи положил ее руки себе на грудь. Одной рукой обнял ее за шею, другой, продев ее в рукав ночного кимоно, погладил ее плечо.

— Расскажите что-нибудь!

Юкико отвела губы, шевельнула головой.

— Щекотно! — Кикудзи откинул ее выбившиеся из прически волосы, заправил их ей за уши. — Помнишь, ты в Идзу тоже просила: «Расскажите что-нибудь...»?

— Не помню!

А Кикудзи не мог забыть. Той ночью он в отчаянии барахтался на самом дне мрака и, прикрыв трепещущие веки, пытался вызвать в памяти образы госпожи Оота и Фумико и тем самым обрести силы для Юкико. Завтра придет отец Юкико, может быть, эта ночь станет гранью... Кикудзи вновь вспомнил госпожу Оота и волны, но от этого ощущение чистоты Юкико только увеличилось.

— Юкико, может, ты что-нибудь расскажешь?

— А мне нечего рассказывать...

— Завтра, когда придет твой отец, что ты собираешься сказать ему?

— Вот еще, стоит заранее думать! Что придет в голову, то и скажу. Папе хочется у нас побывать... Он обрадуется, когда увидит, как счастливо мы живем. С него и достаточно.

Кикудзи лежал неподвижно, Юкико уткнулась лицом в его грудь и тоже застыла...

На следующий день отец и младшая сестра Юкико приехали рано, в начале одиннадцатого. Юкико была очень оживленной, весело суетилась в комнатах и на кухне. То и дело раздавался ее смех, сестра ей вторила. Когда они сели обедать, пришла Тикако Куримото.

— Вижу, вижу, гости у вас. Я только на минуточку, переговорить с Кикудзи-саном... — донесся из передней ее голос.

Юкико позвала Кикудзи, он вышел в переднюю.

— Значит, вы соизволили продать чашку орибэ? Отобрали у меня, чтобы продать? А как прикажете понимать, что вы мне прислали за нее деньги? — напустилась на него Тикако. — Я тут же хотела приехать к вам, но подумала, что вас дома нет, вы

ведь только по воскресеньям бываете. Впрочем, могла и вечером приехать...

Тикако вытащила из хозяйственной сумки письмо Кикудзи.

— Я возвращаю вам ваше письмо. И деньги в конверте. Прошу проверить.

— Я бы просил вас принять их, — сказал Кикудзи.

— Почему я должна принять их? Вроде отступных, что ли?

— Да будет вам! С какой стати мне давать вам отступные, да еще теперь?

— Вот именно! По меньшей мере странно давать мне отступные из денег, полученных за чашку.

— Все же очень просто! Чашка ваша, следовательно, и деньги за нее ваши.

— Кикудзи-сан, я ведь вам ее подарила! Вы просили эту чашку, я и отдала ее, решила, что это хороший свадебный подарок. Хоть она и была дорога мне как память о вашем отце...

— А вы считайте, что продали ее мне.

— Нет, не могу! Я вам уже говорила, что не дошла еще до такого состояния, чтобы продать памятный подарок вашего отца... Теперь вы ее продали. Она у торговца. Если вы будете настаивать, чтобы я взяла эти деньги, я выкуплю чашку у торговца!

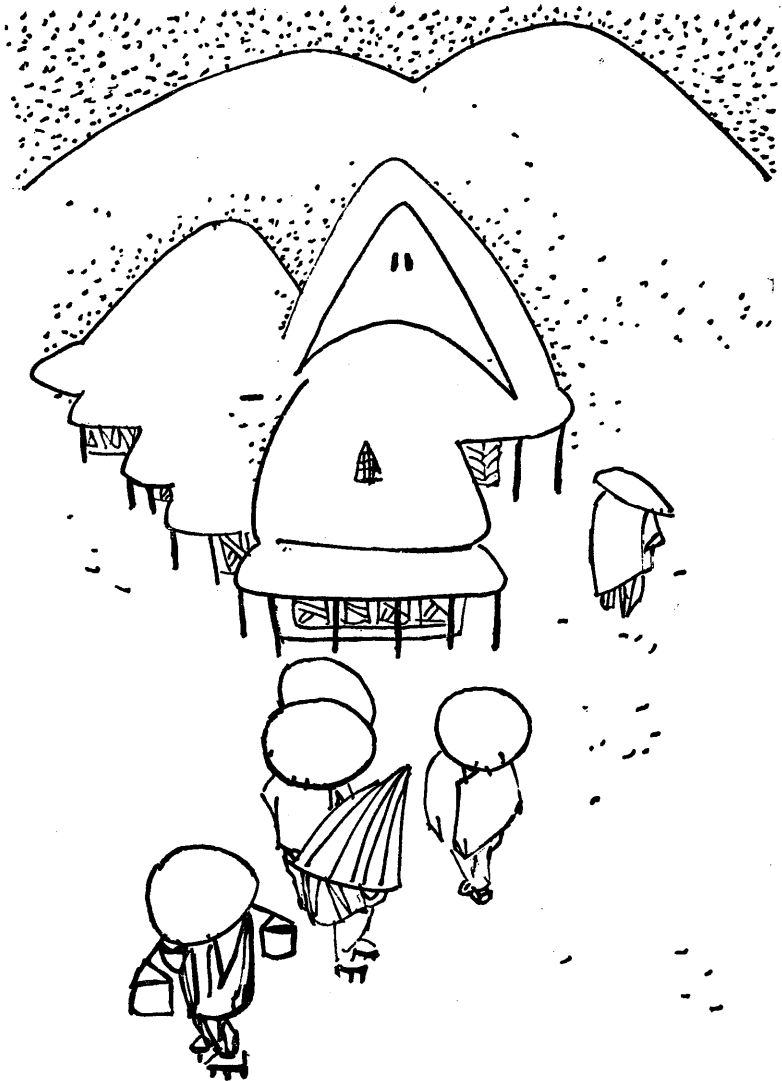
Не надо было ей писать правду, подумал Кикудзи. Она бы тогда не знала, что чашка продана торговцу чайной утварью.

— Что же вы тут стоите? Проходите, пожалуйста! — примирительно сказала Юкико. — У нас только мой папа и младшая сестра, из Икогамы приехали. Проходите, пожалуйста.

— Ваш отец?.. Боже, вот уж не ожидала! Как приятно здесь с ним встретиться! — Тикако вдруг удовлетворенно опустила плечи и понимающе кивнула.

СНЕЖНАЯ СТРАНА





Поезд проехал длинный туннель на границе двух провинций и остановился на сигнальной станции. Отсюда начиналась снежная страна. Ночь посветлела.

Девушка, сидевшая по другую сторону прохода, поднялась, подошла и опустила окно рядом с Симамурой. В вагон ворвался холодный, пахнувший снегом воздух. Девушка далеко высунулась в окно и крикнула в пустоту:

— Господин начальник станции!.. Господин начальник станции!..

Неторопливо ступая по снегу, подошел человек с фонарем. На нем была меховая шапка, закрывавшая уши, и шарф до самого носа.

Неужели действительно так холодно, подумал Симамура и посмотрел в окно. Пустынное место. Лишь вдалеке, у подножия горы, где темнота поглощала снежную белизну, виднелось несколько унылых строений барачного типа, очевидно казенные дома для железнодорожников.

— Это я, господин начальник! Как поживаете?

— А-а, это ты, Йоко!.. Домой, значит, едешь... А у нас опять холода.

— Я слышала, младший брат теперь здесь, у вас, служит. Спасибо, что о нем позаботились.

— Служит, служит, да боюсь, зачахнет он здесь с тоски. Такое это уж место. Жаль, совсем ведь еще молодой парнишка.

— Совсем молодой, маленький даже. Вы уж, господин начальник, присмотрите за ним, поучите его, прошу вас!

— Ладно, присмотрю. Да он пока ничего, здоров, с работой справляется... А у нас тут скоро самая горячая пора наступит. В прошлом году такие снега были, жуть! И без конца снежные обвалы. Все поезда тут застревали. Так и стояли на путях. Жителям ближних деревень работы подвалило — они день и ночь варили рис для пострадавших.

— Господин начальник, кажется, вы очень тепло одеты? А брат писал, что до сих пор даже без жилетки ходит.

— Я-то? Тепло — на мне целых четыре кимоно. А молодым что? Как наступят холода, они, знай, сакаэ тянут. А потом простужаются, валяются там...— Он махнул фонарем в сторону казенных домов.

— Как, неужели и мой брат пить начал?

— Да нет...

— Господин начальник, вы уже уходите?

— Да, к врачу мне надо. Ранен я.

— Ой, вот несчастье-то!..

Начальник станции — хоть на нем поверх кимоно было еще пальто — должно быть, не хотел задерживаться и бормотать на холоде. Уже повернувшись спиной, он сказал:

— Ну, счастливо тебе доехать!

— Господин начальник, скажите, а сейчас брат не на дежурстве? — Взгляд Йоко скользнул по снегу.— Господин начальник, вы уж присмотрите за ним, умоляю вас!

Ее голос был до боли прекрасен. Казалось, он рассыпается эхом по снежной простыне ночи, но не теряет своего высокого звучания.

Поезд тронулся, а девушка не отходила от окна. Когда их вагон поравнялся с шагавшим вдоль путей начальником станции, она снова крикнула:

— Господин начальник, передайте, пожалуйста, брату, пусть в следующий выходной домой приедет...

— Хо-ро-шо!..— во весь голос закричал начальник станции.

Йоко закрыла окно и прижала ладони к покрасневшимся щекам.

Здесь, в горном районе, на границе двух провинций, ждали снега. Три снегоочистителя стояли наготове. В туннеле с юга на север тянулась линия аварийной сигнализации на случай снежных обвалов. Для расчистки снега были мобилизованы пять тысяч рабочих и добровольная молодежная пожарная команда в составе двух тысяч человек.

Узнав, что младший брат Йоко служит на сигнальной станции, находящейся под угрозой обвала, Симамура почувствовал к незнакомке еще больший интерес.

Он мысленно называл ее «девушка». Он не знал, кем приходится ей мужчина, с которым она ехала, но держались они как муж и жена. Впрочем, мужчина был больной, и в таких случаях женщина обычно начинает ухаживать за своим спутником, и оба уже ведут себя без свойственной неблизким людям сдержанности, и, чем больше женщина ухаживает, тем больше походят они для постороннего глаза на супружескую пару.

Но Симамура мысленно отделил ее от спутника и называл «девушка» — такое она производила впечатление. А кроме того, он смотрел на нее по-особому, наблюдал за ней всю дорогу, и в его душе появились какие-то намеки на нежность, оттого ему и хотелось так о ней думать — «девушка».

Часа три назад Симамура, разглядывая свою левую руку, с удивлением отметил, что не он сам, а лишь рука со всей свежестью хранит воспоминание о женщине, к которой он сейчас ехал. Он, Симамура, словно бы забыл ее, она стала расплывчатой, неопределенной, и все усилия вызвать в памяти ее образ были тщетны. Очевидно, у рук есть своя память, и не Симамура, а только эта рука, не забывшая женского тепла, прикосновения, тянется к женщине. В изумлении Симамура даже поднес к глазам руку, а потом просто так провел ею по оконному стеклу и чуть не вскрикнул от изумления: на стекле возник женский глаз. Ничего особенного в этом не было, просто стекло отражало сидевшую по ту сторону прохода девушку. Но Симамура думал о другом, потому так и удивился. Раньше отражения не было — стекло запотело от парового отопления, но, когда Симамура провел по стеклу рукой, оно сразу превратилось в зеркало, потому что за окнами уже сгустились сумерки, а в вагоне горел свет.

Отразился только один глаз девушки, но и один ее глаз казался необычайно красивым. Симамура, всем своим видом изобразив дорожную тоску, протер ладонью все стекло.

Девушка сидела чуть склонившись вперед и сосредоточенно, почти не мигая, смотрела на лежавшего перед ней мужчину. Ее взгляд, ее напряженные плечи, казалось, свидетельствовали, насколько она серьезно ко всему относится. Мужчина лежал головой к окну с согнутыми в коленях ногами, приходившимися на уровне груди девушки. Их места в вагоне третьего класса были не прямо напротив Симамуры, а наискось, за другими местами, и в стекле мужчина отражался не весь.

Со своего места Симамура отлично видел сидевшую наискосок девушку, но старался не смотреть в ее сторону, ему было неловко. Когда он садился в поезд, красота девушки, какая-то прохладная и пронзительная, поразила его, но в тот же миг он увидел бледную, желтую мужскую руку, сжимавшую ее руку, и решил, что смотреть неудобно.

Отраженное в стекле лицо мужчины производило впечатлительное спокойствия и умиротворенности, может быть, только потому, что он смотрел на грудь девушки. Да и вообще, казалось, весь он, сломленный болезнью, источал какую-то едва заметную, но сладостную гармонию. Ему под голову был подложен шарф, свободный конец которого прикрывал его рот и щеки, а как только он напознал на нос, девушка, не дожидаясь просящего взгляда мужчины, мягким движением его поправляла. Она делала это бесконечно часто и совершенно естественно, и наблюдавший за ними Симамура почему-то приходил от этого в раздражение. А еще она все время поправляла подол пальто, укутывавшего ноги мужчины. И тоже естественно, без всякой нарочитости. Очевидно, она утратила представление обо всем окружающем и вся была устремлена в никому неведомую, свою даль. У Симамуры создалось впечатление, будто не чужое горе он видит, а бесконечные фокусы какого-то странного сна. Может быть, потому что он видел это отраженным в зеркальном стекле.

В глубине зеркала струился вечерний пейзаж, то есть не сам пейзаж, а тоже его отражение, и обе отраженные картины паплывали двойным кадром, как в кинофильме. Между фоном и действующими лицами отсутствовала какая бы то ни было связь, призрачная иллюзорность действующих лиц и зыбкий бег пейзажа растворялись друг в друге и создавали мистический мир символик. Это ощущение было настолько сильным, что Си-

мамура застыл от восторга, когда на лице девушки вдруг вспыхнул огонек, засветившийся где-то в поле.

После захода солнца небо над далекими горами еще сохраняло бледную розоватость и пейзаж за оконными стеклами еще не полностью расплылся во мгле. Но у пейзажа остались только контуры, краски исчезли, и все вокруг: горы, поля — казалось очень унылым, обыденным, лишенным каких-либо примечательных черт. И все же была в этом пейзаже некая страстная напряженность, как в неуловимом потоке чувств. Из-за лица девушки, конечно. Отраженное в стекле лицо закрывало часть пейзажа за окном, но вокруг постоянно мелькали образы вечера, и поэтому лицо казалось прозрачным. И все же невозможно было из-за непрерывного мелькания убедиться, действительно ли прозрачно это лицо. Создавалась иллюзия, что вечерний пейзаж бежит не на заднем плане, а прямо по лицу девушки.

В вагоне было не очень светло и зеркало было ненастоящим, оно не отбрасывало света, не давало отчетливого изображения. И Симамура, смотревший в зеркало, постепенно забыл о нем, он видел только девушку, плывущую в потоке вечернего пейзажа.

Именно в этот момент на лице девушки и вспыхнул огонек. Отраженный огонек был слабым и не погасил настоящего огонька за окном, но и тот, настоящий, не погасил своего отражения. Огонек проплыл сквозь ее лицо, однако не осветил его — это был холодный, далекий свет. И все же зрачок вдруг вспыхнул в тот момент, когда огонек наплыл на отраженный в стекле глаз, и это был уже не глаз, а прекрасный, загадочный, фосфоресцирующий светлячок, плывущий в волнах вечерних сумерек.

Йоко не замечала, что за ней наблюдают, все ее внимание было поглощено больным. Но если бы даже она обернулась в сторону Симамуры, она бы увидела не свое отражение в стекле, а смотрящего в окно мужчину и все равно бы ничего не заметила.

Наблюдая украдкой за девушкой, Симамура совершенно забыл, что ведет себя по отношению к ней не очень-то красиво. Его увлекла ирреальность зеркала, отражавшего вечерний пейзаж.

Возможно, из-за этой же ирреальности он вдруг почувствовал себя персонажем какой-то повести и проникся еще большим интересом к девушке в тот момент, когда она — тоже чрезвычайно серьезно — заговорила с начальником станции.

Когда поезд отошел от станции, темнота за окнами стала непроницаемой. Зеркало, как только исчез поток пейзажа, утратило свою магическую силу. Правда, красивое лицо девушки все равно в нем отражалось, но в этой красоте была прозрачная холодная ясность, несмотря на нежную заботу, проявляемую девушкой к своему спутнику, и Симамура не стал больше протирать запотевшее стекло.

Но любопытству Симамуры было суждено вспыхнуть еще раз: девушка и ее спутник сошли на той же станции, что и он. Симамура даже обернулся к ним, словно они имели к нему какое-то отношение, и его взгляд спрашивал: что же дальше? Но он тут же устыдился своего поведения, совсем уж неприличного, да и холодный воздух, обдавший его на платформе, подействовал отрезвляюще. Не глядя больше в их сторону, Симамура перешел путь перед паровозом.

Когда мужчина, держась за плечо девушки, хотел тоже перейти путь, станционный служащий взмахом руки остановил их.

Из мрака возник длинный товарный состав и скрыл их от Симамуры.

Агент гостиницы был закутан, как пожарный на пожаре: уши спрятаны, на ногах резиновые сапоги. Женщина в зале ожидания, смотревшая в сторону путей, тоже была одета тепло — синяя накидка, капюшон.

Симамура, еще не успевший остыть от тепла вагона, не сразу ощутил холод. Но его испугал даже не сам холод, а основательная одежда жителей этого снежного края, где зимой он был впервые.

— Неужели здесь такие холода? Очень уж вы все закутаны...

— Да, господин. Мы все уже в зимнем. Особенно морозно по вечерам, когда после снегопада наступает ясная погода. Сейчас, должно быть, ниже нуля.

— Уже ниже нуля?

Садясь вместе с агентом в машину, Симамура окинул взглядом дома, утопавшие в снегу. С крыш свисали маленькие изящные сосульки, а дома, и без того низкие, из-за снега казались еще более приземистыми и неуклюжими. Деревня была погружена в тишину.

— Н-да, холодно. До чего ни дотронешься, все холодное.

— В прошлом году тоже стояли большие холода. До двадцати с чем-то градусов ниже нуля доходило.

— А снегу много?

— В среднем снежный покров — семь-восемь сяку, а при сильных снегопадах более одного дзё.

— Теперь, наверно, начнет сыпать...

— Да, сейчас самое время для снегопадов, ждем. Вообще-то снег выпал недавно, покрыл землю, а потом подтаял, опустился чуть ли не на сяку.

— Разве сейчас тает?

— Да, но теперь только и жди снегопадов...

Было начало декабря.

Симамура громко прочистил свой нос, уже давно забитый простудой, у него снова начинался насморк.

— Не знаете, девушка, что жила в доме учительницы, все еще здесь?

— Да, все там же живет. Она была на станции, не заметили? В синей накидке.

— Это она была? Ее можно пригласить?

— Сегодня?

— Да.

— Не знаю. Она говорила, на последнем поезде должен приехать сын госпожи учительницы. Его она и ходила встречать.

Интересно... Значит, в зеркале, на фоне вечернего пейзажа, он видел Йоко, ухаживавшую за больным сыном хозяйки дома, где живет женщина, ради которой он сюда приехал...

Узнав об этом, Симамура почувствовал, как что-то сжалось у него в груди, но не очень удивился такому странному совпадению. Скорее он удивился себе самому, почему это он не удивляется.

В глубине души возникло вдруг ощущение какого-то понимания, словно он увидел, что произойдет между женщиной, оставившей воспоминание в его руке, и девушкой, зажигавшей в своих глазах огоньки. Должно быть, отраженный в стекле вечерний пейзаж все еще держал его в плену. Он подумал, быть может, поток вечернего пейзажа символизирует поток времени...

Когда Симамура вышел из бани, гостиница была погружена в сон и тишину. Понятно, лыжный сезон еще не начался, постояльцев совсем мало. Ветхий коридор при каждом шаге звенел застекленными дверями. В дальнем его конце, там, где он поворачивал к конторке, вырисовывалась женская фигура. Женщина стояла неподвижно, подол ее одежды стелился по черному блестящему полу.

Этот льнувший к полу подол навел его на мысль, не стала

ли она гейшей. Он даже вздрогнул. Но очень уж серьезной она была: серьезно шагнула ему навстречу, серьезно приветствовала его скупым жестом и застыла. Симамура заспешил к ней, но, поравнявшись, ничего не сказал. Молчал. Женщина сделала попытку улыбнуться, и от этого ее густо напудренное лицо стало вдруг плачущим. Она тоже не произнесла ни слова и направилась в его номер.

Он не приезжал к ней, не писал, даже не выслал обещанное руководство по японским танцам. Как она могла расценить его поведение после всего, что между ними было? Развлекся, провел время, а потом уехал и забыл. Обидно, горько. Она вправе молчать и ждать, чтобы он заговорил первым, произнес слова извинения. Но шедший рядом с ней Симамура, даже не поднимая глаз, чувствовал, что она не только не обвиняет его, а испытывает нежность, тянется к нему всем существом. Что же он может сказать? Любое оправдание прозвучало бы несерьезно. И Симамура, чувствуя ее превосходство, молчал, но постепенно его наполняла радость.

Лишь когда они дошли до лестницы, Симамура вдруг протянул вперед сжатую в кулак левую руку.

— Вот кто тебя запомнил!

— Да?..

Женщина схватила Симамуру за руку и пошла по лестнице, увлекая его за собой.

У котацу она выпустила его руку и вдруг вся — до корней волос — залилась краской. Чтобы скрыть смущение, она снова взяла его за руку.

— Это она меня помнила?

— Да нет, не правая, а левая...— Симамура высвободил правую руку, спрятал под одеяло котацу и вытянул перед ней сжатую в кулак левую.

— Знаю! — произнесла она с невозмутимым видом, усмехнувшись, раскрыла его ладонь и прижалась к ней лицом.— Она помнила меня?

— Ого, какие у тебя холодные волосы! Я и не знал, что такие бывают...

— А в Токио еще нет снега?

— Помнишь, что ты тогда говорила?.. И оказалась не права. Иначе разве бы я приехал сюда в такие холода, да еще в конце года.

Тогда было самое начало альпинистского сезона. Опасность снежных обвалов миновала, и любители спорта потянулись в

покрывавшиеся юной листвой горы. Время, когда с обеденного стола исчезают молодые побеги акебия.

Симамура вел праздный образ жизни и постепенно утрачивал интерес и к природе, и к самому себе. Но все же его тяготила собственная несерьезность, и, пытаясь обрести утраченную свежесть чувств, он частенько отправлялся в горы. В тот вечер, после семидневного похода, он спустился к горячим источникам и попросил пригласить гейшу. Но ему объяснили, что вряд ли это удастся: в тот день в деревне был всеобщий праздник по случаю окончания строительства дороги. Под банкет сняли помещение, которое обычно использовалось либо для театральных представлений, либо для откорма шелковичных червей. Все гейши там, их всего-то двенадцать или тринадцать, а при таком многолюдье это капля в море. Есть, правда, одна девушка, она живет в доме госпожи учительницы, может быть, она согласится прийти. Вообще-то она тоже на банкете, помогает, но долго там не задержится — покажет несколько танцев и уйдет. На вопрос Симамуры, что за девушка, ему объяснили: она живет в доме учительницы игры на сямпсэне и национальных японских танцев. Девушка не то чтобы настоящая гейша, но, когда бывают большие банкеты, ее охотно приглашают — гейши тут в основном уже не очень молодые, танцуют неохотно, а она танцует, и ее здесь очень ценят. Она почти никогда не приходит одна в номер к постояльцам, но кто знает. Короче говоря, неплохая девушка, кое-какой опыт имеет... Примерно так ему тогда объяснили.

Симамура не очень-то надеялся, решив, что дело тут сомнительное — может прийти, а может и не прийти, и был очень удивлен, даже привстал от удивления, когда горничная привела к нему девушку. Она не отпустила горничную, собравшуюся было уйти, и, потянув ее за рукав, усадила рядом с собой.

Девушка была удивительно чистой. Все в ней так и сияло. Казалось, даже малейшие линии на подошве ног искрятся ослепительной белизной. Симамура снова удивился: наверно, обман зрения, просто начинавшаяся в горах весна так на него подействовала.

Одега она была почти как гейша, но не совсем. Подол ее кимоно, подчеркнуто строгого, без подкладки, не касался пола. А вот оби, кажется, было очень дорогое и контрастировало со всей прочей одеждой. Почему-то это вызывало чувство жалости.

Разговор зашел о горах, и горничная, улучив момент, ушла. Но девушка плохо знала горы, толком не могла назвать ни одну

вершину, видневшуюся отсюда, из деревни. Симамура заскучал, ему даже сакэ пить расхотелось. И вдруг она разговорилась, с неожиданной прямою рассказала о себе. Родилась она здесь, в краю снега, одно время работала подавальщицей в Токио, по потом ее выкупил покровитель, он хотел, чтобы в дальнейшем она занялась преподаванием японских национальных танцев и обрела самостоятельность. Однако не прошло и полутора лет, как покровитель умер... Очевидно, лишь после смерти этого покровителя она зажила настоящей жизнью и живет так — по настоящему, по-своему — по сей день. Но какая женщина станет откровенничать о своей жизни?.. Она сказала, что ей девятнадцать, а на вид Симамура дал бы ей двадцать один — двадцать два. Почему-то это вдруг придало поведению Симамуры свободу, он заговорил о кабуки, и оказалось, что она прекрасно осведомлена о манере игры и жизни актеров кабуки. Симамура, истосковавшийся по собеседнику, увлеченно говорил, а она постепенно становилась все более кокетливой, как это свойственно женщинам, работающим в увеселительных кварталах. Казалось, она неплохо разбирается в настроении мужчины. Симамура, с самого начала не воспринимавший ее как настоящую профессионалку, отнесся к ней как-то по-особому. Может быть, он просто жаждал выговориться, устав за неделю от одиночества и молчания, а может быть, горы, пробудившие в нем нежность, еще и сейчас действовали на его воображение и эта нежность распространилась теперь на женщину. Как бы то ни было, он начал испытывать к ней нечто похожее на дружеское участие.

На следующий день она зашла к нему в номер — в гости. Купальные принадлежности оставила в коридоре.

Едва она успела сесть, как Симамура попросил ее порекомендовать ему гейшу.

— То есть как это порекомендовать?

— Будто не понимаешь как!

— Как противно! Мне бы и не приснилось, что вы о таком попросите. Знала бы, не пришла.

Женщина резко поднялась, подошла к окну, некоторое время смотрела на окружающие горы. Ее щеки постепенно заливала краска.

— Таких женщин здесь нет.

— Не сочиняй!

— Правда, нет! — Она повернулась к нему, села на подоконник. — У нас никого не принуждают. Гейши вольны поступать, как им хочется. И в гостиницах никто никогда никого не

станет рекомендовать. Это чистая правда. Пригласите кого-нибудь к себе и договаривайтесь сами.

— А ты не договоришься за меня?

— С какой стати я буду заниматься такими делами!

— А с такой, что я считаю тебя другом. Я не пытаюсь уговоривать тебя, потому что мне бы хотелось, чтобы мы остались друзьями.

— Друзьями? — по-детски повторила она за ним, но ее тон тут же снова стал резким. — Нет, вы просто неподражаемы! Да как у вас язык повернулся просить меня об этом!

— А что тут такого? Окреп в горах и все. В голове одно и то же... Вот даже с тобой не могу разговаривать без задней мысли.

Женщина молчала, прикрыв глаза веками. В Симамуре сквозила откровенная мужская наглость. В таких случаях женщины обычно понимающе кивают, и это у них получается естественно. Ее опущенные веки, обрамленные густыми ресницами, притягивали — очень уж хороши были ресницы. Ее лицо, едва заметное наклонившись справа налево, опять слегка покраснело.

— Ну и пригласите кого угодно.

— Я тебя об этом и спрашиваю — кого? Я ведь здесь новичок, не знаю, какая у вас тут самая красивая.

— Что значит красивая?

— Хорошо бы молодую. Чем моложе, тем лучше. Во всех отношениях. Тут уж, надо думать, не произойдет осечки. И чтобы не болтала без умолку. Хорошо бы рассеянную и чистенькую. А когда мне захочется поболтать, я с тобой поболтаю.

— А я больше к вам не приду!

— Не говори глупостей.

— Что? И не надейтесь, не приду. С какой стати я буду к вам ходить?

— Так ведь я тебя не уговариваю, как обычно уговаривают женщин. Хочу, чтобы у нас с тобой все было чисто, без всяких таких вещей.

— Наглость какая!

— Да ты пойми, случись между нами что-нибудь такое, кто знает, как я буду себя чувствовать завтра. Может, и смотреть на тебя не захочу, не то что разговаривать. А я ведь истосковался по человеку, по дружеской беседе, после гор-то. Потому и не прошу тебя об этом. Не забывай — я приезжий.

— Вообще-то верно...

— В том-то и дело, что верно. Небось самой тебе противно

станет, если между нами что-нибудь такое произойдет... А с какой стати быть мне с любой... Вдруг она мне не понравится? Нет, уж лучше ты выбери, все же как-то приятнее.

— И не подумаю! — резко бросила она и отвернулась, но тут же кивнула: — Впрочем, наверно, и правда приятнее.

— А то, знаешь, у нас сразу может все кончиться. Раз-два — и конец. Одна тягость останется.

— Так оно обычно и бывает, почти у всех. Я ведь в порту родилась. А тут — горячие источники... — неожиданно прямодушно заговорила она. — Клиенты почти все курортники. Я-то сама в этом слабо разбираюсь, молода еще, а другие говорят — тоскуют по тому, кто при встрече понравился. Понравился, а не объяснился... Не забывают таких. Расстанутся, а все помнят. И письма присылают именно такие, почти всегда так бывает.

Женщина уселась на татами у окна. А лицо у нее было странное, словно, сидя рядом с Симамурой, она оглядывалась на свое прошлое.

Тон женщины был таким искренним, что Симамура даже смутился — очень уж легко ее провести.

Но разве он лгал ей? Ему нужна женщина, он жаждет женщину, и удовлетворить эту жажду пара пустяков, но со своей гостьей он не станет заниматься этим. Что бы ни было в ее жизни, она не профессионалка. Очень уж чиста. Стоит один раз взглянуть на нее, и сразу понятно, что не из таких она.

А кроме того, Симамура думал о предстоящем летнем отдыхе. Хорошо бы приехать сюда, в деревню, на горячие источники, с семьей. Эта женщина — она, к счастью, не профессионалка — составила бы компанию его жене, может быть, даже обучила бы ее нескольким танцам. Симамура всерьез думал об этом. Он не учитывал только одно: стараясь завязать с этой женщиной дружбу или нечто на это похожее, он действовал вслепую, словно шел вброд по мелководью...

Сейчас Симамура все еще был во власти отраженного в зеркальном стекле вечернего пейзажа, который невольно связывал его с этой женщиной. Не хотел он случайных связей со случайными женщинами, и дело было не только в могущих возникнуть неожиданных последствиях, но и в том, что эта женщина, кажется, представлялась ему не совсем реальной, как и лицо той, в поезде, плывшее в вечерних сумерках в вагонном стекле.

Нечто подобное происходило с ним, когда он увлекся европейским балетом. Симамура, выросший в торговый районах Токио, с детства знал и любил кабуки, а в студенческие годы на-

чал тяготеть к японскому национальному танцу и танцевальной пантомиме. В этом, как, впрочем, и во всем, он хотел дойти до самой сути, такой уж у него был характер. Он стал рыться в старинных рукописях, посещал различные школы, познакомился с реформаторами национальных танцев и в конце концов начал писать нечто вроде эссе и критических исследований в этой области. Естественным следствием такого увлечения было возмущение, с одной стороны, сонным застоем традиций японского национального танца, с другой — грубыми попытками привнести нечто новое в старинное искусство. Вывод напрашивался сам собой: он, Симамура, просто обязан от теории перейти к практике. Но когда исполнители из молодых стали приглашать его в свои ряды, он вдруг переключился на европейский балет. К японскому национальному танцу он теперь совершенно охладел, погруженный в новые исследования. У него появились книги о европейском балете, фотографии, даже афиши и программы, полученные с большими трудностями из-за границы. Недоставало только одного — самого балета в исполнении европейцев. Но он отнюдь не печалился! В этом-то и заключалась соль его нового увлечения. Доказательством тому служило полное равнодушие Симамуры к европейскому балету в исполнении японцев. Зато с какой легкостью он писал о европейском балете, опираясь только на печатные издания! В разговорах о никогда не виданном зрелище было нечто неземное. Очень приятно сидеть в кабинете и рассуждать о прекрасном искусстве — гимны во славу неведомого божества рождались сами собой. Хотя Симамура и называл свои работы исследованиями, это была не более чем игра его воображения: ведь оценке подвергалось не мастерство живых, из плоти и крови, исполнителей, а танец призраков, порожденных его собственной фантазией, подогретой европейскими книгами и фотографиями. Нечто вроде томления по никогда не виданной возлюбленной. И все же Симамура порой пописывал популярные статьи о европейском балете и вроде бы даже считался знатоком в этой области. Ему, не занятому никакой работой, это приносило удовлетворение, хотя он и посмеивался над самим собой.

Сейчас его знания впервые дали практический результат: разговорами о танцах он привлек к себе женщину. Однако подсознательно он относился к ней так же, как и к европейскому балету.

Поэтому-то ему вдруг и стало неловко, когда он, во власти дорожных настроений — легкой тоски путника, нечаянно кос-

нулся большого места в жизни этой женщины. Словно он готовился ее обмануть.

— Понимаешь, если все останется так, как сейчас, нам с тобой и потом будет легко, когда я приеду сюда с семьей.

— Да-а... Я это уже прекрасно поняла...— Ее голос упал, потом она улыбнулась кокетливо, улыбкой гейши: — Я тоже очень люблю такие отношения, чем они проще, тем дольше длятся.

— Правильно! Так приведешь?..

— Сейчас?

— Ага...

— Нет, вы меня поражаете! Да разве могу я договариваться об этом среди бела дня?

— Будешь тянуть — одно старье останется.

— Да как вы можете говорить такое! Что в вашей голове творится? Думаете, раз горячие источники, так уж тут и промышляют без зазрения совести. По-моему, одного взгляда на нашу деревню достаточно, чтобы понять, что это совсем не так.

Она очень серьезно и с видимым раздражением вновь стала доказывать, что здесь нет таких женщин. А когда Симамура опять позволил себе усомниться, она рассердилась уже по-настоящему, но потом все же объяснила в чем дело: здешние гейши могут вести себя совершенно свободно, но если они остаются у клента без ведома хозяина, он ни за что не отвечает. Если с его ведома, тогда другое дело — хозяин несет ответственность за все последствия, что бы с гейшей в дальнейшем ни случилось.

— Какие еще последствия?

— А такие, что женщина может забеременеть или заболеть.

Симамура, усмехнувшись своему дурацкому вопросу, подумал, что в этой деревне, в горной глуши, такая беззаботность со стороны женщин вполне объяснима.

Возможно, из природной склонности к мимикрии, свойственной праздному человеку, Симамура всегда проявлял инстинктивную чуткость к нравам и обычаям жителей тех мест, где ему случалось останавливаться. В этой деревне, такой скромной и даже скуповатой на первый взгляд, он сразу усмотрел некую беззаботность. И действительно, как он потом узнал, это была одна из самых благополучных деревень в снежной стране. Железную дорогу провели всего несколько лет назад, а до этих пор горячие источники служили исключительно для местных нужд — здесь лечились окрестные крестьяне. Вряд ли кто посе-

шал заведения с надписями на занавесках «Ресторан», «Закусочная»¹, где держали гейш, — весь вид этих домиков, их старинные законченные сёдзи словно бы свидетельствовали о противоположном. Были здесь разные мелочные и кондитерские лавки, где держали по одной гейше, но владелец вроде бы и не являлся настоящим содержателем веселого заведения — он, как и прочие крестьяне, работал в поле. А гейши, очевидно, тоже не очень-то дорожили своим положением, они не возмущались, когда непрофессионалка помогала им на банкетах. Впрочем, может быть, здесь учитывалось, что она из дома учительницы.

— А сколько их тут у вас?

— Гейш? Да человек двенадцать, кажется, или тринадцать.

— Ну, говори, какую позвать? Как ее зовут? — спросил Симамура, поднимаясь и нажимая кнопку звонка.

— Я уйду, ладно?

— Как же я без тебя буду...

— А мне неприятно! — сказала женщина, словно отмахиваясь от оскорбления. — Пойду я. Да вы не беспокойтесь, это не насовсем. Я буду к вам заходить.

Но, увидев горничную, она опять как ни в чем не бывало уселась. Сколько горничная ни спрашивала, кого пригласить, она так никого и не назвала.

Вскоре пришла гейша. Молодая, лет семнадцати-восемнадцати. Симамура лишь взглянул на нее — и жажда, мучившая его с того момента, как он спустился с гор, сразу улетучилась. Стало тоскливо. Стараясь не показать своего испорченного настроения, он сделал вид, что смотрит на эту добродушную и какую-то совсем невинную девушку со смуглыми, не утратившими угловатости руками, а на самом деле смотрел на горы, зеленевшие в окне за ее спиной. Ему даже разговаривать расхотелось. Типичная гейша из захолустья. Симамура совсем приуныл, когда женщина, считая, очевидно, что она здесь лишняя, ушла. Он только и думал, как бы выпроводить гейшу, она сидела уже около часа. К счастью, Симамура вспомнил о почтовом переводе и, сославшись на его срочность, вышел вместе с гейшей из номера.

Но, выйдя из гостиницы, он обернулся и окинул взглядом возвышавшуюся позади дома гору, зеленую, дышавшую моло-

¹ В Японии перед входом в магазин, ресторан или закусочную часто висят занавески с соответствующей надписью.

дой листвой. Гора притягивала, и он, не разбирая дороги, направился вверх по склону.

Симамуру разбирал смех, хотя вроде бы смеяться было не над чем.

Почувствовав приятную усталость, он повернул обратно и, заткнув подол кимоно за оби, бегом спустился вниз. Из-под его ног выпорхнули две желтые бабочки.

Бабочки, сплетаясь, поднимались все выше и выше. А когда они улетели совсем далеко и запорхали где-то в вышине, их желтая окраска стала казаться совсем белой.

— Что с вами? — Женщина стояла в тени криптомериевой рощи. — Вы так весело смеетесь...

— Передумал! — Симамура опять рассмеялся безо всякой причины. — Передумал!..

— Да?

Женщина вдруг повернулась к нему спиной и медленно пошла в глубь криптомериевой рощи. Симамура молча последовал за ней.

Это был храм, синтоистский. Женщина села на плоский камень возле замшелого каменного изваяния пса.

— Здесь самое прохладное место. Даже в разгар лета дует холодный ветер...

— Что, все здешние гейши такие, как эта?

— Кажется, все. Что одна, что другая. Правда, среди молодых есть красивые.

Голос ее звучал сухо. Она опустила голову. На ее шее заиграло отражение сумрачной зелени криптомерий.

Симамура посмотрел вверх, на ветви.

Криптомерии возносили свои стволы совершенно вертикально и очень высоко, настолько высоко, что невозможно было увидеть вершину, даже если смотреть, откинувшись назад всем телом и опираясь руками о скалу за спиной. Их темная листва закрывала небо, и от этого тонко позванивала тишина.

У того дерева, самого старого из всех, к которому Симамура привалился спиной, все ветви, обращенные к северу, почему-то засохли. Сучья торчали, словно вбитые в ствол колья, и казались грозным оружием небес.

— Понимаешь, я заблуждался, — засмеявшись, сказал Симамура. — Думал, что все гейши здесь красивые. А почему? Да потому, что, спустившись с гор, первой встретил тебя...

Он только теперь догадался в чем дело. Бодрость, обретенная за семь дней в горах, искала выхода. Но он бы не загорел-

ся желанием отделаться от собственной бодрости, если бы не увидел именно эту женщину.

Женщина пристально смотрела на далекую реку, сверкающую в лучах закатного солнца. Обои стало неловко.

— Ой, вы, наверно, курить хотите! — сказала она, стараясь вести себя как можно непринужденнее. — Я ведь тогда вернулась к вам в номер, но вас уже не было. Куда же, думаю, вы ушли... И вдруг вижу в окно, как вы стремглав поднимаетесь в гору. Один. Так смешно! А потом увидела, что вы сигареты забыли. Ну, я их и захватила.

Вытащив из рукава кимоно сигареты, она подала их ему и зажгла спичку.

— Нехорошо получилось с этой девочкой...

— Подумаешь... Это уж дело клиента, когда отпустить.

Доносился шум реки, мягко плескавшейся на каменистом ложе. Сквозь стволы криптомерий виднелись горы со сгущавшимися на склонах тенями.

— Ведь потом, при встрече с тобой, досадно мне станет, если я проведу время с другой женщиной, не такой красивой, как ты.

— Не хочу я об этом слышать!.. Какой вы, однако, упрямый человек! — зло и насмешливо сказала она.

Но что-то в их отношениях изменилось. Все было уже по-другому, чем тогда, до прихода гейши.

Как только Симамуре стало ясно, что он с самого начала хотел именно эту женщину и лишь по своей всегдашней привычке ходил вокруг да около, он показался себе отвратительным. Зато женщина стала еще более привлекательной. Она сделалась какой-то ускользающей, невесомой, прозрачной с того момента, как окликнула его из рощи.

Ее тонкий прямой нос, пожалуй, был каким-то неживым, но губы, прекрасные, удивительно подвижные, подрагивавшие, даже когда она молчала, цвели как бутон. Впрочем, ему показалось, что они скорее походили на свернувшуюся колечком изящную пиявку. Эти прекрасные губы, будь они в морщинках или имей бледный оттенок, могли бы показаться даже неприятными, но они так заманчиво, влажно блестели!

Глаза у нее были прочерчены удивительно прямо, даже на уголках не опускались и не поднимались. Даже было странно. Брови не очень высокие, но правильные, дугообразные, в меру густые. Овал лица самый заурядный, круглый, с едва заметно выступающими скулами, но зато кожа фарфоровой бе-

лизны с легчайшим розоватым оттенком. Шея у основания еще по-детски тонкая. Может быть, именно поэтому женщина поражала скорее не красотой, а чистотой. Вот только грудь у нее, пожалуй, была несколько высока для тех, кто прислуживает за столом.

— Смотрите, сколько мошкеры вокруг нас появилось, — сказала она, поднимаясь и отряхивая подол кимоно.

Нельзя было тут дольше оставаться, в этой тишине. Смушение бы все увеличивалось, ложась тенью на их лица.

А потом — часов в десять вечера, кажется, — она, громко окликнув Симамуру из коридора, как сомнамбула вошла в его номер, бессильно, словно падая, опустилась у стола — вещи, на нем лежавшие, полетели в разные стороны — и, шумно глотая, выпила воды.

Сегодня вечером, рассказала женщина, она встретилась с людьми, с которыми познакомилась зимой на лыжной станции. Сейчас они перешли перевал и спустились в деревню. Она приняла их приглашение, пошла в гостиницу. А потом появились гейши и пошло сумасшедшее веселье. Ее напоили.

Она говорила без умолку. Ее голова качалась из стороны в сторону.

— Я схожу к ним, а то нехорошо получается. Ищут небось, куда это я пропала. Потом я приду, ладно?..

Пошатываясь, женщина ушла.

Примерно через час в коридоре послышались шаги, неверные, заплетающиеся. По-видимому, она шла, стучаясь о стены. А может быть, и падала.

— Симамура-сан! Симамура-сан! — громко позвала она. — Симамура-сан, я ничего не вижу.

Это был обнаженный крик души, крик женщины, призывавшей мужчину.

Симамура не ожидал ничего подобного. Однако она звала слишком громко, на всю гостиницу, и он в растерянности поднялся. Тут она ухватилась за сёдзи, прорвала бумагу и упала прямо на Симамуру.

— А-а, вот вы где...

Она обхватила Симамуру и, опустившись вместе с ним на татами, привалилась к нему.

— Я совсем не пьяная... Нет, нет, правда!.. Мне плохо, просто плохо и все... А голова ясная... О-ох, воды хочу! И зачем я пила виски... В голову ударяет, и как голова болит!.. Они там дешевые сорта заказывали... А я не знала, ну вот и...

Она говорила и все время потирала рукой голову.

Шум дождя за окнами внезапно усилился.

Когда Симамура чуть-чуть ослабил руку, она мгновенно обмякла, однако не выпустила его из своих объятий, прижалась еще крепче. Тугие пряди прически до боли давили на его щеку. Рука Симамуры очутилась за воротом ее кимоно.

Он зашептал ей на ухо... Словно бы не реагируя на его просьбу, она скрестила руки и загородилась ими — кажется, он хочет овладеть ею. Но руки от опьянения бессильно опустились.

— У-у, дрянь!.. Дрянь паршивая, и сил-то нет... Кому такая нужна... Кому? — пробормотала она и вдруг впилась зубами в свою руку.

Симамура, пораженный, поспешил разжать ей рот. На руке у нее остался глубокий след.

Женщина уже не обращала внимания на руки Симамуры — они могли теперь делать все, что угодно. Она сказала, что будет сейчас что-то писать. И начала писать имена тех, кто ей нравился. Написала двадцать или тридцать имен актеров театра и кино, а потом бесконечно имя Симамуры.

Ее груди под ладонями Симамуры постепенно пачали наливались теплом.

— Ну и слава богу, слава богу... — умиротворенно сказал Симамура.

У него возникло к ней какое-то нежное чувство, словно к ребенку.

Но ей опять вдруг стало плохо. Она вскочила и, скорчившись, опустилась на пол в углу номера.

— Не могу, не могу... Я домой пойду, домой...

— Ты же на ногах не стоишь, а тут еще ливень.

— Босиком пойду, поплыву...

— Не выдумывай! А уж если пойдешь, я тебя провожу.

Гостиница стояла на холме, и спуск был очень крутой.

— Расстегни оби. А еще лучше полежи, чтобы прийти в себя.

— Да не поможет это. Надо что-то делать. Знаю, не впервые ведь...

Она села, распрямилась, выпятила грудь, но ей становилось все труднее дышать. Ничего не получилось и тогда, когда, открыв окно, она попыталась вызвать рвоту. Она сжимала зубы, изо всех сил противясь желанию кататься по полу, и время от времени, словно подстегивая свою волю, восклицала:

— Домой, домой пойду!.. — Был уже третий час ночи. — А вы ложитесь спать, говорят вам, ложитесь!

— А ты что будешь делать?

— Буду так вот сидеть. Отпустит немного, пойду домой. Доберусь еще до рассвета.

Не вставая, женщина придвинулась к Симамуре, потянула его.

— Я же сказала, что вы можете лечь! Ложитесь, спите, не обращайтесь на меня внимания.

Когда Симамура улегся в постель, она, навалившись грудью на край стола, выпила воды.

— Встаньте! Слышите, вставайте!

— Да чего ты от меня в конце концов хочешь?!

— Впрочем, лежите...

— Ну, хватит болтать!

Симамура встал с постели и привлек женщину к себе.

Она отвернулась, пряча лицо, но вдруг с внезапной силой потянулась к нему губами. И сразу после этого забормотала, словно каясь, словно жалуясь на боль:

— Нельзя, нельзя!.. Вы же сами говорили, что мы должны остаться друзьями...

Симамуре тронула серьезность, с которой она это произнесла. У него вроде бы и желание пропало, пока он глядел, как она, напрягая волю, боролась с собой. Ее лицо мучительно искривилось, на лбу обозначились морщины. Он даже подумывал, не сдержат ли данное ей обещание.

— Я бы ни о чем не пожалела. Ни о чем. Но я не такая... Не такая я женщина... Вы же сами говорили, что все у нас быстро кончится...

Она была наполовину бесчувственной от опьянения.

— Я не виновата... Это вы виноваты... Вы проиграли... Вы оказались слабым, а не я... — приговаривала она.

Потом закусила рукав, словно желая оказать последнее сопротивление радости...

Некоторое время она была тихой, но потом, будто вспомнив что-то, колюче произнесла:

— А вы смеетесь! Надо мной смеетесь!

— И не думал смеяться.

— Про себя смеетесь. А если сейчас не смеетесь, то потом обязательно будете смеяться.— Она уткнулась лицом в подушку и захлебнулась слезами.

Вдруг перестала плакать так же внезапно, как начала. Стала нежной, приветливой, заговорила о своей жизни с подробно-

стями, словно вручая себя Симаамуре. О том, что только что произошло, не заикнулась ни словом.

— Ой, совсем заболталась, обо всем забыла...

Она рассеянно улыбнулась, сказала, что должна вернуться домой до рассвета.

— Совсем еще темно, но у нас все в такую рань встают.

Она несколько раз вставала и смотрела в окно.

— Темно, лица еще не различишь. А сегодня к тому же дождь. Никто не пойдет в поле работать.

Постепенно сквозь мрак и завесу дождя обрисовался контур горы напротив гостиницы, на ее склонах проступили крыши домов. А женщина все не уходила. Наконец, перед тем как должна была встать гостиничная прислуга, она поправила волосы и направилась к двери. Боясь посторонних глаз, не решилась Симаамуре проводить себя даже до выхода из гостиницы. Выскользнула поспешно, словно убегая.

Симаamura в тот же день уехал в Токио.

— Все это неправда, то, что ты тогда сказала. Не то стал бы я сюда приезжать в такой холод... И знаешь, я потом над тобой не смеялся.

Женщина вскинула голову. Ее лицо, только что прижимавшееся к ладони Симаамуры, покраснело. Даже сквозь густой слой пудры были видны вдруг заалевшие щеки и веки. Это напоминало о холоде ночей снежной страны и в то же время производило впечатление тепла. Особенно веяло теплом от густой черноты ее волос.

Ее лицо даже чуть-чуть сморщилось, словно она, ослепленная ярким светом, изо всех сил сдерживала улыбку. Слова Симаамуры, должно быть, напомнили ей, что было тогда, и она вся начала заливаться краской. Женщина вдруг сердито потупилась, опустила голову, воротник ее кимоно отошел, и было видно, как краска ползет вниз, на спину. Казалось, она стоит перед ним во всей увлажненной желанием наготы. Это впечатление усиливалось от цвета ее волос. Густо-черные волосы женщины не были тонкими — толстые, как у мужчины, волосинки лежали одна к одной, и все это блестело тяжелым сверкающим блеском, как какой-нибудь черный минерал.

Симаamura совсем недавно удивлялся холоду, исходившему от ее волос, а теперь подумал, что погода здесь ни при чем, просто у нее такие волосы. Пока он разглядывал ее волосы, жен-

щина опустила руку на лежавшую на котацу доску и стала что-то подсчитывать, сгибая и разгибая пальцы.

— Что ты считаешь? — спросил Симамура.

Она не ответила, продолжая считать на пальцах.

— Двадцать третьего мая это было...

— Вот в чем дело! Считаешь, значит, сколько дней прошло. Не забудь, что в июле и августе по тридцать одному дню, хотя эти месяцы и идут один за другим.

— Сто девяносто девятый день. Как раз сто девяносто девятый день!

— И как только ты запомнила, что именно двадцать третьего мая!

— А очень просто. Стоит лишь заглянуть в дневник.

— Дневник? Ты что, дневник ведешь?

— Ага... Приятно просматривать старые дневники. Только иногда стыдно делается, я ведь обо всем пишу, без утайки.

— И давно ты пишешь?

— Начала писать незадолго до того, как пошла работать подавальщицей в Токио. Тогда денег своих у меня не было, бумагу не могла покупать. Но зато в дешевой общей тетради за два-три сена, которая у меня была, все так аккуратно разлиновано и написано. Строчки узенькие-узенькие, линии тонкие, расстояние между строками одинаковое. Я по линейке ликовала страницы. И почерк у меня мелкий. Все сплошь исписано. А потом, когда сама уж смогла покупать бумагу, все стало выглядеть иначе, плохо, неаккуратно. Раньше упражнялась в каллиграфии на старых газетах, а теперь прямо на чистой бумаге. Когда есть деньги, перестаешь это помнить, не дорожишь вещами...

— И ты все время, без перерыва, ведешь дневник?

— Да. Самые интересные записи сделала, когда мне было шестнадцать лет и в этом году. Я всегда пишу, когда возвращаюсь с какого-нибудь банкета. Переодеваюсь в ночное кимоно и пишу. Перечитаешь потом и видишь — вот на этом месте я заснула. Я ведь поздно домой возвращаюсь.

— Интересно...

— Но пишу-то я, конечно, не каждый день, бывает, и пропускаю. Здесь ведь такая глушь, а ужины — все одни и те же. В этом году мне не повезло, купила тетрадь, а там на каждой странице дата. А иногда распишешься, так и страницы не хватает.

Рассказ женщины удивил Симамуру, но еще больше он по-

разился, узнав, что она уже с пятнадцати лет конспектирует все прочитанные рассказы и романы. Сейчас у нее накопилось около десятка общих тетрадей с такими конспектами.

— Свои впечатления записываешь?

— Впечатления не умею писать. Просто записываю фамилию автора, название книги, имена героев и их отношения. Только и всего.

— Так ведь нет никакого смысла все это записывать.

— Возможно...

— Напрасный труд...

— Да, пожалуй! — Она согласилась, весело кивнув, но внимательно посмотрела на Симамуру.

И в то самое мгновение, когда Симамура почему-то хотел еще раз громко повторить «напрасный труд», в него вдруг вошла тишина, такая тихая, как снежный звон. Это было влечение к ней. Отлично зная, что для нее это не напрасный труд, он все же хотел бросить ей эти слова, которые, как почему-то ему казалось, очищали ее от всего ненужного и делали еще чище.

Она произносила «рассказ», «роман», но в ее устах это не имело ничего общего с тем, что называют литературой. Здесь, в глуши, если женщины что-либо и читали, то разве лишь женские журналы. На большее деревенские жительницы не были способны. Она читала другое и читала в полном одиночестве. Наверно, без разбору и без особого понимания. Все, что попадалось под руку. Увидит в гостинице какую-нибудь книгу или журнал и попросит почитать. Однако среди авторов, названных ею, были и неизвестные Симамуре. Но когда она говорила о прочитанных книгах, в ее тоне появлялась какая-то жалкая нотка — так бескорыстный нищий рассказывает о нежданно-негаданно полученном подаении. Для нее все прочитанное было чем-то далеким, чем-то странным и чужеземным. Не то же ли самое испытывал Симамура, разглагольствуя о европейском балете, знакомом ему по зарубежным изданиям?..

Она с неменьшим удовольствием говорила о пьесах и фильмах, которые никогда не видела. Наверно, изголодалась по беседедику. Может быть, она уже забыла, что сто девяносто девять дней назад увлекательные разговоры на сходные темы заставили ее добровольно броситься в объятия Симамуры?.. Во всяком случае, сейчас она опять все больше и больше загоралась от собственных слов, от возникающих образов.

Она тосковала по городским развлечениям, но как-то абстрактно, погружаясь в мечту, наивную и абсолютно неосущест-

вимум. В этом была простая безнадежность, а не высокомерное недовольство человека, после столицы вынужденного прозябать в провинции. Впрочем, сама она, кажется, несколько не тяготилась своей теперешней жизнью. Но в Симамуре все это отдавалось странной грустью. Если бы он позволил себе погрузиться в подобные мысли, пожалуй, он сам бы впал в несвойственную ему чувствительность и пришел бы к выводу, что его жизнь тоже бессмысленна. Но сидевшая перед ним женщина была полна жизнерадостности и свежести, словно ее всю пропитал горный воздух.

Как бы то ни было, мнение Симамуры о ней изменилось к лучшему, но почему-то теперь, когда она сделалась гейшей, ему было труднее заговорить о том, зачем он приехал.

Тогда она, совершенно пьяная, разозлившись на свои не хотевшие слушаться руки, даже укусила себя за руку.

«Дрянь паршивая, и сил-то нет... Кому такая нужна... Кому?..»

Ноги ее совсем не держали.

Вспомнились ему и слова, которые она тогда произносила, бунтуя в постели: «Я бы ни о чем не пожалела... Но я не такая... Не такая я женщина...»

Симамура заколебался, и женщина моментально вскочила и как сумасшедшая бросилась к окну, заслышав раздавшийся вдали гудок поезда. Она отвергала его.

— Ноль часов, пассажирский в столицу, — сказала она, резко раздвинула сёдзи и стеклянные створки окна и, привалившись всем телом к поручням, уселась на подоконнике.

В комнату сразу хлынул холод. Гудок поезда, удаляясь, начал казаться свистом ночного ветра.

— Дурочка, холодно ведь!

Симамура тоже встал и подошел к окну. Ветра не было.

Ночной пейзаж был суровым. Казалось, земля, покрытая холодным снегом, промерзает до самых глубин и с треском раскалывается. Луны не было. Зато небо пестрело мириадами звезд, таких ясных, таких близких, словно они все неудержимо мчались к земле. Чем больше приближались звезды, тем дальше ввысь уходило небо, тем гуще становилась ночь. Очертания пограничных гор, их выступы и складки растворились во мраке, лишь какая-то черная, закопченная масса смутно маячила на подоле звездного неба.

Поняв, что Симамура подходит к ней, женщина высунулась

в окно и всей грудью навалилась на поручни. В этой позе была не робость, а непримиримая твердость. Он подумал: опять!

Горы, несмотря на свою черноту, в какое-то мгновение вдруг делались беловатыми от снега. И тогда они казались чем-то призрачным и грустным. Между горами и небом не было никакой гармонии!

Симамура положил руку женщине на спину, где-то возле шеи.

— Простудишься. Смотри, какая ты холодная.

Он попытался оторвать ее от поручней, но она еще крепче в них вцепилась и захрипела:

— Я пойду домой!

— Ну и убирайся!

— Вот посижу еще немножко так...

— Тогда я схожу в баню, окунусь в горячую воду.

— Не надо. Побудьте тут.

— Закрой, пожалуйста, окно.

— Давайте посидим немного так...

Где-то за криптомериевой рощей лежала деревня. На станции — до нее от гостиницы десять минут езды на машине — горели фонари, но мигали так отчаянно, что, казалось, они вот-вот со звоном лопнут от мороза.

Симамура никогда не испытывал такого холода. Все, к чему прикасались его руки, — и щека женщины, и оконные стекла, и рукава его ватного халата — было совершенно ледяным.

Татами начало холодить даже ноги, и ему снова захотелось в баню, он решил пойти один.

— Погодите, и я с вами! — сказала женщина и на этот раз послушно пошла за ним.

Когда она складывала в корзину одежду, которую снял Симамура, в предбанник вошел мужчина, один из постояльцев. Увидев застывшую перед Симамурой прятавшую лицо женщину, он сказал:

— Ах, простите, пожалуйста!

— Да нет, проходите, пожалуйста! Я пойду в соседнее отделение, — вдруг ответил Симамура и, схватил корзину с одеждой, голый, направился в женское отделение.

Женщина последовала за ним — откуда этот человек знает, может быть, она жена Симамуры... Симамура молча, не оборачиваясь, бросился в теплый бассейн. Он чуть не рассмеялся от мгновенно наступившей легкости. Поспешил прополоскать горло, набрал воды в рот прямо из крана...

Когда они вернулись в номер, женщина, чуть склонив набок голову, поправила мизинцем прядь волос и произнесла одно только слово:

— Грустно!

Ее глаза как-то странно чернели. Может быть, они только наполовину открыты? Симамура, приблизившись к ней вплотную, заглянул ей в глаза. Оказывается, это чернели ресницы.

У нее были взвинчены нервы, и она совсем не спала, ни одной минуты.

Симамуру разбудил шелест завязываемого жесткого оби.

— Прости, разбудила тебя в такую рань. Ведь темно еще... Посмотри, прошу тебя...— И она выключила свет.— Ну как, можно разобрать мое лицо?

— Нет, не разберешь. Ведь еще не рассвело.

— Да нет же, ты посмотри хорошенько, как следует, а не мельком. Ну как? — Она открыла окно.— Все видно. Как плохо-то... Ну, я пошла...

Передернувшись от предрассветного холода, Симамура поднял голову с подушки. Небо было еще темным, ночным, но в горах уже наступило утро.

— Впрочем, ничего. Никто в такую рань не выйдет. Крестьянам сейчас в поле делать нечего. Разве только в горы кто-нибудь собрался...— рассуждала она вслух, прохаживаясь по номеру. Конец незавязанного оби волочился за ней.— Пятичасовой поезд из Токио уже был, никто в гостинице не остановился с этого поезда... Значит, прислуга долго еще не поднимется.

Завязав оби, она продолжала расхаживать по комнате. Садилась, вставала и снова ходила из угла в угол. Поглядывала на окно. словно дикое ночное животное, напуганное, раздраженное близящимся рассветом. Животное, которое никак не может успокоиться и мечется, мечется... Будто в ней пробудились какие-то загадочные древние инстинкты.

Вскоре рассвело и стало видно, какие у нее румяные щеки. Необыкновенно яркие. Симамура даже удивился.

— У тебя щеки совсем красные от холода.

— Это не от холода. Пудру смыла, оттого они и красные. А мне тепло, в постели я сразу согреваюсь вся, до кончиков ног. Она села к трюмо у изголовья постели.

— Дождалась, совсем светло стало... Ну, я пойду...

Симамура посмотрел в ее сторону и втянул голову в плечи. Глубина зеркала была совершенно белой — отражала снег, а

на этом белоснежном фоне алено, пылало лицо женщины. Удивительная, невыразимо чистая красота.

Должно быть, солнце уже начало подниматься из-за горизонта — снег в зеркале вдруг засверкал, загорелся холодным пламенем. И в этом холодном снежном пламени густо чернели волосы женщины, приобретая все более яркий фиолетовый оттенок.

Горячая вода, переливаясь через край бассейнов, стекала в канавку, вырытую вокруг гостиницы на скорую руку, вероятно, на случай снежных завалов. У парадной двери вода из канавки почему-то разлилась, и тут образовалось нечто вроде маленького прудика. Огромный черный пес акитской породы, взобравшись на камень садовой дорожки, лакал воду прямо из прудика. Вдоль стен гостиницы стояли вынутые из чулана лыжи, которыми обычно пользовались постояльцы. От них исходил едва уловимый запах, сладковатый от паров горячей воды. С ветвей криптомерий срывались снежные комья, падали на крышу общей купальни и расплывались бесформенной массой. Комья казались теплыми.

...Скоро, ближе к новому году, начнутся метели, эту дорогу засыплет... В гости придется ходить в горных хакама, в резиновых сапогах, закутавшись в накидку и платок. Снега к тому времени выпадет на один дзё...

Так говорила женщина перед рассветом, глядя в окно.

Сейчас Симамура шел вниз по этой дороге. Вдоль обочины сушились высоко подвешенные пеленки. В просвете между пеленками и землей виднелись горы, сиявшие мирной снежной белизной. Зеленый лук-лутак еще не засыпало снегом.

На рисовых полях деревенские ребятишки катались на лыжах.

Когда Симамура свернул в деревню, раскинувшуюся у самого тракта, послышался шум, похожий на шум дождя.

С карнизов свисали ласково поблескивавшие сосульки.

Шедшая из купальни женщина посмотрела вверх, на мужчину, сбрасывавшего снег с крыши, и сказала:

— Послушай, может, заодно и у нас сбросишь?

Щурясь от яркого солнца, она отерла лоб мокрым полотенцем. Наверно, кельнерша, приехавшая сюда подзаработать во время лыжного сезона. Неподалеку было кафе с намалеванными на стеклах масляной краской, уже выцветшими картинками. Крыша у кафе покосилась.

Большинство крыш было крыто мелкой дранкой, в нескольких местах придавленной камнями. На солнечной стороне снег подтаивал и камни казались совсем черными. Впрочем, черными они были скорее всего не от влаги, а от продолжительного выветривания на морозе. Дома чем-то походили на эти камни — приземистые, с низкими крышами. Так обычно строят на севере.

Ватага ребят играла на дороге. Дети вытаскивали из канавы лед и швыряли его на дорогу. Лед звонко, с хрустом разбивался и мелкими осколками разлетался в разные стороны. Должно быть, детям нравились эти искристые, блестящие брызги. Симамуру, стоявшего на солнцегреве, поразила неправдоподобная толщина льда. Некоторое время он наблюдал за игрой.

Девочка лет тринадцати-четырнадцати, приклонившись спиной к каменной ограде, что-то вязала из шерсти. Она была в горных хакама и высоких гэта на босу ногу. На подошвах ее покрасневших от холода ног виднелись трещины. Другая девочка, маленькая, лет трех, сидела рядом на охалке хвороста и с серьезной сосредоточенностью держала клубок шерсти. Казалось, даже истертая шерстяная нить, протянувшаяся от маленькой девочки к большой, излучает тепло.

Из лыжной мастерской за семь-восемь домов впереди доносился шум рубанка. Напротив, в тени карниза одного из домов, стояла группа гейш. Человек пять-шесть. Женщины переговаривались. Не успел Симамура подумать, что, может быть, и Комако там — он узнал сегодня в гостинице, что та женщина среди гейш известна под именем Комако, — как увидел ее. Она тоже его заметила и сразу застыла, посерьезнела. Хоть бы держалась попроще, как ни в чем не бывало, подумал Симамура, а то ведь, наверно, вспыхнет, покраснеет. И действительно, Комако до самой шеи залилась краской. И не отвернувшись, а, неловко потупившись, медленно поворачивала голову вслед за идущим по дороге Симамурой.

Ему показалось, что у него тоже вот-вот запыхают щеки, и он поспешно прошел мимо. Но Комако бросилась его догонять.

— И чего вы тут ходите! Мне же неудобно...

— Тебе? Это мне неудобно. Ишь, высыпали на улицу толпой, даже пройти страшно. Что, всегда вы так?

— Да, обычно всегда после обеда.

— А краснеть, да еще догонять со всех ног вовсе неудобно.

— Подумаешь! — резко сказала Комако и, снова краснея,

остановилась и схватилась за персимон, росший у обочины. — Я догнала, думаю, может, домой ко мне заглянете.

— Ты недалеко живешь?

— Да.

— Загляну, пожалуй, если свои дневники покажешь.

— Я их сожгу!.. Когда сожгу, тогда и умереть спокойно можно.

— У вас дома ведь больной?

— Подумать только, какая осведомленность!

— Да ты же сама его вчера вечером встречала! Была на станции, в темно-синей накидке. А я с этим больным в одном вагоне ехал, чуть ли не рядом. Его девушка сопровождала, ухаживала за ним, и так нежно, так заботливо. Жена, что ли? Она отсюда за ним ездила или из Токио вместе приехали? Я смотрел и восхищался, как она с ним держится, совсем по-матерински.

— Почему ты не сказал мне об этом вчера вечером? Почему молчал? — с раздражением сказала Комако.

— Так это его жена?

Она не ответила на его вопрос.

— Почему вечером не сказал? Ужасный ты человек!..

Симамуре не понравилась ее резкость. Чего это она, ведь никаких причин для раздражения нет, ни он, ни она сама вроде бы не давали для этого повода. Очевидно, такой уж у нее характер. Но когда Комако начала его донимать, Симамура почувствовал, что ее вопрос — почему молчал — задел его за живое. Да, сегодня утром, увидев в зеркале отражение снегов и на их фоне Комако, он вспомнил другое отражение — девушка и вечерние сумерки в зеркальном стекле вагона... Но почему он должен был рассказывать об этом Комако?..

— Ну и что, что больной... В его комнату никто и не пойдет... — Комако миновала низкую каменную ограду.

Справа лежал засыпанный снегом огород. Слева, вдоль стены соседнего дома, росли, выстроившись в одну линию, персимоны. Перед самым домом, очевидно, были клумбы. Между ними, в маленьком прудике для выращивания лотосов, по краям которого лежал вынутый из него лед, плавали красные карпы. Дом был обшарпанный, старый, как и стволы персимонов. На крыше, крытой дранкой, тоже старой, прогнившей, местами лежал снег, волнами спускавшийся к карнизу.

В передней с земляным полом Симамуру охватил промозглый холод. Он еще ничего не различал в темноте, а его уже

потащили вверх по лесенке. Стародавняя лестница — не со ступенями, а с перекладинами. Комната наверху представляла собой не что иное, как самый обыкновенный чердак.

— В этой комнате раньше шелковичных червей разводили.

— И как ты только не свалишься с лестницы, когда приходишь домой пьяная!

— Иногда падаю. В таких случаях я обычно уже не лезу вверх. Пригреюсь внизу у котачу, там и засну.

Комако сунула руку под одеяло, пощупала котачу и вышла за горячими углями.

Симамура окинул взглядом комнату. Она показалась ему не совсем обычной. Одно-единственное окошко выходило на юг. Сёдзи, свежееклеенные, в мелкую клеточку, были светлыми, яркими. Стены, оклеенные рисовой писчей бумагой, выглядели очень аккуратно, хотя и создавали впечатление, будто ты попал в бумажную коробку. Но понижавшийся к окну потолок — простая изнанка крыши — подавлял своей темной тоскливостью. «А что за стеной?» — подумал вдруг Симамура, и ему начало казаться, что комната висит в воздухе. Возникло ощущение неустойчивости. И все-таки комната была очень чистенькой — и стены, и старые татами сияли чистотой.

Комако живет в помещении, где раньше разводили шелковичных червей, и тело у нее такое же шелковистое, как у шелкопряда...

Котачу было покрыто ватным одеялом из такой же полосатой бумажной материи, что и горные хакама. Комод, ветхий, но роскошный, из павлонии, с тонким рисунком древесины — возможно, память о Токио — совершенно не гармонировал с простым трюмо. Зато красная лакированная шкатулка была по-настоящему роскошной. У одной стены были прибиты доски, задернутые муслиновой занавеской. Должно быть, книжная полка.

На стене висело кимоно, в котором Комако была вчера вечером. В его распахнувшихся полах виднелась красная подкладка нижнего кимоно.

Комако снова поднялась по лестнице, держа в одной руке совок с горячими углями.

— В комнате больного взяла, но, говорят, огонь всегда чистый...

Комако, склонив голову с тщательно уложенными волосами, разгребла пепел в котачу. Она рассказала, что у больного туберкулез кишечника и он вернулся на родину умирать.

— Родина — это только так говорится, а вообще-то он родился не здесь. Здесь родная деревня его матери. Она была гейшей в портовом городе и, отслужив свой срок, осталась там, стала преподавать танцы. А потом ее разбил паралич, ей тогда и пятидесяти не было, и она вернулась домой, на горячие источники, чтоб уж заодно и полечиться. Ее сын с детства увлекался техникой и как раз в это время устроился работать к часовщику, очень хорошая попалась ему работа, ну он и остался в портовом городе. Но вскоре уехал в Токио, там работал и ходил в вечернюю школу. Напряжение-то какое! Вот, видно, организм и не выдержал. А ему ведь только двадцать шесть лет, в нынешнем году исполнилось...

Все это Комако выпалила одним духом, но ни словом не упомянула о девушке, ехавшей с сыном хозяйки. Не сказала также, почему она сама живет в этом доме.

Но и этих слов было достаточно, чтобы Симамура уже не мог спокойно усидеть в комнате, словно бы парившей в воздухе, в комнате, откуда голос Комако, казалось, свободно летел на все четыре стороны.

Когда Симамура, уже собираясь выйти из дома, хотел перешагнуть порог, его внимание привлек какой-то предмет, белевший в темноте. Это был павлониевый футляр для сямисэна. Он показался ему длиннее и больше, чем был на самом деле, и Симамура подумал, как же она ходит к гостям с такой громоздкой вещью?.. В этот момент раздвинулись закопченные фусума, и голос, звеняще-чистый, до боли прекрасный, готовый вот-вот рассыпаться эхом, произнес:

— Кома-тян, можно через него перешагнуть?

Симамура запомнил этот голос. Голос, позвавший начальника станции из окна ночного поезда, голос Йоко.

— Можно! — ответила Комако.

И Йоко в горных хакама легко перешагнула через футляр с сямисэном. В одной руке она держала стеклянную утку.

Судя по вчерашнему разговору с начальником станции и по горным хакама, Йоко была уроженкой здешних мест. Но было в ней какое-то особое очарование. Возможно, из-за своеобразия ее наряда: из-за пояса бумажных горных хакама в бледно-коричневую и черную широкую полоску наполовину выглядывало яркое оби, и все это в сочетании с длинными рукавами муслинового кимоно передивалось и играло. По бокам хакама, от колен до пояса, были прорези, поэтому они округло и изящно вздувались на бедрах, хотя в жесткой бумажной тка-

ни чувствовалась неподатливость. Почему-то от всего ее костюма веяло покоем и тишиной.

Но Йоко ни на секунду не задержалась, быстро прошла через переднюю, бросив на Симамуру один-единственный пронзительный взгляд.

Выйдя наружу, Симамура никак не мог отделаться от ощущения, что взгляд Йоко, холодный, как далекий свет, все еще мерцает на его лице. И он вспомнил свой восторг тогда, в поезде, когда отраженный в стекле глаз Йоко совместился с дальним огоньком в поле и ее зрачок вспыхнул и стал невыразимо прекрасным. Должно быть, увидев сейчас Йоко, он вспомнил свое тогдашнее впечатление, а оно в свою очередь вызвало в памяти яркие щеки Комако, плававшие в зеркале на фоне снега.

Симамура ускорил шаг. Несмотря на свои полноватые ноги, Симамура любил лазить по горам и всегда незаметно ускорял шаг, если на горизонте маячили горы. Ему, легко впадавшему в блаженное состояние, сейчас не верилось, что оба зеркала — и отражавшее вечерний пейзаж, и зеркало в то снежное утро — были обычными стеклами, созданными рукой человека. Для него они были частью природы и в то же время каким-то далеким миром.

Даже комната Комако, откуда он только что вышел, начала ему казаться такой же далекой. Это удивило Симамуру. Он поднялся на вершину холма. Здесь ему встретилась массажистка. Он бросился к ней, словно в этой женщине было его единственное спасение.

— Нельзя ли вас попросить сделать мне массаж?

— Даже и не знаю... Какой теперь час?..

Массажистка, взяв палку под мышку, вытащила из-за obi карманные часы с крышкой и кончиками пальцев ощупала циферблат.

— Два часа тридцать пять минут. В половине четвертого мне надо быть довольно далеко отсюда, за станцией. Впрочем, ничего не случится, если опоздаю немного.

— Удивительно, как вы узнаете время по часам!

— А они у меня без стекла.

— И вы наощупь разбираете цифры?

— Нет, цифр разобрать не могу...

Она опять вытащила часы, открыла крышку и показала Симамуре основные цифры циферблата, нажимая кончиком паль-

ца на нужные места: вот тут двенадцать, тут шесть, между ними — три...

— Я потом уже высчитываю. Минута в минуту не получается, конечно, но больше чем на две минуты еще ни разу не ошибалась.

— Интересно... А по крутым дорогам как же вы ходите? Ноги не скользят?

— Если дождь, дочь за мной приходит. А вечером я сюда не взбираюсь, только в деревне работаю. И надо же, горничные в гостинице болтают, что будто муж меня не пускает!

— А дети у вас уже большие?

— Да, старшей девочке тринадцать исполнилось.

Разговаривая, они пришли в номер Симамуры. Некоторое время она массировала молча. Потом, задумчиво повернув голову в сторону далеких звуков сямисэна, сказала:

— Кто же это играет...

— Неужели по одному звучанию сямисэна вы можете угадать, кто из гейш играет?

— Бывает, и узнаю, бывает, и нет, смотря кто играет... А вы, господин, в завидном достатке живете, тело у вас мягкое, нежное.

— Нет, значит, жира?

— Есть кое-где. На шее вот... Вы как раз в меру полный, но сакэ, вижу, не употребляете.

— Удивительно, как вы все угадываете!

— А у меня трое клиентов с точно такой же фигурой, как у вас.

— Ну, фигура у меня довольно-таки заурядная.

— Не знаю уж почему, только если человек совсем не употребляет сакэ, не бывает он по-настоящему веселый, и в памяти ничего хорошего не остается...

— Должно быть, муж у вас любит выпить?

— И не говорите! Много пьет, не знаю, что и делать.

— Кто же играет-то? Неважно звучит сямисэн.

— Верно...

— А вы сами играете?

— Играю. С девяти лет обучалась. А теперь, лет пятнадцать уже, как обзавелась мужем, и в руки не беру.

Должно быть, слепые выглядят моложе своего возраста, подумал Симamura.

— Когда с детства обучаются, хорошо играют.

— Да... Но руки у меня сейчас уже не те — только для мас-

сажа и хороши. А вот слух... Открыт он у меня к музыке. Иногда, как сейчас, слушаю я сямисэн и злиться начинаю. Верно, себя вспоминаю, какой я когда-то была... — Она опять склонилась голову набок. — Фуми-тян, что ли играет?.. Фуми-тян из «Идзуцуя»... Лучше всего угадываешь самых хороших и самых плохих.

— А есть здесь такие, которые хорошо играют?

— Есть. Вот одна девочка, Кома-тян ее зовут, годами еще молодая, а уже играет как настоящий музыкант.

— Гм...

— Вы не знакомы с ней?.. Играет хорошо, только вот попала в эту горную глушь...

— Нет, я с ней не знаком. Но вчера ночью я приехал в одном поезде с сыном учительницы танцев и...

— Ну как, поправился он, здоровым вернулся?

— Не похоже что-то.

— Да? Говорят, эта самая Комако нынешним летом из-за него в гейши пошла, чтобы посылать ему в больницу деньги на лечение. Что же это он приехал?

— А кто она, эта... Комако?

— Она-то... Помолвлены они, потому все для него и делает, что в ее силах. И правильно, ей же на пользу пойдет.

— Помолвлены? Нет, на самом деле?

— Да, да. Говорят, помолвлены. Сама-то я не знаю, но говорят.

Это было полной неожиданностью для Симамуры. Правда, и разговоры массажистки о судьбе Комако, да и сама судьба Комако, ставшей гейшей ради спасения жениха, были настолько банальны, что Симамура даже не мог все это с легкостью принять на веру. Очевидно, этому мешал какой-то нравственный барьер в его мышлении.

Однако он не прочь был узнать побольше подробностей и хотел продолжить разговор, но массажистка замолчала.

Значит, Комако помолвлена с сыном учительницы танцев, а Йоко, как видно, его новая возлюбленная, а сам он на грани смерти... От этих мыслей Симамуре вновь пришли на ум слова «напрасный труд» и «тщета». И действительно, разве не напрасный труд, если Комако, даже запродавшись в гейши, держит свое слово и лечит умирающего?

Вот увижу Комако и скажу ей, так прямо и скажу — все это напрасный труд, подумал Симамура. Но, подумав так, слов-

но увидел Комако в новом свете, она показалась ему еще более чистой, кристально чистой.

Когда массажистка ушла, Симамура продолжал лежать и самозабвенно смаковать свою показную бесчувственность. В ней было что-то опасное, привкус какого-то риска. И от этого у него появилось ощущение, что все его существо — до самого доньшика — покрывается ледяной коркой. Но тут он заметил, что окно осталось открытым настежь.

Склоны ближних гор уже покрылись тенью, на них опускались холодные краски сумерек. В сумрачном полумраке снег на дальних горах, еще освещенных садившимся солнцем, ослепительно сиял, и из-за этого горы казались совсем близкими.

Вскоре, однако, тени на склонах совсем стусились, но чернота была различных оттенков в зависимости от высоты, очертания и удаленности гор. Наступило время, когда легкие блики солнца остались лишь на самых высоких, покрытых снегом пиках. И над ними небо запылало вечерней зарей.

Криптомериевые рощи, разбросанные в нескольких местах — на берегу реки у деревни, у лыжной станции, в окрестностях храма, — сейчас особенно отчетливо выделялись своей чернотой.

Симамура совсем было погрузился в опустошающую душу печаль, но тут, как теплый луч, появилась Комако.

Она сказала, что в гостинице есть подготовительный комитет для встречи приезжающих на лыжный сезон туристов. Сегодня после заседания комитета начался банкет. Ее пригласили.

Она подсела к котацу, сунула ноги под одеяло и вдруг погладила Симамуру по щекам.

— Что это ты такой бледный? Чудно... — Она потерла ладонями его мягкие щеки. — Дурак ты...

Кажется, она уже немного выпила.

А позже, вернувшись к нему с банкета, Комако повалилась на пол перед трюмо.

— Не знаю, не знаю... Ничего не хочу... Голова болит! Голова болит!.. О-о, тяжело мне, тяжело...

Она пьянела прямо на глазах, с непостижимой быстротой.

— Пить хочу, дай воды!

Не обращая внимания, что портит прическу, она лежала, уткнувшись головой в татами и сжимала ладонями лицо. Потом

вдруг села, протерла лицо кремом. Щеки без пудры запылали настолько ярко, что ей вдруг стало смешно и она долго хохотала. Опьянение стало проходить с такой же быстротой, как и началось. Она зябко повела плечами.

Потом начала рассказывать, что весь август ужасно маялась от сильнейшего нервного истощения.

— Боялась, с ума сойду. Все время о чем-то думала, изво всех сил, а о чем и понять не могла. Правда страшно. И не спала совсем, а сны всякие видела. И есть толком не ела. Только когда встречалась с клиентами, брала себя в руки, держалась нормально. А то, бывало, сижу целый день и втыкаю иголку в татами, втыкаю и вытаскиваю. И это ведь среди белого дня, в самую жару.

— А в каком месяце ты пошла в гейши?

— В июне... А вообще могло случиться, что я сейчас жила бы в Хамамацу.

— С мужем?

Комако кивнула.

— Да, преследовал меня один мужчина из Хамамацу, проходу не давал, требовал, чтобы я вышла за него замуж. А я колебалась, не знала, как быть.

— А чего колебаться-то, если он тебе не нравился?

— Да нет, не так это все просто...

— Неужели замужество так соблазнительно?

— У-у, какой ты противный! Не в этом дело. Но не могла я выйти замуж, если не все у меня было в порядке.

— Гм...

— А ты, оказывается, ужасно несерьезный человек.

— Но у тебя было что-нибудь с этим мужчиной из Хамамацу?

— Стала бы я колебаться, если б было! — выпалила Комако. — А он грозил мне, говорил, не даст мне выйти замуж за другого, если такой случай вдруг представится, обязательно помешает.

— Как же он помешает, живя в Хамамацу? Даль-то какая! И тебя беспокоят такие пустяки?

Некоторое время Комако лежала совершенно неподвижно, словно наслаждаясь теплом собственного тела, и вдруг, как бы между прочим, сказала:

— Я думала тогда, что я беременна. Ой, не могу, сейчас, как вспомню об этом, такой меня смех разбирает!..

Давясь от еле сдерживаемого смеха, корчась и ежась, как

ребенок, она схватилась обеими руками за воротник кимоно Симамуры.

Густые ее ресницы на плотно сомкнутых веках опять казались чернотой полузакрытых глаз.

На следующее утро, когда Симамура проснулся, Комако, упершись одним локтем в хибати, что-то писала на задней стороне обложки старого журнала.

— Слушай, я не могу идти домой. Знаешь, когда я проснулась? Когда горничная принесла горячих углей для хибати. Я так и подскочила от ужаса. Стыд-то какой! На сёдзи уже солнце. Пьяная вчера была, вот и заспалась.

— А сколько сейчас времени?

— Уже восемь.

— Пойдем в бассейн, что ли, искупаемся.— Симамура поднялся с постели.

— Да ты что?! Еще увидит кто-нибудь в коридоре.

Комако была сейчас сама скромность.

Когда Симамура вернулся из бассейна, она старательно убирала номер. Голова у нее была закутана полотенцем.

Тщательно протерев даже ножки стола и хибати, она привычным жестом разровняла в жаровне золу.

Симамура разлегся на татами, сунул ноги под одеяло и закурил. Пепел сигареты упал на пол. Комако тут же вытерла пол носовым платком и подала Симамуре пепельницу. Он беззаботно рассмеялся. Рассмеялась и Комако.

— Вот обзаведешься семьей, так небось только и будешь делать, что пилить мужа.

— Разве я тебя пилю? Такая уж я уродилась. Надо мной все смеются, что я даже белье, приготовленное для стирки, аккуратно складываю.

— Говорят, характер женщины можно узнать, заглянув в ее комод.

Когда они завтракали, весь номер буквально утопал в ярком утреннем солнце. Пригревшись, Комако подняла глаза на ясное, прозрачное, бездонное небо.

— Погода-то какая! Надо мне было пораньше пойти домой и позаниматься на сямисэне. В такой день получается совсем особый звук.

Далекне горы мерцали нежно-молочным сиянием, словно окутанные снежной дымкой.

Вспомнив слова массажистки, Симамура предложил ей по-

играть здесь. Комако тут же вышла позвонить домой, чтобы ей принесли во что переодеться и ноты нагаута¹.

Неужели в том доме, где он был вчера днем, есть телефон, подумал Симамура. В его памяти опять всплыли глаза Йоко.

— Та самая девушка принесет?

— Может, и она.

— Я слышал, ты помолвлена с сыном учительницы?

— Господи, когда это ты услышал?

— Вчера.

— Ты все же чудной какой-то. Если вчера услышал, отчего же сразу не сказал?

На этот раз Комако ясно улыбалась, не то что вчера днем.

— Трудно говорить об этом, если относишься к тебе так, как я отношусь, небезразлично.

— Болтаешь ты все, а сам ничего такого и не думаешь. Терпеть не могу токийцев! Все они врут.

— Видишь, ты сама, как только я заговорил об этом, производишь разговор на другую тему.

— Вовсе не перевозжу! И что ж, ты поверил?

— Поверил.

— Опять врешь! Не поверил ведь!

— Как сказать... Мне это показалось немного странным. Но ведь говорят, что ради жениха ты и в гейши пошла, хотела заработать на его лечение.

— Противно, как в мелодраме... Нет, мы с ним не помолвлены, хотя многие думали, что это так. А что я в гейши пошла, тут уж он вовсе ни при чем. Просто надо выполнить свой долг.

— Все загадками говоришь.

— Хорошо, скажу яснее. Наверно, было такое время, когда учительница мечтала женить сына на мне. Но она ни слова об этом не сказала, про себя мечтала, а мы с ним лишь догадывались о ее желании. Но между нами никогда ничего не было. Вот и все.

— Дружья детства.

— Да. Но мы не все время росли вместе. Когда меня продали в Токио, он один меня провожал. Об этом у меня написано в самом первом дневнике.

— Остались бы жить в портовом городе, теперь бы уже были мужем и женой.

— Не думаю.

¹ Музыкальный сказ.

— Да?

— А чего ты, собственно, беспокоишься? И вообще он скоро умрет.

— Пожалуй, нехорошо, что ты дома не почуеть.

— А по-моему, нехорошо, что ты об этом говоришь. Я поступаю так, как хочу, и даже умирающий не может мне запретить.

Симамура нечего было возразить.

Однако Комако по-прежнему ни слова не сказала об Йоко. Почему?

Да и с какой стати Йоко, так самозабвенно, так по-матерински ухаживавшая в поезде за мужчиной, будет приносить Комако во что переодеться. Йоко привезла умирающего в тот дом, где живет Комако...

Симамура, как обычно, витал где-то далеко, погруженный в свои причудливые предположения.

— Кома-тян, Кома-тян! — позвал тихий прозрачный голос, тот, прекрасный...

Это был голос Йоко.

— Спасибо, иду! — С этими словами Комако вышла в соседнюю комнату, вторую комнату в номере Симамуры. — Йоко-сан, ты одна? И как только дотащила, тяжело ведь!

Йоко, кажется, ничего не ответив, ушла...

Комако попробовала третью струну, подтянула ее заново, настроила сямисэн. И этого было достаточно, чтобы Симамура понял, как прозрачно будет у нее звучать инструмент. А вот около двадцати сочинений для сямисэна музыканта Кинэя Ясити эпохи Бунка¹ оказались для него совершенной неожиданностью. Он обнаружил их в свертке нотных упражнений, положенном Комако на котацу. Симамура взял их, развернул.

— Ты упражняешься по этим сочинениям?

— Да, здесь ведь нет учительницы. Ничего не поделаешь.

— Учительница у тебя дома.

— Она же парализована.

— Пусть парализована, но на словах-то она объяснить может!

— Вот именно, что не может, язык у нее парализован. Танцами она еще кое-как руководит, левой, действующей рукой показывает. А от сямисэна только глохнет.

— А ты разбираешься в диактрических знаках?

¹ 1804—1818 годы.

— Отлично разбираюсь.

— Небось, торговцы нотами страшно довольны, что в такой глуши не какая-нибудь там дилетантка, а профессиональная гейша занимается с таким усердием.

— В Токио, когда я была подавальщицей, я только танцевала. Там и обучилась танцам. А играть на сямисэне никто меня не обучал, это я сама, на слух. Забуду что-нибудь, а показать некому. Одна надежда на ноты.

— А как насчет пения?

— С пением плохо. Песни, которыми сопровождаются танцы, ничего, пою. Ну и новые тоже, услышу по радио или еще где-нибудь, запомню. А вот как я пою — хорошо или плохо, понять не могу. Наверно, смешно у меня получается. По-своему, оттого и смешно. Перед пожилыми клиентами никак не могу — сразу голос пропадает. Зато перед молодыми распеваю вовсю.

Комако, кажется, немного смутилась. Она выпрямилась и взглянула на Симамуру, словно приглашая его спеть или ожидая, что он запоет сам.

А его вдруг охватил страх.

Выросший в торговых кварталах, Симамура с детства любил кабуки, японские национальные танцы, хорошо знал текст сказов нагаута, но сам не обучался петь. При упоминании о нагаута, перед его глазами возникала театральная сцена, где исполняют танец. А ужины с гейшами вроде бы с этим не вязались.

— Ох, и противный же ты! Самый трудный клиент. С тобой все время чувствую себя неловко.

Она на секунду закусилась нижней губой, но тут же взяла в руки сямисэн и с милой естественностью раскрыла нотную тетрадь.

— Этой осенью разучила по нотам.

Это было «Кандзинтё».

И щеки Симамуры вдруг сразу похолодели, казалось, вот-вот покроются гусиной кожей. И сердце у него замерло. В голове стало пусто и ясно, она вся наполнилась звуками. Нет, он был не поражен, он был уничтожен. На него спускало благоговение, его душу омывало раскаяние. Он лишился собственной воли, и ему осталось только подчиниться воле Комако и с радостью нестись в мелодичном потоке.

Подумаешь, пытался внушить себе Симамура, игра молоденькой провинциальной гейши!.. Играет в обычной комнате, а держится так, будто она на сцене... А Комако иногда нароч-

но читала текст скороговоркой, иногда пропускала некоторые фразы, говоря, что тут, мол, ритм замедленный, но постепенно она становилась словно одержимой, голос ее звучал все звонче, и звуки сямисэна начали обретать такую мелодичность, что Симамуре даже страшно стало. До чего же это дойдет?.. С показным равнодушием он повалился на бок и подпер рукой голову.

Когда «Кандзинтё» кончилось, Симamura с облегчением вздохнул. А ведь, увы и ах, девчонка в него влюблена... Но от этого ему вдруг стало печально и стыдно.

— В такой день звук особенный, — сказала Комако.

И она была права. Воздух здесь был тоже совершенно особенный. Вокруг — ни театральных стен, ни зрителей, ни городской пыли. И звук — ясный в чистоте зимнего утра — звенел и беспрепятственно летел все дальше, к далеким снежным вершинам.

Сила ее игры — это сама ее душа, которую Комако вкладывала в удары плектра.

Комако привыкла заниматься на сямисэне в одиночестве. Совершенно не сознавая этого, она общалась лишь с величавой природой гор и долин, и от этого, должно быть, удар ее плектра налился такой силой. Ее одиночество, разорвав и растоптав свою печаль, порождало в ней необычайную силу воли. Может быть, у нее и были некоторые навыки игры на сямисэне, но для того, чтобы совершенно самостоятельно, только по нотам, разучить сложное музыкальное произведение, усвоить его и сыграть совершенно свободно, для этого требовались необычайное усердие и незаурядная воля.

И все равно это казалось Симамуре «напрасным трудом», «тщетой». Это вызывало в нем жалость, как бескопечное стремление к недостижимому. Но в звуках, которые Комако извлекала из сямисэна, проявлялась самостоятельная ценность ее собственной жизни.

Симamura, не разбивавший на слух тончайших оттенков игры на сямисэне, а воспринимавший лишь общее впечатление от музыки, вероятно, был самым подходящим слушателем для Комако.

Когда Комако заиграла третью вещь, «Мнякодори», Симамуре уже не казалось, что он покрывается мурашками, возможно из-за кокетливой нежности этой пьесы, и он умиротворенно, не отрывая глаз, смотрел на Комако. И он проникся к ней благодарным ощущением близости.

Ее возбужденное лицо сияло таким оживлением, словно она шептала: «Я здесь». По ее губам, влажным и изящным, как свернувшаяся колечком пивка, казалось, скользил отраженный свет даже тогда, когда они смыкались, и было в этом, как и в ее теле, что-то зовущее и соблазнительное. Ее удивительные глаза, прочерченные прямо, как по линейке, под невысокими дугами бровей сейчас блестели и смотрели совсем по-детски. Ее кожа, без пудры, словно бы обретшая прозрачность еще там, в увеселительных кварталах столицы, а здесь подцвеченная горным воздухом, была свежа, как только что очищенная луковца, и прежде всего удивляла своей чистотой.

Комако сидела выпрямившись, в строгой позе, и более чем когда-либо выглядела по-девичьи.

Она сыграла по нотам еще одну пьесу — «Урасима», сказав, что эту вещь она сейчас как раз разучивает. Кончив игру, молча засунула плектр под струны и, переменив позу, расслабилась.

И внезапно повеяло от нее вождедением.

У Симамуры не было слов, но Комако, кажется, несколько не интересовалась его мнением, она просто откровенно радовалась.

— Ты можешь узнать на слух, кто из гейш играет?

— Конечно, могу. Ведь их здесь не так много, что-то около двадцати. Легче всего узнать, когда играют «Додоицу». В этой пьесе отчетливее, чем в других, проявляется манера исполнения.

Комако вновь взяла сямисэн и положила его на икру чуть согнутой в колене и отставленной в сторону ноги. Ее бедра чуть-чуть сдвинулись влево, а корпус изогнулся вправо.

— Вот так я училась, когда была маленькая...

Комако неподвижным взглядом уставилась на гриф, а потом под одиночные звуки аккомпанемента запела совсем по-детски:

— Ку-ро-каа-мии-но...

— «Куроками» — первое, что ты выучила?

— Ага... — кивнула Комако.

Вот так, наверно, она отвечала в детстве.

После этого, оставаясь ночевать, Комако уже не старалась обязательно вернуться домой до рассвета.

Иногда появлялась трехлетняя дочка хозяина гостиницы.

Комако, услышав, как она ее окликает, повышая тон в конце — «Кома-тян», брала девочку на руки, залезала с ней под одеяло, и обе затевали веселую возню. Около двенадцати часов Комако шла с девочкой в бассейн.

После купания, расчесывая мокрые волосы девочки, Комако говорила:

— Эта девчушка, как только увидит какую-нибудь гейшу, сразу кричит: «Кома-тян!» И всегда тон в конце повышает. И все фотографии, все картинки, где женщины с японскими прическами, у нее называются «Кома-тян». Я люблю детей, и она это сразу почувствовала. Кими-тян, пойдем играть домой к Кома-тян?

Комако было поднялась, но снова спокойно уселась в плетеное кресло на галерее.

— Вон они, токийские непоседы! Уже на лыжах ходят.

Номер Симамуры был высоко. Из окна отлично был виден южный склон горы, где обычно катались лыжники.

Симамура, сидевший у котацу, обернулся и тоже посмотрел туда. Склон был едва-едва покрыт снегом, несколько лыжников в черных костюмах скользили по огородам, расположенным ступенями у подножия горы. Снегу вообще было мало, он еще не засыпал огородные межи, и лыжники передвигались неуклюже, с трудом.

— Это, наверно, студенты. Сегодня, кажется, воскресенье. Неужели они получают удовольствие?

— Во всяком случае, они в прекрасной спортивной форме, — как бы про себя сказала Комако. — Говорят, когда клиенты ходят на лыжах и вдруг встречают гейш, тоже на лыжах, они удивляются, не узнают их. Гейши здороваются, а они: «О, здравствуй! Это ты, оказывается!» Оно и понятно: гейши-то черные от загара. А вечером — пудра...

— Гейши катаются тоже в лыжных костюмах?

— В горных хакама. Клиенты за ужином частенько назначают им свидания — не встретиться ли, мол, завтра на лыжах?.. Ужасно противно! Пожалуй, не буду я в этом году ходить на лыжах... Ну ладно, до свидания! Кими-тян, пошли!.. Сегодня ночью снег пойдет. А вечером, перед тем как выпадет снег, холодно бывает.

Симамура уселся в плетеное кресло, где раньше сидела Комако. На крутой тропинке, вившейся по краю лыжного поля, он увидел возвращавшуюся домой Комако. Она вела за руку Кимико.

Появились тучи. Кое-где горы затагнуло тенью, кое-где было еще солнце. Свет и тени ежесекундно перемещались, в этой игре было что-то унылое и холодное. Вскоре и поле погрузилось в тень. Симамура взглянул, что делается вблизи, под окном, и увидел бамбуковые подпорки у хризантем, покрытые изморозью. И все же с крыши падала капель. Снег подтаивал и, стекая каплями, непрерывно позванивал.

Снега ночью не было. Сначала посыпал град, потом — дождь.

Накануне отъезда, в ясный лунный вечер, Симамура еще раз пригласил Комако к себе. Она вдруг заявила, что хочет прогуляться, хотя было уже одиннадцать часов. Грубо растолкав Симамуру, она оттащила его от котацу и чуть ли не силой повела на улицу.

Дорога подмерзла. Деревня спала, погрузившись в холод. Комако завернула подол кимоно и заткнула его за оби. Луна сверкала, как стальной диск на голубом льду.

— Давай дойдем до станции.

— С ума сошла! Туда и обратно целое ри.

— Ты скоро ведь уедешь. Давай пойдем, посмотрим на станцию.

Симамура совершенно окоченел, холод сковал его с головы до ног.

Когда они вернулись в номер, Комако вдруг сникла. Низко опустила голову, подсела к котацу, засунула руки под одеяло. Даже купаться не пошла, хотя обычно всегда ходила.

Была приготовлена только одна постель. Один конец тюфяка упирался в котацу, а край одеяла на тюфяке лежал на краю одеяла, покрывавшего котацу. Комако, понурившись, спела по другую сторону.

— Что с тобой?

— Домой пойду.

— Не валяй дурака!

— Ладно, ложись. Я хочу так посидеть.

— Что это ты вдруг решила уйти?

— Да нет, не уйду. Посижу тут до утра.

— Что за бред! Перестань дурачиться!

— Я не дурачусь. Даже и не думаю.

— Ну тогда ложись.

— Мне нельзя.

— Ерунда какая. Давай ложись! — Симамура засмеялся. — Я тебя не трону.

— Нет.

— А ты глупая. И зачем же ты так бегала?

— Пойду я...

— Ну, будет тебе! Не уходи.

— Горько мне, понимаешь? Ты ведь уезжаешь. Домой, в Токио. Горько... — Комако уронила лицо на постель.

Горько... От собственной беспомощности — ничего ведь не можешь сделать, если полюбился тебе приезжий. От безысходности таких вот минут?.. Сердце женщины сгорает, и кто знает, до какой степени оно обуглится, подумал Симамура и надолго замолчал.

— Уезжайте! Уезжайте скорее!

— А я и на самом деле собирался завтра уехать.

— Как? Почему ты уезжаешь?! — Комако подняла голову, словно проснулась.

— А что мне делать? Я же ничем не могу тебе помочь, сколько бы тут ни прожил.

Она уставилась на Симамуру непонимающим взглядом. И вдруг резко сказала:

— Вот это и плохо... Ты... Это и плохо...

Потом порывисто вскочила и бросилась Симамуре на шею.

— Ужас, что ты говоришь! Встань, встань, слышишь?! — В неистовстве, забывая обо всем, Комако упала на постель рядом с Симамурой...

Потом она открыла глаза. Они влажно светились.

— Нет, правда, уезжай завтра домой! Хорошо? — сказала она и откинула со лба волосы.

На следующий день, когда Симамура, решивший уехать трехчасовым поездом, переодевался в европейский костюм, го-стиничный служащий потихоньку вызвал Комако в коридор. Симамура слышал, как Комако сказала, чтобы посчитали за одиннадцать часов. Очевидно, клерк решил, что счет на шестнадцать или семнадцать часов — это слишком много.

Когда Симамура просмотрел счет, он увидел, что все точно подсчитано — когда Комако уходила в пять, когда до пяти, когда в двенадцать на следующий день, когда до двенадцати.

Надев пальто и белый шарф, Комако пошла его провожать на станцию.

Симамура, чтобы убить время, купил кое-что для своих домашних — соленые плоды лианы, консервы из улиток. Но все

равно до отхода поезда оставалось еще минут двенадцать, и он прошелся по привокзальной площади. Подивился, как тут мало свободного пространства — все зажато горами. Слишком черные волосы Комако на фоне унылых пасмурных гор почему-то производили жалкое впечатление.

Только в одном месте — на склоне горы в низовьях реки — почему-то светлело солнечное пятно.

— А снегу прибавилось с тех пор, как я приехал...

— Когда снег идет два дня подряд, его выпадает на шесть сяку. А если и дольше идет, то... Видишь, вон там электрический фонарь? Весь окажется тогда под снегом. Вот буду ходить в рассеянности, думать о тебе, наткнусь на провода и пораню себя...

— Неужели действительно бывает так много снегу?

— Говорят, в соседнем городке, когда там много снегу, гимназисты из общежития со второго этажа прыгают в снег голыми. Тело проваливается в снег. Говорят, они там купаются, словно в воде... Смотрите, снегоочиститель!

— Хорошо бы приехать полюбоваться вашими снегами... Но на Новый год гостиница небось битком набита?.. А поезда не заваливает снегом, когда обвалы?

— Видно, на широкую ногу вы живете... — сказала Комако, разглядывая лицо Симамуры. — А почему вы не отпускаете усы?

— Н-да, усы... Я как раз собираюсь отпустить...

Симамура погладил синеватые после бритья щеки и подумал, что вокруг рта у него эффектные складки, придающие мужественность его лицу с мягкой кожей. Может быть, из-за этих складок Комако его и переоценивает.

— А у тебя, знаешь, как только ты снимешь пудру, лицо делается таким, словно ты только что побрилась.

— «Каркает противный ворон... Чего он каркает?..» — прочитала Комако стихи и тут же: — Ой, как замерзла! — Она взглянула на небо и плотно прижала к телу локти.

— Пойдем погреемся у печки в зале ожидания?

И тут они увидели Йоко. Одетая в горные хакама, она совершенно вне себя бежала по улице к станции.

— Ой, Кома-тян!.. Кома-тян!.. С Юкио-сан что-то творится... — Задыхаясь, она ухватилась за плечо Комако, как ребенок, убежавший от чего-то страшного и в последней надежде цепляющийся за мать. — Идите скорее, с ним что-то странное! Пожалуйста, скорее!

Комако прикрыла глаза, словно лишь для того, чтобы выдержать боль в плече. Ее лицо побледнело. Но она неожиданно упрямо покачала головой.

— Я не могу пойти сейчас домой. Я провожаю клиента.

Симамура был поражен.

— Иди, иди! Какие уж тут проводы!

— Нет, не могу! Ведь я не знаю, приедете вы еще раз или нет.

— Приеду, приеду!

Йоко ничего не слышала. Захлебываясь, она говорила:

— Я сейчас звонила в гостиницу. Сказали, ты на станции. Я и примчалась. Иди, тебя Юкио-сан зовет!

Йоко тянула Комако за руку, Комако упиралась, не говоря ни слова. Потом вдруг вырвала руку.

— Отстань!

Она сделала несколько шагов и вдруг пошатнулась. В горле у нее начались спазмы, как при позывах к рвоте. Глаза заслезилась и щеки покрылись гусиной кожей.

Йоко, растерявшись, застыла и уставилась на Комако. Ее лицо, очень серьезное, но абсолютно ничего не выражавшее — ни удивления, ни гнева, ни горя, — походило на примитивную маску.

Не меняя выражения лица, она вдруг повернулась и вцепилась в руку Симамуры.

— Простите, пожалуйста! Отпустите ее, прошу вас! Отпустите! — требовала она с настойчивостью отчаяния.

— Ну конечно, отпущу! — Симамура повысил голос. — Иди скорее домой, глупая!

— А вам-то какое дело! — отрезала Комако, пытаясь оттолкнуть от него Йоко.

Симамура хотел показать на автомобиль, стоявший у станции, и почувствовал, что его рука, которую Йоко сжимала изо всех сил, совершенно онемела. Тогда он сказал:

— Я немедленно отправлю ее домой на той вот машине. А вы идите. Нельзя же так, люди ведь смотрят!

Йоко кивнула.

— Только побыстрее! — Она повернулась и побежала. Все у нее получилось неправдоподобно просто. И Симамура, глядя ей вслед, подумал совершенно не к месту, почему эта девушка всегда такая серьезная.

У него в ушах все еще звучал голос Йоко, до боли пре-

красный, который, казалось, вот-вот отдастся эхом где-нибудь в заснеженных горах.

— Куда вы! — Комако остановила Симамуру, собравшегося идти искать шофера. — Я не поеду домой, не поеду!

Симамура вдруг почувствовал к ней чисто физическую ненависть.

— Я не знаю, какие отношения существуют между вами троими, но сын учительницы, наверно, умирает. Потому и захотел тебя видеть, потому и послал за тобой. Так иди же к нему, иди с открытым сердцем. Подумай, что с тобой будет, если он сейчас умрет, сейчас, пока мы тут пререкаемся? Ты же будешь раскаиваться всю жизнь! Не упрямясь, прости ему все!

— Нет, нет, вы заблуждаетесь!

— Но, пойми, он же один, только он провожал тебя тогда в Токио, когда тебя продали. И ты об этом написала на самой первой странице своего первого дневника. Как же ты можешь не попроситься с ним теперь, когда он уходит из жизни?! Иди, и пусть он впишет тебя в последнюю страницу своей жизни.

— Нет! Я не могу смотреть на умирающего!

Это прозвучало одновременно и как самая холодная бессердечность, и как самая горячая любовь. Симамура, растерявшись, заколебался.

— Теперь я уже не смогу вести дневник. Сожгу, все сожгу... — бормотала Комако, заливаясь краской. — Послушай... ты, наверно, искренний человек. А раз искренний, то не станешь надо мной смеяться. Я пошлю тебе мои дневники, все, целиком. Ведь ты же искренний...

Симамура был растроган. Его охватило непонятное волнение, ему начало казаться, что он действительно самый искренний на свете человек. И он не стал больше настаивать, чтобы Комако шла домой. Она тоже молчала.

Появился гостиничный служащий и сообщил, что уже пускают на перрон.

Сошли с поезда и сели в него лишь местные жители, всего несколько человек, мрачных, одетых по-зимнему.

— Я не пойду на платформу. До свидания!

Комако стояла у окна в зале ожидания. Стекло створки окна были закрыты. Из вагона казалось, будто в грязном стеклянном ящике жалкой деревенской фруктовой лавки забыли один-единственный невиданный плод.

Как только поезд тронулся, за стеклами зала ожидания за-

горелся свет. Симамура подумал — сейчас ее лицо вспыхнет в потоке электричества... Но оно тут же исчезло, полыхнув лишь на одно мгновение удивительно яркими щеками, такими же, как тогда, в снежном зеркале.

И снова для Симамуры этот цвет был той гранью, за которой исчезает реальность.

Поезд поднялся на северный склон пограничной горы и вошел в длинный туннель. Мрак земли, казалось, поглотил бледные лучи предвечернего солнца, а дряхлый поезд сбросил в туннеле свой светлый панцирь. По выходе из туннеля поезд начал спускаться вниз между громоздившимися друг на друга горами, залитыми вечерними сумерками. По эту сторону пограничных гор снега еще не было.

Дорога тянулась вдоль реки и выбегала на равнину. Над краем горы с причудливо изломанной вершиной и гармоничными пологими линиями склона висела луна, освещающая всю гору до самого подножия. Гора была единственной достопримечательностью унылого пейзажа. Ее контур, подсвеченный гаснущим вечерним заревом, рельефно вырисовывался на фоне темно-голубого неба. Луна, уже не белая, а бледно-желтая, еще не обрела холодной ясности, как в зимние ночи. В небе не было ни одной птицы. Там, где широко раскинувшиеся вправо и влево склоны горы сбегали к реке, стояло снежной белизны здание, похожее на гидроэлектростанцию. Только его и можно было еще различить в сумерках зимнего увядания за окном вагона.

Стекла начали запотевать от парового отопления. Плывшая за ними равнина темнела, и с наступающей темнотой стекла начали все отчетливее отражать полупрозрачных пассажиров. Это была та же самая игра зеркала и вечернего пейзажа.

Поезд сильно отличался от поездов Токайдоской магистрали — допотопные, обшарпанные вагоны старого образца, свет тусклый. Да и вагонов-то всего три или четыре.

Симамура отрешился от всего окружающего. Представление о времени и пространстве исчезло. Его тело бесцельно парило в чем-то ирреальном, и постепенно монотонный стук колес начал ему казаться голосом женщины.

Женщина говорила, ее слова были короткими и отрывистыми, свидетельствующими о полноте ее жизни, такой полноте, что Симамура слушал их с тяжелым сердцем. Он уносился все дальше и дальше, и звучание далекого голоса аккомпанировало дорожной тоске.

Может быть, Юкио уже испустил последний вздох? Успела ли Комако к его смертному одру?.. Почему она так упорно не хотела идти домой?..

Пассажиров было мало.

Всего двое — мужчина лет пятидесяти и девушка с румяным лицом. Они сидели друг против друга и говорили без умолку. Девушка, в черном шарфе на полных плечах, обращала на себя внимание великолепным ярким цветом лица. Чуть подавшись вперед, она сосредоточенно слушала собеседника и очень оживленно ему отвечала. Они казались близкими людьми, отправившимися вдвоем в долгое путешествие.

Однако, когда поезд остановился на станции, где позади вокзальчика возвышалась труба прядильной фабрики, мужчина торопливо снял с полки ивовую корзину и спустил ее через окно на платформу.

— Ну, будьте здоровы! Может, еще когда и встретимся, если выпадет случай,— сказал он и сошел с поезда.

Симамура чуть не прослезился и сам поразился своей чувствительности. Он подумал, что мужчина возвращается домой после свидания с женщиной.

Ему и в голову не пришло, что они случайные спутники. Мужчина, очевидно, был разъездным торговцем или кем-нибудь в этом роде.

Когда Симамура уезжал, жена говорила, чтобы он аккуратнее обращался с одеждой — не складывал в корзину, не вешал на стену, потому что как раз в это время года моль откладывает яички. И действительно, в гостиничном номере мотыльки липли к лампе, свисавшей с карниза галереи. Во второй комнате тоже летал какой-то мотылек, кукурузно-желтого цвета, маленький, но с толстым брюшком. Он сел на плетеную корзину.

На окнах еще оставались сетчатые рамы от насекомых. На сетке, с паружной стороны, тоже сидел мотылек с бледно-зелеными, почти прозрачными крылышками и тонкими, как пух, усиками цвета кипарисовой коры. Горы, видневшиеся вдали, за оконной сеткой, были залиты вечерним солнцем, но их уже окрасила в свои цвета осень, и зеленоватое пятнышко мотылька казалось на этом фоне мертвым. Только там, где его крылья находили друг на друга, зеленый цвет был сильнее. Налетел осенний ветерок, крылышки мотылька заколебались, как тонкие листки бумаги.

Живой он или нет, подумал Симамура и щелкнул пальцем по сетке. Мотылек не шелохнулся. Тогда Симамура ударил по сетке кулаком. Мотылек упал, как лист с дерева, но тут же легко запорхал в воздухе.

Внимательно присмотревшись, Симамура заметил: вдали, на фоне криптомериевой рощи, непрерывным потоком пронеслись стрекозы. Слово пух с одуванчиков. Как же их много — стрекоз.

Река у подножия горы, казалось, вытекала прямо из ветвей криптомерий. Симамуре очаровал серебристый блеск буйно цветущей леспадезы, покрывавшей склоны невысокой горки.

Выйдя из гостиничной купальни, Симамура увидел у парадной двери русскую торговку, торгующую вразнос. Чудеса, в такую глушь забралась, подумал Симамура. Он подошел поближе — посмотреть, чем она торгует. Ничего особенного — обычная японская косметика и украшения для волос.

Лицо этой женщины, лет сорока или больше, было покрыто густой сетью мелких морщин. Кожа потемнела, но на полной шее, в разрезе блузки, была ослепительно белой и гладкой.

— Вы откуда приехали? — спросил Симамура.

— Откуда? Это я-то?.. — переспросила она и задумалась, словно не зная, что ответить.

Потом она начала складывать свой товар. Ее юбка, уже превратившаяся в тряпку, кажется, была европейского покроя. Она взвалила на спину — совсем по-японски — огромный сверток в фуросики и ушла. На ногах у нее были туфли.

Хозяйка, вместе с Симамурой смотревшая, как уходит торговка, пригласила его в контору. Там у очага спиной к ним сидела крупная женщина. Когда они вошли, она поднялась, поправив подол нарядного черного кимоно с фамильными гербами.

Симамура узнал эту гейшу. Он видел ее на рекламной фотографии лыжной станции. Она была сфотографирована вместе с Комако. Обе были на лыжах, в горных хакама и в вечерних кимоно. Женщина не очень молодая, красивая, с барственной осанкой.

Хозяин гостиницы поджаривал булочки овальной формы со сладкой начинкой. Булочки лежали на железных щипцах, перекинутых через хибати.

— Не угодно ли попробовать? Подарок по случаю радостного события. Отведайте кусочек, хотя бы так, для развлечения.

— Что, эта женщина, которая сейчас здесь была, уже оставила свою профессию?

— Да, оставила.
— Видная гейша.
— Отработала свой срок и сейчас по этому случаю обходит с визитами своих знакомых. Она большим успехом пользуеться.

Подув на горячую булочку, Симамура откусил кусочек и почувствовал кислотоватый привкус не очень свежей корки.

Под окном в лучах вечернего солнца ярко алели спелые персимоны. Отраженный от них свет, казалось, окрашивал бамбуковую палку с крючком на конце, укрепленную над очагом.

— Что это?.. Такая огромная леспедеза?

Симамура с изумлением смотрел на женщину, идущую по дороге по склону горы. Женщина тащила на спине вязанку каких-то растений с удивительно длинными, в два раза больше ее самой, стеблями и длинными метелками.

— Простите, что вы сказали? А-а, это мискант.

— Мискант, говорите?.. Значит, мискант...

На выставке, рекламирующей горячие источники, устроенной министерством железных дорог, есть один павильон — то ли чайный, то ли для отдыха, так вот его крышу покрыли этим самым мискантом. Говорят, какой-то человек из Токио купил этот павильон целиком.

— Мискант, значит... — еще раз, как бы про себя, повторил Симамура. — Выходит, на горе растет мискант, а он думал, это леспедеза.

Когда Симамура сошел с поезда, белые цветы на горе сразу бросились ему в глаза. Серебристое цветение затопило весь склон, особенно верхнюю его часть. Казалось, это были не растения, а лучи самого солнца, осеннего, но удивительно щедро, Симамура задохнулся от восхищения.

Но с близкого расстояния огромный мискант выглядел совсем по-другому, чем тот, покрывавший далекий горный склон.

Огромные вязанки совершенно скрывали фигуры тащивших их на спине женщин. Вязанки то и дело задевали за каменные ограды, тянущиеся по обеим сторонам крутой дороги. Метелки были воистину могучие.

Симамура вернулся к себе в номер. Во второй комнате с десятисвечевой лампой тот самый толстобрюхий мотылек, ползая по черной лакированной корзинке, откладывал, видно, яички. Мотыльки под карнизом бились о декоративный фонарь.

Сверчки и кузнечики начали петь еще днем.

Комако пришла немного позже, чем он ждал. Остановившись в коридоре у дверей, она взглянула на Симамуру в упор.

— Зачем ты приехал? Ну зачем?

— Зачем? С тобой повидаться.

— Говоришь, а сам этого не думаешь. Терпеть не могу токийцев, вруны вы все.— Она уселась, мягко понизила голос.— Ни за что больше не стану тебя провожать. Ужасное какое-то состояние.

— Ладно, на этот раз я тайком от тебя уеду.

— Нет, что ты! Я просто хотела сказать, что на станцию провожать не пойду.

— А что с тем человеком?

— Умер, что же еще...

— Пока ты была со мной на станции?

— Одно к другому не имеет никакого отношения. Но я никогда не думала, что провожать так тяжело.

— Гм...

— А где ты был четырнадцатого февраля? Опять наврал. А я-то ждала, так ждала! Нет, уже больше никогда тебе не поверю!

Четырнадцатого февраля — «Торией» — «Изгнание птиц с полей», ежегодный детский праздник в этом снежном краю. За десять дней до него собираются все деревенские дети, обутые в сапожки из рисовой соломы, и утаптывают снег в поле. Потом вырезают из него большие кирпичи, примерно в два саяку шириной и высотой. Из них строят снежный храм. Каждая сторона храма — около трех кэн, высота — больше одного дзё. Четырнадцатого февраля вечером перед храмом зажигают костер, сложенный из собранных со всей деревни симэ¹. В этой деревне Новый год празднуют первого февраля, так что до четырнадцатого украшения еще сохраняются. Затем дети поднимаются на крышу храма и, толкаясь и озорничая, поют песню «Торией». Потом все идут в храм, зажигают свечи и проводят там всю ночь. А пятнадцатого, ранним утром, еще раз исполняют на крыше храма песню «Торией».

В это время тут снега особенно много. Симамура обещал Комако приехать на этот праздник.

— Я ведь бросила свою работу. В феврале к родителям

¹ Ритуальное украшение из рисовой соломы с вплетенными в него полосками бумаги, которое вешают над входом в дом под Новый год.

уехала. А четырнадцатого вернулась, думала, ты обязательно приедешь. Знала бы, так не презжала, пожила бы там, поухаживала...

— А что, кто-нибудь болел?

— Да, учительница моя поехала в портовый город и схватила там воспаление легких. Я от нее телеграмму получила как раз тогда, когда у родителей была, ну и поехала за ней ухаживать.

— Выздоровела она?

— Нет...

— Да, действительно очень нехорошо получилось,— сказал Симамура, как бы извиняясь за то, что не сдержал слова, и одновременно выражая соболезнование по поводу смерти учительницы.

— Да ничего,— вдруг совершенно спокойно произнесла Комако и обмахнула носовым платком стол.— Ужас, сколько их налетело!

И по обеденному столику, и по татами ползали мелкие крылатые насекомые. Вокруг абажура кружили мотыльки.

Оконная сетка снаружи тоже вся была облеплена мотыльками разных видов. Насекомые отчетливо выделялись в лунном свете.

— Желудок у меня болит,— сказала Комако, засовывая руки за оби и кладя голову на колени Симамуры.

Ворот кимоно у нее немного отстал, и на густо напудренную шею дождем посыпались малюсенькие насекомые. Некоторые тут же неподвижно застывали.

Шея у нее стала полнее и глаже, чем в прошлом году. Ей уже двадцать один, подумал Симамура.

Он почувствовал, что его колени теплеют.

— Здесь в конторе надо мной все подсменваются — пойдн, мол, Кома-тян, загляни в номер «Камелия»... Противные такие! А я подружку одну, гейшу, провожала, в поезде с ней немного проехала. Устала. Только вернулась домой, спокойно полежать хотела, а мне говорят: отсюда звонили. Совсем было решила не ходить, устала ведь страшно, перешла вчера на вечере, когда подружке проводы устраивали, решила, а все же пришла. А в конторе смеются. Но я же тебя целый год не видела. Ты ведь человек, являющийся раз в году?

— А я попробовал булочку этой вашей подружки.

— Да?

Комако выпрямилась. Ее лицо, покрасневшее в тех местах,

которые были прижаты к коленям Симамуры, внезапно стало каким-то детским.

Комако сказала, что провожала эту самую гейшу, проехала с ней до третьей станции.

— Плохо у нас тут стало. Раньше, бывало, со всеми всегда договоришься. А теперь не то, все такие эгоистки, каждая сама по себе. Да, многое изменилось. И гейши, как нарочно, такие подобрались, характером между собой не сходятся. Без нее, без Кикую, грустно мне будет. Она ведь всегда во всем зачинщицей была. А как ее любили кленты, самая популярная гейша была. И приглашали ее больше всех, и зарабатывала она больше всех. У нее в месяц выходило шестьсот курительных палочек. Понятно, что хозяева ее на руках носили.

Симамура спросил, что теперь собирается делать Кикую — замуж выйдет или свой ресторан откроет? Он слышал, что, отработав свой срок по контракту, она уезжает на родину.

— Ой, знаешь, какая она несчастная! Она ведь к нам после неудачного замужества приехала, — сказала Комако и, на секунду запнувшись, словно сомневаясь, стоит ли говорить дальше или нет, взглянула на освещенные луной ступенчатые огорды на горном склоне. — Видишь вон тот дом, совсем новый? На склоне...

— Маленький ресторанчик «Кикумура»?

— Да, он самый. Этот ресторан мог бы теперь принадлежать Кикую-сан. Но из-за своего характера она все упустила. Скандал был страшный. Она заставила покровителя устроить ей дом, а как дело дошло до переезда, заупрямилась. Из-за нового любовника. Он обещал на ней жениться, да обманул. А она из-за него совсем голову потеряла. В конце концов сбежал он, любовник-то, а к прежнему покровителю Кикую не захотела вернуться и ресторан не взяла, может, и хотела, но не вернулась, не могла так поступить... И остаться тут не могла, позор ведь. Вот теперь и уезжает, решила где-нибудь в другом месте все начинать сначала. В общем, несчастная она, невезучая. Оказывается, — мы-то, правда, не знали об этом, — мужчин у нее много было.

— Уж не полк ли?

— Кто его знает... — Комако, подавив смех, вдруг отвернулась от Симамуры. — Кикую-сан слабохарактерная, слабая...

— А что она могла поделать?

— Как что?! Мало ли сколько мужчин может влюбиться в

женщину, нельзя же...— Комако подняла голову, почесала в голове пшилкой.— Грустно было ее провожать!

— А с рестораном что сделали?

— Да жена этого самого покровителя, что ресторан построил, переехала сюда, теперь сама хозяйничает.

— Жена? Интересно!

— Понимаешь, дом-то уже готов был — вступай во владение и начинай дело. Ничего другого и не придумаешь. Ну, жена и переехала со всеми детьми.

— А со своим прежним домом что они сделали?

— Бабушку там оставили, одна теперь живет. Сами-то они крестьяне. Но муж — широкий человек, любит погулять. Забавный он.

— Прожигатель жизни. В годах уже, наверно?

— Нет, молодой, лет тридцати двух-трех, не старше.

— И что ж, Кикую была старше его жены?

— Нет, жене столько же, сколько Кикую, — обеим по двадцать семь.

— А ресторан-то «Кикумура» назвали в честь Кикую, наверно? И жена оставила это название?

— Что же делать, не менять же готовую вывеску.

Симамура запахнул кимоно поглубже, и Комако, поднявшись, закрыла окно.

— Кикую-сан про тебя все знала. И сегодня мне сказала — приехал.

— Я видел, как она приходила прощаться в контору.

— Она тебе что-нибудь сказала?

— Ничего не говорила.

— А ты понимаешь, что со мной творится?

Комако раздвинула только что закрытые сёдзи и опустилась на подоконник.

Через некоторое время Симамура сказал:

— Здесь совсем другие звезды, чем в Токио. Здесь они именно висят в пустоте. И сияют по-другому.

— Не так уж сильно сияют, вечер ведь лунный... А в нынешнем году тоже было очень много снега.

— Кажется, на железной дороге несколько раз прекращалось движение.

— Да, даже жутко становилось. На машинах начали ездить на месяц позже обычного. Знаешь магазин у лыжной станции? Так вот там обвал крышу пробил. Дом двухэтажный, на первом этаже вроде бы сразу и не заметили. Только на шум обра-

тили внимание, подумали, что на кухне возятся крысы. Пошли посмотреть — никаких крыс, а на втором этаже ни окон, ни ставен — все снегом снесло. Вообще-то обваливались только верхние слои снега, но все равно по радио всюю об этом трубили. Лыжники перепугались, перестали приезжать. А я в этом сезоне не собиралась ходить на лыжах, и лыжи свои в конце прошлого года продала. Но все же несколько раз покаталась... Я изменилась?

— Где ты была, когда умерла учительница?

— А ты о других не беспокойся! Во всяком случае, в феврале, когда тебя ждала, я была здесь.

— Что ж ты мне не написала, когда в портовый город поехала?

— Это еще зачем?! Писать жалкие письма, такие, которые ты даже своей жене можешь показать? Нет уж, врать не могу. А стесняться мне нечего.

Комако говорила быстро, резко, бросая слова в лицо Симамуре.

— Погасил бы свет, а то вон сколько мошек налетело...

Луна светила так ярко, что были видны все линии уха женщины. В глубоком лунном свете татами стали совсем бледными, словно похолодели.

Губы Комако были гладкими и влажными.

— Не надо, пусти! Я домой пойду.

— Все такая же. Ничуть не изменилась. — Симамура, откинув голову, взгляделся в близко придвинувшееся лицо с чуть заметными скулами.

— Все говорят, что я совсем не изменилась с тех пор, как приехала сюда семнадцатилетней. А чего меняться-то? Ведь я живу все время одинаково.

У нее еще сохранился румянец, свойственный девушкам севера. Но кожа стала тонкой и блестела сейчас, словно перламутровая раковина.

— Ты знаешь, что я живу теперь в другом доме?

— После смерти учительницы? С комнатой, где разводили шелковичных червей, покончено? Живешь в настоящем «домике для гейш»?

— Что ты подразумеваешь под «домиком»? Я живу не в особом домике, а в лавке, где торгуют дешевыми сладостями и табаком. Из гейш там одна я. Теперь-то я в настоящем услужении, у меня контракт... Когда прихожу поздно, читаю при свече.

Симамура рассмеялся, обнял ее за плечи.

— Не могу же я зря расходовать электричество! Ведь у них счетчик.

— Вон оно что!

— Но хозяева у меня хорошие, так заботливо ко мне относятся. Я иногда даже думаю, неужели это называется быть в услужении?.. Заплачет ребенок, хозяйка сразу тащит его на улицу, чтобы мне, значит, не мешал. Все бы хорошо, ни в чем не терплю недостатка, одно только меня расстраивает — постель они криво стелют, неприятно. Когда поздно прихожу, постель уже постелена. Но матрац обычно косо лежит, да и простыня тоже. А перестилать не могу — стыдно, люди ведь для меня старались.

— Обзаведешься семьей, тяжело тебе будет.

— Все так говорят. Такой уж у меня характер. В том доме, где я живу, четверо детей. Беспорядок, конечно, страшный. Я только и делаю, что хожу за ними и убираю. Только уберу, а они опять все разбросают. Бесполезное это занятие, а я не могу, все равно стараюсь навести порядок. Я хочу жить аккуратно, по мере возможности, насколько мне это удастся в моем положении.

— Ну конечно.

— А ты меня понимаешь?

— Понимаю.

— А раз понимаешь, так скажи! Ну говори же! — вдруг напала на него Комако. Голос у нее стал напряженным. — Ничего ты не понимаешь, врешь ты все. Где уж тебе понять, ты человек легкомысленный, живешь в роскоши...

Потом она понизила голос.

— Грустно... Сама я дура... А ты завтра уезжай.

— Да что ты от меня хочешь? Ну как я могу тебе что-либо объяснить вот так, сразу? Не так все просто.

— А что тут сложного? Ты сам трудный, это вот плохо.

У Комако вновь стал прерываться голос — от горькой безысходности, что ли. Но потом она повела себя по-другому, так, словно уверилась, что Симамура все же по-своему ее понимает.

— Пусть раз в год, но приезжай. Обязательно приезжай ко мне раз в год, пока я буду здесь.

Служить ей в гейшах теперь четыре года, сказала она.

— Когда я к родителям уехала, мне и присниться не могло, что я снова пойду в гейши. Я и лыжи продала, уезжая. А дома курить бросила, все ж, думаю, какое-то достижение.

— Да, раньше ты ведь страшно много курила.
— Ага. Когда клиенты за столом угощали сигаретами, я их потихоньку опускала в рукав. Приду, бывало, домой и вытряхну из рукава целую кучу сигарет.
— Четыре года, говоряшь, еще. Долго все же...
— Что ты, пролетят незаметно.
— Какая теплая...— Симамура посадил Комако к себе на колени.

— Такой уж теплой уродилась.
— Кажется, по утрам и вечерам у вас тут уже холодно?
— Я ведь здесь уже пять лет. Сначала такая тоска была... Неужели, думаю, придется мне тут жить... Правда, до того, как провели железную дорогу, очень уныло у нас было... А ведь уже три года, как ты приезжаешь...

За три года Симамура приезжал сюда три раза. Он подумал, что каждый раз, как он приезжает, в жизни Комако происходят какие-то изменения.

Вдруг застрекотали кузнечики.

— Фу ты, гадость! Терпеть их не могу.

Комако встала с колен Симамуры.

Подул северный ветер, и все мотыльки, сидевшие на оконных сетках, разом вспорхнули.

Уже зная, что опущенные черные ресницы Комако производят впечатление полуоткрытых глаз, Симамура все же посмотрел на них, почти вплотную приблизив свое лицо к ее лицу.

— Пополнела я, как бросила курить.

Ее живот действительно стал глаже, мягче.

И все воскресло сейчас. Все будто бы позабытое, недоступное в разлуке. Вся их близость воскресла, когда они были вместе, как сейчас. И долгая разлука уже не имела значения.

Комако тихо коснулась своей груди.

— Одна стала больше.

— Глупости какие... Впрочем, может, у него такая привычка — только одну...

— Ну что ты говоришь! Неправда! Противный ты все же...— Комако вдруг резко изменилась.

И Симамура вдруг вновь ощутил это — ее перемену.

— А ты скажи, чтобы обе... обоим поровну... Всегда так говори...

— Чтобы поровну? Так и сказать — сбем... поровну?...— Комако мягко приблизила к нему лицо.

Номер был на втором этаже, но снизу отчетливо доносилось

кваканье. Почему-то расквкались лягушки. Кваканье долго не умолкало.

Когда они после купанья вернулись в номер, Комако, успокоившись, снова как ни в чем не бывало начала говорить о своей жизни.

Она даже рассказала, что на первом врачебном осмотре всех рассмешила, раздевшись только до пояса. Она думала, что это такой же осмотр, как для гейш-учениц. Отвечая на вопрос Симамуры, сказала:

— У меня очень регулярно, каждый раз на два дня раньше, чем в прошлом месяце.

— Очевидно, это не мешает тебе принимать приглашения?

— Да. А как ты догадался?

У Комако, каждый день купавшейся в водах горячего источника, знаменитого своими целебными свойствами, ходившей пешком от старого источника к новому, то есть на расстоянии одного ри, жившей в этой горной глуши, где обычно не засиживаются до полуночи, было здоровое, упругое, сильное тело, но с узкими бедрами, обычно характерными для гейш. Вообще она была узкокоистой, но достаточно полной. И все же она влекла Симамуру настолько, что он приезжал к ней в такую даль каждый год. Почему-то ему было до глубины души ее жаль.

— Интересно, у такой, как я, могут быть дети? — совершенно серьезно спросила Комако.

И тут же добавила, если она постоянно общается только с одним, то получается, что они как бы муж и жена.

Когда умер первый покровитель Комако, выкупивший ее из гейш-учениц, она уехала из Токио и вернулась на родину, в свой портовый город. Там ей сразу же предложили другого покровителя. Он поначалу не понравился ей, может быть из-за всех ее переживаний. Впрочем, и сейчас он не очень-то ей нравится, во всяком случае, она никогда не чувствует себя с ним свободно.

— Но это же хорошо, если у вас с ним целых пять лет продолжается.

— А ведь я дважды уже могла с ним расстаться. Когда здесь пошла в гейши и когда перебралась из дома учительницы в мой теперешний дом. Но я слабовольная. Совсем у меня никакой воли нет.

Человек этот живет в портовом городе. Он поручил ее учительнице, когда та переезжала сюда, потому что содержать

женщину там, где он живет, ему неловко. Человек он добрый, и ей грустно, что она ни разу не допустила его к себе. Он в летах и поэтому приезжает к ней редко.

— Я бы порвала с ним, да не знаю как. Иногда думаю — в беспутство, что ли, кинуться... И ведь искренне думаю...

— Ну, это уж совсем ни к чему!

— Да и не могу я. Не тот характер. Мне нравится мое свежее тело. Если начать гулять со всеми, без разбора, четырехлетний срок за два года отработать можно. Но зачем себя насиловать? Я берегу себя. Конечно, если пойти по этому пути, то наверняка заработаешь кучу денег. Но здоровье мне дороже. У меня срок работы такой, что лишь бы хозяйну убытка не было. Вся сумма, за которую меня наняли, разделена на месяцы. Значит, надо лишь учитывать процент на основную сумму, налоги да деньги мне на прокорм — ну, ты сам знаешь, — из этого расчета и надо исходить. А перерабатывать сверх этого мне не нужно. И вообще, если где-нибудь мне не нравится, я быстренько уйду. В гостиницу поздно вечером не вызывают, разве уж только знакомый клиент приглашает именно меня. Конечно, если быть транжиркой, никаких денег не хватит и тогда надо работать больше, чем самой хочется... Но я-то уже больше половины всей суммы, за которую меня наняли, погасила. А ведь еще и года не прошло. И все же, как ни крути, иен тридцать в месяц у меня уходит на всякие мелочи.

Комако сказала, что ей надо зарабатывать сто иен в месяц, этого ей достаточно. Сказала, что в прошлом месяце у гейши с самым маленьким заработком получилось шестьдесят иен. Сказала, что ее, Комако, чаще других приглашают клиенты, больше девяноста приглашений за месяц в среднем, основной заработок она получает с каждого приглашения, ей приходится за один вечер обходить разные застолья, хоть это и не очень выгодно ее хозяину. Сказала, что на этих горячих источниках нет ни одной гейши, которая задолжала бы хозяину и ей бы увеличили срок службы.

Утром Комако, как всегда, поднялась рано.

— Мне приснилось, что я вместе с учительницей икэбана убираю этот номер, вот я и проснулась...

В трюмо, которое она придвинула к окну, отражались горы в багровой листве. Свет осеннего солнца был ярким и в зеркале. Девочка из лавки, где торговали сладостями, принесла Комако переодеться.

Нет, это была не Йоко, чей кристально чистый, до боли прекрасный голос прозвучал в тот раз из-за фусума.

— А что стало с Йоко?

Комако бросила быстрый взгляд на Симамуру.

— Все на могилу ходит. Вон, видишь, там, слева, ниже лыжной станции, возле гречишного поля, белого, в цветах, видишь, там кладбище.

Когда Комако ушла, Симамура пошел в деревню прогуляться.

На фоне белой стены что-то алело — девочка в новеньких горных хакама из алой фланели играла в мяч. Наступила настоящая осень.

Многие дома, построенные на старинный манер, казалось, стоят тут с тех пор, когда по этой дороге еще ездили феодалы со своей свитой. Дома с далеко выступающими крышами, с оконными сёдзи, сильно вытянутыми в ширину и очень низкими, высотой всего в один сяку. С мискантовыми шторами, свисающими с карнизов.

Симамура поравнялся с глинобитной оградой, поверх которой был высажен невысокий кустарник. Тонкие листики каждого кустика раскидывались фонтанчиками. Буйно цветущие цветы сукуи по окраске походили на тутовые.

У обочины дороги, на расстеленной рогоже, девушка лущила фасоль. Это была Йоко.

Маленькие фасолилки выскакивали из сухих стручков, как лучики.

Йоко сидела на корточках, расставив колени. Голова у нее была обмотана полотенцем. Она лущила фасоль и пела кристально чистым, до боли прекрасным голосом:

Бабочки, стрекозы и кузнечики
Стрекохут и шуршат в горах,
Сверчки мраморные, сверчки-колокольчики...

Есть стихи, в которых говорится о вороне, взлетевшей вдруг с ветви криптомерии и ставшей огромной в потоке вечернего ветра... А Симамура смотрел в окно на криптомериевую рощу и видел — как и вчера — непрерывное движение стрекоз. Казалось, с приближением вечера они носятся все нетерпеливее, со все увеличивающейся скоростью.

Уезжая из Токио, Симамура купил в привокзальном киоске последнее издание путеводителя по здешним горам. Рассеянно перелистывая его, Симамура прочитал, что недалеко от вершины

одной из гор на границе провинций — на эти горы как раз открывался вид из его окна, — у тропинки, огибающей красное горное озеро, на влажной приозерной почве буйно растут всевозможные высокогорные растения и что в этом особом мире царят красные стрекозы, очень доверчивые, сажающиеся туристам на шляпы, на руки и даже на оправу очков, эти стрекозы, как небо от земли, отличаются от своих жалких, истерзанных городских сестер.

Симамура смотрел на стрекоз. Казалось, некоторых из них кто-то или что-то преследует. А может быть, они просто носились изо всех сил, чтобы их силуэты не растаяли на фоне постепенно темневшей перед наступлением сумерек криптомериевой рощи?..

Когда закатное солнце осветило далекие горы, стало видно, что склоны их покрываются багряной листвой постепенно, начиная с вершины.

...Человек, оказывается, страшно хрупкое создание. Говорят, один упал со скалы, так и череп проломил, и все кости переломал. А вот если медведь сорвется даже с высоченного обрыва, говорят, на нем и царапины не будет...

Об этом, вспомнил Симамура, Комако говорила сегодня утром, показывая на гору, где опять произошел несчастный случай.

Если бы у человека была такая же жесткая и толстая шкура, как у медведя, наверно, и чувствительность у него была бы иной... А люди любят свою гладкую и тонкую кожей... Размышляя об этом, Симамура смотрел на залитые вечерним солнцем горы и вдруг затосковал по женскому телу.

«...Бабочки, стрекозы и кузнечики...» — где-то пела в это время — во время раннего ужина — гейша под расстроенный сямисэн.

Путеводитель давал краткое описание маршрутов, размеченных по дням, гостиниц, мест для ночлега и связанных с путешествием расходов. Все это давало волю фантазии, и Симамура вспомнил, что узнал Комако после того, как, полазив по горам, спустился в эту деревню, и на горах в то время сквозь еще не сошедший снег пробивалась молодая зелень, а сейчас эти самые горы, где остались следы его ног, опять манили его, тем более что осенний альпинистский сезон был в разгаре.

Хотя ему, жившему в праздности, хождение по горам безо всякой нужды, преодоление дорожных трудностей и казалось

образчиком «напрасного труда», но все же этот «напрасный труд» обладал для него особой притягательной силой именно из-за отсутствия реальной ценности.

Симамура не мог понять, успокаивается он в присутствии Комако или же ее тело, ставшее совсем близким, волнует его. Как бы то ни было, когда она уходила, его мысли бывали заняты только ею. Он вдруг начинал тосковать по женскому телу, и в то же время его начинали манить горы. Но и то и другое влечение наплывало как смутный мимолетный сон. Сегодня Комако ночевала у него и ушла только утром, может быть, поэтому тоска по ней и была сейчас мимолетной. Но Симамура сидел один в тишине, и ему не оставалось ничего другого, как нетерпеливо ждать, что Комако придет сама, без его зова. Он решил скоротать время и лечь в постель засветло, пока еще не умолкли веселые звонкие голоса гимназисток, совершавших туристический поход по окрестностям.

Кажется, пошел морозящий дождик.

Утром, когда Симамура проснулся, Комако читала книгу, чинно сидя за столом. И кимоно и хаори были на ней будничные.

— Ты проснулся? — тихо сказала она, посмотрев в его сторону.

— А что?

— Ты проснулся?

Заподозрив, что Комако ночевала у него, а он и не заметил этого, Симамура оглядел постель и потянулся к часам, лежавшим у изголовья. Было еще только половина седьмого...

— Как рано-то...

— Да, но горничная уже принесла горячие угли для хибати.

Над чугунным чайником поднимался пар.

— Вставай, — сказала Комако, поднимаясь и пересаживаясь к его изголовью.

Держалась она точь-в-точь как замужняя женщина. Даже удивительно. Симамура сладко потянулся и заодно схватил руку Комако, лежавшую у нее на коленях. Забавляясь мозолями, натертыми плектром, он сказал:

— Спать хочется. Ведь еще только-только рассвело.

— Хорошо спалось одному?

— Ага...

— А ты так и не отпустил усов.

— Ах да, ведь когда мы в последний раз прощались, ты говорила — отпусти усы.

— Забыл, ну и ладно. Зато ты всегда очень чисто, до синевы выбрит.

— А у тебя, когда ты стираешь пудру, лицо тоже как после бритья.

— Щеки у тебя, что ли, пополнели... А во сне у тебя до того белое и круглое лицо, что так и хочется приставить к нему усы.

— Разве не приятно, что лицо гладкое?

— Оно у тебя какое-то не внушающее доверия.

— Разглядывала меня, значит? Как нехорошо.

— Да, — кивнула Комако и вдруг громко расхохоталась, ее руки, державшие пальцы Симамуры, невольно сжались. — Я спряталась в стеной шкаф, горничная даже и не заметила.

— Когда?.. И долго ты там пряталась?

— Да нет, только когда горничная угли приносила.

Она никак не могла успокоиться и все смеялась, вспоминая, должно быть, эту свою проделку, но вдруг покраснела до мочек ушей и, желая скрыть смущение, начала тянуть одеяло, взявшись за его край.

— Вставай! Ну встань, пожалуйста!

— Холодно! — Симамура вцепился в одеяло. — А в гостинице уже поднялись?

— Не знаю, я задами шла.

— Задами?

— Ага, от криптомериевой рощи прямо сюда вскарабкалась.

— Разве там есть дорога?

— Дороги нет, но зато близко.

Симамура удивленно взглянул на нее.

— В гостинице никто и не знает, что я здесь. Разве что на кухне слышали, как я проходила. Парадная дверь-то, наверно, еще закрыта.

— Ты так рано встаешь?

— Сегодня долго уснуть не могла.

— А ночью дождь был..

— Да? То-то листья камыша совсем мокрые. Ладно, пойду домой, а ты спи.

— Нет, нет, я уже встаю! — Не выпуская руку Комако, Симамура быстро вскочил.

Он тут же подошел к окну и глянул вниз, туда, где, по ее словам, она шла сюда. Холм от криптомериевой рощи и до середины склона утопал в густых зарослях кустарника. Прямо под окном в огороде росли овощи, самые обыкновенные — редька, батат, лук. Освещенные утренним солнцем, они удивили Сима-

муру разнообразием оттенков своей зелени. Раньше он этого не замечал.

На галерее, идущей в баню, стоял служащий и кидал в пруд красным карпам корм.

— Плохо они стали есть, наверно оттого, что похолодало, — сказал служащий Симамуре и немного постоял еще, наблюдая, как корм — растертые в порошок сушеные личинки — плавает на поверхности воды.

Когда Симamura вернулся после купания, Комако сидела в строгой позе.

— В такой тишине питьем хорошо заниматься.

Комната была только что прибрана. Осеннее солнце насквозь пропитало немного потертые татами.

— А ты умеешь шить?

— Как тебе не стыдно спрашивать! Мне больше всех доставалось в семье, больше, чем всем сестрам и братьям. Когда я подрастала, наша семья, должно быть, переживала самую трудную пору, — словно про себя сказала она и вдруг оживилась. — Знаешь, какое лицо было у горничной, когда она меня увидела? Уж так она удивилась! Когда же, говорит, ты, Ко-тян, пришла?.. А я молчу, не знаю, что сказать. Но не могла же я снова прятаться в стенной шкаф... Не спалось мне сегодня, думала, встану пораньше и сразу вымою голову. Просохнут волосы, пойду причесываться. Меня ведь сегодня на дневной банкет пригласили, боюсь, теперь не успею. У вас в гостинице вечером тоже банкет будет. Меня сюда и вчера приглашали, да слишком поздно — я уже дала согласие быть на том банкете. Так что в гостиницу я не смогу прийти. Суббота сегодня, я буду очень занята и, наверно, уж не выберусь к тебе.

Однако Комако, кажется, вовсе не собиралась уходить.

Она сказала, что не будет мыть голову, и повела Симамуру на задний двор. У галереи, там, откуда Комако пробралась в гостиницу, стояли ее мокрые гета с положенными на них таби.

Симамуре показалось, что ему не пройти через заросли кустарника, где карабкалась Комако, и он пошел вниз вдоль огорода. Внизу шумела река. Берег здесь кончался крутым обрывом. В густой кроне каштана раздавались детские голоса. В траве под ногами валялись неочищенные колючие плоды. Комако наступала на шершавую скорлупу, она лопалась, и каштаны вылезали наружу. Они были еще мелкие.

На противоположном берегу крутой склон горы весь зарос мискантом. Мискант, волнуясь, ослепительно сиял серебром,

и это слепившее глаза сияние казалось чем-то эфемерным, какой-то прозрачной пустотой, парившей в воздухе.

— Пойдем вон туда? Там, кажется, могила твоего жениха...

Комако выпрямилась, посмотрела прямо в глаза Симамуре и вдруг швырнула ему в лицо горсть каштанов.

— Ты что, издеваешься надо мной?!

Симамура не успел отклониться. Каштаны попали ему в лицо. Было больно.

— С какой это стати ты пойдешь на его могилу?

— Ну что ты так злишься?

— Все это было для меня очень серьезно. Не то, что ты. Ты ведь живешь в беспечной праздности!

— Ничего подобного, я вовсе не живу в беспечной праздности чувств... — бессильно проговорил Симамура.

— Тогда почему говоришь — жених? Разве я не объясняла тебе, что он не был моим женихом? Позабыл небось.

Нет, Симамура не забыл.

Симамура помнил, как она сказала:

— Хорошо, скажу яснее. Наверно, было такое время, когда учительница мечтала женить сына на мне. Но она ни слова об этом не сказала, про себя мечтала, а мы с ним лишь догадывались об ее желании. Но между нами никогда ничего не было. Вот и все.

И когда жизнь этого человека была в опасности, Комако осталась у Симамуры ночевать и сказала:

— Я поступаю так, как хочу, и умирающий не может мне запретить.

Еще бы ему не помнить! Этот Юкио умирал в тот самый момент, когда Комако провожала Симамура на станцию. И тогда примчалась Йоко и сказала, что больному плохо, но Комако не пошла и, кажется, так и не попрощалась с умирающим.

Комако упорно избегала разговоров о Юкио. Пусть он и не был ее женихом, но если она, как говорят, пошла в гейши только ради того, чтобы заработать денег на его лечение, значит, отношения их были серьезными.

Комако на какое-то мгновение оставалась в полном недоумении, почему Симамура не рассердился, потом, как надломленная, бросилась ему на шею.

— О, какой ты все же искренний! Тебе очень горько, да?

— Дети на нас смотрят, с каштана...

— Не понимаю я тебя... Вы, токийцы, все ужасно сложные. У вас суэта кругом, потому вы и разбрасываетесь.

— Да, верно, я весь какой-то разбросанный...
— Смотри, жизнь свою разбросаешь! Ну что, пойдём на могилу взглянуть?

— Даже и не знаю.

— Вот видишь! Тебе вовсе и не хотелось посмотреть на эту могилу.

— Да ты же сама колеблешься.

— Ну и что из того! Я ведь ни разу ещё там не была. Правда, ни разу. Нехорошо перед учительницей, они ведь теперь рядом лежат. И теперь это уже будет чистым притворством.

— Ты сама сложная, куда сложнее меня.

— Почему? С живыми не могла разобраться, но уж с мертвыми-то разберусь.

Сквозь криптомериевую рощу, где тишина, казалось, вот-вот закапает ледяными каплями, они вышли к подножию лыжного склона и пошли вдоль железнодорожных путей. Кладбище находилось в уголке возвышенности, разделявшей поля. Здесь, на этой меже, было всего несколько каменных могильных плит и стояла фигура Бодисатвы — покровителя детей и путников. Вокруг — пусто, голо. Ни одного цветочка.

И вдруг в тени деревьев за статуей Бодисатвы мелькнула фигура Йоко. Лицо у нее было, как всегда, застывшее, серьезное, похожее на маску. Но глаза горели, и она пронзила их этими горящими глазами. Неловко поклонившись, Симамура замер на месте.

А Комако сказала:

— В какую рань ты, Йоко-сан! А я к парикмахерше...

И тут же и она и Симамура съезжились, как от внезапно налетевшего свистящего, беспросветно-черного урагана.

Совсем рядом с ними оглушительно прогрехотал товарный состав.

И вдруг сквозь тяжелый скрежещущий грохот прорвался крик: «Сестра-а!» Юноша в дверях черного товарного вагона размахивал фуражкой.

— Сайтиро!.. Сайтиро!.. — крикнула Йоко.

Ее голос... Тот самый, который окликнул начальника на заснеженной сигнальной станции. До боли прекрасный голос, который, казалось, зывал к человеку, не способному его услышать.

Когда товарный состав прошел, они с поразительной отчетливостью увидели цветущее гречишное поле по ту сторону

путей. Словно с их глаз спала пелена. Цветы, сплошь цветы над красноватыми стеблями.

Встреча с Йоко была для них настолько неожиданной, что они даже не заметили приближающегося поезда, но товарный состав будто стер то, что, казалось, вот-вот должно было возникнуть между ними тремя.

И сейчас, казалось, остался не стук колес, а отзвук голоса Йоко, который все не замирал и возвращался откуда-то, как эхо кристально чистой любви.

Йоко провожала глазами поезд.

— Может, мне пойти на станцию? Ведь в поезде мой младший брат...

— Но поезд не станет ждать тебя на станции.

— Пожалуй...

— Ты ведь знаешь, я не хожу на могилу Юкио-сан.

Йоко кивнула и, чуть поколебавшись, присела на корточках перед могилой. Молитвенно сложила ладони.

Комако продолжала стоять.

Симакура отвел глаза, посмотрел на Бодисатву. Трехликий — все лики у него были длинные, вытянутые — держал у груди молитвенно сложенные руки. Но кроме одной пары рук у него с боков было еще по паре.

— Я иду прическу делать, — бросила Комако и пошла в сторону деревни по тропинке, тянувшейся на меже.

У обочины тропинки, по которой они шли, крестьяне вязали хаттэ. Так на местном диалекте называют рисовые снопы. Их вешают для просушки на деревянные и бамбуковые жерди, перекинутые с одного дерева на другое.

Несколько рядов таких подвешенных к жердям снопов подходят на ширму.

Девушка в горных хакама, изогнув бедра, бросала снопы вверх, мужчина, высоко на дереве, ловко подхватывал его, разрыхлял, как бы расчесывая, и насаживал на жердь. Привычные, ловкие, ритмичные движения повторялись с автоматической монотонностью.

Комако покачала на ладони свисавшие с хаттэ колосья, словно взвешивая нечто драгоценное.

— Урожай-то какой! Прикоснуться к таким колосьям — и то приятно.

Глаза у нее чуть-чуть сузились, должно быть, прикосновение к колосьям действительно доставляло ей удовольствие. Низко над ее головой пролетела стайка воробьев.

На стене висело объявление: «Соглашение по поденной оплате рабочих на посадке риса — девяносто сэн в день с питанием. Женщины-работницы получают шестьдесят процентов указанной суммы».

В доме Йоко, стоявшем в глубине огорода, чуть в стороне от тракта, тоже висели хаттэ. Они висели на жердях в левом углу двора, между деревьями персимона, росшими вдоль белой стены соседнего дома. Между двором и огородом, под прямым углом к деревьям персимона, тоже стояли хаттэ. С одного края в снопах был сделан проход. Все вместе производило впечатлительное шалаша, только не из рогожи, а из рисовых снопов. В огороде на фоне увядших георгинов и роз раскинуло свои могучие листья таро. Хаттэ скрывали небольшой пруд для выращивания лотоса и плававших в нем красных карпов. Они скрывали и окошко той комнатки, где некогда выращивали шелковичных червей и где в прошлом году жила Комако.

Йоко, простившись с ними не очень-то приветливо, направилась к дому через проход в рисовых снопах.

— Она тут одна живет? — спросил Симамура, провожая глазами чуть согнутую спину Йоко.

— Может, и не совсем одна! — огрызнулась Комако. — До чего же неприятно. Не пойду я причесываться... Помешали человеку побыть на могиле. А все из-за тебя! Вечно ты предлагаешь, чего не надо.

— Из-за меня? Из-за твоего упрямства, это ты не захотела побыть с ней вместе у могилы.

— Ты просто меня не понимаешь... Я все же приведу голову в порядок... попозже, если найду время... А к тебе я приду, может быть, запоздаю, но обязательно приду.

Было уже три часа ночи.

Симамура проснулся от резкого стука сёдзи, и тут же ему на грудь упала Комако.

— Сказала приду и пришла... Сказала приду и, видишь, пришла.

Она тяжело дышала.

— Какая ты пьяная!

— Не видишь, что ли, сказала приду и пришла...

— Да, да! Пришла!

— Дорогу совсем не различала. Не различала, говорю. Ой-ой-ой, как мне плохо!..

— И как только тебе удалось подняться по склону?

— Не знаю, ничего я не знаю.— Откинувшись назад, она повалилась на Симамуру.

Симамуре стало тяжело дышать, он попытался встать, но не удержался — спросонья, должно быть, — и снова упал на постель. Его голова легла на что-то горячее.

— Глупая, ты же горюшь как в огне!

— Да? Огненная подушка. Смотри, обожжешься...

Симамура прикрыл глаза. Жар ее тела будто наполнял ему голову. И казалось, что он наполняется счастьем, что сейчас он постигает всю полноту жизни. Резкое дыхание Комако свидетельствовало о реальности всего происходящего. Симамура купался в каком-то сладостном раскаянии, словно ему уже ничего не оставалось, лишь умиротворенно ждать отмщения.

— Сказала, что приду, и пришла... — сосредоточенно повторяла Комако.— Пришла, а теперь и домой можно. Голову буду мыть...

Она шумно выпила воды.

— Да разве ты дойдешь в таком состоянии?

— Дойду... Я не одна... А куда делись мои купальные принадлежности?

Симамура встал и включил свет. Комако, закрыв лицо руками, уткнулась в татами.

— Не хочу... свет...

Она была в ярком ночном кимоно, отделанном у ворота черным атласом, рукава в стиле «генроку», талия опоясана узким оби «датэмаки». Воротника нижнего кимоно не было видно. Ее босые ноги — даже они! — казались совсем пьяными. И все же она, сжавшаяся в комочек, словно желавшая спрятаться, была удивительно милой.

На татами валялись мыло и расческа — должно быть, Комако растеряла все свои купальные принадлежности.

— Перережь, я ножницы принесла.

— Перерезать? Что перерезать?!

— Да это же! — Комако дотронулась до своих волос на затылке.— Ленточки я хотела перерезать на волосах. А руки не слушаются. Вот я и решила завернуть к тебе, чтобы ты их перерезал.

Симамура осторожно стал перерезать ей ленточки. Комако распускала прядь за прядью и постепенно успокаивалась.

— Который теперь час?

- Три уже.
- Ой, как поздно-то! Смотри, волосы не отрежь!
- Сколько их тут у тебя?

Симамура брал рукой каждую туго перевязанную прядь и ощущал душную теплоту кожи у корней волос.

— Уже три часа, да? Вернувшись домой после банкета, я, кажется, свалилась и уснула. Но раньше-то я с подругами договорились, они и зашли за мной. Сейчас, наверно, удивляются, куда это я девалась.

— Они ждут тебя?

— Ага, трое, в общественной купальне. У меня было шесть приглашений, но я успела побывать только в четырех местах.

На той неделе я буду страшно занята, листва ведь совсем багряной станет... Спасибо большое!

Она подняла голову, расчесывая распущенные волосы и щурясь в улыбке.

— Ой, как смешно! Даже не знаю отчего. — Комако рассеянно собрала волосы. — Ну, я пойду, а то нехорошо перед подругами. На обратном пути я уж не зайду к тебе.

— А ты найдешь дорогу?

— Найду!

Однако, вставая, она наступила на свой подол и пошатнулась.

Комако, улучив момент, дважды приходила к нему в необычное время — в семь утра и в три часа ночи. Симамуре почудилось в этом нечто тревожное, необычное.

Служащие гостиницы украшали ворота золотой осенней листвой, как на Новый год зелеными сосновыми ветками и бамбуком, в знак приветствия туристам, приезжающим сюда полюбоваться красками осени.

Один из служащих нагловатым и самоуверенным тоном отдавал распоряжения. В гостиницу он нанялся временно и, посмеиваясь над самим собой, говорил, что он птица перелетная. Этот человек был одним из тех, кто работает на здешних источниках от зеленой весны до багряной осени, а зимой отправляется на заработки на горячие источники Атами, Нагаока или Идзу. Возвращаясь сюда к весне, он не обязательно устраивался на работу в одну и ту же гостиницу. Он любил разглагольствовать о своем опыте, о постановке дела на оживленных курортах вроде Идзу, часто злословил по поводу здешних порядков

и по поводу обращения с клиентами в гостиницах. Зазывая клиентов, вел себя подобострастно, заискивающе улыбался, потирал руки, и в этом подобострастии так и сквозила неискренность попрошайки.

— Господин, вы пробовали когда-нибудь плоды акэби? Если вы пожелаете их отведать, я для вас с большим удовольствием наберу,— сказал он возвращавшемуся с прогулки Симамуре.

Он привязывал эти плоды лозой к веткам багряного клена.

Багряные клены, срубленные, как видно, в горах, были высокие — до карниза крыши, с удивительно крупными листьями и такие яркие, что парадная дверь, казалось, впитала их краски.

Поглаживая пальцами холодные плоды акэби, Симамура случайно взглянул в сторону конторки. Там у очага сидела Йоко.

Хозяйка следила за подогревавшимся в медном котелке бутылочками с саке. Йоко сидела напротив и, когда ей что-нибудь говорили, каждый раз отчетливо кивала. Она была в только что выстиранном и отглаженном тонком кимоно.

— Новая прислуга? — как бы невзначай спросил Симамура.

— Да, взяли недавно, так сказать, вашими молитвами. Из-за наплыва клиентов рабочих рук не хватает, потому и взяли.

— Так же, как и вас.

Йоко в номерах не появлялась, видно работала на кухне. Когда постояльцы переполняли гостиницу, на кухне было больше хлопот и голоса прислуги становились громче, но прекрасного голоса Йоко Симамура не слышал.

По словам дежурной горничной, у Йоко была привычка петь песни, сидя перед сном в бассейне. Но и песен Симамура не слышал.

И все же присутствие Йоко его почему-то стесняло, он даже начал колебаться, приглашать ли к себе Комако. Любовь Комако к нему казалась Симамуре «тщетою», очевидно из-за его склонности к бесплодному умствования, но в то же время из-за этой самой своей склонности он словно бы прикасался к нагоде жизни Комако, той жизни, которой она старалась жить. Жалея Комако, Симамура жалел себя. Йоко была другая, у нее, казалось, было особое свойство — просвечивать человека насквозь одним лишь взглядом, словно лучом. Эта женщина тоже влекла к себе Симамуру.

Комако часто приходила к нему и без приглашения.

Как-то Симамура поехал в горное ущелье — полюбоваться рекой в обрамлении осенней багряной листвы. Когда он проезжал мимо дома Комако, она, заслышав шум машины и решив, что это не кто иной, как Симамура, выскочила на улицу. Симамура даже не обернулся. Она потом упрекала его, даже бессердечным назвала. Получая приглашение в их гостиницу, Комако всегда заходила к Симамуре. И по пути в купальню заходила. Когда ее приглашали на банкет, она приходила на час раньше и сидела у него в номере до тех пор, пока за ней не являлась горничная. Во время ужина она иногда тоже прибегала к нему на несколько минут, усаживалась перед зеркалом, подкрашивала лицо.

— Сейчас работать пойду, у меня же работа. Работа, понимаешь? — говорила она и поднималась из-за трюмо.

— Вчера вечером пришла домой, а в чайнике ни капли кипятку. Заглянула на кухню, полила рис остатками утреннего супа и закусила соленным умэбаси. Рис был холодный, как лед... А сегодня утром меня не разбудили, и я проспала — в десять часов проснулась, а хотела встать в семь. Все планы нарушились...

Еще она рассказывала, в какой гостинице была сначала, в какую пошла потом, описывала клиентов, словом, докладывала со всеми подробностями.

— Я еще зайду, — говорила она, поднимаясь и выпивая несколько глотков воды, и тут же добавляла: — А может, и не зайду. Ведь на тридцать человек нас, гейш, всего три. Тут не то что улизнуть, даже оглянуться некогда.

Однако вскоре опять приходила.

— Тяжело. Трое ведь на тридцать человек. Мне больше всех достается, потому что одна гейша — самая старая из здешних гейш, а другая — самая молодая. Я уверена: все эти тридцать человек — любители туризма. Такую ораву по меньшей мере шесть гейш должны обслуживать. Пойду напьюсь и перепугаю всех!..

И так повторялось изо дня в день. Сама Комако порой сквозь землю готова была провалиться — должно быть, начала нервничать, думая, до чего же все это дойдет, если так будет продолжаться. В ее влюбленности был какой-то оттенок одиночества, и это придавало ей особую прелесть.

— Пол в коридоре скрипит при каждом шаге. Уж как я ни стараюсь тихо ступать, все равно все слышно. Когда мимо кухни прохожу, они там смеются. «Опять, — говорят, — ты, Кома-тян,

в номер «Камелия»! Вот уж не думала, что буду стесняться!

— Местечко-то маленькое, трудно спрятаться.

— Да, все уже все знают.

— Как нехоршо!

— В том-то и дело. В маленьком местечке достаточно нескольких сплетен — и тебе конец, — сказала Комако, но, тут же взглянув на Симамуру, заулыбалась. — Да ладно, ничего, для нас везде работа найдется.

Ее абсолютная искренность была для Симамуры очень уж неожиданной.

— А что? Так оно и есть. Не все ли равно, где деньги зарабатывать? Нечего унывать!

Комако сказала это, казалось бы, безразлично, но Симамура почувствовал в ее словах женщину.

— Правда, все хорошо... И вообще, теперь только женщины умеют любить по-настоящему... — Комако, слегка покраснев, потупилась.

Воротник ее кимоно сзади чуть отставал, видны были белые плечи — белый веер, распахнутый сверху вниз. Густо напудренное тело, округлое и почему-то печальное, казалось ворсистым, как шерстяная ткань, и в то же время было в нем нечто от тела животного.

— Да, в нынешнем мире... — пробормотал Симамура и пожегил от бессмысленной пустоты собственных слов.

— Всегда ведь было так! — просто сказала Комако и, подняв голову, рассеянно добавила: — А ты разве не знаешь?..

Когда она подняла голову, красное нижнее кимоно, прилипшее к спине, скрылось под воротником.

Симамура переводил статьи Валери, Аллана и других французских авторов о русском балете в период его расцвета во Франции. Перевод он собирался выпустить в роскошном издании небольшим тиражом на собственные средства. Его работа не могла принести никакой практической пользы, но это-то, очевидно, и устраивало Симамуру. Ему доставляло удовольствие смеяться над самим собой из-за абсолютной бесполезности собственного труда. Отсюда, вероятно, и рождался жалкий, хилый мир его грез. Короче говоря, торопиться ему было некуда. А сейчас он путешествовал, зачем же торопиться?

Симамура с большим вниманием наблюдал, как умирают мотыльки.

Наступало осеннее похолодание, в номер Симамуры каждый день залетали насекомые и, мертвые, падали на татами. Кузне-

чки переворачивались на спину и больше уже не поднимались. Пчелы валились на бок, потом проползали еще немного и замирали. Их смерть была естественной, как смена времен года. Казалось, что насекомые умирают тихо и безболезненно, но при внимательном наблюдении можно было увидеть и у них агонию. Крылышки, лапки, усики — все у них дрожало мелкой дрожью. Для этих маленьких смертей пространство в восемь татами было гигантским.

Порою, беря двумя пальцами маленький трупик и выбрасывая его в окно, Симамура вспоминал оставленных дома детей.

На оконной сетке сидели мотыльки, сидели долго, словно приклеившись к ней, и вдруг оказывалось, что некоторые из них уже мертвые. Они падали, как увядшие листья. Некоторые падали со стен. И, подбирая мертвого мотылька, Симамура задумывался, почему природа создала их такими прекрасными.

Потом сетки с окон сняли. Воздух уже не звенел от беспреывного стрекотания и жужжания.

Красно-рыжая окраска пограничных гор стала гуще. Перед заходом солнца далекие склоны тускло поблескивали, словно вся одевавшая их осенняя листва была высечена из какого-то холодного минерала. Гостиница постепенно заполнялась — начали съезжаться туристы, любители осени в горах.

— Сегодня я, наверно, совсем не смогу вырваться, — сказала Комако однажды вечером, забежав в номер к Симамуре. — Наши местные устраивают банкет.

Вскоре из зала донеслись звуки барабана и женский визг. Вдруг сквозь этот шум совсем рядом прозвучал ясный, прозрачный голос.

— Простите, пожалуйста... Простите, пожалуйста... — сказала Йоко. — Вот... Кома-тян просила передать вам.

Йоко, стоя в дверях, протянула Симамуре руку, но тут же со всей учтивостью опустила на пол у порога и лишь тогда дала ему скрученную жгутом записку. Когда Симамура развернул записку, Йоко уже не было. Он так и не успел ей ничего сказать. На бумажке пьяными, валившимися в разные стороны перографами было написано всего несколько слов: «Я очень развеселилась, расшумелась. Напилась сакаэ».

Но не прошло и десяти минут, как появилась сама Комако. Ступала она нетвердо, ноги у нее заплетались.

— Девчонка была у тебя, принесла что-нибудь?

— Да, принесла.

— Принесла, значит? — Комако весело сощурила один глаз.— Уф-ф, хорошо!.. Я сказала, что пойду саке заказать, и потихоньку улизнула. А клерк поймал меня и обругал. Да плевать, все хорошо! Пусть ругают! Пусть шаги мои грохочут на всю гостиницу! Ой, как плохо вдруг мне стало!.. Пришла к тебе и почему-то сразу опьянела. А мне ведь еще работать.

— Да ты вся пьяная, до самых кончиков пальцев!

— А мне работать надо!.. А что тебе сказала эта девчонка? Ты знаешь, что она жутко ревнивая?

— Кто?

— Смотри, убьет!

— Она, видно, тоже у вас там прислуживает?

— Подает бутылочки с подогретым саке. Стоит в тени коридора и пристально смотрит, наблюдает. А глаза поблескивают! Тебе ведь нравятся такие глаза?

— Небось смотрит она на вас и думает: какое жалкое зрелище!

— Я вот написала записку и дала ей, отнеси, говорю... Воды хочу! Дай воды!.. А какая из женщин жалкая, не узнаешь, пока ее не уговоришь. Скажи, я пьяная?

Она посмотрелась в зеркало, чуть не упала, еле удержалась, схватившись за края трюмо. И ушла. Величественной походкой. С гордо развевающимся подолом кимоно.

Внезапно наступила тишина, издали доносился лишь звон посуды. Банкет, по-видимому, кончился. Симамура думал, что Комако, поддавшись уговорам клиентов, перекочевала в другую гостиницу продолжать веселье. Но тут снова появилась Йоко и подала от нее записку, скрученную жгутом.

«Отказалась от горной гостиницы «Сан-пукан», иду в номер «Слива», на обратном пути загляну. Спокойной ночи».

Симамура, немного смутившись, усмехнулся.

— Благодарю вас!.. Простите, вы тут помогаете прислуживать за столом?

— Да.— Йоко кивнула, быстро взглянув на него своими пронзительными, красивыми глазами.

Симамура почему-то совсем смутился.

Девушка, которую он часто видел и которой каждый раз восхищался, сейчас сидела перед ним совершенно просто и естественно. Он почувствовал странную тревогу. Слишком уж серьезной она была, настолько серьезной, словно находилась в центре каких-то чрезвычайных событий.

- Вы кажетесь очень занятой...
- Да, очень. Хотя вообще-то я ничего не умею.
- Я все время вас встречаю. Так уж получается... Вот и тогда в поезде... Помните, вы ехали сюда, везли больного, ухаживали за ним? И тогда же, в поезде, просили начальника станции присмотреть за младшим братом. Помните?
- Помню.
- Говорят, перед сном вы поете в бассейне?
- О, как стыдно... Как нехорошо!..
- Ее голос был поразительно прекрасным.
- Мне кажется, я о вас знаю абсолютно все.
- Да?.. Вам Кома-тян рассказывала?
- Нет, она мне ничего не рассказывала. Она вообще избегает говорить о вас.
- Неужели? — Йоко повернула голову в сторону. — Кома-тян хорошая, но несчастная. Пожалуйста, не обижайте ее!
- Она произнесла это скороговоркой, под конец голос у нее задрожал.
- Но я же ничего не могу для нее сделать...
- Казалось, сейчас она начнет дрожать всем телом.
- Отводя взгляд от ее ослепительного лица, словно надвигавшегося на него, Симамура сказал:
- Может, для нее даже лучше будет, если я поскорее вернусь в Токио.
- Я тоже собираюсь в Токио.
- Когда?
- Мне безразлично когда.
- Может быть, если вы хотите, конечно, поедem вместе?
- Да, прощу вас, поедem вместе...
- Йоко сказала это как бы между прочим, но так серьезно, что Симамура поразился.
- С удовольствием. А ваша семья не будет против?
- Какая у меня семья? Один младший брат, который на железной дороге служит. Я могу поступать как хочу.
- А в Токио у вас есть что-нибудь на примете?
- Нет.
- Это она вам посоветовала ехать?
- Вы Кома-тян имеете в виду? Нет, с ней я не советовалась и никогда не стану советоваться. Противная она...
- Йоко, должно быть, разволновалась, взглянула на Симамуру увлажненными глазами, и он почувствовал к ней непонятное влечение. Но от этого влечения словно лишь воспламе-

нилась его страсть к Комако. Ему показалось, что его поездка в Токио с какой-то неизвестной девчонкой будет страстным искуплением вины перед Комако и в то же время жестоким наказанием.

— А вы не боитесь ехать вдвоем с мужчиной?

— Почему я должна бояться?

— Ну, сами посудите — опасно ведь, если у вас в Токио нет никакого пристанища и вы даже не знаете, что там будете делать.

— Ничего, одинокая женщина всегда как-нибудь устроится, — сказала Йоко, и ее прекрасный голос как бы отделил конец фразы. — Может быть, вы возьмете меня к себе прислугой?

— Да что вы! Неужели вы хотите стать прислугой?

— Вообще-то не очень хочу.

— А кем вы работали, когда жили в Токио?

— Сестрой милосердия.

— В больнице или в каком-нибудь медицинском институте?

— Нет, просто сестрой милосердия. Так мне хотелось...

Симамура вновь вспомнил поезд и Йоко, ухаживавшую за сыном учительницы. Он улыбнулся — очевидно, это было своеобразным воплощением ее мечты.

— Вам хотелось бы учиться на сестру милосердия?

— Нет, я не буду больше сестрой милосердия.

— Но нельзя же быть такой... совсем без стержня!

— Ой, что вы говорите! Какие еще стержни!..

Йоко рассмеялась, словно отменяя от себя какое-то обвинение.

Ее смех мог бы показаться глупым, не будь он таким звеняще-прозрачным. Этот смех лишь слегка коснулся сердца Симамуры, никак его не растревожив.

— Не понимаю, над чем вы смеетесь?

— Но ведь я же ухаживала только за одним больным!

— Как?

— Больше я ни за кем не смогу ухаживать...

— Ах так... вот оно что... — тихо сказал Симамура, словно оглушенный внезапным ударом. — А сейчас... говорят, вы каждый день ходите туда... где гречишное поле... на могилу...

— Да, это правда.

— И вы думаете, что... в дальнейшем вы уже ни за одним больным не станете ухаживать?.. И ни на какую другую могилу ходить не будете?

— Думаю, что не буду.

— Как же вы тогда можете бросить эту могилу и уехать в Токно?!

— О господи!.. Прошу вас, возьмите меня с собой в Токно!

— Комако говорила, что вы ревнивая. Но разве он... тот... не был женихом Комако?

— Юкио-сан? Неправда! Неправда все это!

— Почему же вы тогда ненавидите Комако?

— Кома-тян?..— Она произнесла это имя так, словно его обладательница была здесь, рядом, и, сверкнув своими ослепительными глазами, взглянула на Симамуру.— Прошу вас, позаботьтесь, чтобы Кома-тян было хорошо!

— Но что я могу для нее сделать?

На глазах Йоко показались слезы, она прихлопнула сидевшего на татами мотылька и всхлипнула.

— Кома-тян говорит, что я сойду с ума,— сказала она и стремительно выбежала из комнаты.

Симамура вдруг почувствовал озноб.

Он открыл окно, чтобы выбросить убитого Йоко мотылька, и увидел Комако, игравшую в кэн с клиентом. В этот момент она согнулась, словно в быстром беге.

Небо было пасмурным. Симамура пошел в купальню.

В соседнее, женское, отделение прошла Йоко с девочкой хозяйки гостиницы.

Было приятно слышать, как Йоко, раздевая и купая девочку, разговаривает с ней так тепло, так нежно, как только мать может говорить со своим ребенком.

А потом голос — тот, прекрасный — запел:

.
А на заднем дворе
Три яблоньки есть,
Три сосенки есть,
Три да три — будет шесть!
Вон вороны вьют гнездо
На большом, большом сукѹ.
Воробьишки вьют гнездо
На вершине, наверху...
А кузнечики в лесу
Тараторят — тра-та-та...
На могилку я хожу,
Я хожу, хожу к дружкѹ...

Йоко пела детскую песенку для игры в мяч, да так по-ребячьи оживленно, такой веселой скороговоркой, что Симамура

даже подумал, не во сне ли ему приснилась другая Йоко, недавно приходившая к нему в номер.

Йоко вышла из купальни, все время болтая с девочкой, а когда они ушли, ее голос, казалось, продолжал наполнять все вокруг, как звук флейты. Симamura почему-то заинтересовался смятым в павлониевом футляре, стоявшем на темном сверкающем полу около парадной двери на фоне по-осеннему тихой полночи. Он подошел, чтобы прочесть на футляре имя владельца, и в этот момент с той стороны, откуда доносился шум посуды, появилась Комако.

— Что это ты разглядываешь?..

— Она ночевать, что ли, осталась?

— Кто?.. А-а... Чудак, думаешь, легко каждый день таскать такую тяжесть? Иногда инструменты по нескольку дней здесь остаются, а гейши ночуют дома.

Комако рассмеялась и, тяжело задышав, прикрыла глаза. Пошатнулась, наступила на подол кимоно, прислонилась к Симамуре.

— Проводи меня домой.

— А зачем тебе идти домой?

— Нет, нет, надо идти. После банкета все отправились продолжать веселье в тесной компании, одна я отказалась. Не хочу с местными... Хорошо еще, что у меня был второе приглашение здесь же, в гостинице. Но если подруги зайдут за мной домой по пути в купальню, а меня не окажется, это уж будет слишком.

Комако была пьяна, но твердо шла по крутому склону.

— Ты что, девочку-то до слез довел?

— Между прочим, она действительно производит впечатление немножко ненормальной.

— А тебе доставляет удовольствие всех с этой точки зрения рассматривать?

— Да это же ты ей сказала, что она сойдет с ума! Она и заплакала, вспомнив об этом, от обиды, наверно.

— А, тогда другое дело.

— Но знаешь, минут через десять она всю распевала в купальне. Голос такой красивый...

— Это у нее привычка — петь в купальне.

— Совершенно серьезно просила меня о тебе заботиться.

— Вот дурочка-то! Но ты мог бы и не распространяться сейчас об этом.

— Не распространяться? Я-то что... А вот ты, как только о ней зайдешь речь, злиться начинаешь, не знаю уж почему.

— Ты что, хочешь эту девчонку?

— Ну вот видишь, сразу начинаешь говорить ерунду.

— Я не шучу. Смотрю на нее, и кажется мне, что в будущем станет она для меня тяжким бременем. Не знаю почему, но так мне кажется. Тебе бы тоже, наверно, казалось, если бы ты любил ее и наблюдал за ней.— Комако, положив руки Симамуре на плечи, повисла на нем и вдруг резко покачала головой.— Нет, нет! Может быть, она все-таки не сойдет с ума, если попадет в руки такому, как ты. Может, ты избавишь меня от моего груза?

— Да будет тебе!

— Небось ты думаешь, что я напилась и несу вздор? А я серьезно. Мне бы знать, что девчонка рядом с тобой и ты ее любишь... Я бы тогда со спокойной душой пустилась в разгул, и мне было бы хорошо, словно в мертвой тишине...

— Но послушай!..

— Да ну тебя!..

Комако бросилась от него бежать. С разгону стукнулась о ставни на галерее какого-то дома. Но оказалось, что это и есть ее дом.

— Закрыли, думали, не придешь.

Навалившись всем телом, Комако открыла совершенно иссохшую, скрипучую дверь и шепнула:

— Зайдем ко мне!

— В такой час!

— Да спят же все!

Но Симамура колебался.

— Ну, не хочешь, тогда давай я тебя провожу.

— Хорошо...

— Впрочем, нет... Ты ведь еще не видел мою новую комнату.

Они вошли через черный ход, и Симамура сразу увидел всех обитателей дома, разметавшихся во сне. В тускло-желтом свете на матрацах из той же грубой бумажной материи, что и горные хакама, старых, выцветших, спали — каждый в своей позе — хозяйин, хозяйка и человек пять-шесть детей. Старшей дочери на вид было лет семнадцать-восемнадцать. От всего здесь веяло бедностью, могучей по силе своей безотрадности.

Теплое дыхание спящих, казалось, отбрасывало Симамуру назад, и он непроизвольно сделал шаг к двери, но Комако уже

с треском ее захлопнула и, без всякого стеснения топая по дощатому полу, направилась к себе. Симамура прокрался за ней, чуть ли не наступая на изголовье постелей. Сердце у него екнуло от предстоящего сомнительного удовольствия.

— Подожди тут, я свет наверху зажгу.

— Да не надо...

Симамура стал подниматься по совершенно темной лестнице. Оглянулся. Внизу, в глубине, где-то за безмятежно спящими людьми, виднелось помещение лавки.

На втором этаже было четыре комнаты с истертыми, как и во всех крестьянских домах, татами, устилавшими пол.

— Видишь, здесь очень даже просторно, я ведь одна,— сказала Комако.

Но загроможденные всякой рухлядью комнаты с раздвинутыми между ними закопченными сёдзи, узенькой постелью и висевшим на гвоздике вечерним кимоно производили впечатлительного логова сказочной лисы-колдуньи.

Усевшись на свою постель аккуратно, чтобы не измять, Комако предложила Симамуре единственный дзабутон.

— Ой, какая я красная! — сказала она, посмотревшись в зеркало. — Неужели я была такая пьяная?

Потом, пошарив на комод, обернулась к Симамуре:

— Смотри, вот мои дневники.

— Как их много!

Комако взяла стоявшую рядом с дневниками оклеенную цветной бумагой шкатулку. Она была битком набита разными сигаретами.

— Все они помятые, я ведь сую их в рукав кимоно или за спицу, когда клиенты угощают. Помятые, но не грязные. И почти все сорта есть. — Упершись рукой о татами рядом с Симамурой, Комако разворошила содержимое шкатулки. — А спичек нет! Мне ведь они не нужны, курить-то я бросила.

— Неважно. Ты шьешь, да?

— Да, но никак не дошью. Очень уж много клиентов. Сейчас такой наплыв, все приезжают полюбоваться золотой осенью.

Отвернувшись, Комако убрала валявшееся перед комодом шитье.

Павлонневый комод с великолепным рисунком древесины и роскошная красная лакированная шкатулка, оставшиеся у Комако со времен Токио, сами по себе были все такими же нарядными, как там, в чердачной, похожей на ящик комнате на

втором этаже дома учительницы, но здесь, среди старого хлама, они только еще резче подчеркивали всю убогость обстановки.

От лампочки к постели тянулся тонкий шнур.

— Дергаю за него и гашу, когда читаю в постели.

Играя этим шнуром и отчего-то немного смущаясь, Комако сидела чинно, как замужняя женщина.

— Ты как лиса-колдунья, собравшаяся замуж.

— Ой, и правда!

— И здесь ты должна провести целых четыре года?

— Ну, полгода уже пролетели. Пролетят и остальные.

Разговор все время угасал. Снизу, казалось, доносилось дыхание спящих, и Симамура поспешил подняться.

Закрывая за ним дверь, Комако высунула голову, посмотрела на небо.

— Облачно... Да, золотой листве приходит конец.

...Багрянец листвы еще сохранился,
Но падает медленный снег,
Ибо хижина эта в высоких горах...

— Ну ладно, спокойной ночи!

— Я тебя провожу. До гостиницы.

Но Комако вместе с Симамурой поднялась в его номер.

— Ложись, хорошо? — сказала она и куда-то исчезла.

Вскоре вернулась с двумя стаканами, наполненными холодным саке, и грубо сказала:

— Давай пей! Пей, слышишь?

— Где ты взяла? Ведь все уже спят.

— Я знаю, где взять.

Комако, видимо, уже успела выпить, когда наливала саке из бочки в стаканы. Она снова захмелела. Уставившись тяжелым взглядом на переливающееся через край саке, произнесла:

— Невкусно, когда его в темноте потягиваешь...

Симамура с легкостью опорожнил стакан, который Комако сунула ему прямо под нос.

От такой порции нельзя было опьянеть, но Симамура, видимо, промерз на улице, его вдруг замутило, хмель ударил в голову. Ему казалось, что он видит себя, как он бледнеет. Прикрыв глаза, он лег. Комако сначала растерялась, но тут же захлопотала, начала за ним ухаживать. Горячее женское тело вскоре принесло ему облегчение, он почувствовал себя, как ребенок, умиrotворенный лаской.

Да и Комако была с ним какой-то робкой и нежной, словно он действительно был ребенком, а она — юной девушкой. Чуть приподнявшись на локте, она следила, как засыпает «ребенок».

Через некоторое время Симамура пробормотал:

— Хорошая ты девочка...

— Чем это я хорошая?

— Хорошая женщина...

— Да? А ты противный! Ну, что ты несешь? Да приди же в себя! — произнесла она отрывисто, словно швыряя слова, отвернулась и молча начала трясти его за плечи.

Потом приснула.

— Никакая я не хорошая! Тяжело мне, уезжай, пожалуйста, домой. Ведь мне сейчас и надеть нечего — нового ничего нет. А мне хочется каждый раз приходиться к тебе в другом вечернем кимоно. Но теперь ты уже все мои кимоно видел, больше у меня нет. А это у подружки одолжила. Ну что, плохая девочка, правда?

У Симамуры не было слов.

— Вот я какая, а вовсе не хорошая! — Голос Комако потускнел. — Когда я первый раз с тобой встретилась, подумала — неприятный, должно быть, человек... И верно — кто бы еще осмелился сказать такую дерзость?! Мне было действительно ужасно противно.

Симамура кивнул.

— Ты понимаешь, почему я до сих пор об этом молчала? Ведь если женщина вынуждена говорить такие вещи, это конец.

— Да нет, ничего...

— Да?..

Комако, погрузившись в себя, долго оставалась неподвижной. Ее ощущения, ее женские переживания теплой волной омывали Симамуру.

— Хорошая ты женщина...

— А что значит — хорошая?

— Ну, женщина, говорю, хорошая...

— Смешной ты! — Она отстранилась от него, словно ей стало щекотно, уткнулась лицом в плечо, но вдруг приподнялась на локте, вскинула голову: — Нет, ты объясни, что это значит! Что ты имеешь в виду!

Симамура удивленно взглянул на нее.

— Скажи, из-за этого ты ко мне и едешь?.. Только из-за

этого?.. Значит, ты все-таки надо мной смеялся. Все-таки смеялся, значит!

Комако, побагровев, уставилась на Симамуру, словно призывая его к ответу. Потом от ее лица краска отхлынула, плечи задрожали от ярости, из глаз брызнули слезы.

— Обидно, обидно, до чего же обидно!

Она сползла с постели и села к нему спиной.

На следующее утро Симамуру разбудил «Утай»¹.

Он тихо лежал и слушал. Комако, сидевшая перед трюмом, обернулась, улыбнулась ему.

— Это в «Сливе». Меня вчера туда после банкета приглашали.

— Что-нибудь вроде групповой поездки общества любителей «Утай»?

— Да.

— Снег?

— Да.— Комако поднялась и во всю ширь раздвинула оконные сёдзи.— Конец багряной листве.

С серого, ограниченного оконным проемом неба плыли вниз огромные белые хлопья. Это было как затаенная ложь. Недоспавший Симамура рассеянно смотрел на снег.

Исполнители «Утай» забили в барабан.

Вспомнив, как в прошлом году он засмотрелся на утренний снег в зеркале, Симамура перевел взгляд на трюм. Плывшие в зеркале холодные пушистые хлопья казались еще крупнее. Они проплывали белесыми пятнами над Комако, оголенной до плеч, протиравшей шею кремом.

Кожа Комако была такой чистой, такой сверкающей, словно была только что вымыта, и казалось просто невероятным, что эта женщина могла неправильно истолковать слова Симамуры, невзначай оброненные ночью. Но она истолковала их неправильно, и было в этом что-то неодолимо печальное для нее самой.

Далекie горы, терявшие яркие красно-золотистые краски по мере увядания листвы, сейчас ожили от первого снега.

В криптомериевой роще, мягко опушенной белыми хлопьями, выделялось каждое дерево. Деревья бесшумно стояли в снегу и возносили свои вершины прямо в небо.

...В снегу прядут нить, в снегу ткут, в снежной воде промы-

¹ Название текста пьес театра «Но», а также песенное исполнение этого текста.

вают, на снегу отбеливают... Все в снегу — от первого волокна пряжи до готовой сотканной ткани. И древние в книгах своих писали: «Есть креп, ибо есть снег. Снег следует называть отцом крeпа».

Деревенские женщины этой снежной стороны долгими зимними вечерами совершенствовали свое ремесло, выделявая креп. Симамура любил эту ткань. Рылся в лавках торговки старой одеждой, покупал старинный креп на летнее кимоно. Он до того ему нравился, что, используя свои связи с торговцами старинными театральными костюмами «Но» еще с тех времен, когда он увлекался национальными танцами, он всегда просил оставлять для него креп, если материя попадется добротная, высокого качества. Он и нижнее кимоно шил себе из льняного крeпа.

Говорят, в старину после первых оттепелей, когда начиналось таяние снега и с окон снимали бамбуковые шторы, защищавшие от него жилища, устраивали первую ярмарку крeпа. Были даже специальные гостиницы для оптовых торговцев мануфактурой, приехавших в эти края из трех далеких столиц — Киото, Осака и Токио. На ярмарку съезжалось население всех окрестных деревень, где девушки-мастерицы всю осень и зиму просиживали за тканьем, готовя товар для такой ярмарки. Говорят, торговля и веселье шли вовсю, кругом пестрели балаганчики, стояли лотки и прилавки. К ткани пришивали бумажные ленточки с именем ткачихи и названием деревни, откуда она родом. Тут же, на ярмарке, определяли сорт — первый или второй. Тут же и невест выбирали. Обычно самый лучший креп получался у молодых женщин в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет. С годами, видно, ткать становилось труднее и ткань не достигала такого совершенства. Девушки, наверно, старались изо всех сил, оттачивая свое мастерство и стремясь попасть в число первых мастериц, которых даже в этих местах можно было пересчитать по пальцам. Прясть начинали в октябре, по старому лунному календарю, отделку заканчивали примерно в середине февраля следующего года. Девушки занимались этим в снежном затворничестве, всю душу вкладывая в свой труд, все время отдавая ему, тем более что в зимнюю пору тут ничем другим и нельзя было заниматься.

Возможно, среди летних кимоно Симамуры были и такие, на которые пошел креп, вытканый в конце эпохи Эдо или в начале правления Мэйдзи. Свои кимоно Симамура тоже отбеливал в снегу. Правда, хлопотно было ежегодно отправлять их на от-

белку туда, где некогда выткали материю, но Симамура вспоминал усердие девушек, работавших в старину в своем снежном затворничестве, и ему казалось, что, отправляя в эти края свои кимоно, принадлежавшие некогда неизвестно кому, он тем самым отдает дань уважения редкой ткани. При одной мысли о том, как разостланное на снегу кимоно впитывает в себя алые краски утренней и вечерней зари, как льняная ткань, очищаясь от летнего пота, становится снежно-белой, ему казалось, что он сам тоже «отбеливается», очищается. Конечно, он не видел, как отбеливают его вещи, — этим занимались токийские торговцы, и ему не дано было знать, применяют ли они старинный метод или действуют как-либо иначе.

Профессия отбельщика существовала издавна. Сами ткачихи редко этим занимались, отдавали ткань или пряжу на отбеливание отбельщику. Белый креп отбеливают уже в ткани, а цветной — еще в пряже, натягивая ее на специальные рамы. Отбеливают примерно с конца января и до середины февраля. Как правило, для отбелики используют покрытые глубоким снегом поля и огороды.

И ткань и пряжу сначала замачивают в щелочной воде на целую ночь, утром несколько раз прополаскивают, отжимают и потом расстилают на снегу. И так несколько дней подряд. В старину писали, что картину, когда на окончательно отбеленный креп падают первые лучи солнца, сравнить ни с чем нельзя и что очень хотелось бы эту красоту показать жителям южных провинций. В снежной стране конец отбелики раньше считался праздником начала весны.

Места выделки льняного крепа находились недалеко от этих горячих источников, в низовьях реки, где горное ущелье, постепенно расширяясь, переходило в равнину. Симамуре казалось, что он может увидеть эти места из окна своего номера. Во все старинные городки, славившиеся производством крепа, в последнее время провели железную дорогу, и теперь они известны как центры текстильной промышленности.

Однако Симамура ни разу здесь не был в разгар лета, когда носят креп, и в разгар зимы, когда его ткут. Ему еще не представлялось случая поговорить о производстве крепа с Комако, а совершать специальное путешествие по районам, где занимаются старинным ремеслом, ему как-то не хотелось.

Но, послушав песенку Йоко, которую она распевала в купальне, Симамура подумал, что живи эта девушка в старину,

она бы, наверно, так же пела под жужжание прялки или под стук ткацкого станка. Такой уж у нее был подходящий голос для этого.

Оказывается, сладить с льняной пряжей, которая тоньше шерстяной, без естественной влаги, даваемой снегом, не так-то легко. Оказывается, для нее просто необходим холодный зимний сезон. В старину об этом говорили так: «Вытканый в мороз лен холодит в жару, приятен для тела и выражает естество мрачного холода и светлого тепла». Эти мрак и свет, холод и тепло, казалось, были и в Комако, сжимавшей Симамуру в объятиях. Ее тело и холодило и вызывало в нем жалость своим жаром.

Такая пылкая привязанность, какую проявляет Комако, вряд ли будет длиться долго. Вот и креп тоже ведь изнашивается... Пусть эта ткань — произведение своеобразного искусства, пусть она долговечна — ее ведь можно носить пять-десять лет, а при бережном обращении и более, но и она постепенно приходит в негодность. А у любви нет и таких сроков, недолговечна она, любовь, ее век куда короче... И вдруг перед глазами Симамуры предстала другая Комако, Комако, родившая сына от какого-то другого человека. Симамура вздрогнул и огляделся. И подумал, что устал он, очень устал.

Он так долго был здесь, что, казалось, забыл о семье. Забыл, что рано или поздно ему придется к ней вернуться. Конечно, он мог уехать, мог расстаться с Комако, но у него уже вошло в привычку ждать ее прихода. Очевидно, в этой привычке и было все дело. И чем неудержимее, чем иступленнее стремилась к нему Комако, тем больше он изводился от собственного оцепенения, словно он лишь наблюдал за ней с какой-то звериной жестокостью, с хищной безжалостностью. Симамура не мог понять, почему она его так любит, почему стремится раствориться в нем, войти в его душу. Но она входила, растворялась, проникала вся целиком, а он ведь, кажется, абсолютно ничего не давал ей, ничем не мог с ней поделиться. Симамура даже слышал глухой звук, словно Комако все время бьется о деревянную стену. И еще было у него такое ощущение, будто он весь, до самого сердца, засыпан снегом. Но разве женщина в силах вечно выносить такой эгонзм?.. И Симамуре казалось, что, уехав отсюда, он уже больше не осмелится заявиться на эти источники.

Симамура облокотился о хибати, который обдал его своим свистом, словно возвещал о наступлении снежной поры. Это

свистел, как ветер в соснах, старинный чугунный, сработанный в Киото чайник, стоявший на хибати. Его принес в номер Симамуры хозяин гостиницы. Чайник был искусно инкрустирован серебряными птицами и цветами. Свист у чайника был двух оттенков — ближний и дальний свист ветра в соснах, но за дальним чудился еще какой-то тонкий звук, словно где-то не переставая звенел крохотный колокольчик. Симамура, приблизив ухо к хибати, вслушался в переливы этого колокольчика. И вдруг там, в неведомой дали, наполненной дробным звоном, он увидел маленькие ножки, шагавшие мелкими шажками в одном ритме с колокольчиком, — ножки Комако. Симамура испугался и подумал, что пора ему уезжать.

И тогда у него возникло решение объехать места, где производится креп. Эта поездка, думалось ему, послужит толчком, чтобы окончательно распрощаться с горячими источниками.

Но он не знал, какой из городов, стоявших в низовьях реки, выбрать. В большой город, центр текстильной промышленности, ехать не хотелось. Он специально сошел на глухой, пустынной станции и сразу попал на главную улицу, типичную для старинных городков, располагавшихся у почтового тракта.

Крыши домов, выступая далеко вперед, нависали над улицей. По краям они поддерживались столбами, выстроившимися в ряд вдоль дороги. Это походило на танасита, как в свое время в Эдо называли такие крыши, но здесь эти крыши издавна именовали просто навесом. В снежные месяцы под навесами ходили, как по крытой улице.

По одной стороне дороги навесы были во всех домах. Они, не прерываясь, тянулись от одного дома к другому, и снег с крыш можно было сбрасывать только на середину улицы. Сброшенный снег обычно отгребали в одну сторону, и там образовывался высоченный вал. Кое-где в этих снежных валах приходилось прорывать траншеи, чтобы с одной стороны улицы перейти на другую. У местных жителей, кажется, даже было такое выражение: «Нырять в сугробы».

В деревне на горячих источниках, где жила Комако, хоть и находившейся так же, как и этот город, в снежном краю, навесные крыши соседних домов не соприкасались. Сплошные навесы Симамура увидел впервые здесь, они были ему в диковинку, и он прошелся под ними. Под навесами царил полумрак, некоторые столбы, поддерживавшие крыши, покосились и прогнили у основания. Симамура шел, и ему казалось, что он

заглядывает внутрь домов, в их сумеречное уныние, веками погребенное под снегом.

Жизнь ткачих, из года в год отдававших все свои силы работе, из года в год натруживавших свои искусные руки, была отнюдь не такой приятной и светлой, как произведение их рук — креп. В старинных книгах, рассказывающих о производстве крепа, приводятся тексты танского поэта Цзоу Тао-юй, писавшего о тяжком труде ткачих. Не было ни одного дома, говорились в книгах, где бы держали наемную ткачиху, ибо для того, чтобы соткать штуку крепа, требовалось очень много времени и труда, и держать работницу было невыгодно.

Претерпевавшие все тяготы труда безвестные мастерицы давным-давно умерли, и только прекрасный креп остался памятью о них. Теперь такие, как Симамура, носят роскошные кимоно из старинного крепа, который дает летом прохладу их телу. Вообще-то в этом ничего удивительного не было, но Симамура вдруг почти задохнулся от удивления. Неужели деяния любви, совершенные человеком когда-нибудь где-нибудь со всем пылом сердца, потом возвращаются к нему болезненными ударами кнута?..

Симамура вышел из-под навеса на середину улицы. Улица была прямой, длинной, как и полагалось ей быть на проезжем тракте, тянущемся от одной почтовой станции к другой. Наверно, старинный тракт начинался от деревни с горячими источниками. Все было таким же, как там, — и дранка на крышах, и камни.

Поддерживавшие навес столбы отбрасывали бледную тень. Близился вечер.

Осматривать было больше нечего, и Симамура снова сел в поезд и сошел на другой станции. Городок был такой же, как предыдущий. Симамура поклонился по улицам, съел порцию лапши, чтобы согреться.

Столовая, где он ел лапшу, стояла на берегу реки, которая, очевидно, брала начало в районе горячих источников. Было видно, как по мосту все время проходили монахи по двое, по трое. На ногах у них были варадзи, за спиной у некоторых болтались круглые широкополые соломенные шляпы. Вероятно, они возвращались после сбора подаяния.

— Откуда здесь взялось столько монахинь? — спросил Симамура у женщины, подавшей ему лапшу.

— А тут неподалеку в горах есть женский монастырь. Скоро

снегопады начнутся, тогда им трудно будет оттуда выбираться.

В наступающих сумерках гора за мостом выделялась белизной уже покрывшего ее снега.

В этом краю, когда опадает листва и начинают дуть холодные ветры, наступают зябкие облачные дни, предвестники снега. Высокие горы, дальние и ближние, постепенно белеют, и местные жители говорят, что «закружило вершины». В приморских районах осенью шумит море, в горных — шумят горы. Здесь такой шум называют «утробным шумом». Здесь знают: если «закружило вершины» и если с гор доносится «утробный шум», значит, до снега уже недолго. Симамура вспомнил, что читал об этом в старинных книгах.

Первый снег выпал в тот день, когда Симамура, проснувшись утром, услышал «Утай» в исполнении постояльцев гостиницы, приехавших любоваться осенней листвой. Интересно, отшумели ли уже в этом году моря и горы?

Может быть, здесь, на горячих источниках, где он жил один, постоянно общаясь только с Комако, у него обострился слух? Во всяком случае, при одной мысли о шуме моря и шуме гор Симамуре чудилось, что его слух улавливает далекие вздохи.

— Значит, у монахинь скоро начнется зимнее затворничество? А сколько их там?

— Да много, наверно.

— Интересно, чем они занимаются во время своего зимнего сидения? В монастыре, кроме них, никого, вокруг только снег. Почему бы им не заняться выделкой креха, которым издавна славятся эти места?

Женщина только усмехнулась.

Симамура около двух часов проторчал на станции в ожидании обратного поезда.

Когда машина, мпновав железнодорожный переезд, поравнялась с храмовой криптомериевой рощей, показался одинокий, хорошо освещенный дом. Симамура вздохнул с облегчением. Это был ресторанчик «Кикумура». У входа стояли и разговаривали несколько гейш.

Не успев всех толком разглядеть, Симамура уже знал, что среди них находится Комако, и сейчас видел только ее одну.

Скорость машины вдруг упала. Очевидно, шофер, которому было известно об отношениях Симамуры с Комако, как бы незначай замедлил ход.

Но Симамура вдруг отвернулся и стал смотреть назад. На снегу оставался отчетливый след от колес машины. При свете звезд глаза видели неожиданно далеко.

Наконец машина поравнялась с Комако. Женщина, вдруг зажмурившись, сорвалась с места и вцепилась в машину. Машина не остановилась, но шла очень медленно, поднимаясь вверх по склону. Сжавшись на подножке, Комако крепко держалась за ручку дверцы.

Комако стремительно бросилась вперед и словно прилипла к машине. Ее поведение не показалось Симамуре ни неестественным, ни опасным. Он почувствовал тепло, как от прикосновения какой-то легкой волны. Сквозь толстое стекло заструился цветной рукав ее нижнего кимоно, выбившийся из-под верхнего, и обжег застывшие от холода веки Симамуры.

Припав лбом к стеклу, Комако пронзительно крикнула:

— Где ты был?! Где ты был, я тебя спрашиваю?

— Осторожно, сорвешься! — так же громко крикнул в ответ Симамура, но это была всего лишь сладостная игра.

Открыв дверцу, Комако боком упала на сиденье. Но в этот миг машина остановилась. Они были у подножия горы.

— Ну, говори, куда ездил?

— Да так...

— Куда?

— Просто так, без определенной цели.

Комако расправила подол кимоно. Это был жест профессиональной гейши, а Симамура почему-то вдруг страшно удивился.

Шофер молчал. Симамура подумал, что совсем уж нелепо оставаться в машине, которая стоит в тупике.

— Сойдем.— Комако положила руки к нему на колени.— Ой, какие холодные! Почему ты не взял меня с собой?

— Действительно, почему...

— Что, что?.. Какой ты все-таки смешной!

Весело смеясь, Комако поднималась по каменным ступеням крутой тропинки.

— А я видела, как ты уезжал. Это было часа в два или в начале третьего.

— Гм...

— Услышала шум машины и вышла посмотреть. А ты даже не обернулся.

— Что?

— Не обернулся назад. Почему не обернулся и не посмотрел?

Симамура был поражен.

— Ты, значит, не видел, что я тебя провожаю?

— Не видел.

— Так я и думала.— Комако опять весело рассмеялась и прижалась к нему плечом.— Почему не взял меня с собой? А холодно-то как стало! Противно...

И вдруг прокатился гром пабата.

Они разом обернулись.

— Пожар, пожар!

— Да, пожар.

Горело в середине деревни.

Из черного, поднимавшегося клубами дыма выскакивали огненные языки. Выскакивали и исчезали. Пламя уже лизало карнизы соседних домов и, казалось, бежало дальше.

— Где это? Не рядом ли с домом учительницы, где ты жила?

— Нет.

— А где же?

— Повыше. Ближе к станции...

Огонь, пробив крышу, взвился столбом.

— Боже мой, это же здание для откорма шелковичных червей горит! Дом шелковичных червей! — Комако прижалась лицом к плечу Симамуры.— Дом шелковичных червей! Дом шелковичных червей!

Огонь разгорался все больше. Хотя отсюда, с высоты, полыхавший под звездным небом пожар и казался игрушечным, но все равно внушал необъяснимый страх. Казалось, вот-вот донесется треск бушующего пламени.

Симамура обнял Комако.

— Ну, успокойся, успокойся!

— Нет, нет, нет, не хочу!

Комако затрясла головой и заплакала.

Симамура держал ее лицо в ладонях. Оно казалось ему маленьким, меньше, чем на самом деле. На висках пульсировали жилки. Комако расплакалась, увидев пожар, но Симамура не заинтересовался, почему она плачет, просто обнял ее.

Внезапно она перестала плакать, подняла лицо.

— Понимаешь, ведь сегодня вечером в доме шелковичных червей кино показывают. Там ведь народ, полно народу...

— Это действительно беда!

— Пострадают люди, сгорят!

Сверху донесся шум голосов, и они сломя голову побежали

в гору по каменным ступенькам. В гостинице на втором и третьем этажах все сёдаи были настезь. Люди стояли на галереях, ярко освещенные лившимся из окон светом. Все выскочили посмотреть на пожар. Засохшие хризантемы во дворе гостиницы в сиянии звезд, слившемся с электрическим светом, отчетливо выступали из мрака и, казалось, отражали далекое пламя. За клумбами хризантем тоже стояли люди. Рядом с Комако и Симамурой вдруг вынырнули из темноты несколько гостиничных служащих.

Напрягая голос, Комако спросила:

— Скажите, это дом шелковичных червей горит?

— Он самый.

— А люди, люди-то как же?

— Ну, пока еще можно кое-что сделать. Сейчас спасают людей... Это киноплёнка загорелась, а потом все вспыхнуло... Нам по телефону сообщили... Смотрите, смотрите, что делается! — Один из служащих вдруг вытянул руку. — Говорят, детей прямо со второго этажа бросают. — Мужчина стал спускаться вниз.

— Что же делать-то, что делать? — Комако тоже начала спускаться по лестнице, словно стараясь догнать служащего.

Но их обогнали спешившие вниз люди. Подхваченная толпой, Комако побежала. Следом за ней побежал и Симамура.

Снизу пожара не было видно. Виднелись лишь отдельные языки пламени, время от времени поднимавшиеся над крышами домов. Гром набата нарастал, и с ним нарастала тревога. Люди мчались все быстрее.

— Смотри не поскользнься, гололед, — сказала Комако, обернувшись к Симамуре, и вдруг остановилась. — Послушай, а тебе-то зачем идти? Я — другое дело, я за людей беспокоюсь.

Обескураженный этими словами, Симамура огляделся и увидел рельсы. Они уже дошли до железнодорожного переезда.

— Млечный Путь... Как красиво... — сказала Комако, взглянув на небо, и опять побежала.

«А-а... Млечный Путь...» — подумал Симамура, тоже бросив взгляд на небо. И у него сразу возникло такое чувство, словно его тело вливается в этот Млечный Путь. Млечный Путь был совсем близко, он притягивал. Может быть, Басё¹, плывя по бурному морю, видел ту же яркую бесконечность над своей голо-

¹ Басё (1644—1694) — японский поэт.

вой?.. Млечный Путь льнул к земле всей своей наготой и стекал вниз. Он был тут, совсем рядом. До сумасшествия обольстительный. Настолько прозрачный и ясный, что была видна каждая серебристая пылинка светящихся туманностей. И все же взгляд утопал в бездонной глубине Млечного Пути.

— Эге-гей! — окликнул Симамура Комако.

— Я здесь! Беги сюда-а!

Комако бежала в сторону черневшей под Млечным Путем горы.

Должно быть, Комако подхватила подол кимоно, и каждый раз, когда она взмахивала руками, красное нижнее кимоно то больше, то меньше выбивалось из-под верхнего. Симамура видел, как красные полы вспыхивают в звездном свете.

Симамура бежал изо всех сил.

Замедлив шаг, Комако опустила подол кимоно, схватила Симамуру за руку.

— Ты тоже пойдешь?

— Да, пойду.

— Любопытный.— Комако снова подобрала подметавший снег подол кимоно.— Иди в гостиницу, а то надо мной смеяться будут.

— Хорошо, только провожу тебя немного.

— Да неудобно мне перед людьми! Хотя и пожар, все равно...

Симамура кивнул и остановился, но Комако продолжала медленно идти, держа его за руку.

— Знаешь что? Подожди меня. Я быстро вернусь. Где тебе удобно подождать?

— Все равно где.

— Ну тогда проводи меня еще немного и там...— Комако, заглянув ему в лицо, вдруг покачала головой.— Нет, не могу я так больше!

Комако порывисто обняла его. Симамура пошатнулся. У обочины дороги из неглубокого снега торчали стебельки лука.

— Это жестоко, жестоко! — Комако говорила захлебывающейся скороговоркой.— Ты сказал, что я хорошая, помнишь? Но зачем человек, который должен исчезнуть, говорит такие слова?

Симамура вспомнил, как Комако все вонзала и вонзала в татами шпильку.

— Я заплакала, помнишь? И когда домой пришла, тоже пла-

кала. Мне страшно расставаться с тобой. И все же уезжай скорей, это будет лучше... Не смогу я забыть, как плакала от того, что ты мне сказал.

Симамура вспомнил свои слова, которые с особой силой врезались в память женщины, потому что сначала она неправильно их истолковала. Сердце у него сжалось. Но тут с пожара донеслись громкие голоса. Огонь разгорелся с новой силой. В небо поднялись фонтаны искр.

— О господи, опять разгорается! Какое пламя!..

Они побежали, словно ища в этом свое спасение.

Комако бежала быстро. Ее гета, казалось, едва касались твердого от мороза снега. Руками она не размахивала, а только отставила локти. Какая она изящная, подумал Симамура, глядя на ее напряженную, с высоко вздымавшейся грудью фигуру. Симамура скоро стал задыхаться. Да и то, что он все время смотрел на Комако, мешало ему бежать. Но и Комако вдруг задохнулась и, пошатнувшись, прислонилась к Симамуре.

— От холода глаза слезятся.

Щеки горели, а глазам было холодно. У Симамуры глаза тоже слезились. Он мигнул и увидел, как расплывается Млечный Путь. Симамура сделал усилие и не дал слезам упасть.

— Млечный Путь каждую ночь такой?

— Что?.. Млечный Путь?.. А-а... Да, красивый... Нет, наверно, не каждую ночь. Небо сегодня очень ясное.

Млечный Путь брал начало там, откуда они шли, и тек в одном с ними направлении. Лицо Комако, казалось, плыло в Млечном Пути.

И все же ее тонкий прямой нос сейчас не имел четкого контура, губы потеряли цвет. Симамуре просто не верилось, что вокруг так темно, несмотря на сияние, заливавшее все небо. Звездный свет, вероятно, бледнее луны в новолуние, но Млечный Путь гораздо ярче самой полной луны, и было странно, что сейчас, в бледном мерцании, когда на земле нет ни одной тени, лицо Комако смутно проступает из тьмы, как старинная маска, и что он, Симамура, чувствует рядом с собой женщину.

Симамура смотрел на Млечный Путь, и ему снова стало казаться, что он надвигается на землю.

Казалось, Млечный Путь, похожий на огромное северное сияние, течет и омывает его тело. А сам Симамура словно бы стоит на краю земли. И Млечный Путь наполняет его леденящей, пронизывающей тоской и в то же время обольщает, обольщает...

— Как только ты уедешь, начну честно жить,— сказала Комако, мигая и поправляя растрепавшуюся прическу.

Сделав несколько шагов, она обернулась к нему.

— Да что с тобой? А ну тебя!

Симамура стоял неподвижно.

— Ну подожди тут! Потом вместе пойдем к тебе в номер, ладно?

Комако взмахнула левой рукой и побежала. Ее фигура растворялась на фоне черной горы. Волнистые контуры горы были окутаны подолом Млечного Пути, и эти же контуры, казалось, отталкивают его и заставляют разливаться по всему небу необозримым сиянием. И гора, черная, делалась еще чернее и топула в собственном мраке.

Симамура зашагал дальше, но тут фигуру Комако скрыли стоявшие у тракта здания.

— Давай!.. Давай!.. Давай!..

Послышались дружные возгласы, на дороге появилась группа людей, тащивших насос.

На тракте появлялись все новые и новые фигуры бегущих людей. Улица, по которой шли Симамура и Комако, образовывала с трактом букву Т. Симамура тоже поспешил выйти на тракт.

Показались люди еще с одним насосом. Симамура пропустил их вперед и побежал за ними.

Насос тащили на канате несколько человек, а сзади его толкала целая толпа пожарников. Нелепое зрелище — насос-то был до смешного маленький, ручной, деревянный, старый-престарый.

Комако тоже отошла на обочину, пропуская людей с насосом. Увидев Симамуру, она побежала рядом с ним. Все люди, спешившие на пожар, отступали в сторону, пропускали насос, а потом, словно притягиваемые, мчались за ним. Теперь Комако и Симамура были уже частицей толпы, бежавшей на пожар.

— Все-таки идешь? Любопытный!

— Иду. А насос-то, насос! Какой от него толк! Его небось еще до эпохи Мэйдзи делали.

— Да, да... Смотри не упади.

— Сколько очень...

— Конечно, сколько. А вот ты бы хоть раз приехал сюда, когда метели бушуют. Да нет, не приедешь! Ведь зайцы и фазаны жмутся к людям...

Сейчас голос Комако звучал оживленно и даже весело. Очевидно, она была возбуждена дружными возгласами пожарников и топотом бегущей толпы.

Симамура теперь тоже двигался с легкостью.

Послышался треск бушующего пламени. Прямо перед глазами взвился столб огня. Черные низкие крыши домов у тракта вдруг вспыхнули в ослепительном свете, словно вздохнули, и тут же померкли. Вода из насосов текла прямо под ногами. Стена людей преграждала путь. Симамура и Комако неохотно остановились. К запаху гари примешивался другой запах — словно варили коконы.

Все кругом громко говорили, что пожар начался из-за вспыхнувшей киноплёнки, что детей сбрасывали прямо со второго этажа, что, слава богу, никто не пострадал, что, к счастью, в этом здании не хранилось ни шелковичных червей, ни общественного риса... Все говорили громко, но, казалось, здесь, на пожаре, царит какая-то своеобразная тишина, объединяющая людей. Казалось, перспектива исчезла, и на этой двухмерной картине, нарисованной молчаньем, реальной жизнью живут только огонь и пожарные насосы.

Иногда прибежал кто-нибудь опоздавший и громко звал своих родственников. И тогда в ответ раздавались громкие, откуда-то внезапно возникавшие оживленные голоса. Набат уже отгремел.

Симамура, чтобы не привлекать внимания, незаметно отошел от Комако и встал позади группы ребятшек. Они потихоньку пятились, отступая от жара огня. Снег понемногу размягчался, таял от воды и огня, превращался в месиво под ногами беспорядочно топтавшейся на месте толпы.

Симамура стоял на огороде перед горящим домом вместе с большинством деревенских жителей, сбежавшихся на пожар.

Огонь, по-видимому, занялся у входа, где стоял кинопроектор, и уже успел сожрать стены и крышу у половины здания. Балки и столбы, правда, еще держались, но продолжали гореть. Там, где драночная крыша и дощатые стены рухнули, образовалась пустота, и дыма было не очень много. Другая часть крыши, обильно политая водой, вроде бы и не горела, но пламя снова и снова вырывалось в самых неожиданных местах. Все три насоса сразу же направляли свои струи туда, на огонь, и тогда в небо били клубы черного дыма и снопы искр.

Искры, рассыпавшись в Млечном Пути, гасли, и Симамуре

снова казалось, что он вливается в Млечный Путь. Как только дым попадал в русло Млечного Пути, сам Млечный Путь начинал с шумом низвергаться вниз. Из шланга била колеблющаяся струя воды, отскакивала от крыши и, взвиваясь белесым фонтаном, словно бы отражала сияние Млечного Пути.

Комако, неизвестно когда очутившаяся рядом с Симамурой, взяла его за руку. Он обернулся к ней, но ничего не сказал. Она смотрела на огонь. На ее чуть возбужденном серьезном лице играли отблески пламени. Какая-то невыразимая тоска сжала горло Симамуры. Прическа у Комако растрепалась, шея была вытянута. Симамуре неудержимо захотелось прикоснуться к Комако. Пальцы его задрожали. У него рука была теплой, у нее — горячей. Почему-то Симамура почувствовал, что час разлуки совсем близок.

Пламя перекинулось на столб у входа, он вновь загорелся, зашипел, задымился от направленной на него струи воды. Вода била вверх, балка и стропила крыши начали крениться.

И вдруг толпа, испустив крик ужаса, замерла: сверху падало женское тело.

Второй этаж этого дома был каким-то зыбким, непрочным и скорее напоминал балкон. Он обычно использовался для массовых зрелищ. Женщина упала с этого второго этажа и буквально через мгновение была на земле. Но людям казалось, будто это длилось целую вечность, и их глаза словно сфотографировали падение. Может быть, потому, что женщина падала странно, как кукла. Она была без сознания, все это поняли с первого взгляда. Звук падения не последовало. Снежная пыль не поднялась — вокруг все было мокро от воды. Тело упало как раз посередине — между догорающим и вновь вспыхнувшим пламенем.

Женщина падала очень странно — совершенно горизонтально. Симамура оцепенел, но все произошло так неожиданно, что он даже не успел испугаться. Тело казалось нереальным, призрачным. Оно — какое-то окостеневшее и в то же время мягкое, гибкое — падало свободно и безжизненно, без всякого сопротивления, как могла падать только кукла. Будто оно никогда не было живым и никогда не станет мертвым. У Симамуры мелькнула лишь одна тревожная мысль: как бы голова не оказалась ниже уровня всего тела, как бы вдруг не выгнулись бедра, не согнулись колени. Казалось, так и должно случиться, но тело упало так же, как падало, — совершенно горизонтально.

— А-а-а!..

Комако с душераздирающим криком закрыла глаза руками. Симамура смотрел не мигая.

Когда же Симамура понял, что упавшая женщина — Йоко? И испуганный вздох толпы, и душераздирающий крик Комако, и легкая судорога, пробежавшая по ногам упавшей, — казалось, все произошло в одно и то же мгновение.

Крик Комако рванул все тело Симамуры. Судорога в ногах Йоко ударила в него, как ток, и отозвалась судорогой от головы до кончиков пальцев. Сердце бешено колотилось, охваченное неодолимой болью и печалью.

Судороги Йоко были едва заметными и тут же прекратились. Симамура заметил их уже потом, до этого он увидел лицо Йоко и ее кимоно с рисунком летящих стрел. Йоко упала навзничь. Подол кимоно задрался и обнажил одно колено. Ударившись о землю, Йоко оставалась без сознания, только по ее икрам пробежала легкая судорога. Симамура почему-то не почувствовал смерти, а лишь совершение какого-то перехода, словно жизнь Йоко, выйдя из ее тела, вошла в его тело.

На балконе второго этажа, откуда упала Йоко, несколько балок накренилось и запылало прямо над ее лицом. Ее прекрасные глаза были закрыты. Подбородок высоко поднят. Линия шеи удлинилась. Отблеск огня, колеблясь, прошел по ее бледному лицу.

Симамура вдруг вспомнил тот поезд. Он ехал на свидание с Комако. Лицо Йоко отражалось в оконном стекле, и в этом лице вдруг вспыхнул огонек, горевший далеко в поле. Это мгновенное воспоминание высветило все месяцы и годы, которые он был с Комако. И в этом снова были неодолимая боль и печаль.

Комако уже не было рядом. Она рванулась вперед. Казалось, это произошло в тот же самый миг, когда она вскрикнула, а толпа затаила дыхание.

Наступив на подол длинного кимоно, кимоно гейши, Комако пошатнулась посреди груди черной от воды золы. Она подняла Йоко, взяла ее на руки, сделала несколько шагов. Под ее нечеловечески напряженным лицом бессильно висела голова Йоко. Казалось, она вот-вот вознесется на небо — такое у нее было лицо. Комако несла Йоко на руках так, словно несла свою жертву и свою кару.

Человеческая стена дрогнула, взорвалась криками и сомкнулась вокруг нее.

— Дорогу!.. Дайте дорогу!..

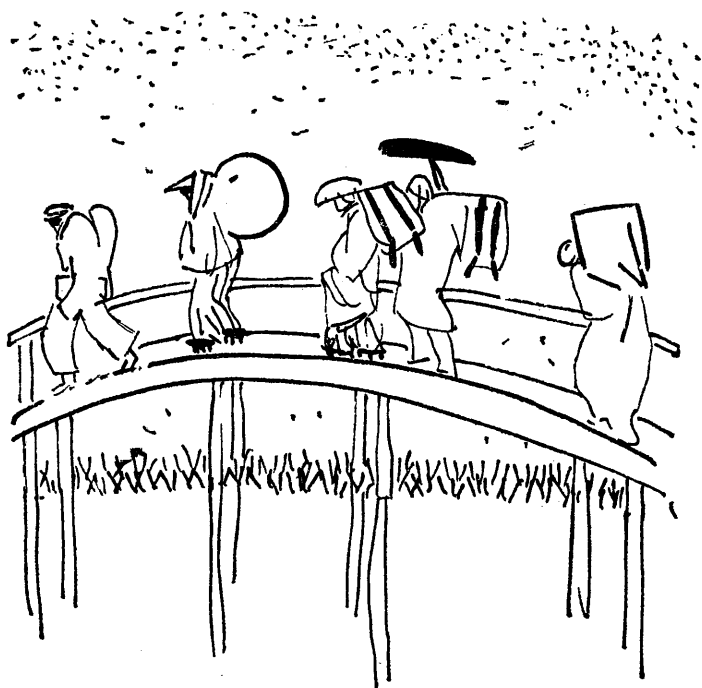
До Симамуры донесся крик Комако:

— Эта девчонка... она же с ума сойдет!.. С ума сойдет!..

Услышав в ее голосе безумие отчаяния, Симamura рванулся, хотел броситься к ней, но пошатнулся, оттертый мужчинами, пытавшимися взять из рук Комако тело Йоко. Когда он, едва устояв на ногах, поднял глаза, Млечный Путь, с грохотом низвергаясь, надвигался прямо на него.



НОВЕЛЛЫ



ТАНЦОВЩИЦА ИЗ ИДЗУ

1

Дорога петляла все чаще, и перевал Амаги, казалось, был совсем уже близко, когда сзади с бешеной скоростью налетел на меня дождь, высветливший добела лес криптомерий у подножия горы.

Мне было двадцать лет. Я носил форменную фуражку Высшей школы, хлопчатобумажное синее узорчатое кимоно и хакама. Я шел по Идзу, совсем один, закинув за плечи простенький студенческий портфель. Уже четвертый день я был в пути. Первую ночь я провел на горячих источниках Сюдзендзи, две другие — на горячих источниках Югасима и теперь, обутый в дешевые гета на высоких опорах, поднимался к перевалу Амаги. Осень, царившая на склонах гор, в лесных чащах и сумрачных

ущельях, чаровала меня, но я торопил дорогу, подстегиваемый надеждой, которая будоражила мое сердце...

На меня горохом посыпались крупные капли дождя, и я пустился бегом по извилистой дороге, круто ухотившей вверх. На северной стороне, недалеко от вершины горы, была маленькая чайная. Я влетел в нее, с облегчением перевел дух и... замер. Невероятно, но моя надежда сбылась: в чайной располагалась на отдых труппа бродячих актеров.

Увидев меня, застывшего на пороге, танцовщица соскользнула с подушечки для сидения, перевернула ее и положила возле меня.

— Э-э-э...

Лишь одно это неопределенное восклицание вырвалось из моего горла, когда я опустился на подушечку. Слово «спасибо» не получилось, потому что у меня перехватило дыхание от быстрого бега и изумления.

Очутившись рядом с танцовщицей — совсем близко! — я окончательно растерялся, вытащил из-за пазухи сигареты и закурил. Она пододвинула мне пепельницу, стоявшую перед ее соседкой. И опять я не смог произнести ни слова.

Танцовщице на вид было лет семнадцать. Ее волосы, причесанные на старинный лад, возвышались крутыми причудливыми волнами над тонко очерченным продолговатым личиком. Лицо казалось совсем маленьким, но удивительно мило гармонировало с прической. Никогда я не видел таких причесок. Мне казалось, будто эта девушка с пышно уложенными волосами сошла с картины художника, чье вдохновение было навеяно старинными преданиями. Кроме танцовщицы, в труппе были женщина лет сорока, две молоденькие девушки и мужчина лет двадцати пяти-двадцати шести, одетый в хаппи с эмблемой гостиницы Нагаока на спине.

Я уже дважды на своем пути встречал танцовщицу и всю их труппу. Первый раз по дороге в Югасима мы встретились у моста Югава. Тогда в труппе была еще одна молодая женщина. Танцовщица несла в руках большой барабан. Я все оборачивался и оборачивался, все глядел им вслед, и мне казалось, что это было обычное сочувствие путника к другим усталым путникам. А потом, уже в Югасима, я увидел их еще раз. Они пришли в гостиницу развлекать публику. Она танцевала в вестибюле, на дощатом полу, а я пристроился на лестнице, смотрел на нее, не отрываясь, и душа моя рвалась к ней. Тогда я подумал: недавно они побывали в Сюдзэндзи, сейчас они здесь, а завтра,

наверно, пойдут через перевал к югу, к горячим источникам Югано... И потом всю дорогу я ужасно спешил и верил, что обязательно догону их — ведь семь ри не такое уж большое расстояние. Но все же встреча в чайной, куда я забежал переждать дождь, была слишком неожиданной.

Вскоре пришла старуха-хозяйка и провела меня в какую-то каморку, без дверей и без сёдзи. Наверно, здесь не было в них нужды. Я посмотрел вниз — где-то в бездонной глубине лежало ущелье, недоступное глазу. Тело у меня покрылось мурашками, зубы стучали, я никак не мог унять дрожь.

— Ой, господин, никак вы промокли? Извольте пройти сюда, обсушитесь, обогрейтесь. Пожалуйте, пожалуйста! — Старуха чуть ли не силой повела меня в свою комнату.

Там пылал очаг, и, как только раздвинулись сёдзи, на меня повело приятным, сухим теплом. Но я остановился на пороге. У огня лежал старик, синий и распухший, как утопленник. Он поднял на меня тускло-желтые мутные глаза. Вокруг него громоздились горы старых писем и бумажных пакетов, он был почти погребен под этим бумажным хламом. Мне не хотелось приближаться к этому полуживому существу, к неподвижному страшилищу.

— Это мой старик, — сказала хозяйка, — вы уж извините нас! Стыдно показывать свои немощи. Но не сердитесь, господин, он у меня не двигается, совсем неподвижным стал...

И она рассказала, что ее муж уже долгие годы лежал в параличе, а недавно паралич разбил его окончательно. Горы бумаги — это письма с наставлениями, как лечиться от паралича, и пакеты из-под лекарств. Старику пишут и присылают лекарства изо всех провинций. И со всей страной он переписывается, и разные снадобья шлют ему отовсюду, даже из самых отдаленных уголков Японии... Кто его знает, может быть, среди этого бумажного хлама ему легче жить — все-таки развлечение...

Я сидел у очага, потупившись, и не знал, чем бы утешить старуху. Почему этого деда держат на перевале? Отвезли бы его вниз, здесь уже и сейчас холодно, а скоро все побелеет от снега... Дом задрожал — мимо проехала машина. От моей одежды поднимался пар, огонь в очаге был нестерпимо жарким. Старуха вернулась в чайную и заговорила с женщиной из бродячей труппы.

— Девочка-то... это она ведь с тобой в прошлый раз была?.. Совсем большая стала. И красавица какая!.. Повезло тебе, милая... Надо же, как быстро растут девчонки...

Прошло около часу. Из чайной донесся шум — актеры собиравались в дорогу. Мне захотелось вскочить и броситься вслед за ними, но робость сковала меня по рукам и ногам. Я все сидел и сидел перед очагом. Ничего, далеко не уйдут — хоть и привычные к ходьбе, но как никак женщины. Ну, отстану на два-три тём, подумаешь, какое дело... Догоню одним махом... Мне было жарко от пылавшего огня и от нетерпения. Когда они ушли, мое воображение разыгралось, словно освободившись от пут. Вернулась старуха, ходившая их проводить. Я спросил:

— Где они на ночь останутся, эти люди?

— А кто их знает, господин... Такие бродяги пооди и сами не знают, где заночуют. Найдется какой-нибудь клиент, у него и расположатся. Им ведь все едино.

В голосе старухи звучало откровенное презрение, но для меня ее слова были маслом, подлитым в огонь. И прекрасно, подумал я, если так, приглашу танцовщицу в свой номер...

Дождь стал редким, перевал просветлел. Старуха упорно удерживала меня — минут через десять небо и вовсе очистится, но я уже сидеть не мог.

— Дедушка, берегите себя, скоро холода наступят, — сказал я старику, от всей души желая ему добра, и поднялся.

Старуха догнала меня, кланяясь и громко выкрикивая:

— Господин, господин, вы слишком много мне оставили!.. Разве можно!.. Мне стыдно столько брать...

Она схватила мой портфель, прижала к груди и никак не хотела отдать, сколько я ни протестовал. Так и несла его, ковыляя за мной по дороге. Мы прошли уже метров сто, а она все шла рядом и бормотала:

— Не заслужила я такого вознаграждения... Стыд-то какой! Я ведь за вами и не поухаживала как следует, добрый господин. Но уж я вас запомню, не забуду. Как будете возвращаться этой дорогой, загляните к нам, я уж вас отблагодарю. Прошу вас, обязательно зайдите на обратном пути...

Я был смущен и растроган чуть не до слез. За пятьдесят сэн такая благодарность! Но мне страшно хотелось поскорее догнать танцовщицу, и еле-еле плетущаяся старуха меня раздражала. Все же она дошла со мной до самого туннеля на перевале.

— Большое вам спасибо, бабуся! Идите, пожалуйста, домой, дед-то совсем там один, — сказал я, и она наконец отдала мне портфель.

Я вошел в туннель. С его сводов падали холодные редкие капли. Впереди светлело крохотное пятнышко — выход на южное Идзу.

2

Из туннеля, напоминая стрелчатую молнию, стремительно падала вниз горная дорога, с одной стороны защищенная от пропасти выкрашенным в белый цвет каменным парашютом. Где-то там, внизу этой панорамы, похожей на макет, маячили крохотные фигурки актеров. Нас разделяло не больше шести тѐ, и я скоро догнал их. Но мне было неловко сразу замедлить шаг, и я, изображая холодное равнодушие, обогнал женщин. Мужчина, шедший немного впереди, когда я с ним поравнялся, сказал:

— Быстрые у вас ноги!.. А хорошо-то как стало — совсем посветлело.

Я облегченно вздохнул и пошел рядом с ним. Он задавал мне разные вопросы, один за другим. Заметив, что мы разговорились, женщины догнали нас.

Мужчина тащил на спине большую ивовую корзину. Сорокалетняя женщина держала на руках собачку. Две девушки шли с поклажей — та, что постарше, несла какой-то узел, вторая — ивовую корзину. У танцовщицы за спиной висел барабан и подставка к нему.

Старшая девушка тихонько сказала танцовщице:

— Этот господин — студент.

Я обернулся к ним.

— Правильно? — спросила она. — Я сразу догадалась, ведь и у нас на острове бывают студенты.

Оказалось, они с острова Осима, из портового городка Хабу. В путь отправились еще весной, а теперь должны уже возвращаться — к зиме они не подготовились. Побудут еще дней десять в Симода, а там с горячих источников Ито двинутся к дому.

Остров Осима... На меня повеяло поэзией, но я снова залюбовался диковинной прической танцовщицы.

— К нам приезжает много студентов купаться, — сказала танцовщица своей спутнице.

Я посмотрел на нее:

— Летом, наверно?

Она смутилась, что-то сказала еле слышно, кажется: «И зимой...»

— И зимой тоже? — переспросил я.

Она взглянула на свою спутницу и громко рассмеялась.

Я повторил свой вопрос:

— Значит, и зимой там можно плавать?

Она залилась ярким румянцем, стала вдруг очень серьезной и коротко кивнула.

— Ну и глупенькая же ты! — усмехнулась сорокалетняя женщина.

До Югано было около трех ри. Дорога все время шла под уклон, вдоль ущелья Кавадзу. После перевала краски изменились — цвет неба и гор стал как на юге. Мы с мужчиной все время болтали, как добрые приятели.

Маленькие деревеньки — Хагино, Насимото и другие — остались позади. Внизу показались соломенные крыши Югано. Я наконец набрался смелости и сказал мужчине, что мне бы хотелось идти вместе с ними до Симода. Он очень обрадовался.

Когда мы остановились перед дешевой гостиницей, на лице сорокалетней женщины появилось приличествующее прощанию выражение. Я опять растерялся, но мужчина облегчил мою задачу. Он сказал:

— Этот господин желает идти вместе с нами.

— Ах так? Это здорово! Ведь спутник в дороге все равно что утешение в печали. Мы люди неученые, а все же иногда помогаем развеять скуку... Что ж, господин студент, проходите, пожалуйста, отдохните с нами. — Она приветливо мне поклонилась.

Все девушки разом взглянули на меня, но ничего не сказали. Вместе так вместе — было написано на их лицах, что ж тут особенного, все правильно... Но, кажется, они все-таки немного стеснялись.

Я поднялся за ними на второй этаж. Свою поклажу они сложили в угол. Татами и фусума были старые и грязные. Танцовщица спустилась вниз и принесла чай. Когда она села передо мной, ее щеки вдруг вспыхнули огненным румянцем, блюдце заплясало в дрожащих руках, чашка чуть не упала, и она поставила ее на татами, чтобы не разбить. Чай расплескался. Чрезмерное смущение танцовщицы меня очень удивило.

— Ах ты дрянь! Совсем еще девчонка, а туда же, заглядывается... — Сорокалетняя нахмурила брови и швырнула танцовщице полотенце.

Действительно она возмутилась или притворяется?..

Девушка схватила полотенце и стала вытирать татами. Ее движения были неуверенными и скованными.

От неожиданно грубых слов женщины я пришел в себя... Мыльный пузырь моей фантазии, переливавшийся всеми цветами радуги с того самого момента, когда старуха из чайной коротко высказалась о бродячих актерах, звонко лопнул...

Сорокалетняя внимательно меня разглядывала, потом, повернувшись к сидевшей рядом с ней девушке, сказала:

— Посмотри, какое красивое кимоно у господина студента. Прекрасное касури, прекрасное. А рисунок точь-в-точь как у Тамидзи. Помнишь его кимоно? Тот же самый рисунок, верно?

Потом она еще раз оглядела меня.

— Знаете, господин студент, ваше кимоно из такого же касури, как и у моего сына. Есть у меня сынишка... Там, дома... В школе учится... Увидела я ваше кимоно и вспомнила его... Все нынче дорого, и синее касури тоже — просто беда...

— А в какой школе учится ваш сын?

— Да в начальной, в пятом классе.

— Ну, значит, еще мальчик, если в пятом классе. Я-то ведь уже...

— Да, да... В Кофу он учится... Я уже давно живу в Осима, но родом мы из Кофу, из провинции Кай.

Мы немного отдохнули, и примерно через час мужчина предложил проводить меня в другую гостиницу, с горячими источниками. А я-то собрался заночевать вместе с ними, в дешевых номерах...

Мы свернули с главного тракта, пошли по каменистой тропинке, потом по лестнице с каменными ступенями. Пересекли мост у общественной купальни, устроенной на маленькой речке. За мостом была гостиница с горячими источниками.

Я сразу пошел в бассейн. Когда я уже сидел в теплой воде, вновь появился мужчина и мы опять начали болтать. Он немного рассказал о себе — ему двадцать четыре года, он женат, у жены при первой беременности был выкидыш, потом были преждевременные роды... Я слушал и смотрел на его хаши с гостиничной эмблемой. Наверно, Нагаока — его родина. Он производил впечатление интеллигентного человека и по разговору и по внешности. Интересно, почему он оказался в бродячей труппе? Из любви к искусству или девушкой какой увлекся?.. Вот и ходит с ними, помогает нести поклажу.

Выйдя из бассейна, я сразу пошел обедать. Не было еще и трех часов. Как быстро летит время — в восемь утра я только

выходил из Югасима... Я поднялся к себе на второй этаж. Мужчина стоял внизу, во дворе, и помахивал мне рукой на прощание. Я бросил ему сверточек с деньгами.

— Извините, что бросаю в окно. Купите чего-нибудь вкусного... Вы любите персимоны?

Он не хотел брать, пошел к выходу, но потом вернулся, видя, что сверток валяется на земле.

— Не делайте, пожалуйста, таких вещей! — Он бросил сверток мне.

Сверток не долетел, упал на соломенную крышу первого этажа. Я снова бросил ему деньги. Больше он не стал возвращать, взял сверток и ушел.

Вечером начался ливень. Силуэты гор стали белесыми, расплылись. Перспектива исчезла. Речушка перед гостиницей мгновенно превратилась в желто-бурый бешеный поток.

В такой дождь труппе не придется работать, танцовщица не будет танцевать сегодня...

Мне не сиделось на месте, я несколько раз ходил в бассейн. В моем номере царил полумрак. Лампочка висела в квадратном отверстии, вырезанном в углу фусума, и освещала сразу две комнаты.

Вдали прозвучал едва слышный из-за шума дождя стук барабана. Я бросился к окну, рывком, словно передо мной был враг, раздвинул ставни и высунулся наружу. Кажется, звуки приближались. Дождь хлестал меня по голове. Я закрыл глаза и прислушался... Где сейчас движется барабан? Вдруг донеслись звуки сямисэна. Вслед за ними — протяжный женский крик. Несколько позже — смех и веселые голоса. Значит, актеров все-таки пригласили. Они в японском ресторане, напротив дешевых номеров... Опять голоса, мужские и женские. Я снова слушал и ждал, долго ждал. Может быть, они кончат там играть и придут сюда. Но они не приходили. В японском ресторане застолье, кажется, вышло из рамок обычного веселья и превратилось в разгульную пирушку. Время от времени женский визг, резкий, как молния, разрывал ночной мрак. Мои нервы были напряжены до предела. Я все сидел у окна, не закрывая ставен. Каждый раз, когда сквозь дождь слышался барабан, на сердце у меня светлело: значит, она, танцовщица, все еще работает, бьет в барабан...

Потом я уже не мог уловить drobных звуков барабана — на меня беспорядочными волнами наплывал топот многих ног.

Что они там делают — гоняются друг за другом или пляшут?.. И вдруг наступила мертвая тишина. Я широко открыл глаза. Хотел увидеть сквозь мрак эту тишину. Неужели... сегодняшняя ночь станет ужасной для маленькой танцовщицы?.. У меня запыло сердце. Неужели кто-нибудь осквернит ее этой ночью...

Я закрыл ставни, лег в постель. Тупая боль в сердце не проходила. Я снова пошел в бассейн. Со злостью взбудоражил воду.

Дождь перестал. Взошла луна. Ночь, освеженная и промытая, сияла спокойно и светло.

Если броситься туда... босиком... сию минуту... Нет, все равно я ничем не смогу помочь...

Был уже третий час.

3

В начале девятого мужчина пришел ко мне в номер. Я только что встал, мы вместе отправились в бассейн. Стояло погожее утро бабьего лета. За окном ясное небо и разбухшая от недавнего ливня речка. Вода радостно вбирала солнечные лучи. Мои ночные страдания показались мне дурным сном, но я все-таки спросил:

— Поздно вы легли вчера? Веселье, кажется, затянулось?

— А что, слышно было?

— Еще бы, конечно!

— Это все местные. Какое там веселье — сплошная скука! Пьют, орут как сумасшедшие... По-другому они не могут.

Вчерашняя пьянка, кажется, несколько его не волновала.

— Смотри, смотри! Вон там, в купальне на той стороне... Смеются... Нас, наверно, увидели.

Я посмотрел на общественную купальню по ту сторону реки. Сквозь пар там смутно белели голые тела.

И в ту же секунду из сумрачной глубины купальни стремительно выскочила нагая девушка, добежала до открытой раздевалки, остановилась, что-то крича и протягивая вперед руки. Совершенно нагая, даже без полотенца. Это была танцовщица. Я видел ее всю — обнаженную, длинноногую, светлую и стройную. Как молодая павлония! Меня словно омыло чистой родниковой водой. Я глубоко вздохнул и рассмеялся. Ребенок, совершеннейший ребенок! Увидела нас, забыла обо всем на свете и выскочила на яркое солнце. Вот она стоит, приподнявшись на цыпочки, протягивая к нам руки. В моем сердце била ключом чистая радость. Голова стала ясной и легкой. Я продолжал улыбаться.

Какой же я глупый — думал, ей лет семнадцать и даже восемнадцать. А все из-за слишком пышной прически. Наряжают и причесывают совсем как взрослую.

Вскоре после того, как мы с мужчиной вернулись в мою комнату, во дворе появилась старшая девушка и принялась разглядывать грядки хризантем.

Между тем танцовщица, уже одетая, дошла до середины мостика. Сорокалетняя, выйдя из общественной купальни, смотрела в ее сторону. Танцовщица поежилась, словно хотела сказать: «мне попадет», улыбнулась и повернула назад. Когда они спускались с моста, сорокалетняя крикнула:

— Приходите посидеть!

— Приходите посидеть! — повторила за ней старшая девушка, и они ушли.

Мужчина пробыл у меня до самого вечера.

Вечером я играл в японские шашки с разъездным оптовым торговцем бумагой. Вдруг со двора донеслись звуки барабана.

— Бродячие актеры пришли! — Я хотел подняться.

— Актеры... гм... А вы их гоните, очень они нужны... — Торговец, поглощенный игрой, пристально смотрел на доску.

— Ходите, ваш ход.

Я сидел сам не свой — они же уйдут, конечно, уйдут!.. Мужчина снизу крикнул:

— Добрый вечер!

Я вскочил и вышел на галерею. Поманил их. Они пошептались и направились к парадному. Цепочкой — мужчина впереди, за ним три девушки. Девушки низко, как гейши, поклонились, коснувшись пальцами пола: «Добрый вечер!»

Я мельком взглянул на доску — ага, кажется, проигрываю! Отлично!

— Сдаюсь, сдаюсь! Теперь уж ничего не поделаешь...

— Да что вы! У меня положение куда хуже. Давайте думать, позиция довольно сложная...

Торговец даже не оглянулся на актеров. Склонившись над доской, он сосредоточенно подсчитывал клетки и обдумывал каждый вариант хода. Актеры положили в угол барабан и сямисэн и уселись играть в пять шашек. Я проиграл партию, когда победа, казалось, уже была в моих руках. Торговец пристал ко мне:

— Давайте еще разок! Одну партию, а? Только одну!

Но я лишь качал головой и бессмысленно улыбался. Потеряв надежду, он ушел. Девушки подсели ближе.

— Вы сегодня еще должны работать? — спросил я.
— Вообще-то должны... — Мужчина взглянул на девушек.
— Ну, что будем делать? Может, с позволения господина, отдохнем, не пойдем куда?

— Ой, как чудесно! Как чудесно!

— А вам не попадет?

Мужчина махнул рукой:

— А-а, какая разница! Ходи не ходи, настоящих клиентов все равно нет.

Так мы и просидели до первого часа ночи. Играли в пять шашек.

Когда они ушли и танцовщица исчезла за дверью, я совсем взбодрился. Сна не было ни в одном глазу. Вышел на галерею, позвал:

— Господин коммерсант!.. А господин коммерсант...

Торговец бумагой, этот солидный, шестидесятилетний дядька, с мальчишеской резвостью выскочил из комнаты.

— А-а, это вы! Отлично! Значит, играем? Ну, теперь уж до самого рассвета!

Я был тоже настроен решительно.

4

Мы собирались отправиться в путь утром. Договорились встретиться ровно в восемь. Я, в новенькой кепке, купленной тут, у общественной купальни, с неизменным портфелем, на дне которого покоилась студенческая фуражка, пришел к дешевой гостинице, стоявшей у самой дороги, точно в назначенное время. На втором этаже все ставни и сѣдзи были настежь. Не долго думая, я взбежал по лестнице на галерею и застыл от удивления. Актеры еще спали.

Танцовщица, лежавшая у самого входа вместе с младшей девушкой, пунцово покраснела и закрыла лицо ладонями. На ее лице еще сохранились остатки вчерашнего грима. Алая краска на губах и по краешкам век чуть-чуть расплылась. Девушка в постели — какой сладостный образ... Меня охватило волнение. Все так же закрываясь ладонями, словно ей в глаза бил слепящий свет, танцовщица повернулась на другой бок, выскользнула из-под одеяла, села на пол и чинно склонила голову.

— Покорно благодарю вас за вчерашний вечер...

Я окончательно смутился.

Мужчина лежал со старшей девушкой. Только сейчас, увидев их в одной постели, я понял, что она и есть его жена.

Сорокалетняя женщина сказала:

— Вы уж простите нас великодушно. Договорились вместе отправиться в дорогу, а тут надежда появилась, что пригласят нас вечером на ужин. Ну, мы и решили еще на денек задержаться. Если вы сегодня уйдете, встретимся в Симода. Мы остановимся в гостинице «Косюя». Ее легко найти.

Я почувствовал себя отвергнутым.

— А может, и вы задержитесь? — спросил мужчина. — Мы бы сегодня пошли, да вот мать решила остаться, ее теперь не отговоришь... Компанией-то лучше идти, и нам и вам веселее. Правда ведь? Давайте завтра отправимся, а?

— Конечно! — подхватила сорокалетняя. — Извините уж нас! Вы такую честь нам оказали, захотели с нами делить дорогу, а мы вроде еще ломаемся. Но завтра уж обязательно пойдём, хоть бы пики с неба посыпались!.. Знаете, у нас ведь ребенок в пути помер, послезавтра как раз сорок девятый день. Я давно задумала в этот день быть в Симода, поминальную справить. Худо ли, хорошо, но обязательно справим. Я из-за этого все время торопилась, других подгоняла, а тут решила задержаться, случай такой вышел... А с вами мы так просто познакомились, на удивление, судьба, видно... Вы уж не откажите, помолитесь послезавтра вместе с нами за упокой младенца.

Я решил остаться. Спустился вниз. Пока ждал мужчину, поболтал у конторки с портье. Потом он пришел, предложил немного прогуляться. Мы отправились по тракту в южную сторону. Неподалеку был очень красивый мост. Мы поднялись на него, остановились, облокотившись о перила. Мужчина снова заговорил о себе. Рассказал, что одно время был в труппе Новой театральной школы в Токио. Оказывается, он и сейчас иногда ставит пьесы в Осима, а порой устраивает театральные представления на банкетах. Действительно, я еще в первый день заметил ножны мечей, торчавшие, словно чьи-то длинные ноги, из узла. Да и в корзинах, по его словам, кроме кухонной утвари, лежали театральные костюмы.

— Вот так и живем, — сказал он после небольшой паузы. — Я-то себя загубил, совсем опустился, но зато мой старший брат — человек вполне достойный. Он унаследовал наш дом в Кофу, хозяйство ведет отлично. Я там вроде и ненужный совсем человек. Будто лишний...

— А я думал, вы из Нагаока, с горячих источников.

— Нет, что вы!.. А женат я на старшей из этих девушек.

Она на год моложе вас, ей девятнадцать. В дороге у нее случились преждевременные роды. Ребеночек всего неделю прожил. Она после этого никак не оправится, бедная... Самая старшая из женщин — ее мать. А самая молоденькая, танцовщица, моя родная сестра...

— Танцовщица? Которой четырнадцать лет?.. Вы, кажется, говорили, что ей четырнадцать...

— Ну да. Мне очень не хотелось делать из сестренки бродячую актрису, ужасно не хотелось, да выхода другого не было.

Потом он сказал, что его зовут Эйкити, жену — Тиоко, а сестру — Каору. В труппе одна только девушка — Юрико — им не родная, работает по найму. Эйкити расчувствовался, погрузился. Его глаза, устремленные на быстро бегущую воду, увлажнились.

Потом мы вернулись в гостиницу. Каору, чисто умытая, без краски и пудры, сидела на корточках у дороги и гладила по голове собачку. Собравшись идти к себе, я сказал ей:

— Приходите ко мне в гости.

— Спасибо, но меня одну...

— А вы с братом приходите.

— Хорошо, мы придем...

Эйкити не заставил себя долго ждать.

— А остальные где же?

— Да мать у нас строгая...

Мы сели играть в пять шашек. Пока играли, появились Тиоко и Юрико, одна за другой. Они перешли речку по мостику, поднялись на галерею, чинно поклонились и уселись на пол. Войти в комнату постеснялись. Потом наконец Каору поднялась и сказала с улыбкой:

— Проходите, пожалуйста, это моя комната!

Они с часок посидели и пошли в бассейн искупаться. Настойчиво приглашали меня, но я сказал, что приду попозже. Стеснялся я купаться с тремя молодыми женщинами. Не успели они уйти, как Каору вернулась и передала мне слова Тиоко:

— Старшая сестра просит вас тоже пожаловать. Она вам спинку помоеет.

Я опять отказался, сел играть с Каору в пять шашек. Играла она хорошо, просто великолепно. Обыгрывала и брата и всех женщин, когда игра велась по правилам «проигравший выбывает». Я был заправским игроком и почти не знал поражений. Но танцовщица даже для меня была достойным партнером. Мне не приходилось делать легких ходов — специально для нее, и

это было приятно. Сначала она немного смущалась — ведь мы остались наедине — и передвигала шашки издали, но потом увлеклась, придвинулась ближе и каждый раз, двигая шашку, склонялась над самой доской. Тогда ее волосы — сказочно красивые — почти касались моей груди. Вдруг она залилась яркой краской.

— Ой, мне же попадет! Извините...

Бросила шашки и выбежала из комнаты.

У общественной купальни появилась сорокалетняя. Тиоко и Юрико, выйдя из бассейна, побежали к себе, в мой номер не поднялись.

Эйкити в этот день просидел у меня до самого вечера. Хозяйка гостиницы, женщина, в общем, простая и добрая, все советовала мне не тратить время на такого непутевого человека.

Вечером я пошел к ним в дешевые номера. Каору упражнялась в игре на сямисэне под присмотром сорокалетней. Увидев меня, она было отложила инструмент, но та велела ей продолжать. Девушка снова тронула струны и стала тихонько себе подпевать. Когда ее голос звучал чуть громче, сорокалетняя делала ей замечание:

— Тихе, тихе! Сколько раз тебе говорить!

Эйкити пригласили в японский ресторан напротив гостиницы. Он сидел в кабинете на втором этаже, и я отсюда хорошо его видел. Его губы шевелились, казалось, он что-то мычит.

— Что это он?

— Поет «Утай».

— «Утай» за ужином, как странно.

— Да ведь кто гуляет-то? Зеленщик! А такому, знаете, всякое может взбрести в голову...

Раздвинулись фусума, отделявшие их комнату от соседней, выглянул мужчина и позвал девушек к себе, посулив угощение. Это был торговец птицей, постоянно живший в гостинице.

Каору и Юрико пошли к нему, захватив хаси. Я видел, как они вылавливают из кастрюли остатки курицы. Потом они вернулись вместе с торговцем. Входя в комнату, он легонько хлопал Каору по плечу. Сорокалетняя сердито крикнула:

— Не прикасайтесь к девочке! Она у меня еще совсем ребенок.

Каору начала упрашивать торговца почитать вслух «Веселое путешествие князя Мито».

— Дяденька, почитайте!

Но «дяденька» сразу ушел к себе. И Каору, стесняясь обра-

титься прямо ко мне, стала просить сорокалетнюю, чтобы та попросила меня. Я взял книгу рассказов с тайной надеждой. И надежда моя оправдалась — Каору пересела ко мне поближе. Как только я начал читать, она придвинулась совсем близко, ее лицо, выражавшее сосредоточенное внимание, чуть не касалось моего плеча. Она, по-видимому, всегда так слушала. Я это заметил, когда ей читал торговец птицей. На меня, а может быть, сквозь меня смотрели огромные, яркие, сверкающие глаза с перламутровыми белками и удивительно ровной линией век. Глаза эти были самым прекрасным на ее лице. И еще: она удивительно хорошо улыбалась. Как цветок. Именно как цветок. По-другому и не скажешь. Вскоре за ней пришла служанка ресторана. Нарядившись, Каору сказала мне:

— Я скоро вернусь. Пожалуйста, пожалуйста, не уходите! Я приду, и вы почитаете дальше, хорошо?

На галерее она присела, поклонилась, коснувшись пальцами пола:

— Разрешите идти?

— Только ни в коем случае не пой! — сказала сорокалетняя.

Каору, легонько кивнула, взяла барабан. Сорокалетняя обернулась ко мне:

— У нее сейчас как раз голос меняется.

Девушка сидела в ресторане на втором этаже. Очень скромно, очень чинно. Сидела и била в барабан. Я видел ее спину. Казалось, она совсем близко — в соседней комнате. Мое сердце забилось в такт барабану.

— Как барабан оживляет застолье! — сказала сорокалетняя, тоже смотревшая на танцовщицу.

Тюко и Юрико тоже пошли в ресторан.

Примерно через час все четверо вернулись.

— Вот сколько! — Каору разжала кулачок и со звоном высыпала серебряные пятидесятииеновые монеты в ладонь сорокалетней.

Я еще немного почитал «Веселое путешествие».

Актеры тихо переговаривались между собой. Вспоминали об умершем ребенке. По их словам, младенец родился прозрачным, как вода. У него даже не было сил закричать. И все же он прожил целую неделю.

Эти люди совсем меня не стеснялись. Их, видимо, подкупала моя искренняя доброжелательность, без капельки праздного любопытства или презрительной снисходительности.

Как-то само собой получилось, что они пригласили меня к

себе домой на Осима. Я, конечно, согласился, и мы начали строить планы.

— У нас там два дома, — говорили они, — маленькие, правда, но места вполне хватит. Тот, что в горах, все равно почти пустует. В нем только дед живет. Там мы вас и устроим. Там просторно, а если дед будет мешать, мы его переселим. В тишине вы и позаниматься сможете...

Они переговаривались между собой, поглядывали на меня, высказывали свои соображения.

Было решено поставить в порту Хабу на Новый год с моей помощью пьесу.

Постепенно я начинал понимать, как они живут. Пожалуй, не так уж тяжело и не так уж плохо. Всегда в дороге... Но в этом есть своя прелесть... беспечность... ароматы полей... И между собой они ладили — их связывала родственная близость. Одна семья: мать с дочерью, муж дочери, его младшая сестра. Одна только Юрико была неродной. И это чувствовалось: девушка, еще совсем молоденькая и застенчивая, чаще всего помалкивала и в моем присутствии оставалась хмурой.

Я ушел из дешевых номеров уже за полночь. Девушки поднялись меня проводить. Каору подала мне гета. Выглянула за дверь, посмотрела на светлое небо.

— Ой, луна-то какая! Красиво как!.. А завтра мы будем уже в Симода. Я так рада... После поминальной матушка купит мне новый гребень. А потом еще будет много-много приятных вещей. Матушка обещала сводить меня в кинематограф.

Порт Симода был для этих людей землей обетованной. Скитаясь по горячим источникам Идзу-Сагами, они тосковали по нему не меньше, чем по родным местам.

5

Каждый взял ту поклажу, с которой шел через Амаги. Сорокалетняя, как и в тот раз, несла собачку, которая уютно устроилась на руках, свесила передние лапки и всем своим видом выражала готовность к путешествию. Как только Югано остался позади, дорога снова начала подниматься в гору. Вдали, над морем, висело утреннее солнце и грело чрево горы. Туда мы и шли — в сторону утреннего солнца, к устью реки Кавадзу, на омытое светом взморье.

— Вон он, Осима!

— Видите, какой большой остров! Даже отсюда видно, что большой, — сказала Каору. — Поедемте с нами, хорошо?

Небо было непривычно ярким для осени, солнечный диск почти касался воды, и над морем плавал легкий парок, как в мае. Тиоко завела неторопливую песню.

Меня спросили, как пойдём — по главному тракту или по тропинке. По тракту идти легче, но тропинка зато сокращает путь почти на двадцать тё. Я, конечно, выбрал кратчайшую дорогу.

Тропинка, петлявшая под деревьями, сплошь усыпанная скользкими опавшими листьями, была настолько крутой, что корпус опережал ноги. Я начал задыхаться и, должно быть, от отчаяния ускорил шаг, помогая ногам брать подъём руками. Вскоре я всех обогнал, спутники остались позади, их голоса доносились откуда-то снизу, из-за деревьев. Одна только Каору не отставала. Высоко подвернув подол кимоно, она бодро взбиралась за мной на расстоянии двух-трех шагов. Когда я оборачивался и заговаривал с ней, она тотчас же останавливалась. На ее лице появлялась улыбка, ясная и чуточку удивленная. Когда говорила что-нибудь она, я тоже останавливался, надеясь, что она подойдет поближе. Но она выжидала, пока я не тронусь с места. Так она и шла за мной, неизменно держа дистанцию. Тропинка стала почти отвесной, но я снова ускорил шаг. Вокруг была тишина. Актеры совсем отстали, мы уже не слышали их голосов.

— А где в Токио ваш дом?

— У меня нет дома в Токио, я живу в студенческом общежитии.

— А я однажды ездила в Токио. Танцевала на празднике цветения сакуры... Только ничего не помню, совсем маленькая была.

Время от времени Каору задавала мне разные вопросы:

— А папа у вас есть?

Или:

— А в Кофу вы бывали?

Она снова и снова рассказывала мне об умершем младенце. Мечтала вслух о Симода, о кинематографе.

Наконец мы достигли вершины горы. Среди засохшей травы стояла скамейка. Каору поставила на нее барабан, отерла носовым платком лицо и хотела была стряхнуть пыль с кимоно, но, взглянув на меня, присела на корточки и принялась руками стряхивать пыль с моих хакама. Я поспешно отступил, она не удержала равновесия, стукнулась коленкой о землю, но не сдалась — придвинулась ко мне на корточках и, описав круг, все-

таки стяхнула с меня пыль. Потом встала и почистилась сама. Я тяжело дышал. Она сказала:

— Сядьте, отдохните, пожалуйста.

Прилетела стайка каких-то птичек. Было удивительно тихо. Так тихо, что мы слышали шуршание сухих листьев, когда птички прыгали с ветки на ветку.

— Почему вы так быстро шли?

Она, должно быть, очень устала. Я постучал по барабану. Птицы мгновенно вспорхнули, ветки зашелестели.

— Напиться бы...

— Пойду поищу воду!

Каору скрылась в кустарнике, но вскоре вернулась ни с чем.

— А что вы делаете, когда живете в Осима? — спросил я. Она начала рассказывать, сбивчиво и не очень понятно. Вспомнила каких-то девочек, с которыми училась в начальной школе до второго класса... Кажется, говорила она про Кофу, а не про Осима.

Минут через десять появились Эйкити и девушки. А еще через некоторое время из-за деревьев показалась и сорокалетняя.

На спуске я не спешил, нарочно пропустил женщин вперед. Эйкити шел рядом со мной, мы болтали о всякой всячине. Вскоре к нам подбежала Каору.

— Там источник. Идите, пожалуйста, побыстрее. Они без вас не будут пить, так и велели передать.

Вода! Я бросился бегом. Под развесистыми деревьями из трещины в скале била чистая струйка. Женщины стояли вокруг источника.

— Мы вас ждем... А то зачерпнешь рукой, замутишь воду, вы еще побрезгуете пить, особенно после нас. Так что пейте первым, пожалуйста.

Я набрал воды в горсть, напился. Женщины долго не отходили от источника — пили, смачивали полотенца, обтирали разгоряченные лица.

Наконец мы спустились с горы и вышли на симодский тракт. То тут, то там курились дымки, это жгли уголь. Мы решили немного отдохнуть, устроились на бревне, лежавшем у обочины. Каору присела на корточки и принялась расчесывать собачке шерсть розовым гребешком.

— Смотри, зубья сломаешь, — сделала ей замечание сорокалетняя.

— Ничего, ведь в Симода вы купите мне новый.

Я давно уже задумал попросить у нее этот гребешок на память, когда мы будем расставаться — Каору закалывала им спереди свою прическу, — и сейчас мне было неприятно, что она им расчесывает собаку.

На противоположной стороне лежали связки бамбуковых жердей. Мы с Эйкити решили взять по палке — с ними удобнее шагать. Мы было уже поднялись, но Каору нас опередила, она быстро вскочила и притащила длинную жердь, больше нее самой.

— Зачем тебе такая? — спросил Эйкити.

Она смутилась, покраснела и протянула палку мне.

— Это вам... Хорошая будет палка. Я самую толстую выбрала...

— Да нет, не надо, отнеси назад. Очень уж толстая. Увидит кто-нибудь и сразу догадается, что украли. Нехорошо получится.

Она отнесла палку обратно, выбрала другую, потоньше. Так же бегом вернулась к нам, подала мне палку и сразу, словно исчерпав все силы, опустилась на землю, привалившись спиной к насыпной меже рисового поля. Ждала, когда поднимутся женщины.

И снова мы шагали по дороге. Я и Эйкити впереди. Вдруг до меня донесся голос Каору:

— Ну и что, можно вырвать и золотые вставить...

Она шла рядом с Тиоко. Юрико и сорокалетняя немного отстали. Тиоко сказала:

— И то правда. Надо ему посоветовать...

Они, кажется, говорили обо мне. Обсуждали мою внешность. Тиоко, наверное, упомянула о моих очень неровных передних зубах, а Каору сказала: «Можно вставить золотые». Меня это нисколько не задело, я даже не стал больше прислушиваться, так велико было чувство близости к этим людям, возникшее в моей душе. Некоторое время они говорили тихо, а потом до меня снова долетел голос Каору:

— Хороший человек...

— Да, кажется, действительно хороший.

— Хорошо, что хороший, правда?

Как просто и откровенно прозвучали эти слова! Голос, с детской непосредственностью озвучивший мысли. И я безо всякого сопротивления поверил этому голосу: ну да, я хороший человек! Я хороший, и горы вокруг хорошие, светлые... Под веками сладко защипало. А мне-то, в мои двадцать лет, столько

мучений доставлял собственный характер. Дух сиротства управлял мое существование, и я, не вынеся этого гнета, отправился в путешествие по Идзу. И теперь я испытывал огромное чувство благодарности к людям, признавшим меня хорошим малым, хорошим в самом обычном смысле слова. Горы совсем посветлели, потому что море было уже близко. Я размахнулся бамбуковой палкой и срезал несколько травяных стеблей.

На дороге, при входе в некоторые деревни, стояли деревянные щиты:

« Попрошайкам и бродячим актерам вход воспрещен! »

6

Дешевые номера «Косюя» находились на самой окраине Симода, неподалеку от северного въезда. Вместе с бродячими актерами я поднялся на второй этаж, оказавшийся обыкновенным чердаком. Потолка не было, а у окна, выходящего на тракт, чердачная крыша нависала над самой головой.

— Плечи не ломит? Руки не болят? — озабоченно спросила Каору сорокалетняя.

— Совсем не болят! Играть могу!

Каору вскинула и плавным жестом опустила руки, как во время игры на барабане.

— Вот и хорошо...

Я попробовал поднять барабан.

— Подумать только, какой тяжелый!

— Конечно, тяжелый! А вы и не знали? Гораздо тяжелее вашего портфеля, — рассмеялась Каору.

Мои спутники весело и шумно знакомились с постояльцами «Косюя». Народ здесь подобрался им под стать — такие же бродяги актеры и циркачи. Симода, по-видимому, был любимым пристанищем этих перелетных птиц. В комнату заглянул ребенок хозяйки, малыш, еле-еле ковлявший на еще не окрепших ножках. Каору сунула ему блестящую медную монетку. Когда я собрался уходить, она раньше меня выскочила в переднюю и, подавая мне гета, тихонько сказала:

— Возьмите меня, пожалуйста, в кинематограф...

Эйкити отправился со мной в гостиницу, принадлежавшую, как говорили, бывшему градоправителю. За нами увязался какой-то оборванец, но на полпути отстал. Мы посидели часок в бассейне, потом пообедали свежей рыбой.

Прощаясь с Эйкити, я дал ему маленький бумажный сверточек — там были деньги, совсем немного.

— Купите, пожалуйста, цветов для завтрашней заупокойной службы. Положите их на алтарь, от меня...

Деньги у меня были на исходе, завтра придется ехать в Токио утренним пароходом. Актерам я сказал, что меня ждут дела, и они не слишком уговаривали меня остаться.

Часа через три после обеда я вновь почувствовал голод, поужинал и отправился гулять. Один. Пересек мост, побродил в северной части города, поднялся на гору, местную Фудзияму. Весь порт передо мной лежал как на ладони. Очень живописная картина.

На обратном пути зашел в «Косюя» к актерам. Они как раз ужинали. Ели рис и вареную курицу, выжывая куски прямо из кастрюли.

— Ну, хоть чуточку попробуйте! — начала упрашивать меня сорокалетняя. — Хоть капельку! Может, вам неприятно, что женщины ковырялись в кастрюле своими хаси, но вы уж не побрезгуйте. Хоть ради интереса отведайте — будете потом рассказывать, как ужинали с бродячими актерами...

Она вытащила из корзины пиалу и хаси, велела Юрико их вымыть и подать мне.

Потом все снова стали упрашивать меня задержаться еще на один день — завтра ведь заупокойная служба по ребеночку, сорок девятый день исполнится, как он умер, бедненький. Я отказался, ссылаясь на занятость. Тогда сорокалетняя сказала:

— Ну что ж, ничего не поделаешь... Но вы хоть на зимние каникулы приезжайте. Мы ждать будем. Выйдем встречать ваш пароход. Вы уж не откажите в любезности, сообщите, когда будете. Приезжайте обязательно! И не вздумайте в гостинице остановиться, обидите нас... Приезжайте, мы вас встретим.

Чуть позже, когда в комнате остались только Тиоко и Юрико, я пригласил их в кинематограф. Тиоко, бледная и измученная, прижимая руки к животу, сказала:

— Куда уж мне! Я и так еле дышу. Такая трудная была дорога.

Юрико сидела потупившись, вся застывшая, и молчала.

Внизу Каору играла с хозяйским ребенком. Увидев меня, бросилась к матери, стала упрашивать, чтобы ее отпустили со мной в кинематограф. Потом подошла ко мне, рассеянная, потускневшая, подала гета. Когда я выходил, она гладила собачку и даже не подняла глаз. Казалось, она лишилась сил. Я не решился заговорить с ней — такое у нее было замкнутое, отчужденное лицо.

Пошел в кинематограф один. Чтица при свете крохотной лампочки читала пояснительный текст¹. Я тут же поднялся и вернулса к себе в гостиницу. Присел на подоконник, стал смотреть на ночной город. Смотрел и смотрел в темноту, поглощавшую тусклые огни редких фонарей. Все время казалось, будто издали доносятся глухие удары барабана. Из глаз хлынули беспричинные слезы.

7

В семь утра, когда я завтракал, с улицы меня позвал Эйкити. На нем было черное хаори с гербами. Наверно, надел лучшую свою одежду в честь моих проводов. Женщины не пришли. Мое сердце сжала тоска.

— Мы хотели проводить вас все вместе,— сказал Эйкити, — но вчера очень уж поздно легли. Женщины совсем замучились. Сил у них нет подняться. Просили передать вам свои глубочайшие извинения. А еще просили приезжать зимой. Мы ждать будем.

Утренний ветер дул по-осеннему. Было свежо. По дороге Эйкити купил мне четыре пачки папирос «Сикисима», персимоны и освежающие пилюли с пряностями, которые назывались «Каору».

— Ведь Каору зовут мою сестру.— Он слегка усмехнулся.— А персимоны пригодятся вам на пароходе. Мандарины совсем не то. Говорят, персимоны помогают от морской болезни.

Я снял мою новенькую кепку, надел ему на голову.

— А это вам на память!

Потом я достал из портфеля помятую форменную фуражку, расправил складки, нахлобучил ее по самые уши.

Мы оба рассмеялись.

Когда мы были уже на пристани, я увидел маленькую фигурку, сжавшуюся в комочек у самого берега. Сердце мое дрогнуло и будто раздалось, словно сама танцовщица влетела в него. Но она осталась неподвижной, пока мы не подошли совсем близко. Тогда она молча мне поклонилась. Такая трогательная, с остатками вчерашней краски в уголках век... Такая важная, как рассерженный ребенок...

Эйкити спросил:

— Остальные тоже придут?

¹ В Япоии немые фильмы сопровождались чтением пояснительного текста.

Она покачала головой.

— Все еще спят?

Каору кивнула.

Пока Эйкити ходил за билетом на пароход и за талонами на катер, я пытался заговорить с Каору. По-всякому пробовал, и так и сяк. Но она молчала, уставившись в одну точку — куда-то вдаль, где канал вливался в море. Молчала и все время кивала. Кивала и кивала, даже не дослушав до конца фразу.

Вдруг я услышал чей-то голос:

— Вот, тетенька, подходящий человек...

С этими словами ко мне приблизился мужчина, землекоп по виду.

— Господин студент, — сказал он, поклонившись, — ты в Токио едешь, да?.. Вот мы и решили тебя попросить... Сразу видно — человек ты надежный. Сделай милость, довези до Токио эту старуху... Несчастливая она. Такое горе случилось! Сын у нее на серебряных копиях Рэнтайдзи работал. А теперь помер, и невестка тоже. От этой... как ее... инфлюэнции. Померли они, значит, и трех детишек оставили. Куда же бабке-то с ними? Посоветовались мы и решили на родину ее отправить. Она сама из Мито. Уж присмотри ты за ней, господин студент, не откажи! Бабка последнее время совсем плохая стала. Как приедете в Рейганто, проводи ее на вокзал Уэно да посади в электричку... Хлопот, конечно, много, но уж мы тебя так просим! Да ты взгляни на нее, самому жалко станет.

Старуха стояла как неживая. К ее спине был привязан грудной ребенок. Справа и слева в подол вцепились две девочки — лет трех и пяти. В грязном фуросики лежали рисовые шарики и соленые сливы. Рудокопы толпились вокруг нее, утешали. Я охотно согласился присмотреть за бабкой. Меня наперебой благодарили:

— Выручил ты нас, господин студент! На тебя вся надежда.

— Спасибо тебе большое! Мы бы сами должны ее проводить до Мито, но куда уж нам...

Катер страшно качало. Каору так и не проронила ни слова, смотрела в одну точку, плотно сжав губы. Когда мы подошли к пароходу и я, схватившись за веревочный трап, стал прощаться, она было разжала губы, но опять ничего не сказала, только еще раз кивнула.

Катер пошел назад. Эйкити сорвал с головы кепку и помахал мне. Когда они были уже совсем далеко, Каору тоже махнула мне чем-то белым.

Я стоял у борта и до тех пор смотрел на остров Осима, пока пароход не вышел в море и южная оконечность полуострова Идзу не исчезла из виду. Маленькая танцовщица... прощание... все осталось где-то далеко-далеко, в невозвратном прошлом.

Я спустился вниз посмотреть, как там устроилась бабка. Ее окружили какие-то люди, расспрашивали, утешали. Успокоившись, я прошел в соседнее помещение. Волны в проливе Сагами были высокие, пароход швыряло из стороны в сторону, у меня даже бока заболели. Заглянул матрос и раздал всем на всякий случай тастики. Я больше и не пытался сидеть на месте, подложил под голову портфель, улегся. Внутри, там, где находится сердце, вдруг образовалась страшная пустота. Время исчезло. Из глаз закапали, а потом бурно потекли слезы. Портфель стал мокрым и неприятно холодил щеку. Пришлось его перевернуть. Со мной разговаривал юноша, сын фабриканта из Кавадзу. Он ехал в Токио держать вступительные экзамены в Высшую школу. Моя студенческая фуражка явно произвела на него впечатление. Увидев, что я плачу, он спросил:

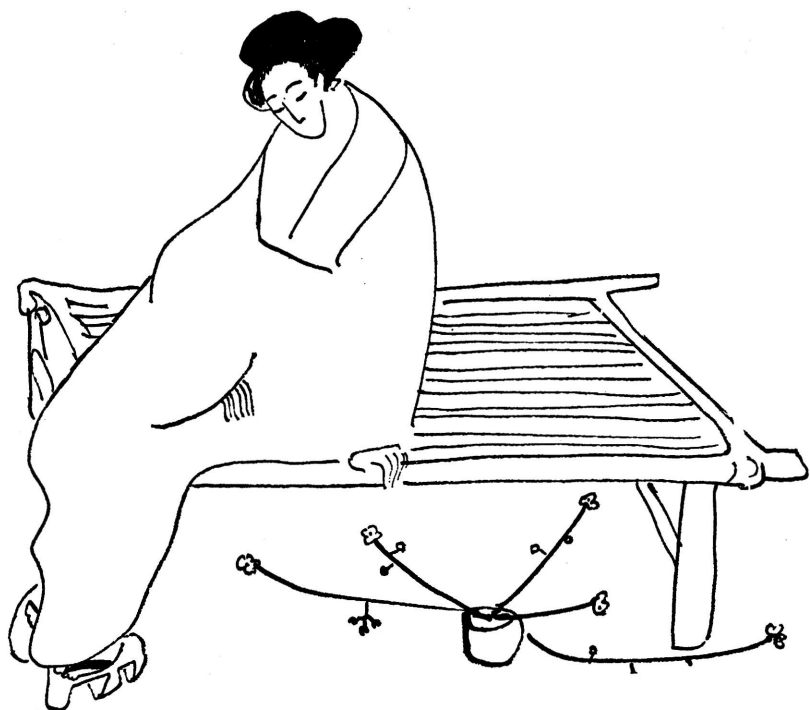
— У вас случилось что-нибудь? Какое-нибудь горе?

— Да нет, ничего не случилось. Просто расстался с человеком, — откровенно, нисколько не стесняясь, признался я.

Люди видели, как я плачу. Но мне было совершенно безразлично. И еще легко от всеочищающих слез.

Я и не заметил, как на море опустилась ночь. Просто понял, что уже ночь, когда на далеком побережье, в Адзиро и Атами, засветились огоньки. Я замерз и проголодался. Юноша развернул сверток из бамбукового лыка, протянул мне суси. Еда была не моя, но я спокойно ел суси, кусочек за кусочком. Потом залез к юноше под накидку. Любое проявление человеческой доброты казалось мне вполне естественным. Такое уж у меня было состояние — полной опустошенности и просветленности. Завтра, как приедем, провожу бабку на вокзал Уэно. Это тоже само собой разумелось. Весь мир стал для меня чем-то целостным и неделимым.

Фонарь под потолком погас. Сильно запахло морем. Из грузового трюма остро потянуло свежей рыбой. Я придвинулся к юноше, пытаюсь согреться теплом его тела. В абсолютной темноте снова хлынули слезы. Меня охватило томительно-сладкое чувство. И все исчезло, и весь я превратился в чистую, прозрачную воду, которая исторгалась слезами, ничего не оставляя после себя.



ЭЛЕГИЯ

Какой горький у нас обычай — беседовать с усопшими! А в последнее время этот обычай — когда живые заставляют своих близких жить в их прежнем облике после смерти — кажется мне особенно горьким.

Я не помню имени философа, который сказал: «Извечной задачей элегической поэзии является утверждение тождества судеб человеческих и судеб растений...» Не помню, какими словами предварялось и заключалось это изречение, так что не мне судить о душе растений — в чем суть этой души: в собственном расцвете и увядании или есть у нее нечто более сокровенное? И все же сейчас, в эти дни, когда я, очарованная непревзойденной элегической поэзией буддийских сутр, начинаю беседовать

с Вами, — умершим, — мне хочется обратиться к алым бутонам рано цветущей карликовой сливы, а не к Вам, такому, каким Вы были при жизни. Почему бы мне не сотворить себе чудесную сказку и не вообразить Вас алым сливовым цветком, распустившимся в нише моей комнаты?.. Впрочем, пусть Вы будете другим каким-нибудь цветком, пусть я никогда и не видела этого чудесного цветка, раскрывшегося в неведомой мне стране, далекой, далекой, ну хотя бы во Франции... Будьте цветком, потому что я люблю Вас, люблю до сих пор...

Вот так я начала беседовать с Вами, и вдруг мне захотелось увидеть эту далекую страну. Я попыталась, но ничего не увидела, только ощутила запах собственной комнаты.

— Ведь он же мертвый! — сказала я и рассмеялась.

Я не люблю духов и никогда ими не пользовалась. Вы помните?

А тогда, в ту ночь — с тех пор прошло четыре года! — я была в своей ванной и вдруг почувствовала резкий запах духов. Я понятия не имела, что это за духи, но мне стало мучительно стыдно, оттого что на мое обнаженное тело волной накатился чужой запах. Закружилась голова, и я потеряла сознание. Произошло это в тот самый миг, когда Вы далеко-далеко в гостинице окропили белоснежное супружеское ложе духами Вашей жены. Вы совершали свадебное путешествие, Вы убежали, Вы женились тайком от меня. Об этом я узнала много позже, а тогда я ничего не знала.

О чем Вы подумали в тот миг? Может быть, обо мне — хорошо бы, если бы на месте Вашей жены была я?..

Европейские духи очень крепкие, у них резкий, слишком уж «здешний» запах.

Сегодня вечером у меня собрались мои старые подруги. Решили сыграть в карута. Но игра не ладилась: то ли время было неподходящее — ведь новогодняя неделя уже прошла, то ли мы сами больше не годились для этой игры — ведь каждая из нас была в том возрасте, когда у женщины обычно есть муж и дети. В комнате вдруг стало невыносимо душно от нашего собственного дыхания. Мы сами заметили это. Отец зажег китайские благовония. Воздух немного освежился, но настроение по-прежнему было унылым. Казалось, все погрузилось в свои собственные мысли.

Воспоминания — прекрасная вещь, я убеждена в этом.

Но представьте, что будет, если сорок-пятьдесят женщин соберутся в одной комнате, над потолком которой устроены цве-

точные теплицы, и начнут предаваться воспоминаниям. Наверно, все цветы увянут. И не потому что в памяти каждой всплывет нечто отвратное. Просто прошлое слишком уж осязаемо, слишком в нем много плотского по сравнению с грядущим.

Я размышляла о таких вот странных вещах и вспомнила свою мать.

В детстве меня считали вундеркиндом, и началось это с игры в карута.

Мне не было еще и пяти лет. Читать я не умела, даже ни одной буквы не знала ни из катакана, ни из хирагана. И вдруг в самый разгар игры мама обернулась ко мне.

— Тацу-тян, ты всегда так тихонько сидишь и смотришь, как мы играем... Может, ты уже научилась? — Она погладила меня по голове. — А ну-ка, попробуй! Вдруг угадаешь? Возьми хоть одну карту...

Взрослые, уже было протянувшие руки за картами, тотчас же уступили место мне, несмышленишу. Все с любопытством смотрели на меня.

Моя крохотная, меньше картонной карты, рука бездумно опустилась на карту, лежавшую возле мамы, у самых ее колен.

— Вот эта, мамочка?

Первый возглас удивления вырвался у мамы. Вслед за ней заахали и заохали остальные. Мама сказала:

— Ну что вы, это же чистая случайность! Она ведь совсем еще маленькая, даже катакана не знает.

Но гости, специально пришедшие к нам поиграть, тут же оставили игру. Вероятно, это была дань уважения мне, ребенку. Чтица сказала: «Тацу-тян, слушай внимательно, внимательно!» — и стала читать для меня одной, очень медленно, по слогам, повторяя несколько раз одно и то же. Я взяла еще одну карточку. И опять угадала. Потом еще одну и снова угадала. Не знаю, как это получалось. Может быть, случай все время помогал мне. Ведь я действительно еще не знала ни одного иероглифа, а уж о стихах и говорить нечего — их я совсем не понимала. Моя рука бездумно двигалась, а другая рука, мамина, гладившая мои волосы, наполняла меня ощущением огромной радости.

Слух о моих чудесных способностях молниеносно распространился. Теперь я только и делала, что играла в карута, и у себя дома, в присутствии гостей, и в чужих домах, куда меня приглашали вместе с мамой. Взрослые не переставали

восхищаться. Но скоро я стала являть чудеса еще почище, чем в этой игре...

А сейчас я сижу дома и думаю, какая сложная игра эта карута. Я давным-давно знаю наизусть все стихи из антологии «Хякунин-иссю», с легкостью разбираю вязь хирагана на карточках, но играю гораздо хуже, чем в детстве, когда неведомая сила направляла мою детскую руку.

Мама... мама... Теперь она вызывает во мне такую же неприязнь, как европейские духи. А все из-за Вас. Моя мать постоянно требовала у Вас доказательств Вашей любви ко мне.

А этих доказательств было предостаточно. Даже слишком. Может, потому Вы меня и бросили, хотя мы оба горячо любили друг друга.

В ту ночь, когда в ванной па меня нахлынул аромат с Вашего брачного ложа в далекой гостинице, в моем сердце захлопулась какая-то дверца.

И после того, как Вы умерли, я ни разу Вас не видела.

И не слышала Вашего голоса.

Сломались у моего ангела крылья.

Ибо я не хочу вознестись в страну мертвых, где Вы обитаете.

Но я насколько не дорожу жизнью. Ради Вас я бы спокойно рассталась с ней, рассталась бы, если бы могла стать полевой ромашкой. О, тогда бы я хоть завтра последовала за Вами!

Я сказала: «Он мертвый!» — и рассмеялась. Над чем? Не только над своей нелюбовью ко всяческим искусственным ароматам — даже китайские благовония кажутся мне уместными лишь на похоронах и во время буддийского богослужения, — но и над двумя сказками о запахах, которые я недавно прочла в двух разных книгах.

Одна из них излагается в сутре «Има». Вот она: в Стране Благовоний растут удивительные деревья и каждое дерево имеет свой особый аромат. А под деревьями сидят мудрецы и, вдыхая различные запахи, постигают истину. Сколько запахов, столько и истин...

Если непосвященный человек прочитает учебник по физике, ему может показаться, что цвет, запах и звук — явления одного порядка, только для их восприятия человеку служат разные органы чувств. Что ж, ученым тоже свойственно создавать правдоподобные сказки вроде той, что таинственная душевная сила сродни электромагнитным волнам...

...Жили-были влюбленные. Он много путешествовал. И пользовались они голубиной почтой, чтобы посылать весточки друг

другу. Почему голуби всегда находили дорогу через моря и океаны? Влюбленные верили, что птиц ведет сила любви, исходящая от писем, привязанных к их лапкам... Говорят, есть на свете кошки, видящие привидения... И есть животные, которые предчувствуют, что случится с их хозяином, а сам человек ничего-то не знает и ничего не чувствует... Кажется, я рассказывала Вам про нашу собаку, английского пойнтера? Когда я была еще маленькой, отец однажды поехал на охоту в Идзу и взял с собой собаку. Она потерялась, а через восемь дней вернулась домой совсем отощавшая, кожа да кости. О чем она думала, на что надеялась? Как отыскала дорогу домой, в Токио, из такой дали? Должно быть, это была такая собака, которая принимает пищу только из рук хозяина, это ее и вело...

В сказке о Стране Благовоний мудрецы постигают истины через различные запахи. Не знаю, быть может, это не только красивый поэтический символ. В сказке Реймонда о Стране Духов духовной пищей для людей служат различные цвета.

Младший лейтенант Реймонд Лодж был последним сыном сэра Олвера Лоджа. В тысяча девятьсот четырнадцатом году он вступил в армию добровольцем, был зачислен во второй Южно-Ланкаширский полк и отправлен на фронт. 14 сентября 1915 года он погиб при штурме высоты Фуше. А вскоре Реймонд через медиумов (миссис Ленард и Питерса) передал с того света кучу различных сведений, которые его отец, профессор Лодж, подробно пересказал в своей большой книге.

Реймонд беседовал с помощью других небожителей: в миссис Ленард вселялся дух индийской девушки Фида, в Питерса — дух старого итальянского анахорета Мунстона. Так что медиумы говорили на ломаном английском языке.

Реймонд, постоянно обитавший в третьем круге Страны Духов, однажды отправился в пятый круг. Там он увидел огромное белое здание, построенное из какого-то похожего на алебастр материала.

Внутри белоснежный храм переливался, как радуга. В одном портале снял красный свет, в другом — голубой, а в самом центре — оранжевый. И краски были отнюдь не резкими, несмотря на ослепительное сияние, а, наоборот, удивительно нежные. «Откуда эти цвета?» — подумал господин (так Фида называла Реймонда) и осмотрелся. Оказывается, в широкие окна были вставлены стекла соответствующих оттенков. Души умерших стояли и двигались в волнах света, одни избирали розовый, другие — голубой. Были и погрузившиеся в желто-

оранжевое зарево. «Зачем они это делают?» — подумал господин. И ему тотчас же объяснили: розовый свет — свет любви, голубой — исцеляющий душу, а оранжевый — свет мудрости. Каждая душа выбирает то, что ей нужно. Это очень и очень важно, добавил добровольный гид, люди на земле еще не поняли, что такое свет и цвет, но скоро они постигнут силу цветowych эффектов.

Сейчас Вы, наверно, смеетесь. Ведь мы украсили нашу земную спальню, используя различные цветочные эффекты... Да и ученые-психиатры говорят о влиянии цветов на нервную систему.

Реймонд рассказал еще одну сказку, такую же наивную, как первая, сказку о запахах.

...Запахи увядших цветов возносятся к небесам, и там из них вырастают точно такие же цветы, как на земле. Вообще в Стране Духов все создается из запахов. Если человек сосредоточится, ему наверняка удастся почувствовать, что каждый умерший, каждая истлевшая вещь имеет свой особый запах. Истлевшее льняное полотно пахнет совсем не так, как истлевшее сукно. А запах высушенного бамбука не имеет ничего общего с запахом увядшей акации. Вот эти-то мертвые запахи и летят на небо, и там из них воссоздаются растения, вещи и люди — точные копии своих земных прообразов.

...Душа человека покидает тело не сразу, не одним прыжком, а уходит постепенно, мерцая, как блуждающий огонек. Ее аромат возносится на небо тончайшими, тоньше шелковой пряжи струйками, и там из этих нитей постепенно создается духовная плоть человека, до мельчайших подробностей копирующая оставленное на земле тело. У самого Реймонда ни одна ресничка не выпала во время этого сложного превращения, ни одна линия на подушечках пальцев не изменилась. И даже зубы, испорченные и запломбированные на земле, стали абсолютно целыми.

В потустороннем мире, в Стране Духов, все слепые становятся зрячими, хромоногие обретают здоровые ноги. Там есть кошки, птицы и лошади — точно такие же, как и на нашей земле. А из эфира или из каких-то дивных эссенций, получившихся из мертвых запахов, возникают сигары, содовая вода и виски... Сигары и виски — до чего же наивно это звучит!... Дети в Стране Духов продолжают расти. Реймонд встретился там со своими братьями и сестрами, умершими в младенческом возрасте. Они там стали взрослыми юношами и девушками порази-

тельной духовной красоты, ибо земная юдоль не успела их испортить. Особенно прекрасной была одна из его сестер, явившаяся ему в сладостном образе девушки Лилии, в одеждах, сотканных из света, с белой лилией в руках... Если бы ее увидел поэт, она стала бы для него источником вечного вдохновения...

По сравнению с «Божественной комедией» великого Данте или адом и раем гениального мистика Сведенборга рассказы Реймонда о Стране Духов вызывают улыбку, они походят на лепет ребенка. В книге профессора Лоджа они пестрят яркими пятнами среди невероятно растянутых, вполне реалистических описаний. Очевидно, сэр Лодж и сам не очень-то верил в потусторонний мир и не считал рассказы медиумов неким абсолют. Он посвятил свою книгу миллионам женщин — матерям, женам и невестам, потерявшим любимых в большой европейской войне. Он давал им свидетельство о бессмертии души, полученное им от погибшего сына. Я прочла множество книг о связях с потусторонним миром, и ни один автор не говорит о вечности духовного существования с такой реалистичностью, с такой убежденностью, как Лодж устами Реймонда. Не знаю, может быть, я, разлученная смертью с любимым, тоже должна была бы искать утешения в этой книге. Но вместо утешения я нашла в ней лишь несколько забавных сказов.

Данте и Сведенборг были гениями, каждый в своем роде, но даже они кажутся слабыми и слишком уж приземленными в своих описаниях загробной жизни по сравнению с блистательными иллюзиями буддийских книг, повествующих о мире усопших. Правда, и на востоке философы порой пытаются уйти от этого вопроса. Конфуций, например, сказал: «Я не постиг еще жизни, как же мне постичь смерть», но все же некоторые сутры буддизма звучат непревзойденной фантастической рапсодией о двух мирах — земном и небесном. В последнее время я все больше и больше упиваюсь ей, как самой прекрасной на свете элегической поэзией.

Реймонд общался на том свете с индийской девушкой Фидой, дух которой вселился в медиума, миссис Ленард. Почему же тогда Реймонд говорит лишь о встрече с Христом на небесах и об испытанном им при этом трепетном восторге? Почему не предстал пред ним Сакья Муни? Почему не увидел он буддийского мира усопших, столь фантастичного и своеобразного?..

Реймонд, разделяя печаль тех духов, родственники которых не верили в бессмертие души, рассказывал, что на рождество

он всегда возвращается в свой земной дом и проводит там целый день. В связи с этим я вновь подумала о Вас и о себе самой. С тех пор как Вы умерли, я ни разу в праздник Урабонэ¹ не молилась о Вашей душе перед алтарем. И ни разу не видела Вас в земном Вашем образе.

Вас это огорчает?

Многие сутры мне нравятся. Например, та, что повествует о святом Нитирэне. И рассказ о монахе Дохи, заставившем благостью творимой им молитвы плясать череп отца. И сказание о белом слоне, которым был Сакья Муни в своем предыдущем существовании. И мне нравятся все обряды праздника духов — сначала тростниковые факелы, а под конец прощальные фонарики, плывущие вниз по реке. Это как увлекательная детская игра во взрослых. Такие уж мы, японцы. Мы не забываем даже отслужить маленькую панихиду по душам безвестных утопленников.

Но лучше всего учение о сердце вселенной на празднике духов выражено в прекрасных стихах преподобным Иккю.

Дыни и баклажаны на склонах гор
и воды в русле реки Камагава,
будьте даром прекрасным, приношением будьте!

А старец Сё-о так расшифровывает эти стихи:

«Какое грандиозное празднество духов! Духи — повсюду. И дыни, и баклажаны, поспевшие в этом году, и плоды персиков, и каждый персимон, и каждая груша, и каждый усопший, и каждый живущий — все это души. И встречаются они, и сходятся они все вместе, без обид, без мыслей злокозненных, преисполненные одним лишь чувством великим — какая благодать! Какая благодать!.. Всеединяющий праздник духов! Это и есть проповедь учения о единстве сердца вселенной. А если у вселенной одно сердце, значит, каждое сердце — вселенная. Поистине, вселенское слияние, погружение в нирвану всего и вся: и трав, и деревьев, и стран, и земель».

А есть еще и такая проповедь: все живое, проходя через пять кругов превращений, мнущая сотни и тысячи вечностей, претерпевает бесконечное множество рождений и смертей, и каждый для каждого когда-нибудь, где-нибудь бывает и отцом

¹ Буддийский праздник поминовения умерших, по лунному календарю — 15 июля.

и матерью. Все мужчины на свете — отцы любящие, все женщины — матери горестные.

Именно — «матери горестные», так и сказано.

А еще там сказано, что отцы — благодетели любящие, а матери — благодетельницы горестные.

Да, иероглиф «хи» читается как «горестный», но не знаю, может быть, слишком уж примитивно такое узкое толкование. Во всяком случае, буддийское учение считает материнское благодеяние выше отцовского.

Вы, наверно, хорошо помните тот момент, когда умерла моя мать.

И как я удивилась, когда Вы спросили:

— Ты про маму думаешь?

...Дождя как не бывало. Словно кто-то сдул его. И такая ясность вокруг. И как всегда ранним летом, солнечные лучи удивительно светлые. И мир тоже светлый, пустой и чистый. И под окном легкий туман стелется по земле, плывет к горизонту. И солнце медленно плывет к горизонту. Я сижу у Вас на коленях и смотрю на запад — там роща, яркая, будто ее только что нарисовали и темной краской очертили контур. И вдруг на горизонте какое-то бледное сияние. Я думаю: это игра заходящего солнца и стелющегося по земле марева... И... мама идет к нам по газону...

Я жила с Вами против воли родителей.

Но сейчас, увидев мать, не испытала никакого стыда, хотя и удивилась. Я поднялась было ей навстречу, но тут она схватилась левой рукой за горло, словно хотела что-то сказать и... исчезла.

Я рухнула к Вам на колени. А Вы:

— Ты про маму думаешь?

— Вы тоже видели?..

— Что?

— Как мама сюда приходила?

— Куда приходила?

— Сюда, сюда, к нам!

— Не видел. С мамой что-нибудь случилось?

— Да... Она умерла... И пришла сюда, чтобы сообщить мне...

Я тогда же поехала в свой прежний дом, к отцу. Тело матери еще не привезли из больницы. Я не писала родным и даже не подозревала, что мать тяжело больна. Она умерла от рака языка. Может быть, это она и пыталась сказать, когда схватилась за горло.

Мать испустила последний вздох в тот самый миг, когда я ее увидела.

Моя мама была настоящей «матерью горестной», но даже ради такой матери я никогда не творила молитву у алтаря на празднике Урабона. И никогда не пыталась с помощью жрицы вступить с ней в беседу и послушать рассказ о ее жизни в потустороннем мире. Если мне захочется поговорить с мамой, я пойду в лес и обращусь к какому-нибудь молодому деревцу. Может быть, это и будет она.

Наверно, душа, проходящая через бесконечное множество смертей и рождений,— душа мятущаяся и несчастная. Ведь и Сакья Муни учил род человеческий высвободиться из круговорота перевоплощений и обрести покой в нирване. И все же нет на свете сказки более удивительной, мечты более фантастичной и чарующей, чем учение о перевоплощении. Это самая прекрасная элегия, когда-либо созданная человеком. Корни этого учения надо искать на Востоке, в далеких-далеких веках, во всяком случае, в Индии оно восходит к временам Вед. Но и на Западе легенд о перевоплощении больше, чем звезд на небе. Жил человек, умер и стал растением, или животным, или птицей. В древней Греции сколько угодно таких мифов. И даже Гёте устами бедной Гретхен, томящейся в тюрьме, говорит об этом. Гретхен поет песенку, как ее убили и закопали, а она вспорхнула лесной птичкой.

И все же человек стремился и сейчас стремится противопоставить себя всей остальной природе, и древние святые и современные спириты, короче, все, кто пытается размышлять над тайной жизни и смерти, постоянно возвеличивают душу человеческую, пренебрегая душами животных и растений. Вот и получается, что человек тысячелетиями идет в одном направлении, по проторенной дорожке, и ему даже в голову не приходит оглянуться по сторонам.

Может быть, поэтому и стал человек таким одиноким, и душа его одиноко блуждает в пустынном мире.

Я думаю, когда-нибудь он все же это поймет, и тогда придется ему повернуть и пойти обратно по тому же длинному пути, которым он шел до сих пор.

Вы смеетесь? Говорите, что я возвращаюсь к пантеизму древних народов и первобытных племен? Но вспомните современных ученых, занятых поисками того нечто, из чего образуется материя. Разве эти поиски, приобретающие все больший размах и в то же время становящиеся все более скрупулезны-

ми, не наводят на мысль о круговращении этого нечто во всем сущем?

И все-таки люди, признавая бессмертие души, представляют себе потусторонний мир копией нашего. Им хочется верить, что душа на небесах сохраняет свой земной облик. Какая жалкая иллюзия и как упорно цепляются за нее люди! Что ж, оно и понятно — живые, с одной стороны, привязаны к живым, с другой стороны, к тем, кто ушел из жизни. Но меня охватывает ужасное уныние, когда я подумаю, что умерший и на том свете точно такой, каким был при жизни, со всей своей любовью и со всей ненавистью, что дети и родители остаются детьми и родителями, братья и сестры — братьями и сестрами и даже все мелочи, игравшие какую-то роль в земной жизни — как свидетельствуют души умерших европейцев, — продолжают играть ту же роль в потустороннем мире. Какая несправедливость! Выходит, и на том свете все вертится вокруг человека, все ему служит. А как же другие существа?

По мне, лучше стать после смерти белой голубицей, чем пребывать в унылой стране бледных привидений. Если бы так оно и было, как бы беззаботно жилось и любилось на земле!

Пифагорейцы, одна из философских школ древности, считали, что грешные души после смерти вселяются в птиц и зверей и в этом образе претерпевают муки, отведенные на долю животных.

А про Иисуса Христа вот что рассказывают: на третий день, когда кровь на распятии еще не успела высохнуть, вознесся он на небо и его останки исчезли. «И стояли двое в сверкающих одеждах по обеим сторонам креста. И пали они ниц в великом страхе, и сказал им этот человек:

— Почему вы ищете живого в мертвом? Его здесь нет, ибо он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был в Галилее: дитя человеческое, истинно говорю вам, будет предано, и будет распято руками преступников на кресте, и на третий день воскреснет».

А Реймонд встретил на небесах Иисуса Христа, облаченного в точно такие же сверкающие одежды... Правда, в загробном мире Реймонда все одеты в нечто сотканное из света. По его словам, этот наряд возникает из сокровищ души, накопленных при земной жизни. Что ж, в этой сказке отразились этические учения нашего земного мира. И у Реймонда и у буддистов потусторонний мир построен по одному принципу: там семь кру-

гов, по которым восходит душа, постепенно очищаясь и совершенствуясь.

Буддийское учение о круговороте перевоплощений не что иное, как земная мораль, возведенная до степени религии. По законам кармы все живущее после смерти расплачивается за свои деяния и плата эта отмеривается в соответствии с прегрешениями и благими поступками, совершенными на земле. Коршун после смерти может стать человеком, а человек — и бабочкой, и Буддой, и кем угодно. Какая темная накипь на светлой элгии!

Насколько безыскусственной и радостней звучит песнь перевоплощения в «Книге мертвых» древнего Египта! А уж про греческую мифологию и говорить нечего. Взять хотя бы легенду о радужных нарядах Ирис и Анемона. Какие лучезарные краски!

От греческой мифологии, воспевавшей божественную сущность всего земного, где все божество — и цветок, и звезда, и маленький зверек, и луна, где боги хохочут и рыдают, как люди, веет таким душевным здоровьем, такой полнотой жизни, словно ты пляшешь совершенно обнаженной на зеленой лужайке под чистым небом.

Там боги просто и естественно, будто играя в прятки, превращаются в цветы и травы. Прекрасная лесная нимфа Харита, спасаясь от любви неугодного ей юноши, обернулась маргариткой. Дафна, желая сохранить девственную чистоту и избежать преследований распутного Аполлона, стала лавровым деревом. Растерзанный вопреки красивый юноша Адонис ожил и взошел цветком, чтобы утешить любившую его Афродиту. Аполлон, опечаленный смертью своего любимца Гнацинта, воплотил его образ в цветке...

Вот я и думаю, может быть, мне тоже дозволено видеть Вас в алом цветке сливы, распустившемся в нише моей комнаты? Я говорю с цветком — я говорю с Вами...

Чудеса... В пылающем пламени восходит лотос... В любовной страсти приходит высшее прозрение...

Оставленная Вами, я постигаю сердце анемона. Если бы я могла, если бы...

...Бог ветра влюбился в прекрасную лесную богиню Анемон. Об этом узнала богиня цветов, возлюбленная бога ветра, воспылала ревностью и прогнала ничего не подозревавшую Анемон из своих владений. Бедняжка ушла вся в слезах и несколько дней и ночей провела в открытом поле. А потом подумала:

чем жить в таких страданиях, лучше стать полевым цветком и радоваться в чистоте душевной всем дарам земли и неба. Подумала и превратилась в цветок анемон. Говорят, как только эта несчастная богиня обернулась цветком, на сердце у нее сразу стало светло и покойно...

Вот и я после того, как Вы меня бросили, страдаю от ревности к Аяко, отнявшей Вас у меня, и все думаю днями и ночами превратиться в полевой цветок, стать анемоном. Какое это было бы счастье!

Странная вещь — слезы человеческие. А то, что я говорю Вам этой ночью, наверно, вдвойне странно. Впрочем, тут ведь нет ничего нового. Не об этом ли мечтали сотни миллионов людей на протяжении столетий?.. Может быть, я родилась на свет женщиной лишь для того, чтобы в душе моей, словно в капле слезы, воплотилась элегическая поэзия...

Когда я была Вашей возлюбленной, я плакала от счастья, отходя ко сну.

А когда я потеряла Вас, моего любимого, в первое время слезы текли по моим щекам ранним утром, стоило мне только открыть глаза.

Когда я засыпала около Вас, Вы никогда мне не снились. А когда я рассталась с Вами, снились мне каждую ночь, словно нарочно. Вы меня обнимали, и я плакала во сне. Поэтому мои утренние пробуждения стали печальными. И мои утренние слезы ничуть не похожи на те вечерние, вызванные радостью.

Я все думаю... Если в том мире цвета и запахи служат пищей духовною, разве любовь не может быть для женщины родником ее сердца...

Я помню, как это было... Когда вы принадлежали мне, все было озарено светом моего любящего сердца. В этом свете даже воротничок для нижнего кимоно, который я покупала в универсальном магазине, даже окунь, которого я разделявала на кухне, казались какими-то особенными.

Но когда я потеряла Вас, мое сердце перестало быть любящим. И все сразу опустело. Умолкло щебетание птиц. Поблекли цветы. Заглохла тропинка, связывавшая меня со всем земным и небесным. Поверьте, потерять свое собственное любящее сердце гораздо горше, чем потерять любимого.

И стала я читать элегии о круговороте перевоплощения. Читала и постепенно, проникаясь красотой поэзии, находила себя и Вас среди птиц и зверей, среди трав и деревьев. И в один прекрасный миг вдруг почувствовала — мое любящее сердце

вновь со мной, вновь беззаботно устремляется ко всему, что есть прекрасного на свете.

Да. Я любила Вас. Очень, очень!..

Когда-то, когда я только еще Вас встретила и не успела признаться в моей любви, знаете, о чем я молилась? О том же, о чем молюсь и сейчас, обращаясь к набухающим бутонам алой сливы,— пусть моя душа, подобно свободной волне, подобно струе прозрачной воды, омоет Вашу душу и соединится с ней, где бы Вы ни были.

Помните? Когда я увидела призрак матери, Вы сразу почувствовали что-то. Я еще ничего не успела сказать, а Вы спросили — что-нибудь случилось с мамой? После такого родства душ, после такого полного единения я и думать не могла, что мы когда-либо расстанемся. И тогда я уехала на похороны.

А потом я написала Вам письмо. Первое после нашей разлуки. Я сидела за трюмо, которое осталось в отцовском доме, и писала:

«...Отец сломлен горем. Он простил нас, дал согласие на нашу свадьбу и в знак прощения подарил мне траурный наряд. Я немного осунулась и стараюсь выглядеть так, как положено выглядеть в горе, но все равно я очень красивая, правда, правда! Парадная черная одежда — ты никогда еще не видел меня такой нарядной — мне идет. И мне так захотелось, чтобы ты увидел меня вот такую, какая я сейчас в зеркале. Черный цвет — это, конечно, очень красиво, но для брачной церемонии не подходит. Я приласкаюсь к отцу, может быть, он подарит мне еще одно платье ярких, светлых тонов. Очень я по тебе скучаю, очень к тебе рвусь, но придется потерпеть до тридцати пяти дней, нехорошо будет, если сейчас, после смерти мамы, я опять уйду из дому, как тогда. Хочу загладить свою вину, а случай как раз удобный. Наверно, у тебя бывает Аяко. Попроси ее помочь тебе по хозяйству... Мой братишка от меня не отходит, подумай только, такой еще маленький, а все понимает и так мило пытается поддержать и защитить меня... Когда буду возвращаться, обязательно захвачу с собой мое трюмо...»

Ваше письмо пришло на следующий день к вечеру.

«...Ты, наверно, совсем замучилась от ночных бдений у гроба и других хлопот, побереги себя. Обо мне не беспокойся, Аяко помогает мне по дому, она такая заботливая... Я вспомнил про твое трюмо — ты рассказывала, что его тебе подарила подруга по миссионерской школе, французенка, перед отъездом на родину. Ты еще жалела, что оставила его в доме отца.

Как оно там? Наверно, в целости и сохранности, только белила в выдвижном ящичке высохли и превратились в камень... Я так и вижу тебя в зеркале — какая ты бледная и красивая в черном... И мне хочется поскорее одеть тебя в яркие свадебные одежды. Мы сошьем тебе великолепное платье, а впрочем, будет еще лучше, если ты приласкаешься к отцу и он сам подарит тебе наряд для брачной церемонии, по-моему, это доставит ему радость. Я думаю, он согласится на нашу свадьбу — ведь сейчас он сломлен горем и, наверно, стал мягче. Конечно, нехорошо пользоваться этим, но что же делать... Тацуэ, а как поживает твой братишка, которого ты когда-то спасла от смерти?..»

Ваше письмо не было ответом на мое письмо, мое письмо не было ответом на Ваше. Мы написали друг другу в одно и то же время, думая об одном и том же. И ни Вы, ни я не удивились — у нас всегда так получалось.

Просто это было одним из свидетельств нашей любви, нашей большой близости. Мы к этому привыкли с самого начала, с тех еще пор, когда не жили вместе.

Вы часто говорили — пока я с тобой, Тацуэ, мне не о чем беспокоиться, ничего со мной не случится. Вы повторили это и тогда, когда я рассказывала Вам историю спасения моего брата.

Наша семья снимала тогда дачу на морском побережье. Я стирала во дворе у колодца купальники и вдруг увидела... Грозовые раскаты, свинцовое небо, волны, разорванный парус и мой брат кричит и захлебывается в воде... Мне стало страшно. Ведь погода была великолепная, ничто не предвещало бури. Однако я поспешила в дом и позвала маму.

Мама побледнела и, схватив меня за руку, побежала на берег. Брат как раз собирался сесть в яхту.

Две мои подружки-гимназистки и студент первого курса Высшей школы решили в этот день отправиться на яхте в курортное местечко, находившееся от нас в двух ри. Студент правил яхтой. Девушки запаслись едой — бутербродами, дынями, даже мороженицу с собой взяли. Мой восьмилетний брат увязался было с ними. Но теперь мама его не пустила.

Погода была отличная, но на обратном пути задул сильный ветер, хлынул ливень, и яхта, пытаясь изменить курс, опрокинулась. К счастью, никто не утонул. Все трое уцепились за мачту и продержались до тех пор, пока не подоспел спасательный катер. Обе девушки плавали плохо, студент, единственный

мужчина, помогал им из последних сил, и я не знаю, что было бы, если б там оказался еще и ребенок.

Мама всегда верила в мой провидческий дар, потому и не пустила брата с ними.

Да, в детстве и ранней юности у меня действительно были какие-то удивительные способности. Помню, когда я прославилась игрой в карута, слух об этом дошел до директора начальной школы. Он изъявил желание взглянуть на чудо-ребенка, и мама повела меня к нему домой. Я еще не ходила в школу, едва умела считать до ста, не знала арабских цифр, но легко справлялась с умножением и делением, быстро решала задачи про журавля и черепаху. Я не считала в уме, а как-то по наитию называла цифру ответа. Точно так же, по наитию, я отвечала на простейшие вопросы по истории и географии.

Но мои чудодейственные способности проявлялись только в присутствии мамы. Если ее не было рядом, ничего не получалось.

Директор всячески выражал свой восторг, охал, ахал, хлопывал себя по коленям. А мама сказала — это, мол, еще пустяки, она не такое может. Если, например, в доме пропадает какая-нибудь вещь, девочка обязательно угадает, где она лежит.

Директор снова разахался, но уже с некоторой недоверчивостью.

— Но уж этого-то она, наверно, не угадает, — сказал он, открывая книгу. — Скажи, детка, какая страница?

Я бездумно назвала какую-то цифру, и, разумеется, ответ был правильный. Тогда директор прикрыл ладонью несколько строчек.

— А что здесь написано, не знаешь?..

— «...Бусинки хрусталия... цветы глициний... на цветы сливы падает снег... Хорошенький малыш ест клубнику...»

Как он поразился!

— Удивительно, невероятно! Ясновидящая, божественный ребенок! А как называется эта книга?

Я склонила голову, на минуту задумалась, потом сказала:

— «Макура-но-соси», а написала ее Сэй Сэнагон...

Там было написано чуть-чуть по другому: «...прелестный младенец, испачкавший губы клубникой...» и «...цветущая слива под хлопьями снега...», но директор, как сейчас помню, не мог прийти в себя от изумления. А мама так и сняла от гордости.

В те времена я знала наизусть таблицу умножения, а моей

любимой привычкой было предсказывать различные вещи: например, сколько щенков и какого пола принесет наша собака, кто придет к нам сегодня в гости, когда вернется отец с работы, как будет выглядеть наша будущая прислуга... Иногда я предсказывала и нечто более мрачное — день смерти кого-либо из больших знакомых. Как правило, все мои предсказания сбывались. Естественно, взрослые удивлялись и восхищались, а я, кажется, немножко гордилась своими способностями. Но я была ребенком и, как любой ребенок, больше всего на свете любила играть. Игра в предсказания стала для меня повседневным и самым увлекательным занятием.

Однако, чем старше я делалась, чем больше теряла детскую непосредственность, тем реже проявлялись мои способности ясновидения. Очевидно, какой-то ангел, живший в моем детском сердце, постепенно отлетал от меня.

Когда я стала взрослой девушкой, этот ангел являлся ко мне уже редко-редко, в какие-то отдельные мгновения, краткие и ослепительные, как молния.

А потом однажды ночью я почувствовала в моей ванной запахах духов, которыми вы обрызгали для Аяко супружеское ложе, и у моего ангела окончательно сломались крылья. Впрочем, об этом я уже говорила.

То письмо, самое удивительное из всех моих писем, письмо о снеге, — помните? — которое я написала совсем еще молодой девушкой, было настоящим чудом. Было... теперь оно для меня всего лишь милое сердцу воспоминание.

«...Какой сильный снег в Токио!.. У парадной двери вашего дома какой-то человек разгребает снег. А на него бешено лает собака, жемчужно-серая овчарка, прямо с ума сходит, натягивает цепь, и зеленая конура вот-вот опрокинется. Неужели она и на меня будет так лаять? Я ведь не смогу тогда войти в Ваш дом. Какая жалость! Остаться на улице после долгой и длинной дороги!.. Вдруг заплакал ребеночек, привязанный к спине человека, убирающего снег. Испугался, бедненький! Вы вышли из дома и начали успокаивать ребенка. Успокаиваете, а сами думаете — у такого жалкого, хилого старика такой крепкий и здоровый малыш, вот чудеса-то! А старик и не старик вовсе, просто он очень плохо выглядит из-за бесконечных лишений, из-за тяжелой жизни. Снег сначала убирала Ваша прислуга. И вдруг подошел этот человек с ребенком за спиной. Он низко кланялся и просил дать ему эту работу. «Разрешите помочь, окажите милость... Конечно, никому не охота давать

работу такой развалине, как я, да еще с ребенком, но что же мне делать?.. Ребенок с утра некормленный, без молока, совсем помирает с голоду, не гоните меня...» Прислуга пошла к Вам, в гостиную. Вы слушали пластинку Шопена. Гостиная Ваша такая светлая, с белоснежными стенами, а на стенах, друг против друга, висят две картины — пейзаж маслом Харуэ Кога и гравюра Хиросигэ, изображающая снег. А еще на стенах индийские гобелены с птицами. Кресла в белых чехлах, а под чехлами зеленая кожаная обивка. На камине, тоже белом, часы, причудливые статуэтки каких-то животных, похожих на кенгуру. На столе лежит альбом, раскрытый на странице с фотографией Айседоры Дункан, танцующей греческий танец. На декоративной полочке в углу комнаты стоит увядшая гвоздика. Она стоит с рождества, а сейчас уже прошел Новый год, но вы ее не выбрасываете — наверное, это подарок какой-нибудь прекрасной дамы. А занавески на окнах... Ой, какая я смешная! Никак не могу сдержать свою фантазию! Ведь я никогда не видела ни Вашего дома, ни Вашей гостиной...»

А на следующий день я просмотрела газету, и оказалось, вчера в Токио никакого снега и в помине не было. Воскресенье выдалось на редкость теплое и ясное. Ну и смешно же мне стало!

Честно говоря, я никогда раньше не задумывалась, как выглядит Ваша гостиная. Я не думала о ней и не видела ее во сне.

А когда села писать Вам письмо, слова про дом и про гостиную начали приходить сами собой, словно из воздуха, и ложиться на бумагу.

И вот я ушла из родного дома, ушла к Вам и отправилась в Токио. И пока я ехала в поезде, в Токио выпал большой снег.

Но я и думать забыла о своем письме про снег, не вспоминала о нем до тех пор, пока не переступила порога Вашей гостиной.

Я окинула взглядом эту комнату и бросилась в Ваши объятия — ничего другого мне не оставалось делать. А ведь до этого даже наши руки ни разу не встречались в трепетном пожатии.

— Вы любите меня! Да, да, любите... любите... очень! Тацуэ-сан, я перенес собачью конуру на задний двор, как только прочтал Ваше письмо...

— И обставили гостиную, повинуясь моей фантазии?..

— Тацуэ, милая, не смейтесь надо мной! Гостиная так об-

ставлена давным-давно. После вашего письма я ни к чему не прикасался...

— Нет, правда? Неужели правда?..

И я снова и снова оглядывала комнату, не переставая удивляться.

— Вы-то чему удивляетесь, Тацуэ-сан?.. Я — другое дело. Я был просто потрясен, получив ваше письмо. И сразу подумал: значит, она меня любит! Любит, иначе откуда бы ей знать?.. Если ваша душа не раз витала в этой комнате, как же я мог допустить, чтобы вас, живой, во плоти, здесь не было?! И я вдруг стал уверенным и смелым и написал вам, чтобы вы приехали. Приехали во что бы то ни стало! Даже если вам придется навсегда оставить родной дом. Это была судьба. Ведь вы говорили, что видели меня во сне еще до того, как мы встретились...

Да, мое сердце и Ваше сердце бились в едином ритме.

И это было одним из свидетельств нашей любви.

А на следующее утро пришел старособразный, изможденный человек и стал расчищать снег у Вашего дома...

Я каждый день ходила встречать Вас. Вы занимались в университетской лаборатории и никогда не знали заранее, в какое время вернетесь. Да и к дому от станции электрички вели две дороги — одна через оживленную торговую улицу, другая вдоль чахлого лесочка. Но я всегда встречала Вас на полпути.

Где бы я ни находилась, что бы ни делала, я всегда шла к Вам без зова, если была Вам нужна.

А наши ужины? Порой за работой в университете Вы мечтали о каком-нибудь кушанье. И вы находили его по возвращении домой.

Может быть, у нас было слишком много доказательств любви?.. Настолько много, что в перспективе ничего и не оставалось, кроме разлуки...

Однажды вечером у нас в гостях была Аяко. Она уже собиралась уходить, но я попросила ее задержаться ненадолго — почему-то мне стало тревожно. Она осталась, и вдруг у нее пошла кровь из носу, да так сильно! Если бы это случилось на улице, бедняжке пришлось бы трудно.

Почему я так поступила? Неужели уже тогда чувствовала, что Аяко Вам не безразлична?..

Но почему я не знала заранее о Вашей свадьбе?.. Почему не почувствовала, что Вы скоро умрете?.. Ведь наша любовь была такой всеобъемлющей! И я предугадала ее, нашу любовь...

Почему Ваша душа не пришла ко мне и не сказала о смерти?

...Зеленая ветка на фоне голубого моря, пряный запах пышно расцветшего олеандра, светлый, некрашенный деревянный дорожный указатель, легкая дымка над рощей... Мне приснился сон... Я иду по тропинке через эту рощу и встречаю юношу в кожаных перчатках, в костюме, как у пилота. У юноши густые брови, левый уголок губ чуть поднимается, когда он смеется. Мы идем рядом, и моя грудь ширится, ширится, ширится — от внезапно нахлынувшей любви.

Я проснулась и больше не могла уснуть в ту ночь. А потом я долго помнила этот сон и думала, что, может быть, выйду замуж за летчика. И даже название парохода, прошедшего в том сне недалеко от берега, запомнила — «Дай-го Мидори-мару»...

Прошло два или три года. И вот как-то дядя привез меня на курорт с горячими источниками. Мы только что приехали, было раннее утро, я пошла прогуляться. Тот самый пейзаж — роща, море, тропинка. И Вы шли по тропинке...

Увидев меня, Вы облегченно вздохнули и направились прямо ко мне, словно мой взгляд притянул Вас.

— Вы не скажете, как отсюда добраться до города?

Я покраснела до корней волос и почему-то посмотрела на море. Знаете, что я там увидела? Вдоль берега шел пароход, и на его борту отчетливо выделялась надпись: «Дай-го Мидори-мару!»

Я молча шла впереди, и все во мне дрожало, каждая клеточка. А вы шли за мной.

— Вы в город возвращаетесь?.. Не знаете случайно, где здесь авторемонтная станция или хотя бы какая-нибудь велосипедная мастерская?.. Вы уж простите, что я так бесцеремонно с вами заговорил. Но, понимаете, со мной случилась дурацкая история. Я путешествую... на мотоцикле... Ехал и вдруг за поворотом телега. Лошадь испугалась шума мотора, шархнула в сторону, я резко свернул в другую сторону и врезался в скалу. Мотоциклу здорово досталось...

Мы прошли совсем немного, не больше двух тѐ, и уже болтали, как давнишние знакомые.

Я сказала:

— У меня такое чувство, будто я уже раньше где-то с вами встречалась...

Вы ответили:

— Да... Я тоже думаю — как это я до сих пор с вами не встретился... То есть... ну, то же самое, что у вас — будто мы уже виделись однажды, а по-настоящему встретились лишь сейчас...

Так мы и шли. И если Вы оказывались немного впереди, я мысленно окликала Вас, и Вы сейчас же оборачивались.

И то же самое повторялось много, много раз в курортном городке у горячих источников: стоило мне увидеть Вас, даже издали, в спину, и Вы немедленно оборачивались.

И мы много гуляли вместе. И где бы мы ни проходили, мне казалось — уже не в первый раз.

И что бы мы ни делали, я думала — это уже было когда-то...

А потом нить, протянутая от сердца к сердцу, порвалась. Да, да, это так! Вы замечали, как резонирует камертон, если на скрипке берут какую-нибудь ноту? Такой же резонанс Ваша душа вызывала в моей... Так почему же ничто не откликнулось во мне, когда Вы умерли?.. Может быть, произошла авария на приемной станции моей или Вашей души?..

Или я сама сломала свою приемную станцию?.. Сознательно, чтобы не нарушать покоя Вашего и Вашей жены... Наверно, мне стало страшно — очень уж велика была во мне эта душевная сила, способная проникать в пространство и время...

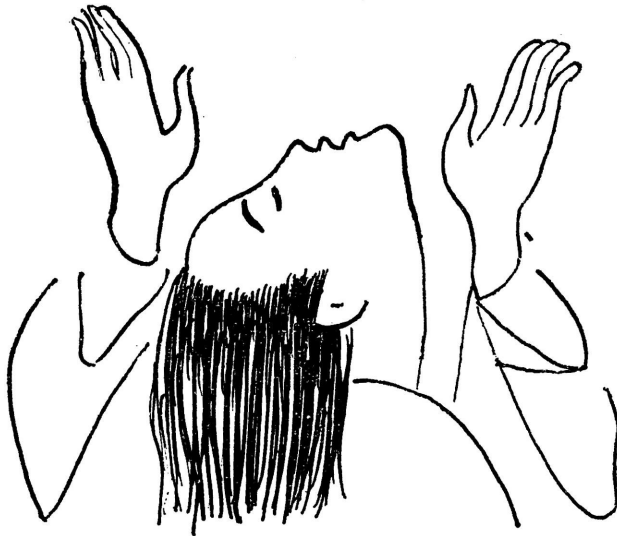
Говорят, у тех, кто со всей реальностью и остротой представлял себе крестные муки Христа, начиная с Франциска Ассизского и кончая юными, глубоко религиозными девушками, на теле проступала кровь, словно их самих кололи копьём... Говорят, некоторые души, будь то души живых или усопших, силой своего проклятия могут убить человека... Когда я узнала о Вашей смерти, я все сжалась и еще больше, чем раньше, захотела превратиться в цветок.

Страстное воинство душ потустороннего мира и мира земного постоянно бьется, пытается уничтожить границы между двумя этими мирами, пытается перекинуть мост между жизнью и смертью и избавить живущих от горечи смертной разлуки. Во всяком случае, так утверждают спириты.

Может быть.

Но теперь, в эти дни, я бы хотела, чтобы мы с Вами превратились в алые цветы сливы или душистого олеандра и чтобы бабочки, переноса пыльцу с цветка на цветок, сыграли нашу свадьбу.

Тогда не пришлось бы мне — как я это делаю сейчас, следуя горькому людскому обычаю, — разговаривать с умершим.



ПЕСНЬ ОБ ИТАЛИИ

Человек был охвачен пламенем весь. Он отчаянно кричал, подпрыгивал и неистово размахивал руками. Будто бабочка крыльями, попавшая в огонь...

А сперва раздался оглушительный взрыв, и из лаборатории в коридор метнулся живой факел...

Сбежавшиеся люди были поражены не столько тем, что человек горит, сколько его невероятно высокими прыжками. Слышалось потрескивание, сыпались искры, словно жгли саранчу. Объятая огнем жизнь все же пыталась вырваться из него.

Профессор Торин в свое время был хорошим прыгуном, ему доводилось даже участвовать в олимпийских играх. Поэтому иногда на его счет острили: высоко, мол, летает. Но сейчас было не до шуток. От прыжков профессора содрогалось сердце, и его протяжные крики не походили на человеческие. Скорее они напоминали вой дикого зверя, тело которого рвали на части.

Белый халат на профессоре превратился в черные тлеющие лохмотья, догорала рубашка, черными хлопьями падая на пол.

Огонь опалил все лицо, на котором лихорадочно блестели искаженные болью глаза. Казалось, вот-вот они выскочат из орбит.

На профессора вылился спирт, и сейчас человек действительно пылал, точно факел.

Из лаборатории густыми клубами валил дым. Языки пламени, лизавшие пол комнаты, потянулись в коридор. В комнате с треском лопались бутылки с химикалиями.

Кто-то, прибежавший на помощь, сбросил с себя пиджак и, развернув его, как это делает матадор со своим полотнищем, накинул его на профессора. Этому примеру последовало еще несколько человек. Профессора уложили на пол.

Со всех сторон раздавались крики:

— Пожар! Пожар!

— Тащите огнетушитель! Давайте пожарный рукав!

— Быстрее выносите бумаги!

— Дайте сигнал тревоги!

— Врача! Любого! Ближайшего!

— Позвоните в управление пожарной охраны!

— Ай, а где Сакико?! Что с Сакико?!

— Черт возьми, мы совсем забыли про Сакико! — С этим восклицанием один из мужчин бросился в горящую лабораторию, а оттуда, словно пущенный из пращи камень, выскочила крыса. Ей, по-видимому, удалось вырваться из клетки, где помещались подопытные животные.

Сакико в застывшей позе стояла спиной к окну. Она, казалось, готова была сгореть. На ее плечи падали проникавшие через окно яркие лучи утреннего солнца. За окном чистотой и свежестью сверкала зеленая листва, словно только что омытая коротким ливнем.

У Сакико загорелся подол юбки, и огонь вился уже выше. Девушка стояла неподвижно, точно окаменевшая, и пламя делало свое дело спокойно и методично. Огонь перекинулся уже на блузку.

— Глупая! — закричал бросившийся к ней сквозь дым мужчина и мигом сдернул с нее юбку. Не без усилий оборвал он затем подол ее тлевшей белой сорочки.

Сакико, будто очнувшись от забытья, быстро присела на корточки и сделала движение, чтобы руками закрыть ноги¹, но тут же потеряла сознание.

¹ В описываемое время носили длинные юбки и считалось неприличным, если у женщины из-под платья выглядывали чулки.

Подхватив Сакико под мышки, мужчина вытащил ее из лаборатории в коридор.

Обоих пострадавших сразу же на машине отвезли в больницу.

У профессора Тории было обожжено почти две трети кожного покрова; в этих случаях человек считается обреченным, однако профессор сам, без посторонней помощи, быстрой походкой направился по больничному коридору в палату. Когда на встречу ему вышел извещенный по телефону врач, старый его друг, он громко и четко, как привык говорить перед аудиторией, сказал:

— Спасибо, что пришел. Случился пожар. Загорелась лаборатория. Я, кажется, здорово поджарился.

Шел профессор бодро, но вид у него был ужасный: брови и ресницы опалены, лицо багровое, оно все вздулось, покрылось пузырями, превратилось в страшную маску.

Как только его уложили на койку, он стал жаловаться на нестерпимую боль. Но это длилось недолго, вскоре он начал бредить. Он уже не жаловался, а только громко стонал и перекатывался по постели. Все его тело к этому времени было забинтовано — перевито, точно тело мумии. Его всего намазали густым слоем какой-то мази, но это было скорее бальзамирование, чем лечение. Врачи сами не питали никаких иллюзий в отношении этой мази. То же самое было и с переливанием крови. К нему прибегли лишь для успокоения совести. Из соседнего полка пригласили десять молодых солдат, проверили группу крови и сделали переливание, но врачи прекрасно понимали, что и это не поможет.

Через некоторое время вслед за начальником кожного отделения для осмотра пострадавшего пришел начальник терапевтического отделения. Но больной был весь перебинтован, метался по постели в бреду, и терапевт не только не сумел как следует его прослушать, но даже нащупать пульс.

А если бы он и сумел это сделать, что бы это дало? Проведя у постели больного не более двух минут, терапевт бросил на него равнодушный взгляд и молча вышел из палаты. С точки зрения науки смерть профессора Тории была предрешена.

Палата Сакико находилась недалеко от палаты профессора, и она, безусловно, слышала его стоны.

Приятели, прибежавшие ее навестить, в один голос говорили:

— Это, конечно, ужасно, но зато лицо у тебя несколько не пострадало, а это — главное.

Сакико зарывалась лицом в подушку и судорожно плакала.

Ее правая нога была плотно забинтована до самого паха. Ей казалось, что она у нее неживая, что у нее протез, но вместе с тем ногу немилосердно жгло, и девушка испытывала мучительную боль. Неужели она может лишиться ноги? Впервые она подумала о замужестве. Мысль эта иглой пронзила мозг, и ее охватила какая-то физически ощутимая тоска.

С той минуты, как на ней загорелась одежда, она и физически и духовно сделалась как-то старше, и в то же время в ней проявилась какая-то детскость. Между этими двумя ощущениями не было согласия, и они противоборствовали в ней. Видимо, это и служило причиной ее истерического состояния.

После потрясения и возбуждения она вдруг испытала физически приятное, радостное ощущение бытия. Словно ослепительная радуга вдруг осветила ее унылый и пустынный мир, однако в этом ощущении не было душевной просветленности. Боль от ожогов — вот что стало для нее сейчас моралью.

О здоровье профессора Торин она не так уж беспокоилась. Тревога за него не задевала ее глубоко. Ее теперь занимала собственная жизнь.

Сакико этой весной окончила вокальное отделение музыкального училища, но неожиданно стала ассистенткой ученого, военного медика. Вещь, казалось бы, невероятная, однако в наши дни подобного рода метаморфозы, особенно среди женщин, явление не столь уж редкое.

Нечто похожее произошло и с профессором Торин. Увлекаясь спортом, он не забрасывал учения, как это делают иногда другие. Возможно, главную роль при этом играло то обстоятельство, что он был студентом не частного, а государственного учебного заведения. Во всяком случае, его усердие к наукам объяснялось отнюдь не тем, что у него была уж очень светлая голова. В области спорта он тоже ни одного нового рекорда не поставил.

Трудно сказать, что именно — то ли его покладистый характер, то ли красивая внешность — помогло ему в один прекрасный день сделаться всеобщим любимцем. Незаметно он выдвинулся в спортивные администраторы. Личного участия в сорев-

нованиях он больше не принимал, но зато завоевал популярность как организатор и руководитель. Мысль о том, что научная система спортивных тренировок должна опираться прежде всего на спортивную медицину, была отнюдь не его открытием, но ему часто казалось, что это он сумел додуматься до столь оригинальной мысли. На самом деле единственная его заслуга состояла в том, что он сумел сразу до самозабвения увлечься этим предметом. Его увлекла статистика, которую серьезные ученые считали чем-то вроде игры в бирюльки. Но спорту его статистика действительно кое-какую пользу приносила.

Таким образом, он стал своего рода «звездой». Ведущие газеты в отделах спорта публиковали его беседы.

Спорт и война требуют высшего напряжения физических и душевных сил. В этом отношении у них есть что-то общее. К тому же с тех пор, как в условиях чрезвычайного времени в стране начали усиливаться военные настроения, наряду с исследованиями в области оружия и ядовитых газов развитие получила и та область науки, которую можно назвать военной медициной. Стали появляться и специалисты в этой области. Резко возросло число военных врачей, прикомандированных для исследовательской работы к кафедрам медицинских факультетов. В свою очередь гражданские высшие медицинские учебные заведения стали посылать своих ученых для осуществления контактов в армию.

У профессора Торин не было намерения следовать этой моде, но как-то само собой получилось, что в один прекрасный день он стал одним из молодых специалистов в области военной медицины. Оглядываясь на пройденный путь, Торин должен был бы разинуть рот от изумления, но он не был рефлектирующей натурой и без долгих размышлений целиком отдался решению насущных задач времени.

Он принадлежал к числу тех сомнительных спортсменов, которые ради прыжка на сантиметр выше готовы сократить себе жизнь, лишь бы произвести сенсацию.

Получить степень доктора наук и профессорское звание в области спортивной медицины было не так-то легко. Зато в области военной медицины ученые звания и степени присваивались с необычайной легкостью.

С диссертацией Торин ознакомился лишь один профессор — председатель ученого совета. Он доложил, что содержание диссертации составляет военную тайну и потому не может быть опубликовано, но работа представляет собой исследование, вно-

сящее огромный вклад в разработку проблемы ведения воздушной войны и, следовательно, весьма ценное для государства. Совет профессоров молча проголосовал за присуждение Тории докторской степени.

Диссертация Тории касалась проблемы физиологических и неврологических особенностей поведения человека в воздушном бою.

Сажая в своеобразные макеты самолетов подопытных мышей и кроликов, он заставлял эти макеты без конца делать мертвые петли. Он и сам, разумеется, ездил на аэродром и совершал полеты на истребителе. Похлопывая по плечу офицера военно-воздушных сил, который был старше его годами, он с генеральским самодовольством говорил:

— Мы, брат, с тобой — те же мыши...

Приближались ежегодные учения по противовоздушной обороне, и военному командованию хотелось, чтобы Тории к этому времени в основном закончил свои исследования. И молодой профессор почти напролет работал в лаборатории, находившейся в одном из засекреченных мест.

После учений ему была обещана заграничная командировка. Он собирался в Европу изучить проблему физиологических условий пребывания солдат в траншеях во время первой мировой войны.

Лихорадочная ночная работа сделала профессора небрежным, он перестал соблюдать необходимые правила безопасности.

В то утро Сакико пришла в лабораторию раньше, чем обычно. Собираясь приготовить чай, она зажгла газовую плитку, чтобы вскипятить воду. А профессор в это время рядом с плиткой стал переливать спирт из бидона в стеклянную бутылку. Внезапно спирт воспламенился, и бидон взорвался...

В разгар лета больницы наполняются детьми. Родители стремятся за время каникул подлечить детей, страдающих хроническими болезнями. Преобладают дети, которым удаляют гланды, и золотушные дети. При этом, как ни странно, преобладают девочки.

С тонкими, правильными чертами лица, характерными для современного типа японцев, серьезные, одинаково худенькие, они парами гуляют по больничному коридору.

Эти хилые цветки, казалось, излучают какой-то особый свет, придавая атмосфере больницы своеобразную окраску. Что-то болезненно пряное исходило от этих подростков и наполняло

воздух вокруг. Они сразу находили общий язык и замыкались в своем кружке маленьких городских барышень.

Операция по удалению миндалин была легкой, но для наружного охлаждения послеоперационных ранок на горло накладывали пузырь со льдом. Поигрывая ослабшими марлевыми повязками с пузырями, точно знатные дамы ожерельями, они говорили друг другу: «Шик-то какой, а?», вызывая улыбки взрослых.

У этих городских детей, по-видимому, в моде были пижамы. Носить простые грубые халаты они стесняются; у кого нет пижам, те чувствуют себя бедными и жалкими. Поэтому на второй или третий день пребывания в больнице они все уже щеголяют в пижамах.

Выстроенные попарно, они в определенный час направляются в столовую, чтобы поесть мороженого.

В больнице уже три месяца находился некий лесоторговец-оптовик, у которого раковая опухоль так изъела щеку, что обнажились кости лица. В соседней большой палате, оборудованной по-японски, помещались четыре золотушные девочки, которым удалили гланды. Поскольку отделение болезней уха, горла и носа было переполнено, пришлось временно поместить их здесь.

Лесоторговца ежедневно осаждала целая толпа родственников. Шла борьба за наследство. Больной был бездетным, и родственники домогались, чтобы он оставил наследство не жене, а племяннику, выделив соответствующую долю своим братьям. Поэтому они каждый день приходили сюда и на все лады носили жену больного, не останавливаясь и перед клеветой. Они исчерпали все средства, уговаривая больного составить письменное завещание в их пользу.

Но больной совсем еще не считал себя умирающим.

И все же жене в свою очередь ничего не оставалось, как добиваться, чтобы муж оставил письменное завещание в ее пользу. Разумеется, прямо она ему об этом не говорила.

Лесоторговец, подстрекаемый коварными наветами родичей, пабрасывался на жену с грубой бранью, но тут же начинал жаловаться на одиночество и нежно сжимал ее руки. Однако это были лишь минутные порывы, после которых он снова погружался в угрюмое молчание.

Рядом находилась комната для сиделок, и каждую ночь из-за стены до них доносилось рыдание жены лесоторговца.

В дневные часы, когда сидеть в палате ей становилось не-

вмоготу, она прохаживалась по коридору, заглядывала в умывальную, в помещение для стирки и там вступала в разговор с сиделками, приглашенными со стороны родственниками больных.

Чуть склонив голову набок, эта благородного вида пятидесятилетняя дама беззлбно смеялась:

— Первое время я ездила в больницу трамваем, думала хоть немного сэкономить. Но все зря. Раз уж мне все равно ничего не достанется, не к чему мне теперь беречь чужие деньги. Нет, больше я уж в трамвай ни за что не сяду! Двадцать лет я боялась лишний грош истратить, все экономила и экономила, а останусь, кажется, на бобах. Ну не смешно ли?..

В молодости она, видимо, была красавица. Но сейчас она уже не могла надеяться на свою красоту, и от этого ей было бесконечно грустно, и вместе с тем она гордилась своей былой прелестью, и все это проявлялось даже в легкости и изяществе ее манер и вызывало у сиделок еще больше к ней сочувствия.

— Но, мадам,— говорили они,— уж какую-нибудь сумму, чтобы безбедно прожить, муж-то вам, наверное, оставит?

— Да нет, вряд ли,— отгоняя от себя назойливого комара, отвечала жена лесоторговца. Разглядывая верхушки тополей, темневшие за окном на фоне вечернего неба, она в который уже раз прикидывала в уме, сумеет ли прожить на проценты со своих тайных сбережений.

— Я уже здесь целых три месяца,— сказала она потом.— Постоишь вот так все время за стиркой, так ноги отваливаются.

— Ваша правда, мадам,— отвечали сиделки.— Многие из нас больше месяца не выдерживают, норовят сбежать отсюда... А вы, мадам, прямо-таки на глазах таете...

— Я, кажется, раньше мужа умру.

— Что вы, мадам, к чему такие мысли! Напрасно это вы...

— Вы так думаете? — Жена лесоторговца чуть улыбнулась.— Может, вы и правы...— Под глазами у нее были зелено-ватые-черные круги, словно она и сама страдала неизлечимым недугом.

— Вы знаете,— продолжала она.— Сейчас в больнице много детей. И вот родители двоих ребят, люди богатые, предлагают взять их за плату на воспитание. Предлагают совершенно серьезно. Это, разумеется, между нами...

— Неужто правда?

Сиделки, выжимая выстиранное белье, удивленно подняли

на нее глаза: в самом деле существует такая выгодная работа или их просто разыгрывают?

Появление в больнице профессора Торри внесло в здешнюю однообразную жизнь еще большее оживление, чем наплыв золотушных городских девочек.

Достаточно было его стонов, не прекращавшихся ни днем ни ночью, чтобы больные заинтересовались пострадавшим. Кроме того, возле его палаты все время толпились посетители — то военные, то спортсмены. Иногда их было так много, что они загораживали весь коридор.

Стояла невыносимая жара, окна и двери палат были распахнуты настежь, и сиделки, слыша имена известных спортсменов, проходивших по коридору, только ахали от изумления, а девочки стайками ходили за щеголеватыми офицерами.

Профессор больше не приходил в сознание, он был все время в бреду и только стонал или отрывисто, голосом, похожим на карканье, произносил какие-то непонятные слова. Его тошнило, мучил кровавый понос. Он уже впал в коматозное состояние, дыхание становилось все тяжелее, смерть уже стояла рядом.

С точки зрения больных, он уже не представлял для них интереса. Теперь их любопытство, естественно, сосредоточилось на Сакико, которой суждено было выжить.

Профессору было тридцать пять лет, однако он еще не был женат. И обитателям больницы прежде всего хотелось разузнать, была ли красивая ассистентка его невестой или любовницей.

Желая разведать, опечалена ли Сакико судьбой профессора, все украдкой заглядывали в ее палату. Разумеется, прелестной девушке сочувствовали, ведь она едва не погибла во время пожара и поступила в больницу с сильно обожженными рукой и ногой. Но в то же время их чрезвычайно интересовали ее отношения с молодым профессором, и они пытались их определить по ее настроению. Но уже на второй день Сакико пришли навестить четверо или пятеро девушек, ее приятельниц, которые завесили дверь и окно, выходящее в коридор, шторами из великолепной ткани с цветочным узором.

Затем кто-то пустил слух, что больная беззаботно распевает песенки.

В палате напротив уже сорок дней лежал старик, страдавший мочекаменной болезнью. Это был хозяин знаменитой гончарной мастерской, которая исстари славилась своими изделиями.

ми. Шесть лет назад его начала мучить гипертрофия предстательной железы, и за это время у него в мочевом пузыре образовались камни. Теперь это был уже не один и не два камешка, ими был забит почти весь мочевой пузырь. Операция не могла тут помочь, а надежды на консервативное лечение, по видимому, тоже не было.

Престарелая жена гончара, имевшая многолетний опыт ухода за больным мужем, придирчиво следила за тем, как молодой ночной врач вводит катетер, и то и дело отсылала его назад с разного рода металлическими и резиновыми катетерами: на счет того, какой именно следует сейчас применить, он должен был советоваться с ней.

Старик целыми днями дремал, а после полуночи начинал жаловаться на боль.

— Послушай, дед,— говорила старуха,— чем так мучиться, не лучше ли умереть?

— Пожалуй,— отвечал старик.

— Нет, умирать все-таки не стоит,— говорила старуха.— Жить лучше.

— Пожалуй,— отвечал старик.

Слушая разговор престарелых супругов, небрежно обмахивающихся веерами, сиделка с трудом удерживалась от смеха.

Старику было уже семьдесят два года, старухе — шестьдесят восемь.

— Послушай, дед,— продолжала старуха.— Знаешь, что с теми молодыми людьми, которых сегодня привезли сюда?

— Что?

— Мужчина очень мучается, он уже при смерти, а она себе песенки поет. И голос какой хороший!

Старик клевал носом и не отвечал.

На подоконнике, озаренном летним полуденным солнцем, ожесточенно хлопая крыльями, ворковали голуби.

— А с чего это дети вдруг стали так важничать? Шагают по коридорам, точно лавины какие.

— Хм...

— Да не спи ты, дед! Ведь выспишься, а ночью опять начнешь хныкать.

— Да я не сплю, просто свет глаза слепит.

— Ты бы хотел дома умереть, не правда ли?

— Да.

— А вот сын наш говорит, что сначала заставит как следует поработать здешних врачей и, пока ему в больнице не

скажут, что ничего больше сделать нельзя, он нас назад и на порог не пустит. Черствый он, наш сынок. Не знаю, как ты, дед, но я так думаю: ты слишком много работал и многовато денег ему отписал, он этого не заслуживает...

— Ладно, дай подумать, — ответил старик, снова закрывая глаза.

— Сегодня в обед я ходила в здешнюю амбулаторию и просто обалдела! Глаза бы мои не глядели! Из женской консультации одна за другой выходили одни молоденькие девчонки, ну совсем еще дети, и все уж с животами! И хоть бы одна застеснялась! Куда там! Видно, времена теперь другие, а?

Вместо ответа послышалось легкое похрапывание.

Старуха поднялась, подошла к окну и стала бросать крошки хлеба голубям, гулявшим по двору.

На другой день утром лесоторговец, вопреки обыкновению, сидел, скрестив ноги на койке, холодно и сердито смотрел на своего приказчика и служащих, которые с побледневшими лицами в почтительной позе застыли перед ним, сидя на стульях, и с видом сумасшедшего выдергивал у себя на голени волосы.

Дело в том, что прошлой ночью у него сгорел склад лесоматериалов.

— Черт бы их подрал! — проговорил он дрожащими губами, над которыми повязка закрывала почти всю верхнюю часть лица. — Это была дурная примета, что сюда приволокли этих обгоревших типов. Вот на складе и случился пожар. Но сегодня ночью один из них, кажется, очокурится!

Борьба за наследство вызвала подозрение на поджог, и поэтому в полиции допросили жену лесоторговца и его родственников.

Служащие испуганно переглянулись, и в это время послышалось вдруг пение Сакико. Она пела тихо, но голос был живой, теплый, и в нем звучала неподдельная радость жизни.

Санитарка разносила по палатам куски темной ткани для маскировки света. Больничный слуга ходил с высокой стремянкой и обертывал тканью лампочки в коридоре.

Еще днем начали раздаваться взрывы и стрельба, выли сирены.

Был день учений по противовоздушной обороне.

Помимо того что нужно было замаскировать лампочки, их еще следовало опустить чуть не до самого пола, так что в палатах стало почти совсем темно.

С внутреннего двора доносился голос, отдававший какие-то распоряжения по светомаскировке.

Вскоре в ночном безлунном небе загудели самолеты. Летали те самые летчики, физическая подготовка которых была темой исследований профессора Тории. Как раз в этой области он и работал.

В темном коридоре больницы неподвижно стояли в ряд черные фигуры, похожие на посланцев смерти. В палате профессора отчетливо белела лишь его резко вздымавшаяся забинтованная грудь. Он тяжело дышал, из горла у него вырывались клокочущие хрипы, похожие на жуткий клекот какой-то диковинной птицы.

Врач вытащил карманный фонарик в виде авторучки, и, осветив лицо больного, заглянул ему в глаза. Профессор силился повернуться с правого бока на левый и судорожно двигал руками в пустоте, словно пытаясь разорвать окружающий его густой мрак.

— Зажгите лампочку, — послышался тихий голос человека, сидевшего у изголовья больного. — Дайте свет, пусть он умрет при свете.

— Слушаюсь, ваше превосходительство! Но можно ли?

— Ответственность я беру на себя.

— Слушаюсь!

Младший офицер снял с лампочки маскировочную ткань, и в ту самую минуту, когда палату снова залил яркий свет, профессор Тории откинулся назад и испустил дух.

Генерал в штатском — в японской национальной одежде — невозмутимо поднялся со стула и снова накиннул на лампочку черную ткань.

Вскоре труп профессора бесшумно понесли по затемненному коридору.

Весь Токио был погружен в темноту.

Маленькие золотушные «знатные дамы» уже спали.

Только жена гончара беседовала с мужем:

— Тебе, дед, наверняка хочется домой, правда? Разве это дело — помереть здесь и вернуться домой мертвым?

— Не дело.

— Этот профессор всем тут надоел. А теперь ты будешь больше всех стонать да охать.

— Молодой он был?

— Да. И какую красивую девушку оставил!

— И дети у них есть?

— Что ты! Она ведь не жена ему, а любовница.

— Вон что...

Лесоторговец молча проводил труп глазами.

— Однако похороны ему, наверно, устроят торжественные, пышные,— сказала его жена, но лесоторговец ничего не ответил.

Сакико, опираясь на плечо сиделки, доковыляла до порога. Когда носилки с трупом профессора поравнялись с ней, она вскрикнула:

— Сэнсэй!

Сиделка знаком остановила носилки.

Сакико чуть протянула руку вперед, как бы прощаясь с покойным, и тут же сказала санитарам:

— Спасибо, можете идти.

Затем она припала щекой к плечу сиделки и попросила:

— А теперь помогите мне добраться до постели.— Немного погодя она сказала: — Я превратилась в изнеженное дитя, а ведь я уже могу ходить...

Ей вспомнился разговор с профессором. Он говорил, что его должны послать в заграничную командировку и что она тоже поедет с ним, будет там дальше учиться пению. И там, на чужбине, они непременно поженятся.

Она вспомнила про это и вдруг почему-то запела «Песнь об Италии».

Она пела, а по лицу ручьями лились слезы, и, чем сильнее они лились, тем чище, светлее и звонче становился ее голос.



ПРИРОДА

Я хочу рассказать историю из жизни одного бродячего актера, которую я услышал от него в гостинице на водах. Рассказ мой, возможно, покажется немного романтичным, но и сама жизнь этого актера, пожалуй, больше похожа на старинную легенду, чем на быль.

В июне этого года по пути в Ямагата я решил заехать на горячие источники. Мне захотелось это сделать потому, что когда-то на этом курорте, находящемся на морском побережье в префектуре Ямагата, часто отдыхал мой покойный друг. Мое возвращение в Токио, таким образом, на день задерживалось, но все же это было по пути.

Мой друг часто рассказывал мне о красоте здешних дюн и солнечных закатов. Когда моя автомашина выехала из сосновой рощи на взморье, я и в самом деле увидел цепочку дюн. И почва в роще, через которую я только что проехал, и окрестные поля были песчаные. Мягкая волнистая поверхность давала основание думать, что здесь некогда тоже были дюны. Видимо, и побережье, и почву в роще, и поле занесло песками.

Поднявшись на второй этаж гостиницы, я тут же вышел в коридор и стал смотреть на море. Солнце еще не зашло, но красоты дюн, лежавших передо мною, я не почувствовал. Пейзаж показался мне довольно унылым. Кругом рос ослинник, но он еще не цвел. Кроме него, рос еще, кажется, хамаю¹ или как он там называется, но цветов на нем тоже не было.

Вероятно, дюны выглядят красивыми в определенное время года, в определенный час и при определенном освещении. Иногда, наверное, сам цвет песка делает это зрелище прекрасным, а окраска песка в свою очередь хоть и в малой степени, но зависит и от цвета неба, и от цвета моря.

Мой друг, подолгу отдыхавший в этих местах, по-видимому, наблюдал природу в те часы, когда и дюны и вечерние зори здесь действительно восхитительны. Размышляя об этом и рассеянно глядя на море, я обратил внимание на необычную темноту горизонта. Зрелище это было совсем иное, чем то, которое я привык наблюдать на взморье западнее или южнее Токио. Я еще ни разу нигде не видел такого темного горизонта, как в этом северо-восточном уголке. Судя по листве на деревьях, лето здесь как бы запаздывало на месяц по сравнению с токийскими широтами. Но все-таки был июнь, и курортники щеголяли в летних кимоно. Да и море вряд ли можно было назвать зимним. Просто таким, вероятно, и должно быть северное море.

Мрачным был не только горизонт, но и цвет моря. Продолжая разглядывать море из своего номера, я снова вспомнил, что здесь часто бывал мой друг, и мне стало грустно. Быть может, он говорил о прелести здешних закатов потому, что они отдаленно напоминали ему северное сияние?

Однако, когда я разговорился со служанкой, подававшей мне ужин, выяснилось, что мой покойный друг вовсе не любил комнат с видом на море, а предпочитал такие, из которых моря не видно. Приезжать в гостиницу на взморье и выбирать комнаты, из которых не видно моря,— в этом было что-то странное. Сначала я удивился, но потом решил, что, возможно, это в порядке вещей.

— После я вам покажу комнату, в которой он жил,— сказала служанка.— Сейчас там остановился один артист...

— Ну, тогда это неудобно,— сказал я в ответ.

— Ничего, ничего. Этот артист — любитель литературы и

¹ Хамаю — луковичное декоративное растение.

очень доволен, что занимает номер, в котором раньше часто останавливался Кисияма-сан.

Из книги для приезжающих служанка знала, что я тоже писатель, как и мой покойный друг Кисияма. По ее словам, она всегда обслуживала Кисияму во время его приездов сюда. Кисияма часто бывал здесь еще до войны, то есть десять с лишним лет назад, но служанка выглядела еще довольно молодо.

— А барышни Кисиямы-сан поди совсем уже взрослые стали, да? — спросила она.

— Да, — ответил я. — Старшая вышла замуж, и в прошлом году у нее родился ребенок. А младшая — студентка, учится в Америке. Старшей дочери это я сосватал жениха.

— Ах, вот даже как!.. Значит, госпожа Кисияма теперь совсем одна?.. Должно быть, скучно ей стало.

Служанка вышла из комнаты и вскоре принесла небольшую фотографию. На снимке была запечатлена семья Кисиямы во время пребывания ее в этой гостинице. Дочери были еще стриженными девочками. Увидел я на карточке и эту служанку.

— Какие здесь все еще молодые, и Кисияма... — сказал я. — А старшая дочь и сейчас еще настоящая красавица.

В альбоме я прочитал написанные характерным почерком Кисиямы слова: «Из тысячи истоков — десять тысяч потоков». Слева оставалось свободное место, и я написал: «Потоки желаний смывают печаль», после чего добавил: «как однажды сказал Кисияма». Это были не его слова, а одна строчка из китайского стихотворения. Кисияма когда-то написал мне этот стих на память. Вспомнив сейчас эти слова, я впервые по-настоящему почувствовал их многозначительность. Сейчас получалось любопытно, будто мы с Кисиямой вместе приезжали сюда и одновременно сделали эту запись. Кисияма умер уже лет семь или восемь тому назад, и, глядя на эти рядом стоящие строчки, я испытывал странное чувство. Кисияма погиб при загадочных обстоятельствах на Кюсю, на аэродроме, который служил военно-воздушной базой для штурмового отряда смертников.

— Так вы хотите посмотреть комнату господина Кисиямы? — вывела меня из задумчивости служанка. — Я артиста предупредила, он сказал, что будет очень рад вас видеть.

— Он что же, на гастроли сюда приехал?

— Да... Играл в соседнем городке и подружился со здешней панпан. Из труппы он ушел, остался один, и эта женщина, кажется, помогает теперь ему деньгами. Он очень красивый мужчина... Когда идет по улице, так все невольно оборачива-

ются.— Закрыв альбом — моя надпись в нем уже просохла,— служанка добавила:

— А женщин таких по-нынешнему называют пампан, а раньше их звали просто проститутками.

Вместе со служанкой я спустился вниз. Остановившись в коридоре перед номером артиста, она громко сказала:

— Урю-сан, к вам господин Ураката пожаловал.

Послышались шаги, сѣдзи раздвинулись, и в первое мгновение мне показалось, что передо мной появилось не лицо человека, а какой-то роскошный белый цветок. Когда мы уселись, я подумал, что лицо у Урю, пожалуй, напоминает скорее искусственный цветок.

После любезного приветствия актер сказал:

— Мне доставляет огромное удовольствие жить в комнате, в которой когда-то останавливался Кисияма-сэнсэй. Я очень люблю его книги и читал их, еще когда учился в колледже.

«Бродячий актер, учившийся в колледже. Как странно!» — подумал я, по вслух сказал о другом:

— Но помилуйте, жить в гостинице на берегу моря и занимать комнату, из которой моря не видно!..

— Вы совершенно правы, — поспешил согласиться собеседник. — Но у меня тяжелое заболевание, из-за которого я не могу долго смотреть ни на небо, ни на море. Начинают черные мушки мельтешить перед глазами, застилая все вокруг... — Урю зашнулся и заморгал ресницами, изображая слепого. Но в выражении его глаз было бессознательное кокетство. Я почувствовал притягательную силу этих глаз. Мне даже показалось, что где-то, когда-то я видел девушку с такими же прекрасными глазами и их чарующий взгляд остался в моей душе, будя в ней тоскливое чувство, похожее на сожаление о несбывшейся мечте. У него были совершенно женские глаза. Они казались подернутыми грустной дымкой и в то же время оставались безупречно чистыми и ясными. Это порождало двойственность взгляда, как будто сквозь одни глаза на тебя смотрели еще одни, находившиеся где-то дальше, в глубине. Что-то неприятное сквозило во взгляде этих прекрасных и вместе с тем странных глаз.

— ...Какже-то черные мушки начинают мельтешить перед глазами... — повторил Урю. — Порой мне начинает казаться, — продолжал он, — что это мельтешит моя жизнь, моя душа, что это мои грехи, мой позор, превращаясь в черную россыпь, заполняют все вокруг...

— Хм, — хмыкнул я, немного помедлив с ответом и только

взглянув на солнцезащитные очки в оранжевой оправе, лежавшие на столике, сказал: — Вы знаете, возможно, в более легкой форме, но такой же болезнью страдаю и я. У меня тоже иногда эти мушки мельтешат перед глазами. Кажется, и у Кисиямы это бывало.

— Насколько я помню, — возразил Урю, — господин Кисияма в своих дзуйхицу¹ пишет, что у него мелькали перед глазами обрывки каких-то черных нитей. Но они не кружились, не извивались, а просто мешали хорошо видеть, подобно соринкам на стеклах очков, и передвигались лишь при изменении направления взгляда.

— Это верно, — подтвердил я.

Любопытно, сколько этому человеку лет? Судя по гладким и свежим щекам и шее, этот красавец еще совсем молод. Наверное, нет и тридцати, подумал я и посмотрел во двор.

— Неужели Кисияма предпочитал смотреть на этот двор, а не на море? — проговорил я, словно рассуждая вслух. — Ведь тут и смотреть-то не на что.

Дворик был узкий и темный. Напротив стоял еще один двухэтажный корпус. Во дворе росло несколько чахлах, коротко подрезанных деревьев. Декоративные камни были мелкие. В префектуре Ямагата, по-видимому, много садовых рододендронов и карликовых деревьев. В пути я везде видел цветы, но здесь ими и не пахло.

— Я думаю, что Кисияма-сан во двор не смотрел, — сказал Урю. — Это окно ему нужно было лишь для света. Он потому и любил эту комнату, что отсюда ничего не было видно.

Разговор меня заинтересовал, и я снова внимательно оглядел этого странствующего актера. Под легким летним кимоно на нем была надета трикотажная рубашка с высоким воротничком. Рубашки эти были сейчас в моде, но я считал, что они как-то не сочетаются с кимоно. Потрогав руками воротник рубашки, Урю повернул голову в сторону окна. Я был поражен красотой его шеи. Нежностью линий она напоминала женскую, но была не чрезмерно изящной и не очень округлой.

— Вы говорите, — сказал я, — что Кисияма, возможно, любил эту комнату потому, что отсюда ничего не было видно? Любопытная мысль! Но вы ведь актер и, наверное, любите не только показывать, но и смотреть.

— Как вам сказать... Я люблю зелень, деревья...

¹ Дзуйхицу — записки, эссе.

— Деревья? Большие деревья я тоже люблю.
— Мне нравятся и маленькие и большие.
— Но ни на что не смотреть — это все равно что уподобиться Бодидарме, просидевшему девять лет лицом к стене.

— Старики, собственно, так и живут. Я имею в виду глубоких стариков, ожидающих свою естественную смерть.

— Пожалуй, вы правы, — согласился я.

— Среди моих родичей в деревне есть девяностосемилетний старик. Он самый старый долгожитель в этой деревне. Его сыну, которого мы называем «младшим дедушкой», уже перевалило за семьдесят. В мае я ездил с ним повидаться, девяностосемилетний старик целые дни проводил в постели, так что нельзя было определить, когда он дремлет и когда бодрствует. Он уже лет пятнадцать живет в отдельном флигеле, и к нему для ухода приставлена старая служанка. Но сейчас, когда после войны помещичья земля была конфискована, приходится работать больше, чем каким-нибудь арендаторам, иначе не проживешь. Поэтому старая служанка теперь больше занята на полевых работах, чем уходом за стариком. Нередко она забывает открыть даже ставни в его флигельке. В лучшем случае чуть приоткроет, лишь бы свет проникал. А в плохую погоду и вовсе не открывает. Правда, зимой это, может, и следует — ведь теплее становится. Но главное в другом — старик не замечает, открыты ставни или нет. По-видимому, он уже не отличает дня от ночи. Разве это не доказательство, что он ничего не видит?

— Пожалуй. Но, может, у него зрение испорчено?

— Не знаю, но катаракты у него нет, глаза черные, ясные и до сих пор красивые, так что, по-моему, он должен видеть. Глаза-то, наверное, еще видят, а вот голова уже, должно быть, не видит. — Говоря это, Урю взглянул на меня затуманенным взором глубокого старика: актер он, видно, был искусный.

— Красивые глаза, — сказал я, — это, наверное, у вас в роду.

— У старика действительно красивые глаза, возможно, у нас в роду течет кровь айну. Смолоду, как рассказывают, у старика была очень белая кожа, а под старость, когда он перестал бывать на свежем воздухе, она стала изжелта-бледной и словно прозрачной. На ощупь она стала холодной, как лед, а глядя на его руки, можно видеть, как сквозь кожу чуть просвечивает кровь.

Потом Урю рассказал, что волосы и борода у старика совершенно седые и отливают серебром. У его семидесятилетнего сына пока еще только проседе, а у отца уже нет ни одного черного или рыжеватого волоска.

— И на этом фоне белой кожи и серебряных волос,— продолжал Урю,— особенно ярко блестят его почти совсем черные глаза, и это производит удивительное впечатление. Когда я подумал, что эти чудесные черные глаза на все смотрят и ничего не видят, мне стало больно и я заплакал.

— Я понимаю вас,— кивнул я.— Прожить такую долгую жизнь — это само по себе добродетель, это как бы естественное счастье. Люди, если они доживают до такого возраста и умирают естественной смертью, возможно, и не нуждаются в медитации Бодидармы.

— Да,— согласился Урю.— Во время войны, примерно лет десять назад, старику тоже пришлось пережить острые минуты. Меня... как бы вам это сказать... в то время вроде бы не было в Японии. Я вычеркнул себя из списка живых, исчез и оказался в таком положении, что не знал, умру ли когда-нибудь собственной смертью или меня расстреляют. Однажды я страшно затосковал по деревне. Переодевшись, я отправился туда. Под покровом ночи я прокрался к флигелю. Я старался ступать так, чтобы не слышно было шагов. Сёдзи в домике были наглухо задвинуты. И вдруг из глубины домика послышался громкий голос: «Кто там? Призрак или вор? Или это ты, Момосукэ?» Момосукэ — это мое имя. Я затаил дыхание. Стараясь, видимо, разбудить служанку, старик говорил: «Бабка! Открой-ка дверь! Это, кажется, дух Момосукэ явился». Обомлев от страха, я пустился наутек. Каким чудом старик сумел меня увидеть? «Кажется, это дух Момосукэ явился...» Когда я услышал эти слова, мне стало страшно, и я никогда этого не забуду.

— Вы сказали, что вычеркнули себя из списка живых, исчезли?..

— Я превратился в женщину,— пробормотал Урю.— Мужчина Момосукэ исчез, а...

— Превратились в женщину? — невольно тем же тоном повторил я и с удивлением заметил, что у него и в самом деле много общего с женщиной. Но я решил на эту тему больше не распространяться и спросил:

— А в каком родстве вы состоите с этим стариком?

— Моя семья — боковая ветвь его фамилии, но мы уже давно отделились и от кровного родства почти ничего не осталось.

Из дальнейшего рассказа я узнал, что дед и отец Урю изменили своему родному краю и покинули его. Дед уехал в Токио и поступил там на государственную службу. Усадьбу он продал, дом был разобран и перевезен в Токио и там установлен на

новом участке. По словам Урю, дом несколько не пострадал во время бомбежек. Отец Урю стал военным, но сам Момосукэ уродился, видно, в деда — он тоже пошел против родительской воли и бежал из дому. Из-за этого его отец, подполковник артиллерии, вынужден был уйти в отставку и поступил на службу в военнопromышленную фирму.

— Отец, — говорил Урю, — у которого оказался мятежный сын, был настолько огорчен, что чуть не сделал себе харакири. Но сейчас, когда Япония проиграла войну, увольнение из армии обернулось для него удачей. По крайней мере он имеет какую-то работу... В марте этого года, — продолжал Урю, — отец ездил в деревню навесить родичей. Он пошел с поклоном во флигель к старику, но оказалось, что тот спал. «В последнее время он редко когда просыпается», — сказала старая служанка. Но в это время старик вдруг проснулся. Отец несколько раз громко назвал свое имя. Старик спросил: «Кто? Тораносукэ? Это который? Предмостный?.. Про все, что было, я уже начисто забыл». Сказав это, он снова погрузился в сон. Отец и «младший дедушка» горько усмехнулись и возвратились в главный дом. Я тогда с отцом не встречался, а рассказал мне об этом «младший дедушка», когда я месяц спустя тоже приезжал в деревню...

Фамилия отца Момосукэ, как он мне дальше рассказал, тоже была Урю. Но в деревне было много людей с такой фамилией, и, так как дом его предков стоял близ моста, их стали звать Урю с Предмостья или для краткости Хасимото — Предмостные, благо такая фамилия существует. Деревня, откуда были родом предки Урю, расположена на берегу небольшого залива. С окружающих холмов почти к самой воде сбегают домишки. Зеленый холмов и синева моря здесь удивительно густого цвета: Издали деревушка похожа на исполненный в ярких красках декоративный пейзаж. Население деревни наполовину занималось земледелием, наполовину — рыболовством. Поля располагались на холмах. Семья девятиностосемилетнего Урю рыболовством не занималась.

— Про все, что было, я, братец, начисто забыл, — повторил Урю слова старика и добавил: — Для нас, вероятно, было бы спасением, если бы и мы могли сказать это про себя.

— Это верно, — подтвердил я, — но до того времени, когда мы сможем это сказать, нам придется ждать еще лет сорок, а то и больше. А это срок долгий. Но в отличие от покойного Кисиямы мы еще живы, так что положенное нам время — это плюс икс. А вот сколько лет это составит, мы не знаем.

Урю почему-то насупил брови и снова начал рассказывать. — Старик часто говорил: «Я помру в марте, обязательно в марте». Домашние с улыбкой ему возражали: «В марте, дедушка, еще снег идет и очень холодно. Отложите хотя бы еще на месяц, когда зацветет сакура». А старик, нахмурясь, отвечал: «Нет, умру я в марте». И в марте этого года он сильно простудился, еще больше ослаб, стал заговариваться, так что все думали, что наступил конец. И возраст такой, да и старик все время говорил, что умрет в марте. Короче, все уже настроились его хоронить. Уход за ним был не очень тщательный. Однако старик стал поправляться. Даже врач был удивлен, говорил, что это просто какое-то чудо. Мы с отцом поехали в деревню проведать старика вскоре после того, как он стал поправляться... Но теперь он уже больше не настаивал на том, что умрет обязательно в марте. И вообще больше не говорил о смерти. Все окружающие тоже забыли об этом. Может, это и есть естественное умирание, но теперь старик стал еще больше спать. Ел он хорошо. Правда, казалось, что он не ест, а двигает челюстями и не разбирает, что ему дают, деликатес какой или отраву. Можно было подумать, что качество пищи не имеет для него никакого значения, лишь бы ее было побольше. Однако стоило ему подсунуть дешевое печенье, как он тут же открывал глаза и спрашивал: «А повкуснее чего-нибудь нет?» Значит, вкуса он не утратил, не правда ли? А в деревне стали говорить, что старик выжил из ума и стал беспомощным и что он «переживает второе детство».

— Переживает второе детство — это хорошо сказано, — заметил я с улыбкой.

— После того случая, когда старик сказал обо мне, что это, кажется, дух Момосукэ явился, я вспоминаю о нем всякий раз, когда у меня особенно тяжело на сердце. Милый старик... А вот Кисияма-сан, такой замечательный, такой талантливый человек, и так рано умер! А как бы хотелось, чтобы он еще жил. Чтобы снова останавливался в этом номере и прожил бы до девяноста семи лет! И пусть бы уже тогда тоже впал в детство — не беда!

— Н-да... — проговорил я, кивая головой, — до девяноста семи лет доживает, кажется, один человек из десяти миллионов. Если я проживу такую долгую жизнь, то, наверное, тоже невольно скажу, что «начисто забыл все», что когда-то написал.

Я переменял тему разговора и спросил:

— Вы сказали, что превратились в женщину?.. Это значит, что вы играли в театре женские роли?

Опустив свои красивые глаза, он ответил:

— Нет, не просто играл женские роли, а стал актрисой и вел женский образ жизни.

— Как это? — задал я глупый вопрос. — Почему? — А про себя подумал, что этот Урю и в самом деле очень похож на женщину. И я невольно окинул взглядом его бедра.

— Уклонился от призыва. Ненавидел солдатчину. Боялся войны.

Урю отвечал холодным тоном, быстро, рублеными фразами. Я, видно, ударил по его слабому месту.

— Я, — продолжал он, — учился в колледже и подлежал зачислению в резерв, но не захотел и решил превратиться в женщину.

— Ну и как? Удалось вам это?

— Пожалуй, что удалось. Ведь солдатом я так и не стал...

— Ах так?

— Таких, как я, в свое время в журнальных статейках называли американскими шпионами. Но теперь даже те, кто побывал в плену, ходят с высоко поднятой головой. Думаю, что и те, кто уклонился от призыва, тоже могут быть свободны от всяческих упреков. Тем более что за время дезертирства я немало горя хлебнул и этим вину свою искупил.

— Но ведь тогда вам, наверное, не так уж плохо жилось?

— Я играл в труппах, гастролировавших в провинции, в деревнях. Война исковеркала судьбы многих людей, и они часто становились не тем, кем могли бы быть. Я, наверное, не единственный мужчина, принявший тогда женское обличье. Думаю, что были еще.

— Когда вы были «актрисой», вы ведь работали с труппой? Неужели никто так и не проник в вашу тайну?

— По-видимому, нет... Все обо мне знал только руководитель труппы. Чтобы другие не разоблачили меня, я добился расположения руководителя и жил под одной крышей с ним. Особенно трудно было, когда приходилось переодеваться для выхода на сцену, так как невольно нужно обнажать грудь... Впрочем, я ее всегда обматывал марлей... Возможно, кто-нибудь что-то и подозревал, находил во мне что-то странное, но, видимо, все же не догадывался о моем превращении в женщину. — Урю чисто по-женски, кокетливо улыбнулся и продолжал: — Может быть, потому, что не всякий, кто вздумал бы предпринять то же самое, смог бы сделать это.

— Разумеется,— подхватил я.— Если бы не ваша внешность...

— Дело даже не во внешности, а в том, что в самом моем существе всегда жило женское начало... Если бы не война, я бы, вероятно, подавил его в себе. Благодаря же войне это стало проявляться разительно. Однажды мне даже сказали, что где-то видели девушку, очень похожую на меня. В общем, тогда со мной случались всякие истории...

Урю встал и зажег свет. На двор уже опустились сумерки.

— Наверное, солнце село,— сказал я.— Кисияма говорил, что здесь удивительно красивые закаты. Вы их видели?

— Нет, не видел,— как бы желая прекратить разговор на эту тему, коротко ответил Урю, но потом неожиданно добавил: — А вы хотели полюбоваться закатом? Простите, что задержал вас... Придется вам отложить это на завтра.

— Нет, завтра утром я уже уезжаю.

— Как, уже завтра?..— чуть прищурив свои черные глаза, удивился Урю.— А я надеялся, что вы дослушаете до конца мою историю...

— Я бы это сделал с большим удовольствием, но я сюда заехал ненадолго, и то лишь потому, что тут часто бывал мой покойный друг Кисияма.

— Я понимаю,— кивнул Урю.— Видите ли, в начале девяттого я условился встретиться тут с одной панпан. Пробудет она у меня часов до десяти. После этого мы могли бы с вами погулять по берегу и поговорить. Но вы, наверное, завтра рано уезжаете? — опять кокетливо спросил Урю...

Когда он заговорил о приходе проститутки, я подумал, что он хотя бы смутится, но ничуть не бывало, и тени смущения я не заметил. К нему, по-видимому, должна была прийти та самая женщина, которая оказывает ему материальную помощь...

— Превратиться в женщину,— продолжал рассказывать Урю,— я задумал заранее и поэтому еще в колледже стал отращивать себе волосы. Порядки в то время были там строгие, от меня требовали, чтобы я постригся. Надо было бежать, а то меня бы заставили это сделать, и я скрылся. Некоторое время я бродяжничал, укрываясь в парке Асакуса. Но там часто устраивались облавы, меня в любую минуту могли изловить, и я решил уехать на родину. Хотя я и называю те места своей родиной, на самом деле это родина моих предков, сам я родился в Токио, так что там меня почти никто в лицо не знал. «Кажется, это дух Момосукэ явился...» Когда я в ту лунную ночь услы-

шал эти слова, донесшиеся из-за закрытых ставень дедушкиного флигеля, мне показалось, что меня и в самом деле больше нет в живых...

— И это вас подтолкнуло стать актрисой?

— Да. Я полюбил театр еще в средней школе и всегда играл женские роли в школьных спектаклях. В колледже я тоже участвовал в драматическом кружке. Поэтому и решил превратиться в актрису... Я здорово натренировался исполнять роли героинь. В небольших труппах, гастролировавших в провинции, во время войны людей не хватало, и меня приняли сразу. У бродячих актеров, и у мужчин и у женщин, были выписки из книги повестки и о призыве, и о трудовой повинности. Только у меня такой выписки не было. Момосукэ Урю бесследно исчез! Вы знаете, бродячие актеры подобны опавшим листьям, подхваченным ветром, — никто особенно не интересуется их прошлым, а в их рассказах о себе обычно бывает много вымысла.

— Выдавая себя за женщину, вы еще к тому же играли и женские роли — это было как бы двойным лицедейством, не так ли?

— Двойным лицедейством?.. Может быть. Но в то время я, знаете, этого не чувствовал. Проклиная мир, я дурачил его, считая, что он этого заслуживает. Молодой человек, который сказал мне, что он видел девушку, очень похожую на меня, был из студентов и состоял в отряде летчиков-смертников. Наша труппа в то время давала представления в госпиталях. Пришлось побывать и на Кюсю, в расположении военно-воздушной базы штурмового отряда специального назначения.

Вдоль края иппеничного поля текла там речушка, а на противоположном берегу высился холм, покрытый густым смешанным лесом. Я шел по берегу речки, и навстречу мне попался тот бывший студент. Не успели мы разминуться, как он резко обернулся и впился в меня глазами. Я тоже невольно остановился и застыл на месте. Он подошел ко мне. Я спросил, был ли он вчера на спектакле. Он ответил, что был, что спектакль ему понравился, и вдруг сказал: «Ты очень похожа на девушку, которую я люблю». Я ответил, что мне это весьма приятно. Дальше между нами состоялся такой диалог:

«Хочешь, покажу ее фотокарточку?»

«А она вас за это не будет бранить?»

¹ В Японии эти выписки заменяют паспорта.

«Да нет, ничего,— ответил он и вдруг спросил: — Можешь перепрыгнуть через эту речку?»

«О нет,— ответил я,— я ведь женщина!»

«Ладно,— сказал он,— тогда я тебя перенесу».

«Что вы, что вы!» — запротестовал я, но парень схватил меня на руки, перенес через речку и увлек в лесную чащу.

Студент достал фотокарточку. Девушка на маленьком снимке была на меня похожа не очень, но я этого ему не сказал. Дело происходило в мае, уже вечерело. Неожиданно парень обнял меня за плечи и хотел посадить к себе на колени. Сделай он это, он, наверное, сразу бы догадался, что я не женщина. Вцепившись руками в его плечо сбоку, я отталкивал его.

— А он?

— Он отпустил меня и вдруг спросил: «Ты еще девственница?» Я опешил, не зная, что отвечать. Скажи я «да», он мог бы расхохотаться мне в лицо. Потому что девственницу можно найти где угодно, только не в труппе бродячих актеров. Короче, я угрюмо молчал и лишь чуть заметно качнул головой. Ответ был весьма неопределенный, но любопытно, как воспринял его юноша. «Вот оно что!» — проговорил он, нежно погладив мои плечи. Потом спросил, не страшно ли мне, ведь здесь так часто бомбят аэродромы. Я ответил, что очень страшно, глаза у меня увлажнились, и я в слезах упал на его колени. Мой ответ он, по-видимому, понял как утвердительный, то есть решил, что я девственница, и пожалел меня. До чего же простодушным был этот студент! Он сказал, что через два-три дня вылетает на операцию, из которой уже не вернется. Я подумал, что, не превратись я в женщину, мне, возможно, тоже пришлось бы разделить его судьбу. Он снова перенес меня через речку и вручил мне прощальный подарок... Как вы думаете, что?

— Хм... право, трудно догадаться.

— Цианистый калий.

— Цианистый калий?

— Да. Его возлюбленная, работавшая по трудовой повинности на заводе, получила яд, чтобы им воспользоваться в критическую минуту. Среди работниц в конце войны это было, кажется, в моде. Возлюбленная студента уделила толику яда на случай безвыходного положения и ему. Но летчику-смертнику, сказал он, предстоит неизбежная гибель и без яда, так что он в нем не нуждается.

— Конечно,— сказал я.

— Когда я отправился навестить впавшего в детство ста-

рика, я еще раз вспомнил этого студента. Как вы уже знаете, к этому времени я снова принял мужской облик. Я пошел во флигель. Дверь была полуоткрыта, в комнате стоял полумрак. Был уже май, но рядом с постелью все еще горела комнатная жаровня. Сопровождавший меня «младший дедушка» отогнал мух. Девяностосемилетний старик, прикрытый до пояса одеялом, крепко спал, откинув правую руку в сторону. Его совершенно седые волосы и такая же белая борода сильно отросли; будь у него на лице страдальческое выражение, его можно было бы принять за отшельника или какого-либо подвижника, достигшего высшей степени духовного совершенства. Но у старика, пересилившего природу, вид был безмятежный и простодушный, как у невинного младенца. Однако, присмотревшись, я увидел, что на пальцах правой руки у него сошли все ногти. Старик, видно, уже окончательно одряхлел.

«Младший дедушка» громко произнес над самым его ухом:

— Отец! Пришел Момосукэ с Предместья!

Он что-то промычал, открыл глаза и взглянул на меня. Увидев его живые черные глаза, до сих пор не утратившие блеска, я ахнул от удивления.

Старик убрал правую руку под одеяло и, опершись на нее, сел. Пояс из белого крепа, который был надет у него на кимоно, подпернулся на груди. «Скорее назови себя», — торопил меня «младший дедушка». Однако, пока я пристально всматривался в старика, он плавно и так же легко, как приподнялся, снова опустился на постель и, медленно отведя в сторону правую руку, опять погрузился в сон. На этом свидание кончилось. Боюсь, что оно было последним.

— Пожалуй, — согласился я.

— Я заплакал. Правда, старик умрет естественной смертью. Не то, что тот студент... — Сдвинув по-девичьи плотнее колени, Урю нахмурил брови, взглянул на меня своими черными глазами и добавил: — Мне тоже захотелось вернуться к естественности, к природе, и вот я ушел из труппы и сейчас живу один... Это была уже другая труппа, не та, в которой я играл во время войны и был там актрисой. Та труппа после поражения распалась. Но знаете, приняв свой мужской облик, я все-таки продолжал играть женские роли...

С минуты на минуту к Урю должна была прийти его гостья, и я забеспокоился.

Расслабив тело, Урю сидел с опущенной головой. Теперь он также походил на цветок, но только поникший.



РАССКАЗЫ ВЕЛИЧИНОЙ С ЛАДОНЬ

СЛУЧАЙ С МЕРТВЫМ ЛИЦОМ

— Представляю, как вам не терпится взглянуть на бедняжку, — проговорила теща, торопливо провожая его в комнату, где лежала его мертвая жена. — Вот посмотрите, что с ней сделала смерть, — сказала она и хотела откинуть белое покрывало с лица покойницы.

Но зять неожиданно остановил ее:

— Подождите минутку. Я бы хотел взглянуть на нее без посторонних. Нельзя ли мне побыть с ней одному?

Слова его произвели несколько странное впечатление на родственников, наполнивших комнату. Все молча вышли, задвинув за собой сѣдзи.

Он отдернул белое покрывало.

Страдальческое выражение застыло на мертвом лице женщины. Высохшие щеки ввалились, и из полуоткрытого рта торчали пожелтевшие зубы. Верхние веки, тонкие и прозрачные как папиросная бумага, казались приклеенными к глазным яблокам. Набухшие жилы на лбу говорили о перенесенных муках.

Боясь пошевелиться, муж долго сидел, вглядываясь в не-
красивое и измученное лицо мертвой.

Потом он встал, приблизился к покойнице и дрожащими
руками попытался сомкнуть ей челюсти. Но как только он отнял
руки, покойница снова ощерилась. Он снова сжал ей рот, но
губы опять медленно раздвинулись, обнажив уродливо торча-
щие вперед зубы. Так он проделал несколько раз, но все
безуспешно. Тем не менее он заметил, что глубокие, горестные
складки вокруг рта сделались мягче, нежнее.

Он почувствовал, что пальцы его стали горячими, будто все
тепло его тела ушло в них, и принялся энергично растирать
суровые морщины и набухшие жилы на ее лбу. Он делал это
до тех пор, пока у него не запылали ладони.

Тогда он снова уселся рядом и стал смотреть на лицо покой-
ницы, которое от тепла его рук сделалось каким-то новым — бо-
лее спокойным, умротворенным и добрым.

В это время в комнату вошли мать и младшая сестра жены.

— Вы, наверное, устали в дороге. Вам нужно пообедать и
отдохнуть.

Но вдруг мать залилась слезами и прерывающимся голосом
произнесла:

— Боже мой! Какая сила в человеческом духе! Бедной де-
вочке так не хотелось умереть до вашего возвращения! И вот
словно чудо совершилось. Стоило вам один только раз взглянуть
на нее, и лицо ее стало таким спокойным, ласковым... А теперь
хватит... Пусть бедняжка мирно спит.

Младшая сестра покойницы своими неизъяснимо прелест-
ными, лучистыми глазами заглянула в его чуть сумасшедшие
глаза и, рыдая, упала на колени.

АРИГАТО

Осень в горах стояла в этом году чудесная, и хурма уроди-
лась на славу.

Небольшая гавань у южной оконечности полуострова. Со
второго этажа автобусной станции, рядом с которой примости-
лась лавчонка с дешевыми сладостями, спускается шофер в жел-
том кителе с фиолетовым воротом. Снаружи стоит большой
красный рейсовый автобус с фиолетовым флажком на радиа-
торе.

Переминаясь с ноги на ногу и держа в руке тощий паке-
тик — наверное, с какими-нибудь дешевыми карамельками, —
возле станции стоит пожилая женщина. Рядом — молоденькая
девушка.

Взглянув на аккуратно зашнурованные башмаки шофера и
подняв затем лицо, женщина сказала:

— Значит, нынче ваша очередь вести машину, Аригато-сан?
(Неизменно вежливый шофер по всякому поводу говорил «спа-
сибо», и потому в округе его ласково прозвали Аригато-сан, то
есть Господин Спасибо.) Это добрая примета. Раз вы нас пове-
зете, может, и моей девчонке улыбнется счастье.

Шофер смотрел на девушку и молчал.

— Больше откладывать нельзя, — продолжала женщина. —
Эдак ведь может без конца тянуться. К тому же скоро зима.
А в холода жалко мне ее везти в такую даль. Раз все равно
надо, так уж лучше, покуда стоит погода. Вот я и решила ехать
сегодня.

Шофер молча кивнул и твердым солдатским шагом напра-
вился к автобусу.

— Садитесь, тетушка, на передние места. Здесь не так тря-
сет, путь ведь не близкий.

Женщина ехала продавать дочь в публичный дом, находив-
шийся в городке, который стоял в шестидесяти километрах
отсюда и был связан железной дорогой с другими городами.

Горная дорога была тряская. Девушка сидела сразу за спи-
ной шофера и видела одни лишь его освещенные послеполуден-
ным солнцем прямые, широкие плечи, накренившиеся то впра-
во, то влево на крутых поворотах. Его обтянутая желтым ките-
лем спина казалась ей широкой, как мир. И казалось ей, что
это он своими плечами раздвигает горы, выплывшие по обе
стороны петлявшей дороги.

Им предстояло проехать через два высоких горных перевала.
Автобус нагнал повозку. Кучер тотчас свернул к обочине.

— Аригато! — звонким, чистым голосом поблагодарил шо-
фер, кивнув, точно дятел, головой.

Впереди показалась подвода с бревнами. Она тоже отъехала
к краю дороги.

— Аригато! — снова прокричал шофер, поравнявшись с воз-
чиком.

Затем посторонилась большая грузовая тележка с кладью.

— Аригато!

Потом рикша.

— Аригато!

Потом всадник.

— Аригато!

Если бы ему за пятнадцать минут пути попалось тридцать повозок, он бы и тридцать раз произнес свое «спасибо». Доведись ему проехать четыреста километров, он бы и тогда не нарушил этого правила вежливости. Оно было для него столь же простым и безыскусственным, как естественна прямизна ствола криптомерии.

Прошло уже более трех часов, как они выехали из гавани. Шофер зажег фары. Каждый раз, когда навстречу попадались телега или всадник, он тотчас гасил огни, кланялся и говорил: «Спасибо».

Возчики, кучера и всадники на всей шестидесятикилометровой трассе считали его лучшим и самым вежливым шофером.

Когда мать с дочерью вечером вылезли из автобуса на площади, где была автобусная станция, девушку всю трясло, ноги у нее подкашивались, голова кружилась.

— Погоди минуту, — бросила ей через плечо женщина и поспешила за шофером.

— Послушайте, — обратилась она к нему. — Моя девчонка говорит, что влюбилась в вас. Ничего удивительного! Ведь любая городская барышня проедет с вами тридцать-сорок километров и наверняка втюрится. Так чего же ожидать от бедной крестьянской девушки!.. Я вас очень прошу... В ноги поклонюсь... Ведь с завтрашнего дня она станет забавой для разных шалопаев и кобелей, которых она сроду и в глаза никогда не видела...

На следующий день ранним утром шофер вышел из жалкого, обшарпанного домика — Дома для приезжих, а попросту ночлежки — и твердой солдатской походкой направился через площадь. Позади быстро семенили мать и дочь. Большой красный рейсовый автобус с фиолетовым флажком ожидал пассажиров, прибывших с первым поездом.

Девушка первой влезла в автобус и, облизывая кончиком языка пересохшие губы, любовно поглаживала черное кожаное сиденье водителя. Мать ежилась от утреннего холода.

— Ну что, повезет девчонку назад? — говорила она шоферу. — Она сегодня с утра стала реветь, да и вы меня разбранили. Не следовало бы мне быть такой сердобольной. Да уж ладно. Назад — так назад. Придется до весны потерпеть. Зимой-то, в холода, жалко будет везти. Пусть поживет дома, пока опять не

начнутся теплые дни, а там уж, хочешь не хочешь, другого выхода нет.

Трое пассажиров, прибывших с первым поездом, сели в автобус.

Шофер поправил подушку на водительском сидении. Девушка, севшая позади него, снова вперила взгляд в его плечи, казавшиеся ей теперь удивительно теплыми и родными. Осенний утренний ветерок обдувал ее лицо.

Автобус нагнал повозку. Она свернула к обочине.

— Аригато,— поблагодарил шофер.

Потом он нагнал телегу с грузом.

— Аригато!

Затем — всадника.

— Аригато!

Автобус возвращался в гавань у южной оконечности полуострова, и поля и горы вдоль шестидесятикилометровой дороги то и дело оглашались возгласами шофера:

— Аригато!

— Аригато!

— Аригато!

Осень в горах стояла в этом году чудесная, и хурма уродилась на славу.

СЕРДЦЕ

Она получила письмо от мужа, который не любил ее и бросил. Письмо пришло из далекого края через два года после его ухода.

Он писал: «Не позволяй ребенку играть мячиком. Удары его доносятся до меня и бьют меня по сердцу».

Она отобрала у девочки, которой шел девятый год, резиновый мячик.

От мужа снова пришло письмо. Из еще более далекого места.

«Пусть девочка,— писал он,— не ходит в школу в кожаных башмаках. Топот ее ног доносится до меня, и у меня такое чувство, будто топчут мое сердце».

Она дала дочке вместо кожаной обуви мягкие фетровые сандалии. Девочка плакала, и кончилось тем, что она перестала ходить в школу.

Через месяц после второго письма муж прислал еще одно. Почерк был неровный, неуверенный, старческий.

Он писал: «Не давай девочке есть из фарфоровой миски. Звон этой посуды доносится до меня и разрывает мне сердце».

И она стала кормить дочку, словно трехлетнего ребенка, деревянными палочками для еды. Она вспомнила время, когда дочке было три года, а муж, веселый и довольный, был еще с ними.

Не спрашиваясь ее, девочка однажды подошла к шкафчику и достала свою миску. Мать поспешно выхватила у дочки фарфоровую миску и швырнула в садик. Миска ударилась о вымощенную камнем дорожку и разбилась вдребезги. Ей показалось, что это разорвалось сердце мужа. Нахмутив брови, она швырнула за дверь и свою миску; раздался такой же звук. А может, это сейчас разбилось его сердце? Она отшвырнула обеденный столик, и он тоже вылетел в сад. О, этот звук! Точно обезумев, она бросилась к бумажной раздвижной перегородке, начала стучать по ней кулаками и, прорвав ее тяжестью своего тела, повалилась на пол.

— Ма-а-ма! — с плачем подбежала к ней девочка. — Ма-а-ма... Ма-а-ма...

Она приподнялась и ударила девочку по щеке.

— Ты слышишь, ты слышишь этот звук, паршивая девочка?!

И снова муж прислал письмо. Оно было отправлено из нового и еще более далекого места.

Муж писал: «Вы не должны больше издавать ни звука. Вы не должны ни открывать, ни закрывать двери и сѣдзи. Вы не должны заводить часы, чтобы не слышно было их тиканья. Вы не должны дышать...»

— «Вы не должны... вы не должны... вы не должны...» — шептала она, и слезы ручьем текли по ее лицу.

И в доме не стало больше слышно ни единого звука. Одним словом, мать и дочь умерли.

Но, как ни странно, на подушке рядом с лицом мертвой жены покоилось и лицо ее умершего мужа.

МОЛИТВА ДЕВСТВЕННИЦ

— Видел?

— Видел.

— Видела?

— Видела.

Обмениваясь одинаковыми вопросами, встревоженные крестьяне с озабоченными лицами стекались с гор и полей на шоссе.

Несомненно, было удивительно и даже загадочно уже одно то, что столько крестьян, работавших в разных местах на полях и в горах, в одну и ту же секунду, словно сговорившись, взглянули в одном и том же направлении. И все они одинаково содрогнулись от ужаса.

Деревня лежала в круглой низине. В самой середине ее возвышался холм. Его огибала горная речка. На холме было расположено сельское кладбище.

И вот жители деревни с разных ее концов одновременно увидели, как с кладбищенского холма, подобно какому-то белому привидению, вдруг скользнул и покатился вниз надгробный камень. Если бы это утверждали один или два человека, над ними наверняка посмеялись бы, сказав, что это им померещилось. Но трудно было поверить, чтобы одно и то же могло почудиться такой массе людей сразу.

Я присоединился к шумной толпе крестьян и пошел с ними осмотреть кладбище на холме.

Прежде всего мы тщательно обследовали подножие и склоны холма, но нигде могильного камня не обнаружили. Затем мы поднялись на самый холм и стали осматривать одну могилу за другой. Но все надгробные камни тихо и мирно покоились на своих местах. Жители деревни снова начали озабоченно переглядываться.

— Но ты ведь видел?

— Видел.

— А ты?

— И я видел.

— И я, и я,— повторяли все в один голос и, словно убегая с кладбища, стали торопливо спускаться с холма. Все пришли к единому мнению, что это было видение, предвещающее им какую-то беду. Не иначе как прогневался бог, злой дух, или кто-либо из покойников. Нужно молиться, чтобы умиловить разгневанного мстительного духа. Нужно изгнать нечистую силу с кладбища.

Тогда собрали всех девственниц села, и перед заходом солнца шестнадцать или семнадцать молоденьких девушек в окружении группы крестьян отправились на холм. Я, разумеется, присоединился к ним.

В середине кладбища девушек поставили в ряд, и выступивший вперед седовласый старейшина деревни обратился к ним с такими словами:

— Непорочные девы! Смейтесь! Смейтесь, пока у вас не лопнут животы! Смейтесь, и своим смехом вы отведете проклятие, нависшее над нашим селом!

И, задавая тон как бы в роли запевалы, старик захохотал:

— Ха-ха-ха-ха!

Вслед за ним во всю мощь своих здоровых легких дружно захохотали девушки:

— Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха!

Сначала я был поражен этим необычайно громким смехом, но он тут же заразил и меня, и мой голос слился с общим хохотом, от которого сотрясалась долина.

— Ха-ха-ха... Ха-ха-ха-ха...

Кто-то из жителей деревни, собрав сухих листьев и веток, разжег на кладбище костер. С распущенными волосами, надрываясь от смеха, девушки кружили вокруг костра, огонь которого напоминал языки адского пламени, падали и катались по земле. Слезы, выступившие у них, когда они только начали смеяться, теперь высохли, и глаза загадочно блестели. Буря смеха нарастала, грозя перейти в настоящий ураган, способный, кажется, все смести с лица земли. Скаля белые, как у молодых зверят, зубы, девушки закружились в танце. Что-то дикое и странное было в этой необузданной пляске.

Смеявшиеся крестьяне теперь успокоились, лица их просветлели. Я вдруг перестал смеяться и опустился на колени перед одним из надгробных камней, освещенных пламенем костра.

«Господи, вот и я очистился от скверны!» — мысленно улыбнулся я.

Что до крестьян, то они, кажется, готовы были вместе с девушками хохотать до тех пор, пока на волнах смеха не взмоет ввысь сам холм.

— Ха-ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха-ха-ха!

У одной из девушек выпал из волос гребень, на него наступили и растоптали. Еще у одной развязался оби, в нем запу-

тались ноги других девушек, и плясуньи попадали наземь. Конец пояса попал в костер и загорелся.

МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ НЕ СМЕЕТСЯ

Небо было густого зеленовато-голубого цвета и походило на великолепный фарфор сэто. Я лежал в постели и наблюдал за тем, как меняется утренняя окраска воды в реке.

У актера, снимавшегося в главной роли в нашем фильме, через десять дней начинались спектакли в театре, и поэтому уже в течение целой недели съемки шли и днем и ночью. Я присутствовал на съемках лишь как сценарист и особыми заботами не был обременен, но и у меня за эти бессонные ночи потрескались губы и от ослепительного света юпитеров ломило глаза. Этой ночью я тоже вернулся в гостиницу, когда в небе уже погасли звезды, и очень устал.

Но цвет неба, напоминающий чудесный зеленовато-голубой фарфор, как-то сразу освежил меня. Перед моим мысленным взором стали возникать прелестные виды, милые образы. Прежде всего мне представилась очаровательная улица Сидзё. Там, неподалеку от Большого моста, накануне днем я пообедал в европейском ресторане «Хризантема». Из окна третьего этажа я любовался яркой зеленью деревьев на горе Хигаси. Подъем на гору начинается с середины улицы, и гора видна была как на ладони. Зрелище самое обычное, но меня, приехавшего из Токио, поразила первозданная свежесть молодой листвы. Затем мне вспомнились театральные маски, виденные в витрине одного антикварного магазина. Старинные смеющиеся маски.

— Черт возьми! Счастливая идея!

Обрадованный своей неожиданной творческой находкой, я тут же схватил бумагу и принялся быстро писать. Короче говоря, я переделал заключительную сцену своего сценария. Закончив текст, я приложил к нему записку на имя режиссера.

Последний эпизод картины я сделал в условно-фантастическом плане. В заключительных кадрах персонажи должны были появиться в добродушных смеющихся масках.

Повествование о мрачной действительности, послужившей сюжетом кинофильма, я никак не мог сдобрить светлой улыбкой и поэтому решил по крайней мере прикрыть удручающую реальность прекрасными улыбающимися масками в конце картины.

Взяв рукопись, я отправился в студию. В служебном помещении никого еще не было, лишь утренние газеты кипами лежали на столах.

На глаза мне попалась буфетчица, которая перед декорационной мастерской собирала деревянные стружки на растопку.

— Будьте добры, отнесите это и передайте режиссеру, как только он проснется,— сказал я, передавая ей вложенную в конверт рукопись.

В моем нынешнем сценарии действие происходило в психиатрической больнице. Ежедневно наблюдая в студии за съемкой сцен, изображавших жизнь несчастных безумцев, я приходил в отчаяние. Мне казалось, что, если я не сумею найти какого-нибудь светлого лучика во всей этой темной и страшной истории, фильм провалится. Я начинал думать, что неспособность найти happy end¹ — свидетельство мрачности моего собственного характера. Поэтому я несказанно обрадовался, когда придумал эпизод с масками. Я сразу повеселел, представив себе блестящий комический финал, когда все до единого больные, находящиеся в психиатрической больнице, появятся в смеющихся масках.

Стекланный купол студии стал приобретать зеленую окраску. Дневной свет постепенно размывал зеленовато-голубой цвет неба, напоминая чудесный фарфор сэто. Со спокойной душой я вернулся в гостиницу и сладко заснул.

Человек, посланный купить маски, вернулся на студию около одиннадцати часов вечера.

— Я сегодня с утра объездил на машине все игрушечные магазины Киото,— рассказывал он,— но нигде ни одной приличной маски. Все вроде этой...

— А ну, покажите, пожалуйста,— попросил я и, когда он развернул пакет, разочарованно протянул: — Н-да... это, пожалуй, не подойдет...

— Я так и предполагал,— уныло закачал головой ездивший за масками реквизитор.— Мне все казалось, что где-то я видел нечто подходящее, и целый день шнырял по разным магазинам, но все без толку.

— Я рассчитывал на маски вроде тех, которыми пользовались в театре «Но»²,— чуть не плача говорил я, беря в руки

¹ Счастливым конец (*англ.*).

² Театр «Но» — вид древнеклассических театральных представлений, пользовавшихся особой популярностью в средневековой Японии.

оклеенную бумагой уродливую маску с неровной бугристой поверхностью. — Маска сама по себе должна быть подлинным произведением искусства. А эти поделки — только курам на смех! — Взглянув еще раз на коричневого цвета маску с насмешливо высунутым красным языком, я добавил:

— Мне нужны гладкие белые лица, чарующие своими мягкими, нежными улыбками. А эти маски, во-первых, на экране получатся почти черными...

— Ну, с этой бедой, пожалуй, нетрудно справиться, — засмеялся режиссер, который прекратил съемки в павильоне и вместе со всеми рассматривал сейчас маску. — Возьмем да и выкресим их в белый цвет!

Завтра утром нужно было отснять финальную сцену. Поделки из игрушечных магазинов никуда не годились, а раздобыть добротные старинные маски времени уже не оставалось, поэтому режиссер предложил на худой конец попробовать самим изготовить на студии целлулоидные маски.

— Нет, — возразил я, — одно из двух: либо подлинно художественные маски, либо я отказываюсь от своей затеи.

— Знаете что, — сочувственным тоном обратился ко мне работник сценарного отдела, — давайте еще поищем. Сейчас одиннадцать часов. В новой части Киото, вероятно, еще не спят.

— Вы поедете со мной? — обрадовался я.

Мы сели в машину и быстро покатали по прямой через речную дамбу. В университетской клинике, на противоположном берегу, окна были ярко освещены, и свет их отражался в воде. Трудно было подумать, что за всеми этими многочисленными окнами мучаются больные. «Если не удастся найти подходящие маски, — размышлял я, — тогда, может быть, показать в заключительных кадрах ярко освещенные окна психиатрической лечебницы и отражение огней в реке?»

Мы с сотрудником сценарного отдела переходили из одной игрушечной лавки в другую, эти лавки уже начали закрываться. Купили штук двадцать оклеенных бумагой круглолицых женских масок. И все же это было не то, что нужно. Они были довольно милы, однако до истинно художественных изделий им было далеко. Улица Сидзэ уже спала.

— Погодите маленько, — сказал сотрудник сценарного отдела и свернул в переулочек. — На этой улочке много антикварных лавчонок, где продаются буддийские культовые принадлежности. Думаю, что здесь должны быть и предметы реквизита «Но».

Однако все лавки в этом переулке были уже закрыты. Я за-

глядывал в замочные скважины чуть ли не каждой антикварной лавки.

— Ладно, завтра в семь утра я буду уже здесь, — сказал мой спутник. — Сегодня ночью ведь все равно спать не придется.

— Я тоже поеду с вами. Разбудите меня, пожалуйста.

Но он не стал меня будить, съездил один, и, когда я появился на студии, там уже приступили к съемке заключительной сцены. Удалось раздобыть пять великолепных старинных масок. Согласно моему замыслу, их нужно было иметь штук двадцать или тридцать. Но и пяти этих масок, озаренных чудесными мягкими улыбками, оказалось бы достаточно для того, чтобы пробудить у зрителя высокие, благородные чувства. Я успокоился, у меня возникло ощущение, что я как бы выполнил свой долг перед психически больными людьми, жизнь которых положена в основу моего сценария.

— Маски настолько дорогие, что я их не смог купить и взял напрокат, — сказал мне работник сценарного отдела. — Стоит чуть испачкать — назад не примут.

После такого предупреждения все, кто прикасался к маскам, брали их, предварительно вымыв руки, кончиками пальцев, как некую драгоценность.

Однако по окончании съемки все же оказалось, что на щеке одной маски откуда-то появилось желтое пятнышко.

— Вот беда, — огорченно сказал работник сценарного отдела. — Попробовать смыть — вся, пожалуй, облезет...

— Ладно, — поспешил я успокоить его, — я уплачу стоимость и возьму маску себе.

Мне и в самом деле хотелось приобрести хотя бы одну такую маску. Я мечтал о том, чтобы в будущем мире, в котором должны царить дружба и согласие, у всех людей были просветленные, добрые, улыбчивые лица.

Вернувшись в Токио, я заехал домой и сразу же отправился к жене в больницу. Дети по очереди примеряли маску и весело смеялись. Я был доволен.

— Папа, надень теперь ты! — приставали ко мне дети.

— Не хочу.

— Ну надень!

— Нет!

— Да надень... — канючил младший сынишка и, встав на цыпочки, пытался натянуть на меня маску. Я начинал сердиться, но положение спасла жена.

— Прекрати! — прикрикнула она на мальчика.

— Давайте наденем на маму! — дружно засмеялись тогда дети и подскочили к ней.

— Не смейте, мама ведь больна! — Я попытался остановить их, но было уже поздно.

Что-то жуткое было в смеющейся маске, надетой на лицо больной жены, лежавшей на кровати.

Я поспешил снять с нее маску. Жена тяжело дышала. Но меня поразило другое. Как только я снял с нее маску, ее лицо показалось мне удивительно некрасивым, почти уродливым. Меня мороз по коже подирал, когда я всматривался в это изможденное лицо. Я был потрясен, словно впервые в жизни увидел его. Стоило прекрасной, нежной, улыбающейся маске какие-нибудь мгновенья побыть на лице жены, как я сразу, причем впервые, почувствовал всю его некрасивость. Это была скорее даже не некрасивость, лицо просто выражало крайнюю изнуренность и подавленность. Но после того как прекрасная маска некоторое время прикрывала это лицо, оно стало казаться особенно жалким и непривлекательным.

— Теперь ты надень, папа! — снова начали приставать дети. — Теперь твоя очередь.

— Хватит, отвяжитесь! — резко проговорил я и поднялся.

Если бы я надел маску и потом снял ее, возможно, я показался бы жене безобразнее черта!..

Коварной оказалась прекрасная маска. Она породила в моей душе ужасное сомнение: не было ли лицо моей жены, на котором я привык до сих пор постоянно видеть добрую, нежную улыбку, тоже маской? Не искусственна ли улыбка женщины, как искусственна эта маска?

К черту маски! К черту искусственность!

Я решил немедленно послать на студию в Киото телеграмму и написал: «Кадры с масками вырежьте». Но тут же изорвал телеграмму в клочки.

КАМЕЛИЯ

Этой осенью, через год с лишним после войны, рождалось много детей. В моей соседской группе¹ один вслед за другим новорожденные появились в четырех семьях из десяти.

¹ Соседская группа или товарищество соседей — своеобразные объединения жителей соседних домов в Японии, используемые властями для проведения разного рода мероприятий.

Самая старшая и самая плодовитая из четырех роженец про-
извела на свет двойню. Близнецы были девочки, через полме-
сяца одна из них умерла. У матери оказался избыток грудного
молока, и она отдавала его ребенку соседки. У этой соседки уже
было два сына, а сейчас родилась девочка. Меня попросили вы-
брать для нее имя, и я посоветовал назвать ее Кадзуко, то есть
Дитя мира. Иероглиф «мир» вообще читается «ва», а в име-
нах — обычно «кадзу». Такое разночтение может приводить к
путанице, и раньше я избегал обращаться к подобным именам.
Но сейчас речь шла об имени в память установления мира, и я
решил предложить его, хотя девочка, когда вырастет, возможно,
и станет им тяготиться.

Не только упомянутые близнецы, но и вообще в нашей со-
седской группе из пяти новорожденных младенцев четверо были
девочки. Это дало основание для шутки о «родах по новой кон-
ституции»¹, в самом деле как бы давая ощущение мирного
времени.

То, что в нашей соседской группе из пяти появившихся на
свет детей четверо оказались девочками, вероятно, было случай-
ностью, как и сравнительно большое количество новорожден-
ных: пятеро на десять семей. Тем не менее пример нашей сосед-
ской группы, несомненно, свидетельствовал о том, что нынешней
осенью был большой урожай на детей во всей стране. Излишне
говорить, что способствовало этому успокоение, наступившее
после войны. Прирост населения, упавший за военные годы,
сразу возрос после войны. Это было вполне естественно, так как
множество молодых мужчин возвратилось теперь домой, к своим
женам. Но дети рождались не только у демобилизованных. Не-
мало их родилось и в семьях, где мужа не уходило на фронт.
Прибавления семейства происходили даже у людей средних лет,
которые больше уже на него не рассчитывали.

Ничто, пожалуй, так не свидетельствовало о мире, как эта
пробудившаяся стихия деторождения. Японцы плодились, не-
взирая на военное поражение, на трудности послевоенных лет
и нимало не заботясь о будущих трудностях, которыми чревато
перенаселение. В полную силу стали снова действовать подав-
ляемые войной личные побуждения, инстинкт. Словно прорва-
ло зашруду. Словно на засохших деревьях вдруг зазеленели
побеги.

Было бы счастьем, если бы можно было благословлять мир,

¹ По новой (послевоенной) конституции, Япония навечно отказы-
валась от войны.

ведущий к возрождению и освобождению жизни... В безудержном стремлении людей к размножению, возможно, было что-то животное, но им нельзя было не сочувствовать.

Новые дети, вероятно, помогут родителям забыть о трудностях и страданиях военного времени.

Что до меня, то я в свои пятьдесят лет больше не помышлял о новых детях, хотя война и кончилась. Мы с женой прожили вместе достаточно много лет, чтобы любовный пыл в нас успел окончательно остыть, и теперь уже мы не могли перемениться.

Когда мы наконец очнулись от войны, для нас с женой уже надвигались сумерки жизни. Казалось, это не должно было случиться, но горечь военного поражения вызвала у нас упадок и физических и душевных сил. Нам казалось, что гибнет и страна, в которой мы живем, и даже само время. И снова, подавленный чувством неизбывной тоски и одиночества, я наблюдал за появлением новых детей у наших соседей, чувствуя себя человеком, который с того света взирает на огоньки вновь возникающих жизней.

Женщина, у которой родился единственный мальчик из пяти малюток, появившихся на свет этой осенью у наших соседей, была последней по счету роженицей. С виду это была женщина полная, с округлыми бедрами, но, по словам наших кумушек, у нее оказался неожиданно узкий таз, из-за чего роды были долгими и мучительными. До этого у нее уже была одна беременность, однако кончилась она выкидышем.

Моя дочь, которой шел шестнадцатый год, проявляла исключительный интерес к этому младенцу, бегала смотреть на него и без конца о нем говорила. Бывало, делает она что-нибудь дома и вдруг срывается с места и мчится к соседям; поглядит на младенца — и назад. Похоже, что желание видеть малютку возникало у нее внезапно и было неодолимым.

Однажды дочь, войдя в мою комнату и сев возле меня, обратилась ко мне с такими словами:

— Папа, говорят, что у Симамуры-сан возродился, то-есть снова родился, прежний ребеночек. Это правда, папа?

— Таких вещей не бывает, — тотчас же ответил я.

— Да?

На лице дочери появилось что-то беспомощное, однако это не было похоже на уныние; вздохнула же она, по-видимому, просто от волнения. Но я все же пожалел, что так скоропали-

тельно и необдуманно возразил ей. Правильно ли я поступил?

— Ты опять ходила к Симамуре-сан смотреть ребенка? — мягко спросил я.

Дочь утвердительно кивнула.

— Хорошенький мальчик?

— Об этом пока трудно судить. Ведь он только что родился.

— Гм!..

— Когда я рассматривала ребеночка, тетя вдруг сказала: «Знаешь, Ёсико, ведь это ко мне вернулся мой прежний ребенок!» Значит, это тот ребенок, который у нее еще раньше должен был появиться? Она, наверно, о нем говорила?

— Хм! Возможно, — уклончиво ответил я, решив больше не возражать, но не удержался и добавил: — Она, вероятно, просто хотела сказать, что у нее такое чувство, будто это тот же самый ребенок. Иначе это нельзя понять. Ведь тот ребенок не родился, и даже неизвестно, был ли то мальчик или девочка, ведь так?

— Так, — легко согласилась дочь.

У меня в душе остался какой-то странный осадок, но дочь, видно, не очень близко приняла к сердцу мои слова, и разговор на этом окончился. Я поймал себя на мысли, что сказал чепуху: выкидыш у соседки произошел на шестом месяце беременности, так что, по всей вероятности, уже можно было определить, был это мальчик или девочка. Но разговор был окончен, и я не захотел к нему возвращаться.

Однако вскоре до моих ушей дошел слух, что все наши соседи судачат о том, будто бы у супругов Симамура возродился, то-есть вновь родился, их прежний ребенок.

Я возражал дочери потому, что подобные чувства и представления казались мне не совсем здоровыми. Но если поразмыслить, то ничего болезненного, собственно, в них не было. В старину, например, они были широко распространены и считались здоровыми и нормальными. Нельзя сказать, чтобы эти чувства и представления полностью отжили свой век даже в наши дни. Возможно, что у супругов Симамура было неведомое другим людям непосредственное ощущение и даже уверенность, что у них вновь родился их прежний ребенок. И если даже это была не больше чем простая сентиментальность, можно было не сомневаться, что они находили в ней утешение и радость.

Первый их ребенок был зачат во время трехдневного отпуска, который Симамура получил перед отправкой его части

на фронт. В его отсутствие у жены случился выкидыш. А через год с лишним после демобилизации Симамуры у них появился на свет нынешний ребенок. Хотя их первенец, в сущности, не родился, они горевали и сожалели о его потере.

Моя дочь тоже говорила о нем «тот ребенок», словно речь шла о реально существовавшем, живом младенце. Однако общество, конечно, не рассматривает неродившихся детей как живые человеческие существа, как индивидуумы. И по-видимому, только супруги Симамура всегда утверждали, будто бы тот ребенок у них *был*. Что до меня, то я не могу с определенностью сказать, был ли он живым существом или нет. Он существовал только во чреве матери. Божьего света он так и не увидел. Возможно, у него еще не было того, что называется душой. Тем не менее возможно, что он был таким же живым существом, как и мы, или что его-то жизнь как раз и была самой настоящей и счастливой жизнью. По меньшей мере в нем обитало нечто, что должно было развиться в жизнь.

Клетки, из которых в свое время возник первый, а затем второй ребенок, разумеется, были не те же самые. Но мы ничего достоверного не можем знать ни о физиологической, ни о психологической связи между предыдущей и последующей беременностью. Не говоря уже о том, что самый момент зачатия и условия, его определяющие, совершенно неуловимы, так же как невозможно предвидеть, какой плод созреет и появится на свет, а какому суждено быть исторгнутым до рождения. Я бы даже сказал, что никто точно не знает, представляют ли собой предыдущие и последующие дети отдельные, особые, независимые друг от друга жизни, или это как бы варианты одной и той же жизни, которая все эти жизни содержит в себе. Представление о вторичном рождении прежнего, то есть мертворожденного, ребенка считается антинаучным. Но это суждение — всего лишь вывод, основанный на том запасе сведений, которым наука располагает. Вряд ли есть основание считать, что вторичное рождение существует, но, возможно, не так просто доказать и то, что его нет.

Я в какой-то мере стал сочувствовать супругам Симамура, и тогда во мне пробудилось сострадание и к их неродившемуся младенцу, чья судьба раньше меня совершенно не трогала. Я стал думать о нем, как о живом существе.

Госпожа Симамура была женщиной крепкой и волевой, способной на второй день после родов, позабыв о только что перенесенных муках, подняться с постели и начать хлопотать по

дому; сказывалась в этом и ее исключительная любовь к чистоте и порядку во всем. Дочь моя любила эту соседку и время от времени ходила к ней советоваться насчет вязания и рукоделия, которое им преподавали в гимназии. До приезда из Токио родни, лишившейся крова в результате бомбежки, Симамура жила вдвоем с матерью, которую она вызвала к себе после ухода мужа в армию. Пока женщины жили вдвоем, дочь моя весьма охотно бывала у них. Я был начальником группы противопожарной охраны своего соседского товарищества и в этой роли должен был особо опекать дом фронтовика, в котором остались беременная женщина и ее старая мать.

В нашем соседском товариществе я был единственным мужчиной, проводившим целые дни дома, все остальные находились на службе. Поэтому мне и навязали роль ответственного за противопожарную охрану. Возможно, я больше других устраивал соседей в этой роли еще и потому, что, будучи сам по натуре человеком робким, я не способен был предъявлять особых требований и к другим. Обычно я до рассвета читал или писал и потому мог быть превосходным ночным дежурным, но я по-возможности старался ничем не тревожить спокойного сна своих соседей. Проверая на участке светомаскировку, я делал это в высшей степени осторожно, чтобы, не дай бог, кого-нибудь не разбудить. К счастью, в Камакура дело обошлось без пожаров.

Однажды весенней ночью, в пору цветения сливы, мне показалось, что из кухни г-жи Симамуры наружу пробивается свет. Я пошел проверить, но, войдя во двор через заднюю калитку, наткнулся на живую изгородь и уронил в кусты свою трость. Я не стал отыскивать ее в темноте и решил прийти за ней на следующий день. Однако, когда я утром вспомнил об этом, мне стало как-то неловко. Ночью мужчина проникает через черный ход во двор дома, где живут одни женщины, и теряет там трость — кто его знает, что могут подумать... После полудня соседка сама принесла ее. Она остановилась у наших ворот, позвала мою дочь, и я услышал их разговор:

— Вчера ночью ваш папа обходил участок и потерял трость.

— Да? Где же вы ее нашли?

— На нашем дворе возле задней калитки.

— Как же это он! Вот рассеянный, правда?!

— Да нет, было, наверно, очень темно, поэтому...

Наши дома в Камакура были расположены в небольшой долине у подножия горы, но во время воздушных налетов я спе-

шил сразу же укрыться в убежище. Поднявшись до входа в пещеру на горе, которая высилась за нашим домом, я мог оттуда окинуть взглядом и все дома моей соседской группы.

Рано утром в тот день начался налет морской авиации противника. Над головой раздался гул моторов, и сразу же поднялась яростная пальба зениток.

— Симамура-сан, берегитесь! — закричал я, быстро спускаясь ей навстречу. — Скорее, скорее сюда!

Но, отбежав шагов пять-шесть от входа в пещеру, я вдруг остановился:

— Птички! Как они напуганы, бедные создания!

На большом сливовом дереве я увидел несколько пичужек. Они вспархивали между веток, хлопали крылышками, но дальше улететь не могли. Будто в судороге, трепыхались они среди зеленой листвы. Взлетая с трудом, они пробовали зацепиться за верхние ветки, но безуспешно, и, вытянув вперед лапки, беспомощно взмахнув крыльями, казалось, падали назад.

Войдя в пещеру, р-жа Симамура стала тоже смотреть на сливовое дерево, росшее в нескольких шагах против входа. Присев на корточки и крепко обхватив руками колени, она подняла голову и не отводила глаз от испуганных пичужек.

Послышался резкий звук, будто в один из стволов бамбуковой рощи, находившейся рядом, ударил осколок снаряда...

Я вспомнил о тех птичках именно тогда, когда стал проникаться сочувствием к разговорам о возрождении ребенка Симамуры. Потому что ребенок, который так и не появился у нее на свет, в то время находился в ее чреве.

Как бы то ни было, сейчас у нее роды прошли благополучно.

Во время войны было много аборт. Женщин рожало мало. Многие женщины страдали нарушениями физиологии половой деятельности. А этой осенью в нашей соседской группе, состоящей из десяти домов, дети появились в четырех.

Мы с дочерью проходили мимо дома Симамуры, и я увидел, что в их живой изгороди зацвела камелия, мой любимый цветок. Сейчас, кажется, пора ее цветения. Я вдруг почувствовал жалость к тем детям, что из-за войны погибли в материнской утробе, и с грустью подумал о годах моей жизни, унесенных войной. Возродятся ли когда-нибудь к новой жизни эти безвозвратно ушедшие годы?

КОРАБЛИКИ

Акико поставила ведро с водой возле штокрозы, нарвала листьев низкорослого бамбука, росшего под сливой, сделала из них несколько корабликов и опустила в ведро.

— О! Кораблики? Вот здорово!..

Присевший на корточки мальчуган поднял голову и приветливо улыбнулся Акико.

— Хорошие кораблики, правда? Ты умный мальчик, вот сестрица и сделала их тебе. Поиграй тут с ней.

Сказав это, стоявшая рядом мать мальчика удалилась в дом. Это была мать и того молодого человека, за которого Акико предстояло выйти замуж.

Судя по всему, будущая свекровь хотела переговорить о чем-то с отцом Акико, и девушка поднялась, чтобы уйти, но тут закапризничал малыш, и Акико увела его с собой в садик. Он был самым младшим братом ее жениха.

Сунув свои маленькие руки в ведро, мальчик изо всех сил работал ладошками, стараясь вызвать волны.

— Сестрица! Это морской бой! — весело кричал малыш, сбивая в кучу кораблики.

Отойдя в сторону, Акико выжимала выстиранные летние кино и развешивала их на жерди для сушки.

Война уже кончилась. Но жених почему-то не возвращался.

— Идет бой! Ну же, деритесь! Давай, давай!..

Мальчик все больше входил в азарт и неистово колотил ручонками по воде, поднимая брызги, от которых лицо его стало мокрым.

— Э, так не годится! — остановила его Акико.— У тебя ведь все лицо мокрое.

— А чего же они не плавают,— пожаловался мальчик.

Кораблики действительно не плавали, а лишь колыхались на воде.

— Ты прав. Ладно. Пойдем на речку, там они поплывут.

Мальчик взял кораблики. Акико выплеснула воду под штокрозу и отнесла ведро в кухню.

Они уселись на камнях, положенных для перехода через речушку, и Акико один за другим стала пускать кораблики по течению. Мальчуган радостно захлопал в ладоши.

— Ура, ура! Мой впереди!

Чтобы не потерять из виду свой кораблик, опередивший другие, мальчик побежал вдоль берега.

Акико быстро побросала в воду остальные кораблики и пустилась было бегом догонять малыша. Однако она тут же вспомнила о своей больной ноге и перешла на медленный, осторожный шаг.

После перенесенного когда-то детского паралича она не могла свободно ступать на пятку: пятка сделалась маленькой и мягкой, а подъем левой ноги слишком высоким. Акико не могла прыгать через скакалку и совершать дальние прогулки. Она собиралась прожить всю жизнь в тиши, в одиночестве. Но неожиданно ее просватали. Она уверила себя, что усилием воли сумеет побороть свой физический недостаток. Она стала серьезно, как никогда раньше, заниматься физическими упражнениями, чтобы ступать на пятку. Ремешки гэта быстро натерли ногу, но Акико продолжала свое подвижничество. Но после войны она это прекратила. Потертость на ноге от ремешка сделалась похожей на грубый след от ожога.

Мальчик был братом ее жениха, и Акико, стараясь скрыть свою хромоту, ступала сейчас на пятку. Давно уже она так не ходила.

Узкая речушка, похожая скорее на ручей, протекала сразу за домом. Разросшийся бурьян низко нависал над водой, несколько корабликов зацепилось за него.

Мальчик, стоявший метрах в двадцати, не заметил приближения Акико, провожая глазами плывущие кораблики. Он был настолько увлечен, что не обратил никакого внимания на ее походку. Малыш в профиль живо напомнил ей своего старшего брата, и Акико нестерпимо захотелось обнять его и прижать к груди.

Тут подошла мать мальчика. Поблагодарив Акико, она увела малыша с собой.

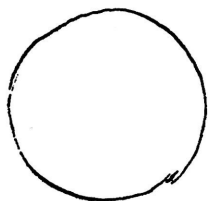
— До свидания! — беззаботно простился мальчик.

«Либо жених погиб на войне, либо они решили расторгнуть брачный контракт, — подумала Акико. — Да и сама помолвка с хромой, наверное, была сентиментальностью, присущей людям в годы войны».

Не заходя в дом, Акико пошла посмотреть строившееся по соседству новое здание. Таких больших домов тут еще не было, и он неизменно привлекал внимание прохожих. Во время войны работы были приостановлены и площадку, где складывали лесоматериалы, сплошь заросла бурьяном. Но сейчас строительство быстро подвигалось вперед. У ворот были посажены две причудливо изогнутые сосны.

Акико дом этот представлялся солидным и строгим. Но из-за непомерно большого количества окон он казался чуть ли не весь стеклянным, и это делало его с виду холодным и неуютным.

Среди соседей ходили разные слухи о том, что за люди должны сюда переехать, но ничего определенного никто еще не знал.



КРАСОТОЙ ЯПОНИИ РОЖДЕННЫЙ

КРАСОТОЙ ЯПОНИИ РОЖДЕННЫЙ

Цветы — весной,
Кукушка — летом.
Осенью — луна.
Холодный чистый снег —
Зимой.

Дзенский монах Догэн (1200—1253) сочинил это стихотворение и назвал его «Изначальный образ».

Зимняя луна,
Ты вышла из-за туч,
Меня провожаешь.
Тебе не холодно от снега?
От ветра не знобит?

А это стих мудреца Мёэ (1173—1232).

Когда меня просят что-нибудь написать на память, я пишу эти стихи. Длинное, подробное предисловие, напоминающее ута-моногатари¹, предпослано стиху Мёэ и проясняет его смысл.

¹ Ута-моногатари — особый род литературы, где стихи чередуются с прозой, появился в эпоху Хэйан (IX—XII).

«Ночь. 12 декабря 1224 года. Небо в тучах. Луны не видно. Я вошел во дворец и, усевшись, погрузился в дзэн¹. Когда наконец настала полночь, время ночного бдения, и я отправился из верхнего павильона в нижний, луна вышла из-за туч и засияла на сверкающем снеге. С такой спутницей мне не страшен и волк, завывающий в долине. Пробыв некоторое время в нижнем павильоне, я вышел. Луны опять не было. Пока она пряталась, прозвенел послеполуночный колокольчик, и я опять отправился наверх. И тут луна снова вышла из-за туч и снова сопровождала меня. Поднявшись наверх, я направился в зал. Луна же, нагоняя облако, всем своим видом показывала, что собирается скрыться за вершиной соседней горы. Ей, видимо, хотелось сохранить в тайне нашу совместную прогулку».

Затем следовал упомянутый стих. И далее: «Увидев, как луна прислонилась к вершине горы, я вошел в зал.

И я приду туда,
К вершине,
И ты, луна, приди.
И эту ночь, и ночь за ночью
Ты будь, луна, со мной».

То ли просидев остаток ночи в зале, то ли вернувшись в него под утро, Мёэ написал:

«Открыв глаза, я увидел за окном предрассветную луну. Все время я сидел в темноте и не мог сразу понять, откуда это сияние: от моей ли просветленной души или от луны.

Моя душа
Ясный свет излучает.
А луна, пожалуй,
Думает,
Что это ее отражение».

Если Сайгё называют поэтом сакуры, то Мёэ — певец луны.

О как светла, светла.
О как светла, светла, светла.
О как светла, светла.
О как светла, светла, светла, светла
Луна!

Стих держится на одной взволнованности голоса.

От полуночи до рассвета Мёэ сочинил три стиха «О зимней

¹ Буквально «дзадзэн» — сидеть в позе дзэн, скрестив ноги, неподвижно, молча, с закрытыми глазами.

луне», следуя словам Сайгё: «Когда сочиняешь стихи, не думай, что сочиняешь их». Словами в тридцать один слог¹ Мёэ доверительно разговаривает с луной не только как с другом, но и как с очень близким человеком.

«Глядя на луну, я становлюсь луной. Луна, на которую я смотрю, становится мною. Я погружаюсь в природу, соединяюсь с ней».

Сияние, исходящее от «просветленного сердца» монаха, просидевшего в темной комнате до рассвета, кажется предрассветной луне ее собственным сиянием.

Как явствует из подробного предисловия к стихотворению «Провожаящая меня зимняя луна», Мёэ, погруженный в религиозные и философские раздумья, войдя в зал, передал в стихе пережитое им ощущение встречи, незримого общения с луной. Я выбираю этот стих, когда меня просят что-нибудь надписать, за его удивительную мягкость и задушевность.

О зимняя луна, ты то скрываешься в облаках, то появляешься вновь, освещая мои следы, когда я иду в зал дзэн или возвращаюсь оттуда. С тобою мне не страшен и волк, завывающий в долине. Не холодно ли тебе от снега? Не донимает ли тебя ветер?

Я потому надписываю людям эти стихи, что они преисполнены теплого, проникновенного, доброго сочувствия к природе и человеку, что они воплощают в себе глубокую нежность японской души.

Профессор Ясиро Юкио, известный миру исследователь Боттичелли, знаток искусства прошлого и настоящего, Востока и Запада, сказал однажды, что особенность японского искусства можно передать одной поэтической фразой: «Никогда так не думаешь о друзьях, как глядя на снег, луну или цветы». Когда любишься красотой снега или красотой луны, словом, когда бываешь потрясен красотой четырех времен года, когда испытываешь благодать от встречи с прекрасным, тогда особенно думается о друзьях: хочется разделить с ними радость. Словом, созерцание красоты пробуждает сильнейшее чувство сострадания и любви к людям, и тогда слово «друг» становится словом «человек».

«Снег, луна, цветы», олицетворяющие красоту сменяющих друг друга четырех времен года, по японской традиции олице-

¹ Метрический закон танок, не знающих рифмы, предполагает чередование 5-7-5-7-7 слогов — всего 31.

творяют красоту вообще: красоту гор, рек, трав, деревьев, бесконечных явлений природы, в том числе и человеческих чувств.

«Никогда так не думаешь о друзьях, как глядя на снег, луну или цветы» — это ощущение лежит и в основе чайной церемонии¹. Встреча за чаем — та же «встреча чувств». Приятное общество, приятные люди, приятное время года. Кстати, если вы найдете в моей повести «Тысячекрылый журавль» желание показать внешнюю и внутреннюю красоту чайной церемонии, вы ошибетесь. Я скорее там скептически настроен и решил поделиться своими опасениями и предостережениями против той вульгарности, в которую впадают нынешние чайные церемонии.

Цветы — весной.
Кукушка — летом.
Осенью — луна.
Холодный чистый снег —
Зимой.

И если вы подумаете, что в стихах Догэна о красоте четырех времен года — весны, лета, осени, зимы — всего лишь безыскусно поставленные рядом, банальные, избитые, стертые, давно знакомые японцам образы природы, думайте! Если вы скажете, что это и вовсе не стихи, говорите! Но как они похожи на предсмертный стих старого Рёкана (1758—1831):

Что останется
После меня?
Цветы — весной,
Кукушка — в горах,
И листья клена — осенью.

В этом стихе, как и у Догэна, простейшие образы, простейшие слова, незамысловато, даже подчеркнуто просто, поставлены рядом, но, чередуясь, они передают сокровенную суть Японии. К тому же это последний стих поэта.

Весь долгий,
Туманный
День весенний
С детворой
Играю в мяч.

¹ Буквально — «путь чая» — «тядо», путь чистоты и утонченности, путь достижения гармонического единства с окружающим миром.

Ветер свеж.
Луна светла.
Эх, тряхнем-ка стариной!
Протанцуем эту ночьку
До рассвета!

Что говорить —
И я людей
Не сторонюсь,
Но мне приятней
Быть одному.

Душа Рёкана подобна этим песням. Он довольствовался хижинкой из трав, ходил в рубище, скитался по пустырям, играл с детьми, болтал с крестьянами, но не затевал серьезных разговоров о глубине веры и литературы. Он следовал незамутненному пути: «Улыбка на лице, любовь в словах». Но именно Рёкан в период позднего Эдо (конец XVIII — начало XIX в.) своими стихами и своим искусством каллиграфии противостоял вульгарным вкусам современников, сохраняя верность изящному стилю древних. Рёкан, чьи стихи и образцы каллиграфии по сей день высоко ценятся в Японии, в своих предсмертных стихах написал, что ничего не оставляет после себя. Думаю, он хотел этим сказать, что и после его смерти природа будет так же прекрасна и это единственное, что он может оставить после себя в этом мире. Здесь нетрудно обнаружить чувства древних и религиозную душу самого Рёкана. Есть у Рёкана и любовные стихи. Вот один из тех, что мне нравятся:

О, как долго, как долго
Томился я
В ожидании!
И вот мы вместе...
О чем еще мечтать?

Рёкан, тогда шестидесятилетний старец, встретил молодую двадцатидевятилетнюю монахиню Тэйсин и без памяти влюбился в нее. Это стихи о радости встречи с женщиной как вечностью, с женщиной как долгожданной любовью.

И вот мы вместе...
О чем еще мечтать? —

так прямодушно заканчивает поэт свой стих.

Родился Рёкан в Этиго (теперь провинция Ниигата), той самой провинции, которую я описал в романе «Снежная страна». Это северная окраина Японии, куда через Японское море дуют холодные ветры из Сибири. Всю жизнь он провел в этом

краю. Умер Рёкан семидесяти четырех лет. В глубокой старости, чувствуя приближение смерти, он пережил сатори¹. И мне кажется, что на краю смерти, в «последнем взоре» поэта-монаха природа севера отразилась с особой красотой. У меня есть дзуйхицу² «Последний взор». Я привел там слова — они потрясли меня — из предсмертного письма покончившего с собой Акутагава Рюноскэ (1892—1927). «Наверное, я постепенно лишился того, что называется инстинктом жизни, животной жаждой, — писал Акутагава. — Я живу в мире воспаленных нервов, прозрачный как лед... Меня преследует мысль о самоубийстве. Только вот никогда раньше природа не казалась мне такой прекрасной! Вам, наверное, будет смешно, покажется парадоксальным: человек, очарованный красотой природы, думает о самоубийстве. Но природа потому сейчас так прекрасна, что отражается в моем последнем взоре».

В 1927 г., тридцати пяти лет, Акутагава покончил с собой. Я писал тогда в «Последнем взоре»: «Как бы ни был тяжел этот мир, самоубийство не ведет к просветлению. Как бы ни был благороден самоубийца, он далек от совершенства. Ни Акутагава, ни покончивший с собой после войны Дадаэй Осаму (1909—1948) и никто другой не вызывает у меня ни одобрения, ни сочувствия. У меня был друг, художник-авангардист. Он тоже умер молодым и тоже часто думал о самоубийстве. Это его я имел в виду в «Последнем взоре». Он любил говорить: «Нет искусства выше смерти», или «Умереть и значит жить». Этот человек, родившийся в буддийском храме, окончивший буддийскую школу, иначе смотрел на смерть, чем смотрят на нее на Западе, в кругу мыслящих, кто не думал о самоубийстве». Наверное, так оно и есть. Взять хотя бы того же монаха Иккю (1394—1481). Говорят, он дважды пытался покончить с собой. Я сказал «того же», потому что Иккю знают даже дети как чудака из сказок, а о его эксцентричных выходках ходит множество анекдотов³. Об Иккю рассказывают, что «дети забрались к нему на колени, гладили его бороду. Лесные птицы брали корм из его рук». Судя по всему, Иккю был до предела искренним, добрым и общительным человеком. Вместе с тем

¹ Сатори — озарение, просветление, в отличие от нирваны мгновенное постижение истины путем внезапного внутреннего пробуждения.

² Дзуйхицу — литературный жанр, буквально: «следовать за кистью», записывать все, что придет на ум, эссе.

³ Выходили специальные книги анекдотов и рассказов об Иккю: в 1700 г. «Иккю-банаси», в 1725 — «Дзоку Иккю-банаси» и др.

Иккю — истый дзэнец. Он, кажется, был сыном императора. Шести лет его отдали в буддийский храм, и уже тогда он проявил свой поэтический дар. Позже Иккю мучительно размышлял о сущности жизни и религии. «Если ты, бог, существуешь, спаси меня! Если тебя нет, пусть я окажусь на дне озера и скормлю себя рыбам». Он действительно бросился в озеро, но его спасли. Был еще случай: один монах из храма Дайтокудзи, где Иккю был наставником, покончил с собой, и из-за этого кое-кого из монахов отправили в заточение. Чувствуя на себе вину — «тяжело бремя ноши», Иккю удалился в горы и, решив умереть, морил себя голодом.

Он назвал свой сборник стихов «Кёун» («Безумные облака») и сделал это название своим псевдонимом. В этом сборнике, да и в последующих есть стихи, какие невозможно встретить в средневековых канси¹, тем более в дзэнской поэзии, настолько они эротичны и содержат такие интимные подробности, что могут привести в смущение. Иккю не обращал внимания на заповеди и запреты дзэн: ел рыбу, пил вино, жил с женщинами. Во имя своей свободы он противопоставил себя монастырским порядкам. Быть может, в то смутное, беспокойное время, время пошатнувшихся нравов, он хотел восстановить подлинное человеческое существование, естественную жизнь людей.

Храм Дайтокудзи в Мурасакино, в Киото, и теперь излюбленное место чайных церемоний. Какэмоно, что висят в нише чайной комнаты, — образцы каллиграфии Иккю, привлекают сюда посетителей. У меня тоже есть два образца. На одном надпись: «Легко войти в мир Будды, нелегко войти в мир дьявола». Эти слова меня преследуют. Я их тоже нередко надписываю. Эти слова можно понимать по-разному. Пожалуй, их смысл безграничен. Но когда вслед за словами: «Легко войти в мир Будды» — читаю: «нелегко войти в мир дьявола», Иккю входит в мою душу своей дзэнской сущностью. В конечном счете и для людей искусства, ищущих истину, добро и красоту, желанное, скрытое в словах «нелегко войти в мир дьявола», в страхе ли, в молитвах, в скрытой или явной форме, но присутствуют неизбежно, как судьба. Без «мира дьявола» нет «мира Будды». Войти в «мир дьявола» труднее. Слабым духом это не под силу.

«Встретишь Будду, убей Будду. Встретишь патриарха, убей патриарха»² — известный дзэнский девиз. Если буддийские сек-

¹ Канси — японские стихи на китайском языке.

² Слова Линь-цзи, мастера секты чань (яп. дзэн) в Китае танской эпохи (VII—X вв.).

ты разделяются на те, которые верят в спасение извне и которые верят в спасение через усилие собственного духа, то секта дзэн, естественно, принадлежит к последним. Вот откуда эти жестокие слова.

Синран (1173—1262), основатель секты Син, последователи которой верят в спасение, приходящее извне, сказал однажды: «Если хорошие люди возрождаются в раю, что уж говорить о плохих?» Между словами Синрана и словами Иккю о «мире Будды» и «мире дьявола» в глубинном смысле есть общее, есть и разница. Синран еще сказал: «Не буду иметь ни одного ученика». «Встретишь патриарха, убей патриарха». Не в этом ли жестокая судьба искусства?

Секта дзэн не признает идолов. Правда, в дзэнских храмах есть изображения Будды, но в местах для тренировки и в залах дзэн нет ни статуэток Будды, ни икон, ни сутр. В течение всего времени там сидят молча, неподвижно, с закрытыми глазами, пока не приходит состояние полной отрешенности. Тогда исчезает «я», наступает «ничто». Но это совсем не то «ничто», что понимается под ним на Западе. Скорее, наоборот — это вселенная души, пустота¹, где все вещи приобретают самость, где нет никаких преград, ограничений, где есть свободное общение всего со всем.

Конечно, и в дзэн есть наставники, они обучают учеников при помощи мондо², знакомят с древней дзэнской литературой, но ученик остается единственным хозяином своих мыслей, и состояния сатори он достигает исключительно собственными усилиями. Здесь скорее имеет значение интуиция, чем логика, скорее акт внутреннего пробуждения — сатори, чем приобретенные от других знания.

Истине «тесно в словах», «истина вне слов»³. Это предельно выражено в словосочетании «громоподобная тишина»⁴.

¹ «Пустота» — как очищение, как освобождение от существующей формы человеческого бытия, восстановление подлинной первоприроды человека — возвращение к незамутненному житейской суетой первоначалу.

² Мондо — диалог между мастером и учеником, рассчитанный не на рациональный, а на интуитивный способ постижения смысла беседы. Задача ученика — войти в душевное состояние учителя, в тот же духовный ритм.

³ «Истина — созерцание, она по ту сторону слов, книгами и словами ее не передашь. Ее нельзя познать, ее надо пережить. Она раскрывается в момент экстатического восприятия жизни», — говорил Судзуки.

⁴ Vimalakirti Mirdeśa Sūtra.

Говорят, первый патриарх секты дзэн в Китае, Дарума-дай-си¹, которого еще называют «просидевшим девять лет лицом к стене», действительно просидел девять лет в пещере, созерцая стену, и в состоянии молчаливого сосредоточения испытал сатори. От него и пошел обычай сидеть в дзэн.

Спросят — скажешь.
Не спросят — не скажешь.
Что в душе твоей
Скрыто,
Благородный Дарума?

И еще один поучительный стих того же Иккю:

Как сказать —
В чем сердца
Суть?
Шум сосны
На сумиэ².

В этом душа восточной живописи. Смысл картины сумиэ в пустом, незаполненном пространстве, в лаконичных ударах кисти.

Тин-Нун³ говорил: «Вы рисуете ветку и слышите, как свистит ветер». А Догэн: «Разве не в шуме бамбука путь к просветлению? Разве не в цветении сакуры озарение души?» Прославленный мастер икэбана Икэнобо Сэн-о (1532—1554) изрек (в «Тайных речениях»): «Горсть воды или небольшое деревце вызывает в воображении громадные горы и огромные реки. В одно мгновение можно пережить таинства бесчисленных превращений. Все это похоже на чудеса волшебника».

И японские сады символизируют величие природы. Если европейские, как правило, разбиваются по принципу симметрии, то японские сады асимметричны. Видимо, потому что скорее асимметрия, чем симметрия, может служить символом многообразия и величия природы. Правда, асимметрия уравновешивается присущим японцам чувством изящного. Нет ничего более сложного, разнообразного, продуманного до мелочей, чем

¹ Великий учитель Дарума — японское имя индийского принца Бодидармы, основавшего в VI веке секту чань в Китае.

² Сумиэ — картина, нарисованная тушью. Судзуки следующим образом характеризует метод этого рода живописи: «Вам кажется, что кисть двигается сама по себе, помимо воли художника, который лишь не мешает ей двигаться... Если какая-либо мысль или намерение возникнут между кистью и бумагой, то весь эффект пропадет».

³ Тин-Нун (1687—1763) — китайский художник и поэт.

правила японского садового искусства. При «сухом ландшафте» большие и мелкие камни располагаются таким образом, что каменные группы производят впечатление гор, рек и даже бьющихся о скалы волн океана. Предел лаконизма — японские бонсай¹ и бонсаки². Слово «ландшафт» — «сансуй» — состоит из «сан» (гора) и «суй» (вода) и может означать действительно пейзаж как в природе, так и на картине или в саду, а может означать «одинокость, заброшенность», что-нибудь «печальное, жалкое».

Если «ваби-саби»³, столь высоко ценимое в науке о чае, предписывающей «гармонию и благоговение, чистоту и спокойствие», олицетворяют богатство души, то крохотная, до предела простая чайная комната символизирует бескрайнюю широту и безграничное изящество.

Один цветок лучше, чем сто, передает величие цветка.

Еще Рикю⁴ учил не брать для икэбана распустившиеся бутоны. В Японии и теперь во время чайной церемонии в нише чайной комнаты стоит всего один нераскрывшийся цветок. Цветы выбирают по сезону, зимой — зимний, например гаультерию⁵ или камелию «вабисукэ», которая отличается от других видов камелий мелкими цветами. Выбирают один белый бутон. Белый цвет — самый чистый и самый насыщенный: включает все остальные. На бутоне должна быть роса. Можно побрызгать цветок водой. В мае для чайной церемонии особенно хорош бутон белого пиона в вазе из селадона. И на нем должна быть роса. Впрочем, не только на бутоне — фарфоровую вазу, еще до того как поставить в нее цветок, следует хорошенько побрызгать водой.

В Японии среди фарфоровых ваз для цветов больше всего ценятся старинные ига (XV—XVI вв.). Они и самые дорогие. Если на ига брызнуть водой, они просыпаются, оживают. Ига обжигаются на сильном огне. Пепел и дым от соломы растекаются по поверхности, и, когда температура падает, ваза как бы покрывается глазурью. Это не рукотворное искусство, оно не от мастера, а от самой печи: от ее причуд или помещенной

¹ Бонсай — карликовое дерево на подносе.

² Бонсаки — миниатюрный садик из камней на подносе.

³ Ваби-саби — это словосочетание подчеркивает прелесть обыденного, незаметного — нагой простоты.

⁴ Рикю (1522—1591) — японский мастер чайной церемонии и икэбана.

⁵ Вечнозеленый цветущий кустарник.

в нее породы зависят замысловатые цветовые сочетания. Крупный, размашистый, яркий узор на старинных ига под действием влаги обретает чувственный блеск и начинает дышать в одном ритме с цветочной росой.

По обычаям чайной церемонии перед употреблением увлажняют также чашку, чтобы придать и ей ее естественную прелесть. Как говорил Икэнобо Сэн-о (в «Тайных речениях»): «Поля, горы, берега — в их собственном виде». Своей школой икэбана он внес новое в понимание цветка, открыв, что и в разбитой вазе и на засохшей ветке цветы могут вызвать просветление. «Древние, составляя цветы, постигали высшую мудрость». Это под влиянием дзэн его душа проснулась к красоте Японии, а еще, наверно, потому, что жить ему приходилось в беспокойное время.

В «Исэ-моногатари»¹, самом древнем сборнике японских утамоногатари, есть немало коротких новелл, и в одной из них рассказано о том, какой цветок поставил Аривару Юкихира, встречая гостей: «Будучи человеком утонченным, он поставил в вазу необычный цветок глицинии: гибкий стебель был трех с половиной футов длиной». Разумеется, глициния трех с половиной футов длиной — явление необычное, даже не верится, но я вижу в этом цветке символ хэйанской культуры. Глициния — цветок элегантный, женственный — в чисто японском духе. Расцветая, он свисает, слегка колеблемый ветром, незаметный, неброский, нежный, то выглядывая, то прячась среди яркой зелени в начале лета, он превосходно воплощает собой моно-но аварэ². Глициния с длинным стеблем должна быть очень хороша.

Около тысячи лет назад Япония, воспринявшая на свой лад танскую культуру³, создала великолепную культуру Хэйана. Рождение в японцах чувства прекрасного — такое же необыкновенное чудо, как описанная выше глициния. В поэзии первая императорская антология стихов «Кокинсю» появилась в 905 г. В прозе шедевры японской классической литературы появились в X—XI вв.: «Исэ-моногатари» (X век), «Гэндзи-моногатари» Мурасаки Сикибу (970—1002); «Макура-но соси» («Записки у изголовья») Сэй Сёнагон (966—1017, по последним данным).

¹ «Исэ-моногатари» — Повесть об Исэ (X век). Авторство приписывается поэту Аривару Нарихира.

² Моно-но аварэ — «Очарование вещей», совершенная красота, которая скрыта в каждой вещи и которую поэт призван выявить; красота, которая дает человеку ощущение гармонии, единства с миром.

³ Эпоха Тан (VII—X вв.) — эпоха расцвета китайской культуры.

В эпоху Хэйан была заложена традиция прекрасного, которая не только в течение восьми веков влияла на последующую литературу, но и определила ее характер¹. «Гэндзи-моногатари» — вершина японской прозы всех времен. До сих пор нет ничего ей подобного. Теперь уже и за границей многие называют мировым чудом то, что уже в X веке появилось столь замечательное и столь современное по духу произведение. В детстве я не очень хорошо знал древний язык, но все же читал хэйанскую литературу. Видимо, тогда-то и запала мне в душу эта повесть. С тех пор как появилось это произведение на свет, японская литература все время тяготела к нему. Сколько было за эти века подражаний! Все виды искусства, начиная от прикладного и кончая искусством планировки садов, о поэзии и говорить нечего, находили в «Гэндзи» источник красоты.

Мурасаки Сикибу, Сэй Сёнагон, Идзуми Сикибу (979 г.—?), Акадзомэ Эмон (957—1041) и другие знаменитые поэтессы — все они были придворными дамами. Хэйанская культура была культурой двора. Отсюда ее женственность. Время «Гэндзи-моногатари» и «Макура но соси» — время наивысшего расцвета этой культуры. От вершины зрелости она клонилась уже к закату. В ней сквозила печаль, которая предвещала конец славы. Это была пора цветения придворной культуры Японии.

В скором времени императорский двор настолько обессилел, что власть от аристократов (кугэ) перешла к воинам — самураям (буси). Начался период Камакура (1192—1333). Государственное правление самураев продолжалось около семи столетий, до начала Мэйдзи (1868).

Однако ни императорская система, ни придворная культура не исчезли бесследно. В начале периода Камакура была составлена еще одна антология стихов — «Новая Кокинсю» (1205), которая развивала законы поэтического мастерства хэйанской «Кокинсю». Есть, конечно, и в ней увлечение игрословием, но главное в духе ёэн, югэн, ёдзё², в иллюзии чувств, сближающей

¹ Кавабата Ясунари все время говорит о «Нихон но би» — о «красоте Японии», имея в виду обостренное чувство прекрасного, умение извлекать красоту из любого явления жизни, поклонение красоте в любых ее проявлениях. Этот своеобразный эстетизм — одно из свойств национального характера японцев.

² Ёэн — очаровательный, обворожительный; югэн — таинственное, сокровенное — скрытая суть вещей, которую призвано выявлять искусство; ёдзё — недосказанность, то, что подразумевается, то, что «за словами» — та же скрытая суть вещей. Все это основные категории японской эстетики.

ее с современной символической поэзией. Поэт Сайгё-хоси (1118—1190) соединил обе эпохи — Хэйан и Камакура.

Все думала о нем
И так уснула.
И он пришел...
О, если б знала, что это сон,
Не стала б просыпаться.

Я по тропинкам снов
Без устали
За ним бреду.
Но почему-то наяву
Не встретила ни разу.

Это стихи из «Кокинсю», поэтессы Оно-но Комати. И хотя это стихи о снах, они навеяны реальностью. Поэзия же, появившаяся после «Новой Кокинсю», и вовсе близка натуре.

Бамбуковая роща,
Где воробьи
Щебечут,
Солнце отражая,
Окрасилась в осенний цвет.

В саду, где одиноко
Куст хаги¹ облетает,
Осенний ветер дует.
Вечернее солнце
Заходит за стеной,—

а это конец Камакура, стихи императрицы Эйфуку (1271—1342). Воплощая присущую японцам утонченную печаль, они звучат, по-моему, очень современно.

Монах Догэн, написавший «Чистый и холодный снег — зимой», и мудрец Мёэ, сочинивший стих «Провожаящая меня зимняя луна», — оба они принадлежат к эпохе «Новой Кокинсю».

Мёэ и Сайгё обменивались стихами, говорили о поэзии: «Каждый раз, когда приходил монах Сайгё, он начинал рассуждать о стихах. Он говорил: у меня свой взгляд на поэзию, отличный от других. Хотя я и я воспеваю цветы, кукушку, луну — словом, все явления этого мира, но, в сущности, все это одна видимость, которая застит глаза и заполняет уши. Стихи, которые мы сочиняем, разве это истинные слова? Когда пишешь о цветах, ведь не думаешь, что это на самом деле цветы. Когда

¹ Хаги — декоративный кустарник.

пишешь о луне, не думаешь о луне. Мы создаем только подобие, что нам хочется, к чему нас влечет. Упадет красная радуга, и кажется, что бесцветное небо окрасилось. Засветит белое солнце, и пустое небо озаряется. Но ведь небо само по себе не окрашивается и само по себе не озаряется. Вот и мы в душе своей, подобной этому небу, окрашиваем разные вещи в разные цвета, не оставляя следов. Но только такая поэзия и способна воплотить истину Будды» (из «Биографии Мёэ», его ученика Тэйси Кикай).

В этих словах угадывается японская, вернее восточная, идея «пустоты», «небытия». И в моих рассказах находят «небытие». Но это совсем не то, что называется нигилизмом на Западе¹. По-моему, сами основы наших душевных устройств различны.

Сезонные стихи Догэна, озаглавленные «Изначальный образ», воспевающие красоту четырех времен года, и есть дзэн.

¹ «Ничто» (или «небытие») — с точки зрения восточного мирозерцания нечто противоположное нашему пониманию. «Ничто» — это целостность мира, из которого все рождается и куда все возвращается. Реальный мир есть лишь манифестация этого всеобщего «ничто», его частное, выбкое выражение.

СЛОВАРЬ ЯПОНСКИХ СЛОВ

Варадзи — обувь из соломы.

Гета — деревянная обувь на высоких каблуках.

Дзабуuton — подушка для сидения (по-японски, на полу).

Дзё — мера длины, равная 3,03 м.

Икэбана — искусство расстановки цветов в вазе; цветы в вазе.

Какэмоно — картина-свиток или образчик каллиграфии, написанные на шелке или бумаге.

Карута — специальные игральные карты.

Касури — хлопчатобумажная ткань.

Катакана — одна из двух японских слоговых азбук.

Котацу — комнатная жаровня, накрываемая одеялом.

Кэн — мера длины, равная 1,81 м.

Кэн — название игры на пальцах.

Мидзуя — комната для мойки чайной утвари в чайном павильоне.

Оби — декоративный пояс, надеваемый поверх кимоно.

Ри — мера длины, равная 3,927 км.

Сакэ — рисовая водка.

Сёдзи — раздвижные внутренние перегородки в японском доме.

Суси — шарики из вареного риса с начинкой.

Сусуки — низкорослый кустарник.

Сэн — мелкая денежная единица.

Сяку — мера длины, равная 30,3 см.

Сямисэн — струнный музыкальный инструмент.

Таби — японские матерчатые носки.

Татами — соломенный мат размером 1,5 кв. м. Этими матами застилают полы; мера площади.

Тё — мера длины, равная 109,09 м; мера площади, равная 0,9917 га.

Токонома — стенная ниша с приподнятым полом и полочкой.

Уэбаси — кушанье из слив.

Фурисодэ — нарядное кимоно.

Фуросики — цветной платок, в котором носят вещи.

Фусума — раздвижные (наружные) стены в японском доме.

Хаппи — рабочая куртка.

Хакама — японские шаровары.

Хаори — короткое верхнее кимоно.

Хаси — палочки для еды.

Хибати — жаровня для обогрева комнаты.

Хирагана — одна из двух японских слоговых азбук.

СОДЕРЖАНИЕ

К. Рехо. Ясунари Кавабата	5
Тысячекрылый журавль. <i>Перевод З. Рахима</i>	16
Тысячекрылый журавль	19
Кулики на волнах	116
Снежная страна. <i>Перевод З. Рахима</i>	180
Новеллы	
Танцовщица из Идзу. <i>Перевод З. Рахима</i>	287
Элегия. <i>Перевод З. Рахима</i>	311
Песнь об Италии. <i>Перевод С. Гутермана</i>	332
Природа. <i>Перевод С. Гутермана</i>	345
Рассказы величиной с ладонь. <i>Перевод С. Гутермана</i>	359
Красотой Японии рожденный. <i>Перевод Т. Григорьевой</i>	383
Словарь японских слов	399

Ясунари Кавабата

ТЫСЯЧЕКРЫЛЫЙ ЖУРАВЛЬ (повесть)
СНЕЖНАЯ СТРАНА (повесть)
НОВЕЛЛЫ, РАССКАЗЫ, ЭССЕ

Редактор *П. Петров*
Художник *Т. Толстая*
Художественный редактор *А. Купцов*
Технические редакторы *Г. Живрина, В. Павлова*
Корректор *А. Илюхина*

Сдано в производство 15/1 1971 г.
Подписано к печати 27/IV 1971 г.
Бумага 60×84¹/₁₆. 12¹/₂ бум. л.,
23,25 печ. л.
Уч.-изд. л. 24,35. Изд. № 12/11968.
Цена 1 р. 44 к. Заказ № 1744.
Издательство «Прогресс»
Комитета по печати при Совете Министров СССР
Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21
Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28